

Alexander M. Martin

•

Romantics,  
Reformers,  
Reactionaries

Russian Conservative  
Thought and Politics  
in the Reign of Alexander I

Northern Illinois University Press

1997

Александр Мартин

•

Романтики,  
реформаторы,  
реакционеры

Русская консервативная  
мысль и политика  
в царствование Александра I



Academic Studies Press

Библиороссика

Бостон / Санкт-Петербург

2021

УДК 94(47).072  
ББК 63.3(2)521  
М 29

Перевод с английского Льва Высоцкого

Серийное оформление и оформление обложки Ивана Граве

### **Мартин А.**

М 29 Романтики, реформаторы, реакционеры: Русская консервативная мысль и политика в царствование Александра I / Александр М. Мартин / Ред. М. С. Белоусов; [пер. с англ. Л. Н. Высоцкого]. — Санкт-Петербург : Academic Studies Press / Библиороссика, 2021. — 447 с. : илл. — (Серия «Современная западная русистика» = «Contemporary Western Rusistika»).

ISBN 978-1-6446955-1-7 (Academic Studies Press)

ISBN 978-5-6045354-4-8 (Библиороссика)

А. М. Мартин исследует консерватизм в русской мысли, политике и культуре периода правления Александра I. Основываясь на тщательном изучении архивов, а также на опубликованных источниках на русском, английском, немецком и французском языках, автор прослеживает истоки консервативной идеологии и показывает, как русские восприняли угрозу, исходящую от Французской революции, и как на основе этой реакции в России сформировались государственная политика и национальное самосознание. Книга «Романтики, реформаторы, реакционеры» — глубокое исследование истоков русского консерватизма, нашедшего отражение в трактатах, письмах и мемуарах ведущих мыслителей своего времени.

УДК 94(47).072  
ББК 63.3(2)521

ISBN 978-1-6446955-1-7  
ISBN 978-5-6045354-4-8

© Alexander M. Martin, text, 1997  
© Northern Illinois University Press, 1997  
© Л. Н. Высоцкий, перевод  
с английского, 2021  
© Academic Studies Press, 2021  
© Оформление и макет  
ООО «Библиороссика», 2021

# Слова благодарности

Я не смог бы написать эту работу без помощи самых разных людей и организаций.

Во время моей учебы в аспирантуре мне оказывали финансовую поддержку исторический факультет Пенсильванского университета, Центр советских и восточноевропейских исследований и Министерство образования США. Благодаря Совету по международным исследованиям и обменов в 1990–1991 годы я имел возможность провести исследовательскую работу в СССР, а финансовая помощь Американского совета преподавателей русского языка позволила мне совершить повторные поездки в Россию в 1994 и 1996 годах.

В первую очередь я должен поблагодарить Альфреда Рибера, моего научного руководителя, который одобрил мое намерение написать эту книгу и не позволял мне чрезмерно углубляться в увлекательные детали и упускать из виду общую картину эпохи. Другие члены комиссии, Моше Левин и Томас Чилдерс, а также Александр Рязановский, постоянно помогали мне своими советами. Марк Раев и Дэвид Макдональд оказали мне очень ценную поддержку, прочитали рукопись, выразили свое мнение и тоже дали советы. Большую помощь в работе оказали мне российские историки, в том числе Алексей Цамутали, Михаил Сафонов и Михаил Файнштейн. Я благодарен Франсису Лею, потомку баронессы фон Крюденер, позволившему мне воспользоваться своим частным архивом, а также моему отцу — доктору Дональду Мартину, который прочитал рукопись и высказал ценные предложения по ее усовершенствованию.

Как в Соединенных Штатах, так и в России я получал значительную помощь от сотрудников архивов и библиотек. Благодарю работников межбиблиотечного абонемента в библиотеке Пенсильванского университета за проявленное ими терпение в ро-

зыске необходимых мне малоизвестных работ, а также сотрудников ленинградских и московских архивов, в которых я работал (особенно Элеонору Филиппову из Архива Академии наук и Галину Ипполитову из Российского государственного исторического архива). Приношу особую благодарность сотрудникам отдела фотокопирования Российской национальной библиотеки, предоставившим мне материалы в количестве, превышавшем допустимую дневную норму. Если бы они не пошли мне навстречу, я не смог бы использовать многие редкие издания, которые цитируются в данной книге.

Возможно, я никогда не увлекся бы темой России, если бы мои родители не пробудили во мне интерес к европейской истории и культуре и если бы меня не поддержали в этом мои преподаватели в Корнеллском университете, в особенности Уолтер Пинтнер, Слава Паперно, Александр Крафт и Ричард Лид. Время занятий в Пенсильванском университете было увлекательным и радостным; там у меня появилось много друзей: Джон Атеc, Сью Бразертон, Джеймс Хайнзен, Дэвид Керанс, Питер Мартин и Лесли Риммел. В непростой обстановке Ленинграда начала 1990-х мне помогали не сойти с ума Лаура Филипс и Лойал Каулз, а также Самвел Аветисян и Антонина Славинская, которые всегда были исключительно гостеприимны и предлагали мне много ценных идей. В целом мое пребывание в прекрасном городе на Неве оказалось очень приятным и интересным. Хочу также сказать большое спасибо Джеду Гриру и ушедшему от нас Арону Паперно, чьи имена будут всегда связаны в моей памяти с этой поездкой.

Благодарю своих бывших коллег по университету Оглторпа и своих студентов, от которых я неизменно получал помощь в исторических изысканиях. Хочу также поблагодарить Центр поддержки гуманитарных исследований при Университете Нотр-Дам, который финансировал перевод моей книги на русский язык.

И наконец, никаких изысканий я бы не провел и ничего не написал бы без моральной и практической поддержки со стороны Лори (моей жены и моего редактора) и без бодрящего присутствия Джеффри и Николь, с пониманием относившихся к моей работе.

# Введение

Да, мы были противниками их, но очень странными. У нас была *одна* любовь, но не *одинакая*. У них и у нас запало с ранних лет одно сильное безотчетное, физиологическое, страстное чувство, которое они принимали за воспоминание, а мы за пророчество, — чувство безграничной, обхватывающей все существование любви к русскому народу, к русскому быту, к русскому складу ума. И мы, как Янус или как двуглавый орел, смотрели в разные стороны, в то время как *сердце билось одно* [Герцен 1954–1966, 15: 9–10]<sup>1</sup>.

Современный российский и европейский консерватизм имеет истоком протест против рационализма и материализма эпохи Просвещения, который проявился в полную силу во время Французской революции<sup>2</sup> и был явлением многогранным, полным противоречий. Некоторые консерваторы преследовали строго определенную цель: защитить социально-политические и идеологические основы старого режима. Другие считали ненавистный им революционный взрыв порождением той же культуры Просвещения, на которой основывался старый порядок, и приходили к выводу, что старый режим нельзя возродить, если

---

<sup>1</sup> А. И. Герцен о различиях между русскими западниками и славянофилами.

<sup>2</sup> Как писал один исследователь, «до 1789 года консерватизм в качестве позитивного, осознанного мировоззрения [во Франции] был неизвестен. <...> Однако к 1793 году новая революционная идеология стала расшатывать все устои общества: частную собственность, социальную иерархию, религию, монархический строй. Их правомочность, соответствие естественному ходу вещей подвергались сомнению; теперь их приходилось отстаивать — и в теории, и на практике» [Doyle 1989: 422]. То же самое можно сказать и об остальной Европе.

не отречься решительно и бесповоротно от просветительской культуры и ее ценностей. И наконец, встречались консерваторы, хотя и соглашавшиеся с предъявляемыми революцией обвинениями старого режима в безнравственности и подавлении личности, но полагавшие, что для искоренения этого зла следует вернуться к традициям предков, а не бросаться на борьбу за «свободу, равенство, братство». Эти внутренние противоречия позволяли консерватизму быть последовательным и политически эффективным движением — как правило, лишь тогда, когда его приверженцам удавалось создать убедительную антиреволюционную традиционалистскую идеологию и использовать ее для защиты конкретных интересов ее естественных носителей — представителей высших классов общества.

Попытке русских консерваторов достичь этой внутренней цельности изначально препятствовала революционная динамика развития государства, которое они стремились сохранить. Романовы основательно потрудились над тем, чтобы искоренить старые традиции и вестернизировать страну в духе просветительских идей. Как сказал Пушкин, в истории России деспот-реформатор Петр Великий был «одновременно и Робеспьером, и Наполеоном» [Пушкин 1950–1951, 7: 537]<sup>3</sup>. Он разрушил порядок, существовавший прежде в Московской Руси, и заменил его государством принципиально нового типа: с жесткой сословной структурой, складывавшейся из лояльного служилого дворянства, покорной церкви, крестьян и посадских людей. Эта система, усовершенствованная наследниками Петра, называется в данной

---

<sup>3</sup> См. также [Эйдельман 1989, 8: 183–184, 238]. Литература, посвященная Петровским реформам, слишком обширна, чтобы рассматривать ее здесь. Достаточно привести два примера. Синтия Уиттейкер считает, что «реформы Петра приводили к революционным сдвигам» и служили «переходом от средневековых понятий [об отношениях между монархом, государством и обществом] к современным представлениям» [Whittaker 1992: 83]. С другой стороны, Е. В. Анисимов обвиняет реформы в том, что они отличались чрезмерной «бескомпромиссностью, радикализмом, даже революционностью» и способствовали становлению тоталитаризма в России [Анисимов 1989: 11–12].

книге «старым порядком»<sup>4</sup>. Когда Французская революция продемонстрировала, насколько взрывоопасны могут быть просветительские идеи, было уже слишком поздно, чтобы отбросить их, не поколебав идеологических основ Российской империи. К тому же на Западе социальную базу консервативного движения составляли прочно стоявшее на ногах дворянство, традиционалистская церковь и такие объединения ремесленников, как «парламенты» во Франции или гильдии в Германии, в России же в результате Петровских реформ этой базы практически не существовало или же она была тесно связана с реформаторским вестернизированным государством<sup>5</sup>.

Таким образом, перед русскими консерваторами стояла трудноразрешимая дилемма. Сторонники культурного традиционализма поневоле критиковали дворянство и трон за их открытость западным влияниям, а те, кто защищал конкретные социально-экономические интересы старого образа жизни, были вынуждены обходить стороной щекотливые культурные и религиозные темы. Совместить культурный традиционализм с социально-политическими интересами никому из них не удавалось. Консерваторам, являвшимся приверженцами православной церкви, приходилось противиться ущемлению ее прав со стороны самодержавия. Для тех из них, кто выступал за наследственные права знати, неприемлемым являлся принцип служилого дворянства. Если они мечтали о возрождении нравов и обычаев предков, то им необходимо было пересмотреть свое отношение к веку вестернизации. В приведенном выше отрывке Герцен пишет, что в 1840-е годы «прогрессистов»-западников и «консерваторов»-славянофилов объединяло неприятие российских порядков, установившихся

<sup>4</sup> Чрезвычайно интересно этот вопрос рассматривается в работе Марка Раева [Raeff 1983]. Некоторые другие исследователи — Дж. Ледонн [LeDonne 1993], М. Конфино [Confino 1993], Г. Фриз [Freeze 1985] — полагают, что новшества Петра не принесли ощутимых результатов.

<sup>5</sup> По мнению Раева, постпетровская Россия унаследовала у XVII века одновременно два разных мира: государство следовало европейским образцам правления, в то время как население придерживалось культурных традиций Московской Руси [Raeff 1982b].



в XVIII веке. Это наблюдение вполне справедливо и для периода 1801–1825 годов, который рассматривается в данной книге.

Позиция консерваторов по отношению к идеям Французской революции сформировалась, по сути, только после 1801 года. Екатерина II пользовалась огромным авторитетом в высшем обществе, и репрессивные меры, предпринятые ею после 1789 года, способствовали уменьшению страха перед возможным импортом революции в Россию, но вместе с тем пресекали открытое выражение несогласия. При Павле I страх перед революцией достиг крайней точки, цензура и полицейский надзор проводились с необыкновенным размахом; самоволие царя вызывало повсеместное недовольство в дворянских кругах, однако оснований опасаться революции (как и публичных высказываний на эту тему) не было. После убийства Павла обстановка изменилась, стало возможным поднимать некоторые вопросы. Русское общество к этому времени уже было в состоянии прийти к некоторым выводам относительно событий во Франции. Понятно, что мнения были самые разные. У русских, осуждавших Французскую революцию, Наполеон вызывал одновременно восхищение (поскольку восстановил «порядок») и неприязнь (так как захватил корону Бурбонов). Для одних французская культура по-прежнему оставалась высшим достижением цивилизации, другие видели прежде всего ее неразрывную связь с революцией. Лозунг «Свобода, равенство, братство» одновременно притягивал людей и отталкивал. Когда в самом начале своего правления Александр I смягчил цензуру и остановил суровое преследование инакомыслия, это привело к небывалому подъему издательского дела, и давно назревавшие дебаты о том, каково значение событий во Франции для России, выплеснулись наружу. Дополнительным стимулом к возобновлению споров между консерваторами и прогрессистами явилась установка императора на политические и социальные реформы. К тому же именно при Александре впервые возникла прямая угроза вторжения французских войск в Россию. Ограниченная цензура, реформаторские планы правительства и упомянутая военная угроза создавали благоприятные условия для развития и распространения консервативной идеологии.

Среди консерваторов существовали разногласия по идеологическим и социальным мотивам, а также между представителями разных поколений, что мешало им объединиться для решения практических задач. Образовались три основных направления, оказавших влияние и на государственную политику того времени, и на будущее интеллектуальное развитие: романтический национализм, дворянский консерватизм и религиозный консерватизм. Романтический национализм, выразителями которого были А. С. Шишков и С. Н. Глинка, обращался к сохранявшей девственную чистоту народной культуре как к противоядию от морального и политического разложения, которое несла, по их мнению, европеизация. Дворянский консерватизм, ведущими представителями которого являлись Н. М. Карамзин и Ф. В. Ростопчин, был озабочен не столько судьбами культуры, сколько защитой интересов своего сословия. И наконец, религиозные консерваторы (А. Н. Голицын, А. С. Стурдза, его сестра Роксандра и другие), вдохновленные опытом британского и германского протестантизма, надеялись, что духовный потенциал христианской веры и поддерживаемая государством активная социальная деятельность сумеют примирить как элиту, так и народные массы со старым российским режимом и вдохнуть новую жизнь в его институты. Эти три общественных течения — романтический национализм, ориентированный на реформы религиозный консерватизм и дворянский консерватизм, зачастую сугубо реакционный, — являются основным предметом данного исследования.

Консервативные идеи не были в какой-то степени чужды и Александру I, хотя полностью он не мог поддержать ни одну из них, поскольку всякое утверждение консервативной идеологии в России неизбежно подрывало устои режима и таило в себе противоречия. Националисты-романтики проклинали вестернизацию и в то же время прославляли склонных к вестернизации царей, восхваляли крестьян как носителей русского духа и защищали крепостное право. Консерваторы-дворяне хотели действовать так же активно и самостоятельно, как дворянство в Англии и Франции, но поддерживали абсолютную монархию, потому что

сильная власть могла защитить их привилегии; к тому же в российской истории не было прецедента, когда дворянство защищало свои права хотя бы в публичных выступлениях. И наконец, консерваторы религиозного толка выступали за духовное очищение Европы, которое могло быть достигнуто только в том случае, если бы все короли и все дворяне раскаялись в грехах; сами же они при этом никак не могли разрешить проблему своего крайне противоречивого отношения к основе основ русской религиозной традиции — православной церкви.

Ни одна из этих концепций не могла послужить фундаментом для управления обществом, сохранения существующего порядка вещей или поддержки преобразований, авторитарно проводимых короной. Точно так же, как Французская революция отступила под натиском наполеоновской диктатуры, консерватизм Александровской эпохи сошел на нет во второй четверти XIX века при абсолютистско-бюрократическом режиме Николая I. В обеих странах, как и во всей Европе, революционные идеи были институализированы и в то же время подавлены бездушной государственной машиной, которая освободилась от ограничений, налагавшихся старым режимом, и лишь для маскировки была покрыта тонким идеологическим налетом.

Хотя консерватизм в России выступал, как и везде, против революции, он был порождением той же европейской культуры XVIII века, что и революционное движение, и существовал в той же интеллектуальной среде. Зачастую консерваторы и радикалы состояли в родстве в буквальном смысле слова: Александр Тургенев и Сергей Глинка поддерживали самодержавие, в то время как их братья Николай и Федор примкнули к декабристам<sup>6</sup>. Говоря шире, франкоязычное Просвещение, сформировавшее менталитет французских революционеров, решительным образом повлияло и на образ мыслей русских дворян. Как выразился Герцен, даже во время Наполеоновских войн русские националисты «перекладывали [русскую историю] на европейские нравы»

---

<sup>6</sup> Н. В. Рязановский также видит много общего у декабристов и советников Александра I [Riasanovsky 1976: 98–99].

и «переводили римско-греческий патриотизм с французского на русский» [Герцен 1954–1966, 9: 130].

Наряду с этим прямым воздействием французских идей, в России и Европе происходили параллельные процессы. Линн Хант считает, что в конце XVIII века был развенчан патриархальный идеал монархии, служивший обоснованием законности французского абсолютизма. Одновременно с этим, как отмечает Стивен Бэр, в России терял популярность «миф о рае», согласно которому царь представляет Бога на земле, а русские люди, поклоняясь этой «иконе», могут восстановить земной рай. Ведущие литераторы, в частности, перестали превозносить священный образ царя и выступили в противоположной, «иконоборческой» роли. Целый ряд приводимых Бэром примеров — от А. Н. Радищева, противника абсолютной власти и крепостного права, до Г. Р. Державина, консерватора и сторонника самодержавия, — демонстрирует политически нейтральный (или «предполитический») характер происходивших изменений [Baehr 1984: 162, 158–164]<sup>7</sup>. Русская элита присоединялась к масонству, ставившему целью осуществить социальный прогресс путем морального самосовершенствования. Масонские ложи служили плавильным котлом, где формировалось критическое отношение к старому режиму, являвшееся общим как для русских консерваторов, так и для западных радикалов. Жан Старобинский замечает, что европейские франк-масоны XVIII века представляли свою программу как «исключительно моральную, не политическую», а между тем она «резко критиковала государственное устройство, так что вопреки провозглашаемой аполитичности их деятельность приобретала сугубо политический характер» [Starobinski 1979: 145]<sup>8</sup>.

Подобно вождям Французской революции, русские аристократы получали классическое образование, в основе которого лежали идеи сентиментализма и философии Ж. Ж. Руссо. Беря за образец реальные исторические личности или литературных героев, они поклонялись идеалу добропорядочного благонадеж-

<sup>7</sup> См. также [Hunt 1992: 25; Schmidt 1996: 7–13; Whittaker 1996].

<sup>8</sup> См. также [Smith 1995: 34].

ного гражданина, красноречивого, «естественного», близкого к природе, стойкого и готового отдать все ради родины, пекущегося о благе всего человечества, экспансивного и способного на сильное и глубокое чувство. Как правило, эти герои были лишены таких качеств, как эгоизм, практицизм, сухая рассудочность; им была чужда городская цивилизация с ее неестественными увлечениями и напускными чувствами, не говоря уже об ироничной отстраненности. Эти образы формировали представление русского читателя о мире: их пафос усиливал в нем любовь или ненависть, не допускал компромиссов; происходящее вызывало в этих героях прежде всего эмоциональную реакцию, а не прагматичные соображения. Восприятие людьми своей эпохи и ее главных действующих лиц (в первую очередь Наполеона и Александра I) колебалось между апокалиптическим ужасом и ожиданием тысячелетнего Царства Божия.

В культуре конца XVIII века стало уделяться больше внимания низшим классам, поскольку человек, чьи убеждения основывались на просветительской морали, вряд ли мог считать приоритетными общественными ценностями корпоративные интересы царской семьи, чиновничества, дворянства или церковников [Лотман 1994: 62–64]. Просветительская культура с ее понятиями сентиментализма и «возврата к природе» учила, что у крестьян тоже есть чувства, а забота об их благе и тем самым о благе родины — благородное побуждение. К тому же Французская революция продемонстрировала в ярких красках, какой разрушительной силой обладают взбудораженные массы, поэтому русские публицисты-консерваторы, подобно своим британским и немецким собратьям 1790-х годов [Erstein 1966: 461–465; Hole 1983], апеллировали к низшим слоям населения. Так, Ростопчин в 1812 году адресовал свои афиши рядовым москвичам, а среди подписчиков журнала С. Глинки «Русский вестник» были как петербургский великий князь, так и небогатый горожанин из Северо-Восточной Сибири. Консерваторы не ограничивались единичными обращениями непосредственно к народу, но сделали характер простых людей и их потребности главной темой своих публичных выступлений. Они поднимали вопросы о том,

сохранилась ли в крестьянах «русскость» — то неуловимое исконное качество, которое высшие классы утратили; о том, не является ли крепостное право благом для крестьянства, насколько лояльно их отношение к государству и каковы их религиозные чувства.

Таким образом, в России, как и в других странах, консерватизм и радикализм возникли в результате глубоких, отнюдь не политических по своей сути течений, следовавших по линиям разлома, которые образовались в культуре и мироощущении европейцев; как якобинцы, так и консерваторы использовали новые идеи в своих интересах. Критик самодержавия Радищев обращался к шаблонному образу добродетельного крестьянина для того, чтобы обличать крепостное право, а Глинка с помощью того же штампа идиллически изображал взаимоотношения крепостного и его хозяина. И если в Париже массовые сборища привели к свержению власти Бурбонов, то огромная толпа москвичей, собравшихся к приезду Александра I, стала (в описании Глинки) подлинным триумфом династии Романовых. Представление о том, что простым людям открыта суровая жизненная правда, лежало в основе обращенной к санкюлотам пропаганды Марата и Эбера, но также и в основе усилий Ростопчина поднять москвичей на борьбу с Наполеоном. Публичные выступления были инструментом революционной политики, однако Шишков в своих речах отстаивал позиции консервативные. Робеспьер и Сен-Жюст стремились привить людям республиканские добродетели; Стурдза и Голицын хотели с помощью разработанной ими программы образования и цензуры создать утопическое «христианское государство». Для жирондистов международная политика была ареной идеологической борьбы; аналогичные цели преследовали и основатели Священного союза. Между радикалами и консерваторами было столько общего, что радикалы XIX века, как пишет Массимо Боффа, вполне могли бы строить свои программы на основе контрреволюционной теории [Boffa 1989: 98].

Постепенное развитие гражданского общества при Александре I способствовало развитию русского консерватизма и, по сути, сформировало его; он же, в свою очередь, вносил свой вклад

в эволюционный процесс. Однако само понятие «гражданское общество» означало в России отнюдь не то же самое, что в других странах. Как пишет Франсуа Фюре, к концу старого режима во Франции под общественным мнением подразумевалась позиция составляющего основу нации сообщества грамотных людей, мыслящих независимо от диктата государства и свободных от классовых предубеждений, имеющих свое мнение по общественным вопросам и даже подвергающих сомнению правомочность королевской власти, при этом способных добиваться консенсуса [Furet 1988: 36]. Непременным условием этой концепции общественного мнения было существование слоя образованных людей — буржуазии и «дворянства мантии», — чья культура и интересы приходили порой в противоречие с системой наследственных прав. В России не было ничего подобного. В Германии, согласно Клаусу Эпштейну, буржуазия была очень немногочисленной, так что немецкое Просвещение заметно отличалось от аналогичного культурного направления в Британии и Франции и было представлено не политизированным средним классом, а преимущественно университетскими профессорами, преследовавшими научные интересы [Epstein 1966: 33–34]. Это было уже больше похоже на то, что наблюдалось в России. Но русские отошли еще дальше от политики и сместили фокус просветительской и вообще интеллектуальной деятельности в сторону эстетики и философии, что придавало их консерватизму своеобразный налет академизма. Нельзя забывать, что образованные россияне, как правило, владели крепостными либо были государственными чиновниками, — обе группы зависели от государства и не слишком стремились к социальным изменениям. В результате ключевые социально-политические вопросы, разделявшие население Франции или Германии на два лагеря, — судьба гильдий и дворянства, положение женщин и евреев, права официальной церкви и религиозных меньшинств, борьба абсолютизма с аристократическим конституционализмом, проблема автономии провинций, — в России почти не обсуждались. Всему этому, за исключением вопросов о крепостничестве и отдельных правах дворянства, уделялось гораздо меньше внимания,

чем таким метафизическим темам, как национальная душа, смысл истории и природа Бога. К тому же вплоть до 1825 года русское государство и русское дворянство служили проводниками общественного прогресса, так что у «просвещенных» россиян не было особого повода испытывать инстинктивную неприязнь к аристократии, какую многие немецкие просветители чувствовали по отношению к правителям своих карликовых княжеств [Schnabel 1948: 106]. Интеллигенция, у которой могло бы сложиться «общественное мнение» о политике, находилась еще в зачаточном состоянии — и, разумеется, впоследствии она переняла академический, интеллектуализированный подход к политике, выработанный ее предшественниками.

Романовы правили не в вакууме. Их деятельность была отчасти обусловлена мнением публики, и очень важно понимать, как работал этот механизм. «Публика» состояла преимущественно из аристократии и поместного дворянства, а также из небольшого числа образованных духовных лиц и купечества. Крестьяне и горожане низкого происхождения практически не общались с «публикой» на культурной почве, хотя войны 1805–1807 и 1812–1814 годов предоставили широкие возможности для преодоления сословных границ. Но в целом «общественное мнение» оставалось мнением высшего общества. Трудность употребления термина «общественное мнение» связана в данном случае еще и с тем, что он подразумевает наличие целостного компетентного сообщества, оперативно реагирующего на все значительные события. Но это представление не соответствует тому, что наблюдалось в то время во всех без исключения странах и тем более в России, с ее этнической неоднородностью, безграмотностью, бескрайними пространствами и цензурой. Даже в среде провинциального дворянства бедная мелкопоместная семья относилась к иной категории, нежели те, кто владел обширными землями и тысячами душ. Тем не менее дворяне разных категорий имели возможность встречаться друг с другом в связи с делами, затрагивавшими всех: государственной службой, управлением крепостными, получением образования; способствовали этому также их вестернизированные культурные интересы и частые разъезды.



При всей своей малочисленности русская «публика» играла исключительно важную роль в политике. Сосредоточенная в основном в двух столицах — Санкт-Петербурге и Москве, — она фактически и *была* государством. Подавляющее большинство руководящих государственных постов и командных должностей в армии, не говоря уже о советниках царя, занимали представители знати. Информация о положении дел в империи поставлялась царю чиновниками из дворян; они же исполняли его приказы. За пределами столиц фактическое управление страной осуществлялось десятками тысяч помещиков. Император был окружен аристократами и разделял их мировоззрение. И наконец, высокое положение знатных особ позволяло им «скинуть» монарха, покушающегося на их интересы, и даже убить его. Такая участь постигла и отца Александра (Павла I), и деда (Петра III). Без политической поддержки высшего дворянства не мог обойтись ни один российский правитель.

Российская «публика» была немногочисленна, но особенно узок был избранный круг наиболее влиятельных фамилий и особ, отличившихся при дворе, на имперской службе или в литературе и искусстве. Эти лица служили важным каналом связи, по которому политические новости и идеи распространялись среди прочей «публики», а ее мнения передавались в обратном порядке правительству. Когда читаешь письма, дневники и воспоминания людей этого круга, создается впечатление, что все они хорошо знали друг друга или находились в родстве [Лотман 1994: 378]. В результате этой тесной взаимосвязанности идеология становилась лишь одним из многих факторов, определявших отношения между членами элиты. Консерватор и прогрессист вполне могли быть друзьями или даже близкими родственниками, вместе воспитываться и влиять друг на друга. Это единообразие делало политический ландшафт довольно расплывчатым, и расхождения на идеологической почве не проявлялись четко вплоть до восстания декабристов 1825 года.

Тем не менее к концу XVIII века представители высшего класса стали предпринимать решительные меры по формированию общественного мнения, которое было бы основано не только на

личных и родственных связях, соседстве, принадлежности к православної церкви и служебных отношениях. Этому процессу способствовало расширение сферы общения посредством печати и сети частных обществ, где дворяне могли заводить знакомства за пределами традиционного круга. Отмена в 1762 году обязательной государственной службы для дворян оставила многих из них без дела, которому они могли бы посвятить свою жизнь, — для некоторых большее значение приобрели такие понятия, как служба на благо отечества вместо безоговорочной преданности монарху, а также личная честь и корпоративная независимость [Raeff 1966: 111; Шмидт 1993: 18–20]. К тому же влияние западных идей подорвало авторитет православной церкви как духовного и нравственного лидера и параллельно с этим росло число провинциальных дворян, переселявшихся в город и преодолевавших традиционные ограничения в виде семейных предпочтений и регионального стремления к автономии.

Дворяне обменивались мыслями по тому или иному вопросу через различные официальные и неофициальные каналы. Они встречались в школах, университетах и государственных учреждениях, хотя в этих местах и властям было легче осуществлять свой контроль. Другим официальным средством коммуникации служила печать. Количество выпускавшихся книг и периодических изданий возрастало<sup>9</sup>. Хотя каждая отдельная публикация доходила до небольшого числа людей, в целом влияние прессы было ощутимым. Несмотря на то что политической журналистики в России почти не существовало, а цензура была весьма бдительна, писатели поднимали важные социальные вопросы под видом литературной критики, путевых очерков и морализаторских сочинений. Эзопов язык помогал обойти цензурные препоны. Помимо печатных изданий, в обществе циркулировали неопубликованные сочинения, которые переписывались от руки, так как книг и журналов было все-таки мало и их нелегко было раздобыть. Проще было сделать рукописную копию (пусть даже при этом возникали отличавшиеся друг от друга и от оригинала

---

<sup>9</sup> См. об этом [Marker 1985].

версии), чем купить книгу — если она была напечатана — или пытаться найти издателя. К тому же при этом произведение не подвергалось цензуре, так что стихи, памфлеты и эпиграммы политически рискованного содержания распространялись тайком в форме «самиздата». Власти пытались время от времени остановить поток этих сочинений и предпринимали карательные меры по отношению к авторам наиболее дерзких из них, но добиться эффективного контроля над этим процессом им не удавалось. Драматурги в своих пьесах также затрагивали злободневные темы, и зрители радостно приветствовали актеров, прохаживавшихся по поводу текущих событий.

Важную роль в формировании общественного мнения играли и общественные мероприятия. Некоторые из них отчасти проводились по определенной процедуре. В России той эпохи создавались первые клубы, где их члены могли пообщаться между собой, сыграть в карты, пообедать; в них, как правило, устраивались читальные залы, предоставлявшие последние выпуски периодической печати. Наиболее значительными из этих заведений, хотя далеко не единственными были Английские клубы в Петербурге и Москве, насчитывавшие по нескольку сотен членов. Дворяне встречались друг с другом также и в масонских ложах. Масонство расцвело в России в 1770-е и 1780-е годы, пережило период репрессий, когда Екатерина II заподозрила масонов в подрывной деятельности, и возродилось с новой силой при Александре I. Скрытность масонов, своеобразие их ритуалов и слухи о связи некоторых лож (в особенности мартинистских, наиболее склонных к мистицизму) с Французской революцией создали масонству репутацию опасного бунтарского движения. Тем не менее его духовная основа была притягательной для людей, которые под влиянием западного рационализма разочаровались в православном христианстве, но не утратили потребности в вере; однако и эти духовные поиски рассматривались как признак недостаточной лояльности по отношению к официальной церкви.

Помимо этих организованных групп, существовало неформальное общение дворян — прежде всего в салонах, игравших

заметную роль в жизни крупных городов. Салоны регулярно устраивали как видные представители российской элиты, так и иностранные дипломаты, зачастую приглашая в них постоянную публику. Салоны варьировались по степени своего престижа; некоторые из них (например, салон великой княгини Екатерины Павловны, существовавший в Твери в 1809–1812 годы) имели четко выраженную политическую направленность. Практически все петербургские салоны в 1807 году отказали в приглашении наполеоновскому послу, что явилось открытым выражением недовольства по поводу Тильзитского мира.

Салоны, масонские ложи и государственные учреждения служили моделями для других возникавших в то время организаций, имевших политическую окраску. По образцу салона, в частности, в 1810 году была создана «Беседа любителей русского слова», которая стала первой официальной общественной организацией, имевшей целью пропаганду консервативных идей. Начавшиеся после 1815 года конспиративные встречи будущих декабристов продолжили традицию секретности масонских лож. Третий тип публичных собраний, который приобрел особое значение также после 1815 года, воспроизводил структуру и порядки государственных учреждений. Таким было Российское библейское общество (членство в нем считалось чуть ли не обязательным для тех, кто занимал или желал занять высокое положение в обществе). Будучи формально независимой организацией, общество на самом деле являлось наполовину правительственной структурой, с соответствующей иерархией.

В правительство входили те же лица, которые состояли в ложах и посещали салоны, и потому оно обычно было хорошо информировано о мнении публики. Кроме того, оно постоянно прибегало к услугам полицейских осведомителей, а нарушение конфиденциальности почтовых отправок являлось будничным делом, так что люди избегали критиковать монарха в личной переписке. Установился *modus vivendi*, при котором публика выражала свое мнение шепотом и намеками, дабы не провоцировать репрессивных действий со стороны властей, правда власти научились расшифровывать используемые эвфемизмы. Однако,

принимая грозный вид для устрашения публики, правительство в то же время прислушивалось к общественному мнению и иногда уступало его требованиям. Разговоры в салонах, самостоятельно выпущенные памфлеты, собрания масонских лож вовсе не были случайной ответной реакцией на усиление авторитарной политики, а служили активным компонентом политического процесса российского самоуправления<sup>10</sup>.

Широкая публика смутно представляла себе сущность различных идеологических течений того времени — отчасти из-за особенностей политических процессов, происходивших в России начала XIX века. Достижение высокого положения в обществе зависело не столько от поддержки общественного мнения, сколько от благосклонности и покровительства людей у власти. Возникали прочные связи между влиятельными лицами и теми, кому они оказывали поддержку в обмен на преданность<sup>11</sup>. Примером могут служить отношения между двумя фигурами, игравшими важную роль в истории консерватизма: великой княгиней Екатериной Павловной и Ростопчиным, которых объединяли близость политических взглядов, связи с Павлом I и дружба с Карамзиным. Реальная власть зависела от отношений с правителем и его доверенными лицами, а не от титулов или занимаемой должности. Так, Шишков сменил в 1812 году М. М. Сперанского на посту государственного секретаря, однако не унаследовал его влияния, поскольку не пользовался таким же, как Сперанский, доверием царя. В отличие от него, А. А. Аракчеев с 1821 года фактически самовластно руководил всей внутренней политикой — и не столько благодаря своему высокому посту, сколько потому, что Александр ему доверял. Личные отношения с сильными мира сего лежали в основании всей системы и препятство-

<sup>10</sup> Отношения между просветительской культурой, государством и общественным мнением этого периода всесторонне изучались на примере стран Западной и Центральной Европы. В работе А. ла Вопы [La Vopa 1992: 89–98] анализируются два классических исследования, посвященных этой теме: книги Юргена Хабермаса и Райнхарта Козеллека.

<sup>11</sup> О том, как действовала эта система протекционизма, см. [Ransel 1975; LeDonne 1991: 19–21].

вали образованию независимых, идеологически сплоченных групп и блоков.

В данном исследовании учитываются личностный характер российской политики начала XIX века и ее взаимосвязь с общественным мнением. За отсутствием реальных партий и четко обозначенных идеологических платформ история политической мысли и практики данной эпохи сводится к выявлению диалектических взаимоотношений между той или иной личностью и ее окружением. Личный опыт различных людей, сформированный под влиянием господствующих в обществе социальных установок, систематизировался и уточнялся, образуя определенные взгляды, которые в совокупности формировали, в свою очередь, взгляды общества в целом. Таким образом, история русского консерватизма с 1800 года по 1820-е — это история жизни различных поколений и их социокультурной среды, которую удобнее всего изучать на примере отдельных фигур, типичных для этого направления и наиболее полно выражающих его коллективную идеологию. Личности, которым в первую очередь посвящена данная работа, — Шишков, Глинка, Карамзин, Ростопчин, А. Стурдза, Р. Стурдза, Голицын, Рунич — оставили большое количество письменных сочинений и очень часто упоминаются в письмах и мемуарах современников, поэтому их жизнь и взгляды можно описать с достаточной достоверностью. Разумеется, выводы об их влиянии на общественное мнение необходимо делать с большой осторожностью, но я полагаю, что значительное количество доступных источников дает неплохое, пусть даже и методологически устаревшее представление о том, как воспринимало общество идеи консерваторов и их деятельность.

И наконец, необходимо сказать несколько слов об историографии консерватизма Александровской эпохи. Существует много научных трудов, созданных до революции 1917 года, — это, в частности, работы пионеров данной тематики А. Н. Пыпина, С. П. Мельгунова, Н. Н. Булича, А. А. Кизеветтера, а также более специализированные исследования Н. Ф. Дубровина, И. А. Чистовича, А. А. Кочубинского, М. И. Сухомлинова, В. Я. Стоюнина и других. Это ценный материал, но методологически устаревший.

Сочинения указанных авторов пронизаны страстями предреволюционной эпохи, что делает их — в частности, работы Мельгунова и Кизеветтера — чрезвычайно интересными для чтения, но заставляет усомниться в адекватности их интерпретации событий. Нарисованные авторами образы консерваторов ранней эпохи окрашены впечатлениями, полученными в годы правления Александра III и Николая II; к тому же они и сами не скрывают своего намерения изучать прошлое для того, чтобы оценить настоящее. (Информация об их работах, как и обо всех прочих, использованных в данном исследовании, собрана в списке литературы в конце книги.)

После 1917 года начало XIX века рассматривалось в русской историографии сугубо в контексте роста революционного движения. Советские историки неизменно проводили резкое и частую искусственное разграничение между прогрессивными деятелями и реакционерами. Они старательно собирали документы, воссоздававшие славную историю декабристов, а их современников-консерваторов преподносили как бездарей. Поведение элиты эти историки объясняли исключительно внешними факторами (материальными затруднениями, бунтарством крестьян, развитием «буржуазных» экономических отношений), а роль культуры и идеологии недооценивали. Подобный уклон наблюдается даже в работах таких талантливых ученых, как А. В. Предтеченский и С. Б. Окунь. Последний утверждал, к примеру, что Священный союз был всего-навсего «союзом реакционных правителей для борьбы с прогрессивными идеями, союзом абсолютных монархов для борьбы с революционным движением» [Окунь 1948: 305]. Исключением из этой односторонней трактовки исторических событий стали труды некоторых историков литературы и общественной мысли: Ю. М. Лотмана, М. Ш. Файнштейна, М. Г. Альтшуллера. Недавно изданное Г. Д. Овчинниковым собрание сочинений Ростопчина и написанная В. И. Карпецом в откровенно шовинистическом духе биография Шишкова говорят об убеждении некоторых русских исследователей, что ранний консерватизм дает пищу для размышлений о российских проблемах конца XX — начала XXI веков.

За пределами России консерватизм Александровской эпохи не вызывал особого интереса в научных кругах вплоть до конца 1950-х годов (исключение составляют разве что Эрнст Бенц, Вольфганг Миттер и Александр Койре). Если кто-то из ученых, например Н. В. Рязановский или Анджей Валицкий, и обращался к истории русского консерватизма, то прежде всего ко второй четверти XIX века — к эпохе Николая I. Западные исследователи истории царской России по вполне понятным причинам, связанным с революцией 1917 года и холодной войной, уделяли непропорционально большое внимание изучению революционного движения. Как заметил американский историк Арно Майер, скептически относящийся к консерваторам XIX века, европейских историков, изучающих период между 1789 и 1914 годами, «гораздо больше интересовали силы исторического прогресса и построение нового общества, нежели силы инерции и сопротивления, замедлявшие отмирание старого порядка» [Mayer 1981: 4].

В последние десятилетия, однако, у западных ученых пробудился интерес к русским консерваторам Александровской эпохи (см. работы Дж. Л. Блэка, Э. Г. Кросса, Дж. Флинна, Р. Пайпса, Дж. К. Зачек, С. Уиттейкер, Ф. Уокера и других). Это связано с изменением оценки старых европейских режимов и монархий, восстановленных после Наполеоновских войн, и отказом от схемы, представляющей борьбу «прогрессивных» социальных сил с «реакционными» правителями<sup>12</sup>. Эти историки сместили фокус своего внимания с «двойной», по выражению Эрика Хобсбаума (политической и промышленной), революции [Hobsbawm 1962: xv] на культурное развитие и государственное строительство. В данной работе я опираюсь на их исследования и в целом разделяю их взгляды.

---

<sup>12</sup> См. примеры нового подхода к оценке событий французской и итальянской истории в работах: [Schama 1989: 184–194; Hunt 1992; Furet 1998; Riall 1994: 16–17].



# Глава 1

## Адмирал Шишков и романтический национализм

Фигура А. С. Шишкова является ключевой для понимания русского консерватизма начала XIX века благодаря тому, что он был характерным и одним из старейших представителей своего поколения, вышедшим из среды вестернизированного служилого дворянства, и приверженцем романтико-националистических идей. Под влиянием травмирующих событий 1789–1805 годов он пересмотрел традиционные воззрения этого социального слоя в свете новейших интеллектуальных веяний эпохи. Разработав оригинальную теорию культурного нативизма, противопоставлявшуюся им социально-политическому реформаторству, Шишков стал одним из зачинателей романтического национализма. Между тем более молодым консерваторам, присоединившимся к этому движению уже после 1789 года, он представлялся кем-то вроде динозавра: в социально-культурном отношении их разделяла целая пропасть. Поэтому жизнь и труды Шишкова яснее чьих-либо еще показывают, с одной стороны, как глубоко был укоренен русский консерватизм XIX века в мире русского дворянства предыдущего столетия, и, с другой стороны, насколько он был этому миру чужд. Шишков также участвовал в популяризации двух фундаментальных для мыслителей правого толка идей: о том, что Просвещение и интеллектуальный космополитизм служили причиной революционных сдвигов и что прогресс культуры должен способствовать сплочению общества, а не

Рис. 1. Дж. Дау (Доу).  
Портрет А. С. Шишкова.  
[ОВИРО 1911–1912, 3: 172]



развитию индивидуалистического, критического образа мыслей. Россия, утверждал он, должна отвергнуть недостойную традицию вестернизации с ее разъединяющим людей вольномыслием и культурным отчуждением и вернуться к своей подлинной идентичности, воплощением которой была допетровская Русь.

Таким образом, хотя интеллектуальные искания Шишкова указывают на отечественные истоки современного ему русского консерватизма, в то же время он вместе с другими представителями романтического национализма принадлежал и к общеевропейскому движению, которое отвергало ценности старого режима и искало им замену. Некоторые из предлагавшихся ими альтернатив носили консервативный характер, другие — революционный, но как первые, так и вторые произрастали на одной и той же культурной почве. Французская революция также была отчасти результатом протеста против изнеженной аристократической культуры и стремления утвердить суровую «добродетель», идеалы которой смоделировали Жан-Жак Руссо и Бенджамин Франклин. Идея революционной естественности, получившая в то время распространение, опиралась на несколько источников, в том числе на средневековое прошлое, моральную чистоту простых людей и культ героев античности. Революционеры

заявляли, что мужественная и добродетельная нация восстанавливает свое право быть хозяйкой своей страны, ранее узурпированное изнеженными, вырождающимися иноземцами<sup>1</sup>. Наиболее влиятельной фигурой среди романтиков-националистов был, пожалуй, немец Иоганн Готфрид Гердер. Адепты этого направления полагали, что идентичность и историческая роль нации — понимаемой как этническое, а не политическое единство — кроется в ее культурном наследии. Выступая против свойственной Просвещению рационалистической универсализации с французским оттенком, они заявляли, что развитием нации руководят таинственные, подспудные законы, не поддающиеся рассудочному толкованию. Приобщение к душе нации придает жизни человека смысл. Чтобы успешно развиваться, культура должна прежде всего выявить движущие силы своей идентичности и в особенности эмоции, таящиеся в самых дальних и темных закоулках национальной души. Это подразумевало исследование прошлых эпох, в частности Средневековья, когда душа нации проявляла себя со всей своей девственной силой. А для этого надо было изучать национальный язык, передающий неповторимые особенности национального мышления, очищать его от чуждых ему примесей и внимательно относиться к языку социальных низов, сохраняющих языковые традиции в их наиболее чистом виде. Националисты-романтики тех регионов, где доминировала иностранная культура (славяне, норвежцы, греки, немцы, кельты), переняв присущий предыдущему столетию интерес к истории, стремились кодифицировать свой язык, составляли словари, собирали народные сказки и средневековые эпические поэмы. По удачному выражению Эрика Хобсбаума, они «изобретали традицию», чтобы построить на ее основе концепцию национальной идентичности [Hobsbawm, Ranger 1983: 2–14]<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> См. [Starobinski 1979: 68–76, 96; Schama 1989: 162–174, 798–799; Hunt 1992: 121, *passim*; James 1988: 239].

<sup>2</sup> Убедительную точку зрения на романтический национализм высказывает Томас Нипперди в своем весьма интересном исследовании [Nipperdey 1986: 110–125].

Представители всех основных консервативных течений Александровской эпохи во многом разделяли настроения националистов-романтиков. Подтверждением этому могут служить «История государства Российского» Карамзина или вера А. Стурдзы в мессианское предназначение русского народа. Но решительнее всех отстаивал эти идеи в ходе российских культурных дебатов адмирал Шишков. Его деятельность продолжалась семь десятилетий (с 1770-х по 1840-е годы), в течение которых сменились правления четырех монархов, — он стал переходной фигурой, связавшей две различные эпохи. Сторонник самодержавия и крепостного права, он, сам того не желая, подрывал устои и того и другого. Он считал, что политически Россия является частью Европы, но в культурном отношении должна идти своим путем. Шишков был государственным деятелем и мыслителем, что в те годы удавалось совмещать все реже, так как раскол между государством и обществом углублялся [Raeff 1982a: 37]. Патриотизм адмирала и его стремление к совершенствованию общества в сочетании с категорическим неприятием революций сформировали его мировоззренческую позицию — националистическую, реакционную и утопическую. Аналогичные взгляды высказывал в XVIII веке противник вестернизации М. М. Щербатов в сочинении «О повреждении нравов в России» (1786–1787). Но Шишков, в отличие от Щербатова, был романтическим националистом и верил, что традиционные добродетели лучше всего сохранились в России среди крестьян. Однако его восхищение Петром I (не разделявшееся Щербатовым) и Екатериной II свидетельствует, что он был слишком прочно привязан к своим корням — служилому дворянству XVIII века — и принадлежал к поколению, не подготовленному к систематическому философствованию, а потому его нельзя причислить к славянофилам, чьим идейным предшественником он являлся<sup>3</sup>.

Александр Семенович Шишков родился, по его словам, 8 марта 1754 года в Москве<sup>4</sup>. Его предки по отцовской линии пересе-

<sup>3</sup> О Щербатове см. [Walicki 1975: 21–32].

<sup>4</sup> РО ИРЛИ. Ф. 10. Д. 102. Л. 83 об. Некоторые авторы в качестве даты рождения Шишкова называют 16 марта 1753 года. См. [Шишков 1870, 1: 1 (примеч. ред.); Goetze 1882: 316].

лились в Россию из Польши в XV веке; сам он, согласно его послужному списку, составленному Морским ведомством в 1780 году, был «российской нации, из дворян, крестьян за собою имеет в Кашинском уезде мужеска полу пятнадцать душ»<sup>5</sup>. Ограничивался ли этим весь семейный капитал, или же это была доля, принадлежавшая адмиралу, — неизвестно, как и многое другое, относящееся к первым 35 годам его жизни<sup>6</sup>. Тем не менее духовное и интеллектуальное развитие Шишкова служит примером того, как русский дворянин XVIII века, особо не интересовавшийся политикой и в целом, пожалуй, вполне типичный, мог в следующем столетии стать участником консервативного движения.

Семен Никифорович Шишков (отец Александра), его жена Прасковья Николаевна и пятеро сыновей<sup>7</sup>, вероятно, проводили каждое лето в провинции, недалеко от города Кашина, расположенного в полутора сотнях верст к северу от Москвы. Это было сердце допетровской Руси, удаленное как от западных пределов государства, так и от пограничных поселений на востоке. Здесь каждый житель принадлежал к Русской православной церкви, а крестьяне издавна были крепостными. Шишковых — если они действительно владели всего лишь пятнадцатью крестьянскими душами — можно отнести к типичным провинциальным дворянам, небогатым, но гордящимся своим давним происхождением<sup>8</sup>.

---

<sup>5</sup> РГАВМФ. Ф. 406. Оп. 7. Д. 17. Л. 1335 об. См. также ст. «Шишковы» [Брокгауз, Ефрон 1890–1907, 78: 615–616].

<sup>6</sup> Об истории написания воспоминаний Шишкова см. [Тартаковский 1991: 197–200].

<sup>7</sup> О семье Шишковых см. [Долгоруков 1854–1857, 4: 221–222]. Однако Долгоруков, по-видимому, не знал о существовании пятого сына, Герасима, указанного в ст. «Шишков Николай Петрович» [Половцов 1896–1918, 23: 320–324].

<sup>8</sup> По данным 1719 года, 67,8 % крестьян этого района были крепостными [Kolchin 1987: 30]. В 1777 году у 32 % русских крепостников было менее десяти крестьянских душ, у 30,7 % — от десяти до 30. Встречались, конечно, и такие, кто владел тысячами [Blum 1961: 367]. В начале 1800-х годов помещик, у которого насчитывалось менее 20 душ, «считался обедневшим» [Kolchin 1987: 165].

Иначе говоря, маленький Александр рос в скромной сельской обстановке и, подобно многим отпрыскам дворянских семей, играл, вероятно, вместе с крестьянскими детьми и воспитывался няней, познакомившей его с народными преданиями и культурой<sup>9</sup>.

Родители Александра вырастили способных и деятельных сыновей. Ардалион состоял в членах фешенебельного Английского клуба, то есть, по-видимому, был принят в высших слоях московского общества<sup>10</sup>. Дмитрий служил в гвардейском Преображенском полку, впоследствии возглавил одну из российских губерний и женился на девушке из знатного рода Толстых<sup>11</sup>. Правда, при этом он был не в ладах с грамотой<sup>12</sup>. Безусловно, Шишковым, как и многим провинциальным дворянам, не хватало столичного блеска, и даже Александр, при своих обширных, хотя и бессистемных знаниях, проявлял в зрелые годы свойственную самоучкам идиосинкратическую манеру ведения дискуссии. Примечательно, что он никогда не писал по-французски (этот навык был отличительным признаком аристократического воспитания). Таким образом, три брата Шишковых сумели пробить себе дорогу в жизни, но сохраняли черты, обусловленные их относительно скромным происхождением. О судьбе двух других братьев, Николая и Герасима, ничего не известно, за исключением того, что сын Герасима, согласно некоторым источникам, женился на дочери писателя А. Т. Болотова [Рябинин 1889: 44]<sup>13</sup>.

---

<sup>9</sup> Об этой стороне жизни дворян см. [Raeff 1966: 122–124].

<sup>10</sup> Ардалион был на несколько лет младше Александра, умер же в 1813 году. См. ст. «Шишков Александр Ардалионович» [Мироненко, Нечкина 1988: 201–202]. У него осталось четверо детей, и троих из них вырастили бездетные Александр Шишков и его жена.

<sup>11</sup> РО ИРЛИ. Картотека Б. Л. Модзалевского. Карт. 1861; РО ИРЛИ. Ф. 265. Оп. 2. Д. 3108. Л. 37. Письмо Шишкова к Дарье Алексеевне от 4 мая 1798 г., Дрезден; РО ИРЛИ. Ф. 13. Д. 852. Письмо О. П. Козодавлева к Шишкову от 28 февр. 1813 г., Санкт-Петербург. Долгоруков сообщает, что второй женой Дмитрия была графиня Вера Толстая [Долгоруков 1854–1857, 4: 222].

<sup>12</sup> См. письмо Шишкова: РГИА. Ф. 1673. Оп. 1. Д. 250.

<sup>13</sup> См. также РО ИРЛИ. Картотека Б. Л. Модзалевского. Карт. 1861; ст. «Шишков Николай Петрович» [Половцов 1896–1918, 23: 320–324].

Судя по всему, Шишковы, подобно большинству мелкопоместных дворян губернии, зимние месяцы проводили в Москве: Александр там родился, и по крайней мере один из братьев, как известно, жил в городе почти все время. В среде московской знати кипела интеллектуальная и культурная деятельность. Вместе с тем древняя столица Руси была цитаделью национального и религиозного консерватизма, в отличие от открытого западным веяниям Санкт-Петербурга, основанного Петром Великим на Балтике [Шишков 1818–1834, 12: 270]<sup>14</sup>. Москва, вероятно, пробудила в Шишкове склонность к литературному труду и одновременно упрочила патриотический традиционализм, в духе которого он был воспитан, — в том числе возникшее у него еще в юности преклонение перед Петром I и великим русским ученым и поэтом М. В. Ломоносовым. Интерес к серьезным вопросам и народным обычаям и нравам, как и знание литературы, языка и ритуалов православной церкви, были также, по всей вероятности, привиты Шишкову еще в юные годы. С другой стороны, тот факт, что он в 13 лет переехал в Санкт-Петербург, где прожил большую часть жизни, по-видимому, объясняет, почему он проявил впоследствии плохое знание крестьянства. Должно быть, идеализация сельской жизни была следствием его литературных занятий и дорогих ему детских воспоминаний, но непосредственного контакта с крестьянами в зрелом возрасте он почти не имел. Если его личность действительно сложилась под влиянием всех этих факторов, то можно сказать, что он был типичным для того времени дворянином, со скромными средствами, но живым умом, побуждавшим его добиваться успеха на государственной службе. В годы службы возросла горячая преданность Шишкова царице и вместе с тем усилилось недоверие к придворной знати, пользовавшейся незаслуженными привилегиями и богатством и преклонявшейся перед Западом.

Существует мнение, что культурный консерватизм Шишкова развился в основном на русской почве [Стоюнин 1887, 1: 237–238],

---

<sup>14</sup> О различиях между петербургским и московским обществом см. начало третьей главы данной книги.

однако в формировании его, как и всего русского консерватизма, сказалось и воздействие Запада. Германофильство Шишкова, не ослабевавшее с годами, показывает, что в России XVIII века большую роль играли немецкая культура и историко-филологические науки [Raeff 1967]. Шишков и его семья поддерживали дружбу со знаменитым ученым А. Л. Шлёцером [Шлёцер 1875: 101, 165]<sup>15</sup>. Вопросы, которыми занимался Шлёцер, — средневековая Русь, церковнославянский язык, культура других славянских народов, — увлекали впоследствии и самого Шишкова [Pohrt 1986: 372]; немецкий ученый, как утверждают, повлиял на его лингвистические теории. Показательно, однако, что обширная библиотека Шишкова содержала всего один том сочинений Шлёцера [Pohrt 1986: 358–374; Коломинов, Файнштейн 1986: 65]<sup>16</sup>, и нет свидетельств того, что его взгляды сложились под прямым влиянием кого-либо из западных мыслителей. Скорее на него воздействовала сама интеллектуальная атмосфера, в создании которой они участвовали.

Долгая карьера Шишкова началась 17 сентября 1767 года, когда он поступил в Санкт-Петербургский Морской кадетский корпус, дававший образование европейского образца и обучавший кадетов техническим дисциплинам, математике и иностранным языкам. По окончании корпуса он поступил на службу в Военно-морской флот<sup>17</sup>. Образованный и честолюбивый морской офицер, без колебаний отдавший служению идеалам просвещенного абсолютизма, он чувствовал себя как рыба в воде в атмосфере старого режима, чем отличался от более молодых и лучше образованных людей, обладавших беспокойной натурой и более развитым умом, которые заняли консервативную позицию после 1789 года. Шишков с радостью ухватился за возмож-

<sup>15</sup> См. также [Сборник 1867–1916, 4: 14; Сборник 1867–1916, 8: 337; Долгоруков 1854–1857: 219–222; Neuschäffer 1975: 400–405; Goetze 1882: 245, 283].

<sup>16</sup> Описание библиотеки Шишкова см.: РГИА. Ф. 1673. Д. 1. Оп. 111. Л. 30 об. Шишкову принадлежала книга Шлёцера «Nestor. Russische Annalen in ihrer Slavonischen Grundsprache verglichen, übersetzt und erklärt». Т. 3. Göttingen, 1805.

<sup>17</sup> РГАВМФ. Ф. 406. Оп. 7. Д. 17. Л. 1335 об.



ность познать мир во время зарубежных походов<sup>18</sup>; он был благочестив, но не фанатичен, патриотически настроен, но открыт другим культурам, аполитичен, но полностью предан ценностям поместного дворянства и чиновничества. В 1780-е годы Шишков преподавал в Морском кадетском корпусе, а затем служил в канцелярии вице-президента Адмиралтейств-коллегии. В 1790 году он участвовал в войне со Швецией; князь П. А. Зубов, командовавший Черноморским флотом, пригласил его на работу в свой штаб, но Шишков не успел занять этот пост, так как в 1796 году умерла Екатерина II<sup>19</sup>.

В 1780–1790-е годы, находясь на государственной службе, Шишков начал одновременно пробовать свои силы на литературном поприще. Он написал пьесу по заказу директора императорских театров [Шишков 1818–1834, 12: 1–32; Шишков 1870, 1: 1–2], переводил с немецкого рассказы и стихи для детей, в XIX веке повсеместно использовавшиеся при обучении детей грамоте [Половцов 1896–1918, 23: 316–320; Стоюнин 1877, 1: 252–253; Боленко 1996], а также сочинял трактаты о морском флоте [Якимович 1985: 55; Половцов 1896–1918, 23: 316–320]. Новый командующий Черноморским флотом адмирал А. С. Грейг одобрял его литературные опыты — как и императрица: Екатерина распорядилась издать некоторые из них за государственный счет. Однако, судя по письмам Шишкова к разным влиятельным лицам с просьбой посодействовать публикации его книг, высокое покровительство имело свои пределы<sup>20</sup>.

Одним из тех, кто поддерживал Шишкова на этом пути, был адмирал И. Л. Голенищев-Кутузов, директор Морского кадетского корпуса, сам также занимавшийся сочинительством. В его салоне бывали и люди творческих профессий, и сановники

---

<sup>18</sup> Описание кораблекрушения в Швеции см. в [Шишков 1818–1834, 12: 314–327]. О плавании по Средиземному морю см. [Шишков 1834; Русский путешественник 1897].

<sup>19</sup> РГИА. Ф. 1673. Оп. 1. Д. 2. Л. 1 об–2.

<sup>20</sup> См. копии писем Шишкова к П. А. Зубову, А. Г. Орлову-Чесменскому и П. А. Румянцеву-Задунайскому: ОР РНБ. Ф. 862. Д. 3. Л. 78–81.

[Панченко 1988: 200–203]. Кутузов поощрял увлечение Шишкова литературой и повлиял на формирование его патриотических взглядов, ибо, как позднее вспоминал Шишков, он «охотно читал иностранных писателей, но своих еще охотнее. Феофан, Кантемир, Ломоносов, а более всего чтение духовных книг утвердили его в знании отечественного языка»<sup>21</sup>. Шишков имел возможность регулярно видеться с Кутузовым на протяжении 35 лет. У обоих были связи с масонством, и Кутузов, вполне вероятно, мог познакомить Шишкова с другими писателями и способствовать его принятию в члены Российской академии в 1796 году. Дружил Шишков и с другими представителями семьи Кутузовых, в том числе с Михаилом Илларионовичем, героем Отечественной войны 1812 года и также масоном [Шишков 1870, 1: 3; Панченко 1988: 200–203]<sup>22</sup>.

В конце 1780-х годов Шишков поддерживал отношения с Обществом друзей словесных наук [Семенников 1936]<sup>23</sup>, которое было основано масоном М. И. Антоновским и, как говорили, насчитывало десятки, если не сотни членов. С этим обществом были также связаны имена мистика А. Ф. Лабзина, двух будущих президентов Российской академии (Шишкова и А. А. Нартова), а также писателей и поэтов Г. Р. Державина, И. И. Дмитриева, И. А. Крылова, А. Н. Радищева. Кроме того, в общество входило много морских офицеров, бывших, подобно адмиралу Грейгу, полноправными членами масонских лож; их взгляды свидетельствовали об их знакомстве с языками и культурой разных стран. Таким образом, Шишков занимался творчеством в среде, где пересекались служба во флоте, литература и масонство.

Общество друзей словесных наук выступало за социальный консерватизм, гуманное обращение с крепостными и религиозную мораль, подвергая при этом критике православную церковь.

<sup>21</sup> РО ИРЛИ. Ф. 265. Оп. 2. Д. 3109.

<sup>22</sup> См. также РО ИРЛИ. Ф. 358. Оп. 1. Д. 149. Л. 4–5. Письмо Шишкова к Е. И. Кутузовой от 2 февраля 1813 года, Кладово; [Аксаков 1955–1956, 2: 287].

<sup>23</sup> В 1780–1781 годах Шишков был также почетным членом масонской ложи [Bakounine 1967: 534–535].

Иначе говоря, это была программа нравственного воспитания, носящая экуменический характер. Связь Шишкова с обществом длилась, судя по всему, по крайней мере до 1790 года; впоследствии он стал критиковать масонство и защищать церковную иерархию. Масоны были против заимствований из иностранных языков, и Шишков впоследствии подхватил их почин в своей кампании за чистоту русского языка — его будущий противник в области литературы Карамзин уже в конце 1780-х и начале 1790-х годов подвергался критике со стороны масонов. Карамзин (как и Антоновский) был учеником Н. И. Новикова, одного из лидеров масонского движения, но затем по идеологическим причинам их пути разошлись. Нападки на Карамзина были характерной особенностью атмосферы, в которой сформировались литературные взгляды Шишкова, и многие аргументы, к которым он впоследствии прибегал, он позаимствовал у масонов<sup>24</sup>.

Масонство играло важную роль в культуре российской аристократии. Оно обладало налетом эгалитарности и не контролировалось напрямую государством, тем самым бросая вызов бюрократически-абсолютистскому аппарату с его жесткой иерархической системой. О его значении в формировании общественного мнения (все еще «предполитического») говорит хотя бы тот факт, что в масонской среде лидеры основных консервативных течений начала века (националист-романтик Шишков, поборник дворянского консерватизма Карамзин и религиозный консерватор Лабзин) могли общаться не только между собой, но и с таким радикальным критиком общественного уклада, как Радищев. Всех их объединяло утвердившееся в XVIII веке убеждение, что ключом к социальному прогрессу является «добродетель», однако они расходились друг с другом, обращаясь к политической реальности, где понятие «добродетель» могло означать совершенно разные вещи. Екатерина II относилась к масонам с недоверием. Их тайные эзотерические ритуалы казались ей шарлатанством; к тому же она подозревала масонов в связях с пренебрегаемым

---

<sup>24</sup> См. [Cross 1971: 58–60; Семенников 1936; Панченко 1988: 35–37; Лотман, Успенский 1975: 181–182, 194].

ею сыном Павлом и с прусским двором — ее соперником на европейской арене. В результате ее сановники в конце 1780-х годов не давали покоя московским розенкрейцерам. Однако серьезные гонения на масонов, как и назревавшие внутри самого движения разногласия между ложами, начались лишь с обострением международной обстановки в Европе во время Французской революции. Боясь, что они развернут вредоносную деятельность, Екатерина велела арестовать ведущих масонов и упрятать их за решетку [Madariaga 1981: 521–531].

В начале 1780-х годов Шишков написал стихотворение «Старое и новое время», показывающее, что из просветителя-морализатора он превратился в романтика-националиста. Это произведение, первое из его дошедших до нас высказываний об обществе и истории, предвещает его будущую идеализацию допетровской Руси как эпохи, когда жизнь была лучше, а нравственность выше — мотив, звучавший в то время, помимо всего прочего, и в морализирующем учении франкмасонов [Monnier 1979: 268–269, 272]. Однако идиллическое «прошлое» в этом стихотворении предстает как вневременное русское качество, свободное от европейских влияний: в отличие от подчеркнутого историзма его более поздних сочинений, здесь Шишков еще не пытался привязать утопию к определенному историческому моменту<sup>25</sup>. Впоследствии он в том же духе идеализировал правление Екатерины II, хотя и при ее жизни уже испытывал ностальгию по канувшему в прошлое золотому веку. Эпоха Просвещения обострила его нравственное чувство: еще ребенком он привык отождествлять сельскую жизнь с высокой нравственностью и был шокирован ее полным отсутствием в официальном Петербурге, где он провел большую часть жизни. Отсюда возникла его излюбленная идея о русской «традиции», сложившаяся из его детских воспоминаний, литературных опытов, патриотических чувств и категорического неприятия светского общества. Однако он не страдал ксенофобией: российская столица с претящими ему грехами никак не была «Западом», а его любовь к классической

<sup>25</sup> Анализ стихотворения см. в [Альтшуллер 1984: 37–38].

культуре, к Швеции, Германии и Италии, как и его женитьба на лютеранке, доказывают, что он не видел в Европе врага. Он верил в абсолютную ценность «традиции», которую каждая нация должна найти в собственном прошлом; иностранная культура представляет угрозу лишь в том случае, если она пагубно влияет на базовые российские ценности. В этом он был единодушен со многими романтическими националистами, которые вслед за Гердером полагали, что в Европе не возникало бы международных конфликтов, если бы каждая страна неукоснительно следовала своему собственному неповторимому предназначению [Nipperdey 1986: 120].

К началу 1790-х годов Шишков занимал заметное, хотя и не очень высокое положение в официальной иерархии. В Табели о рангах он достиг седьмого класса (флотский аналог подполковника), а его служба под началом адмирала В. Я. Чичагова во время войны со Швецией привлекла в 1790 году внимание самой императрицы. Чичагов и И. Кутузов составили Шишкову очень ценную протекцию, как и друг Шишкова, адмирал Н. С. Мордвинов<sup>26</sup>. Кутузов и другие франкмасоны ввели его в литературные круги, где Шишков внес свой первый скромный вклад в общее дело.

Между тем старый, стабильный мир Шишкова рушился. В то время как революционные войска Французской республики громили армии европейских монархов, смерть Екатерины привела к власти одиозного Павла, а его убийство, в свою очередь, — к коронации его сына, опасного реформатора. Шишков чувствовал себя стариком, переставшим что-либо понимать в окружающей действительности. Сначала он был растерян и сердит, а затем исполнился решимости вернуть перевернутый вверх ногами мир в нормальное положение. Однако при этом он выработал идеологию, помимо его воли подрывающую те самые основы старого режима, которые он хотел защитить.

Казнь французской королевской семьи возмутила Шишкова как поборника морали и монархиста. Он гневно писал:

---

<sup>26</sup> РГИА. Ф. 1673. Оп. 1. Д. 2. Л. 1 об.-2; [Шишков 1870, 1: 5–6].

Но там покою быть не можно,  
Где рушен Божеский закон,  
Где царский попран скиптр и трон,  
Где сам монарх, сердцами злыми,  
Как древних мученик времен,  
Со всеми ближними своими  
Лежит злодейски убиен.

Россия, к счастью, еще благоденствовала под мудрым руководством Екатерины:

В любви к царю и Богу тая,  
Какой народ толико лет  
Спокойны годы провождая  
В толиком счастьяи цветет?  
.....  
Счастливейший из всех племен,  
Не знаешь пагубных премен...  
[Шишков 1818–1834, 14: 143–154]<sup>27</sup>.

На фоне революционных событий во Франции екатерининская Россия выглядела островом здравомыслия и благопристойности, и неожиданная смерть императрицы ошеломила Шишкова. «Российское солнце погасло! — писал он впоследствии. — Кроткое и славное Екатеринино царствование, тридцать четыре года продолжавшееся, так всех усыпило, что, казалось, оно, как бы какому благу и бессмертному божеству порученное, никогда не кончится». Беспорядок в Зимнем дворце на следующий день, деморализованные придворные и гвардейцы привели его в смятение. «Перемена сия была так велика, что не иначе показалась мне как бы неприятельским нашествием». Приближенные Екатерины были вскоре заменены «людьми малых чинов, о которых день тому назад никто не помышлял, никто почти не знал их». Шишков наблюдал за воцарением нового императора с опаской, ибо успел уже однажды навлечь на себя его немилость. «День ото дня возрастающие строгости, приказы, аресты и тому подобные,

<sup>27</sup> Стихотворение написано в 1794–1796 годах.

неслыханные доселе новизны так меня устрасали, что я с трепетом ожидал своей участи» [Шишков 1870, 1: 9–11].

Приход Павла к власти стал водоразделом в мировосприятии Шишкова. Екатерина II взошла на трон, когда ему было восемь лет, и ему трудно было представить себе жизнь без нее. Он с нежностью вспоминал ее уважительное отношение к своим слугам, почтение, которое она оказывала заслуженным сановникам, ее готовность прощать ошибки, сделанные неумышленно, нежелание ущемлять права честных чиновников, которым не хватало светского лоска или образованности. Шишков восхищался ее преданностью идее русской национальной идентичности и считал ее воплощением имперского величия, благодетельства и добродетели. И этот взгляд разделяли все дворяне его поколения. Как пишет биограф царицы, «те, кто помнил правление Екатерины, отзывались о нем как о времени, когда самодержавие было “очищено от пятен деспотизма”, уступившего место монархии, при которой люди повиновались не из страха, а потому, что это было для них делом чести» [Madariaga 1981: 588]<sup>28</sup>.

Павлу было далеко до этого образца. Организованные мстительным сыном нелепые похороны Екатерины, сопровождавшиеся изъятием останков ее мужа, как и любовь Павла ко всему прусскому (еще один реверанс в сторону отца), глубоко огорчали Шишкова. Пренебрегая доброй памятью о Екатерине и чувством собственного достоинства подданных, новый император унижал служивших ему людей, назначал их по своему капризу на ту или иную должность и мог беспричинно разжаловать; военные мучились при нем из-за неудобной формы прусского образца и навеянного все той же Пруссией пристрастия Павла к бессмысленной муштре. Сановники высшего ранга безо всяких оснований могли быть уволены; их место занимали выскочки вроде Аракчеева, Ростопчина и И. П. Кутайсова [Шишков 1870, 1: 13–21].

Опасения Шишкова за свою судьбу не сбылись. Его повысили в должности — возможно, благодаря его связям при дворе, а также он продвинулся вверх в иерархии помещиков, поскольку

<sup>28</sup> См. также ОР РНБ. Ф. 862. Д. 4. С. 20–79, 97–104.

был пожалован 250 душами в своем родном Кашинском уезде [Шишков 1870, 1: 11, 22, 26]<sup>29</sup>. В 1797 году Павел даже назначил его эскадр-майором, но Шишкову быстро надоело выполнять мелкие поручения вспыльчивого монарха и терпеть его стремление соблюдать во всем военный порядок. Постепенно и царь охладел к нему, что вполне устраивало Шишкова: «Мое желание было от него поудалиться, дабы, по крутости нрава его, вдруг не попасть в немилость, сопровождаемую гонениями, как то уже со многими случалось» [Шишков 1870, 1: 36–42].

Шишков неприязненно относился к императору, ненавидел Французскую революцию и любил русскую литературу, но эти чувства, хотя и отличались от его раннего, безоблачного и аполитичного монархизма, еще не сложились к этому моменту в страстную антифранцузскую идею славянской идентичности России, которая овладеет им позже. Это ясно видно из писем, посылавшихся им домой во время первой длительной поездки по Центральной Европе, куда Павел послал его по делам [Шишков 1870, 1: 43–46, 49–52]<sup>30</sup>. Шишков впервые познакомился с другими славянскими странами, но их культура не вызвала у него почти никакого отклика<sup>31</sup>; он без тени сомнения украшал свои письма галлицизмами, которые вскоре станут для него символом всех зол, ополчившихся против России. Зато ему очень понрави-

---

<sup>29</sup> В 1840 году Шишкову принадлежали деревни Бежецкого уезда Маркова, Осташкова, Бори и Ручейка с населением около 500 мужских душ. Этот уезд, соседствующий с Кашинским, был, возможно, выделен из него в отдельную административную единицу после того, как Шишкову пожаловали крепостных (см. РГИА. Ф. 1673. Оп. 1. Д. 5. Л. 12). В 1834 году всего 3 % русских крепостников имели более пяти сотен крестьян, 84 % владели одной сотней или меньшим количеством, так что Шишков был богатым человеком. Разумеется, его нельзя было сравнить, скажем, с графом Н. П. Шереметевым, которому принадлежали 185 610 крепостных мужского и женского пола [Blum 1961: 368, 370].

<sup>30</sup> См. также РО ИРЛИ. Ф. 265. Оп. 2. Д. 3108. Л. 8–11, 15–18, 31–37. Письма Шишкова к Дарье Алексеевне от 11 января 1798 года, Вена, и от 3 февраля, 25 марта и 4 мая 1798 года, Дрезден.

<sup>31</sup> См. РО ИРЛИ. Ф. 265. Оп. 2. Д. 3108. Л. 5 об., 8–11. Письма к Дарье Алексеевне от 20 декабря 1797 года, Вильна, и от 11 января 1798 года, Вена.



лись немцы. Для них, казалось ему, не существовало ничего, кроме заботы о соблюдении морали и традиций, они не стремились к каким-либо политическим переворотам — все это импонировало Шишкову и как романтику, и как консерватору. Его восхищение немцами и глубокое отвращение ко всему французскому<sup>32</sup> были его реакцией на европеизацию России, и события 1790-х годов усилили в нем эти чувства. Идеология просвещенного абсолютизма и связанные с ней начинания, как и культурное влияние Шлёцера и других немцев, роднили Россию в сознании Шишкова с немецкой традицией, в то время как аристократическая утонченность и неприятный ему скептицизм — не говоря уже о якобинской угрозе — имели французское происхождение.

В царствование Павла Шишков быстро поднялся по служебной лестнице и стал вице-адмиралом (что соответствовало третьему классу в Табели о рангах) — во-первых, потому, что служил при дворе, где своенравный император в мгновение ока создавал и ломал карьеры, а во-вторых, благодаря своим способностям, целеустремленности, доброжелательности, честности и умению лавировать между подводными рифами придворных интриг. Но раболепие было ему несвойственно, а присущая ему от природы осторожность сочеталась с приобретенным при Екатерине убеждением, что можно быть лояльным подданным и при этом отстаивать свои принципы<sup>33</sup>. Теперь он принадлежал к тому кругу, который Джон Ледонн называет «правлящей элитой». Высокий чин и соответствующий социальный статус Шишкова не только давали ему возможность занимать ответственные государственные посты, но и придавали весомость его идеям по вопросам культуры [LeDonne 1993: 141–142]<sup>34</sup>. Его продвижение по службе и его влияние в интеллектуальной среде дополняли друг друга и способствовали успеху в обеих сферах — Шишков пришел

<sup>32</sup> Еще в 1777 году, увидев граффити на французском языке, «украшавшие» стену греческого храма, он воспринял это как доказательство прирожденной испорченности французов [Шишков 1834: 29].

<sup>33</sup> См., например, [Шишков 1870, 1: 63–66].

<sup>34</sup> См. также [Марасинова 1991: 23; Torke 1971: 466].

к заключению, что в области интеллектуального труда строгая иерархия чинов так же важна, как и при дворе или на флоте.

Однажды в марте 1801 года кто-то постучал к нему в дверь среди ночи. Когда слуга объявил ему, что пришел фельдъегерь, Шишков решил, что это арест. Как адмирал писал позже, он сказал жене: «Прости! Может быть, я не возвращусь». Оказалось, однако, что морской офицер пришел сообщить ему о смерти Павла и о том, что Шишков должен явиться в Адмиралтейство, чтобы присягнуть на верность Александру I. Лояльный монархист Шишков был потрясен. «Признаюсь, — вспоминал он, — что, хотя с одной стороны благодарность за благодеяния [Павла] ко мне и рождала в сердце моем печаль и сожаление, — но с другой — освобождение от беспрестанного страха, в каком я и почти всякий находился, смешивало печаль сию с некоторою невольною радостью» [Шишков 1870, 1: 79]. Он невольно сравнивал заговор против Павла со свержением Петра III и отметил, что никто не плакал на похоронах царя. Похоже, эта церемония не вызвала слез и у него самого; его стихотворное приветствие новому императору было абсолютно искренним:

С ним правосудие воссядет на престол;  
Любя отечество, храня его покой,  
С Екатериной великою душой,  
Он будет новый Петр и на суде и в поле.  
[Шишков 1818–1834, 14: 177]

Шишков надеялся, что Александр будет верен своему обещанию править в духе Екатерины<sup>35</sup>; он одобрял первые шаги императора, подошедшего к формированию правительства не столь грубо и произвольно, как Павел. Вернулись екатерининские вельможи, которые, как считал Шишков, должны будут руководить молодым и впечатлительным наследником Павла и побуждать его идти по стопам своей бабки. Но «екатерининские старики», вспоминал он, упустили свой шанс: пока в первые решающие дни после свержения тирана они праздновали это событие,

<sup>35</sup> См. [Шильдер 1897, 2: 6].

Александр собрал группу молодых советников — так называемый Негласный комитет, при котором «старикам» было бесполезно пытаться что-то сделать<sup>36</sup>.

Адмирал, естественно, с презрением относился к Аракчееву, Кутайсову и другим карьеристам, переселившимся когда-то вместе с Павлом I из Гатчины в Зимний дворец. Однако его неприязнь к друзьям Павла не шла ни в какое в сравнение с негодованием, которое вызывали в нем Адам Ежи Чарторыйский, П. А. Строганов, Н. Н. Новосильцев и другие доверенные лица Александра. Поскольку публика плохо представляла себе, что творилось в коридорах власти, Шишков, как и многие другие, подозревал (разумеется, напрасно), что Негласный комитет готовит в России изменения по образцу случившегося во Франции в 1789 году<sup>37</sup>. Он считал, что люди тех социального типа и поколения, к которым принадлежали александровские советники, испорчены образованием иностранного образца до такой степени, что традиционные понятия, составлявшие основу основ русского общества, — скромность, патриотизм, Бог, здравый смысл, уважение к старшим и предкам, — ничего не значат для них. Люди старшего поколения, замечал он с горечью,

...должны были умолкнуть и уступить новому образу мыслей, новым понятиям, возникшим из хаоса чудовищной Французской революции. Молодые наперсники Александровы, напыщенные самолюбием, не имея ни опытности, ни познаний, стали все прежние в России постановления, законы и обряды порицать, называть устарелыми, невежественными. Имена вольности и равенства, приемлемые в превратном и уродливом смысле, начали твердиться пред младым царем, имевшим по несчастию наставником своим француза Лагарпа, внушавшего ему таковые же понятия [Шишков 1870, 1: 81–86].

<sup>36</sup> В 1801 году сложилось две партии — екатерининских сановников и молодых друзей. Они боролись друг с другом и друг друга нейтрализовали. — *Примеч. М. Б.*

<sup>37</sup> Александр I и сам в шутку называл своих советников «Комитетом общественного спасения». См. ст. «Кочубей Виктор Павлович» [Половцов 1896–1918, 9: 371].

Вдобавок ко всему новые руководители проявляли такое же неуважение к старшим по чину и возрасту, как в 1796 году приятели Павла I. Очень скоро Шишков разочаровался в политике Александра I: «Павлово царствование, хотя и не с такою строгостью, но с подобными же иностранцам подражаниями и нововведениями еще продолжалось» [Стоюнин 1987, 2: 502–503].

Отношения с Александром, поначалу хорошие, испортились. Адмирал продолжал докладывать царю о положении во флоте, но к концу 1801 года Александр заметно охладил к нему [Шишков 1870, 1: 40]<sup>38</sup>. Шишков не одобрял проведенное в 1802 году преобразование государственных коллегий в министерства как излишнее отклонение от разумного курса, избранного Петром I и Екатериной II. К этому времени столетний период, предшествовавший 1796 году, стал представляться ему квинтэссенцией политической традиции, которую надо было оберегать от каких бы то ни было изменений. Его собственный подъем при дворе застопорился, как он считал, из-за интриг адмирала П. В. Чичагова (сына бывшего командира Шишкова — В. Я. Чичагова), к которому благоволил Александр. В конце концов отношения между двумя адмиралами наладились, и в 1805 году Шишков был назначен директором Адмиралтейского департамента Морского министерства. Однако император по-прежнему недолюбливал его [Коломинов, Файнштейн 1986: 44–45; Шишков 1870, 1: 87–95].

Позиция, занятая Шишковым на этом переходном этапе, отличалась двумя особенностями, определившими его дальнейшую деятельность. Во-первых, Александр I не оправдал его надежд, поскольку перенял многие характерные черты Павловской эпохи и одновременно брал пример с зарубежных вольнодумцев. В свое время Шишкова приводил в отчаяние тот факт, что Павел следует по стопам своего отца, подражая прусскому милитаризму. Шишков нигде не писал об этом прямо, но было ясно, что Павел, в противовес Французской революции, хочет распространить в России дух средневековых рыцарских орденов. Связь Павла

---

<sup>38</sup> О том, что новый царь вызывал недовольство Шишкова, см. также [Al'tshuller 1982].

с католическим Мальтийским орденом, архитектура его Михайловского замка — все говорило о том, что атмосфера, в которой живет царь, не русская. Александр не испытывал тяги к Средневековью, но унаследовал от отца расположенность к Пруссии, окружил себя советниками-англоманами и собирался реформировать Россию на западный лад, к чему Шишков относился с крайним недоверием. Он восхищался тем, что Петр I и Екатерина II сумели добиться своего, опираясь на европейский опыт, но сохранив русскую национальную идентичность. Ни Павел, ни Александр не были на это способны, и Шишков стал сомневаться в возможности использования европейских моделей для русского общества [Эйдельман 1982: 71–85; Шишков 1818–1834, 2: 462].

Во-вторых, на Шишкова, возможно, повлияли изменившиеся обстоятельства его службы во флоте. Он приближался к пятидесятилетнему возрасту (который в то время считался преклонным), и в сочетании с неудовлетворительным здоровьем это делало маловероятным, что он сможет, как и прежде, выходить в море. По-видимому, он ощущал необходимость переоценки ценностей в своей жизни. Хотя живой интерес ко всему связанному с морем в нем не угас [Жихарев 1989, 2: 266–313]<sup>39</sup>, это было не единственным его увлечением. Должность личного адъютанта Павла, вершина его карьеры, так угнетала его, что он с радостью с ней распрощался. Назначение Шишкова главой Адмиралтейского департамента освободило его от тягот придворной службы, но поставило в служебной иерархии все-таки ступенькой ниже, а его натянутые отношения с молодым энергичным монархом не сулили в ближайшее время продвижения вверх.

Два этих обстоятельства побудили его обратиться ко второму занятию, привлекавшему его всю жизнь, — литературе. Пертурбации в окружающем мире, остановка карьерного роста и, возможно, мысли о скоротечности земного бытия вызывали у него

---

<sup>39</sup> Запись 10 марта 1807 года. В библиотеке Шишкова имелось много книг на морские темы: РГИА. Ф. 1673. Оп. 1. Д. 111.

чувство глубокой неудовлетворенности. Он находил отдушину в своем творчестве, где литературные и филологические темы, всегда интересовавшие его, сочетались с размышлениями о традиционном социально-политическом укладе и нравственных ценностях, над которыми, по его мнению, нависла угроза. Если рассматривать эти две стороны его творчества по отдельности, то можно сказать, что его филологические изыскания выглядят непродуманно и некомпетентно, а политические рассуждения — слишком упрощенно. Вместе же они представляют собой неуключую попытку человека ушедшей эпохи бороться с изменениями в обществе с помощью нового, непривычного для него оружия. Однако благодаря убежденности, с какой Шишков отстаивал, пускай и неловко, свои идеи, он все же занял определенное место в русской истории.

Дилетантские, но настойчиво пропагандируемые теоретические построения Шишкова сложились под влиянием его опыта государственной службы, который убедил его в том, что знакомые проблемы можно решить с помощью здравого смысла, что чин придает весомость идеям человека и что отвлеченное философствование не приносит пользы, так как ответы на все главные жизненные вопросы дают религия и традиция. Такая установка, идеально подходившая для управления империей, выглядела странно и архаично в глазах постепенно повышающей свой профессионализм литературной элиты, на чью территорию вторгся в качестве любителя Шишков. Литераторы более молодого возраста, которым мы обязаны основной информацией о нем, считали адмирала чудаковатым пережитком ушедшей в прошлое, наивной доцивилизованной эпохи. Эти черты его личности проявляются и в его сочинениях, стиль которых представляет резкий контраст с произведениями консерваторов младшего поколения: мелодраматической интроспекцией Глинки, элегантной самокритичной сдержанностью Роксандры Стурдзы, идеологической воинственностью ее брата Александра или заносчивостью и хвастовством Ростопчина. Шишков, в отличие от них, демонстрировал бесхитростную уверенность в себе, чрезмерную серьезность в обсуждении «коренных» теоретических

вопросов и поразительную откровенность<sup>40</sup>. В его частной жизни простота, свойственная служилым людям, и естественное желание познакомиться с иностранной культурой сочетались с эксцентричностью пожилого человека, с запозданием открывшего для себя «дело всей жизни» и захваченного навязчивыми идеями. Шишков целиком погрузился в церковнославянские тексты, рассеянно воспринимая окружающий мир, что стало мишенью постоянных шуток<sup>41</sup>. Он был женат на Дарье Алексеевне Шелтинг<sup>42</sup>, вдове, внучке голландского адмирала, служившего при дворе Петра I. Их брак оказался счастливым: она вела хозяйство, адмирал (который «жил самым невзыскательным гостем в собственном доме») предавался своим фантазиям, которые она со снисходительной улыбкой называла «патриотическими бреднями» и не принимала всерьез, так как они не находили применения в их доме [Аксаков 1955–1956, 2: 279]. Она была лютеранкой и не меняла веры, наняла для воспитывавшихся у них племянников французского гувернера и говорила с мальчиками и гостями по-французски даже в присутствии мужа.

Шишков отстаивал свои убеждения с почти маниакальным упрямством, и в этом тоже сказывалось влияние культуры XVIII века, с ее незамысловатой моралью и привычкой к откровенному безапелляционному утверждению своей правоты: ему была чужда несообразная комбинация изошренного скептицизма и трусливого конформизма, ставшая обычным делом при Павле I и его сыновьях. Он вызывал невольное уважение даже у своих критиков. Так, П. А. Вяземский, вспоминая Шишкова в совершенно иной атмосфере 1840-х годов, писал, что тот был «и не умный человек, и не автор с дарованием, но человек с по-

---

<sup>40</sup> Обзор русской мемуарной литературы XVIII и начала XIX веков см. в работах: [Тартаковский 1991; Крючкова 1994].

<sup>41</sup> О личных чертах Шишкова см. [Аксаков 1955–1956, 2: 266–313; Goetze 1882; Пржецлавский 1875; Вигель 1928, 1: 199]. Карамзин высказал мнение о нем в письме от 1 февраля 1816 года: «Шишков честен и учтив, но туп» (цит. по: [Кочубинский 1887–1888: 238, примеч. 1]).

<sup>42</sup> Д. А. Шелтинг родилась в 1756 году. См. РО ИРЛИ. Картотека Б. Л. Модзалевского. Карт. 1821.

стоянную волею, с мыслью, *idée fixe*, имел личность свою, и потому создал себе место в литературном и даже государственном нашем мире». Вяземский считал, что в России «люди эти редки, и потому Шишков у нас все-таки историческое лицо» [Вяземский 1878–1896, 9: 195].

Филологические воззрения Шишкова можно вкратце обобщить следующим образом. Его любовь к русской литературе, знание литературы зарубежной и работа над морскими словарями возбудили в нем глубокий интерес к языкознанию. Это увлечение отражало его типично романтическое представление о том, что гений народа проявляется в особенностях его языка. В частности, Шишков полагал, что каждый язык вырабатывает свой собственный способ модификации существующих в нем слов для передачи новых значений. В исходных словах, как и в образованных от них, хранится, по его мнению, историческая память уникального духа и сознания народа. Поэтому он пытался постичь русскую душу, разрабатывая систему этимологических «деревьев», у которых из единого «корневого» слова вырастает «ствол», дающий много «слов-ответвлений». Как снисходительно заметил дореволюционный ученый Сухомлинов, Шишков «свободно разгуливал в созданном его воображением филологическом лесу, извлекал из него и корни и деревья слов, ломал и пересаживал их по своему произволу в наивной уверенности, что труды его принесут обильные и в высшей степени полезные плоды» [Сухомлинов 1874–1888, 7: 206]<sup>43</sup>. К сожалению, подобно другим лингвистам того времени (а он к тому же не имел соответствующего образования), он не учитывал исторического и культурного контекста и тех существенных изменений, которые претерпел русский язык за предшествующие 900 лет, и рассматривал его как некую статичную внеисторическую данность<sup>44</sup>. Вместо того

<sup>43</sup> См. также [Кочубинский 1887–1888: 28].

<sup>44</sup> Шишков был одним из первых представителей сравнительно-исторического языкознания, имевшего основополагающее значение для романтического национализма, но в ту пору еще только зарождавшегося и остававшегося заповедником академических умов, но никак не дилетантов. См. [Anderson 1991].



чтобы изучать историческое развитие языка, Шишков изобрел этимологию, исходящую из предпосылки, будто слова, близкие по звучанию и значению, должны быть родственными. Так, он утверждал (вызывая немало насмешек), что наречия «широко», «высоко» и «далеко» складываются из существительных «ширь», «высь» и «даль», к которым добавлено «око» [Сухомлинов 1874–1888: 204–205; Кочубинский 1887–1888: 28]<sup>45</sup>. Кроме того, он полагал, что церковнославянский язык является предком всех современных<sup>46</sup>, что его использование православной церковью было predeterminedено свыше<sup>47</sup> и что современный русский язык является лишь разговорной формой церковнославянского. Этот тезис Шишков отстаивал с пеной у рта. «Он становился фанатичным, — писал один из его друзей, — только в тех случаях, когда кто-либо отказывался признать, что церковнославянский язык идентичен современному русскому» [Goetze 1882: 284].

Развивая эти теории, Шишков тем самым присоединился к бушевавшим в то время спорам об основных чертах русской истории и культуры, в результате которых в 1820–1830-е годы сформировался русский литературный язык. Эти споры явились своего рода репетицией дебатов между западниками и славянофилами, развернувшихся в 1840-е годы и также затрагивавших вопросы российского государственного устройства, традиций и самосознания. Подобно западникам и славянофилам, подборники нового и старого языкового «слога», как тогда выражались, имели за плечами образование западного образца и надеялись преодолеть культурный разрыв между разными социальными слоями [Шмидт 1993: 26]. Как в том, так и в другом случае спо-

---

<sup>45</sup> Между тем в данном случае осмеянная многими этимологическая теория Шишкова оказывается, по всей вероятности, верной. См. [Чердаков 1996: 38]. В целом более близкие нам по времени ученые — Альтшуллер, Лотман, Файнштейн, Чердаков — отзываются о лингвистических и литературных трудах Шишкова более доброжелательно, чем такие дореволюционные авторы, как Сухомлинов и Кочубинский.

<sup>46</sup> См., например, письмо Шишкова к чешскому филологу Вацлаву Ганке от 28 апреля 1823 года [Шишков 1870, 2: 392].

<sup>47</sup> Замечание Свербеева, друга Шишкова [Чистович 1894: 241].

рящие стороны стремились объединить европеизированную культуру с русскими традициями и освободиться от опеки государства в этой сфере.

Русская лингвистическая мысль претерпела коренные изменения в течение XVIII века. Ранее два разных языка — церковнославянский и русский — сосуществовали (первый применялся на письме, второй — только в устной речи) и при этом считалось, что они образуют единую языковую систему<sup>48</sup>, что попадает под определение диглосии. Московская культурная традиция рассматривала письменный церковнославянский язык как «высшую» форму этой системы, а современный разговорный русский — как «низшую». Однако со времен Петра I русский язык постепенно завоевывал статус письменного, и это превращало диглоссию в ярко выраженный билингвизм: ранее чисто разговорный русский язык, систематизируя свой грамматический строй и расширяя словарный запас, становился функциональным эквивалентом церковнославянского, который в результате утратил свой статус единственного средства образцового и выразительного официального письменного общения и безнадежно устарел в качестве живого светского языка.

Тем не менее отношение к языку, привитое диглоссией, продолжало существовать в умах. Благодаря тому что светская русская литература сознательно создавалась по западным моделям (вначале посредством переводов), зарубежные влияния принизили роль церковнославянского языка в общем языковом строе. Как и прежде, утонченная выразительность связывалась не с «родным» языком (разговорным русским), а с «чужим» (не важно, церковнославянским или французским). Заимствования из европейских языков расширяли лексический диапазон устной речи, тогда как славянизмы подчеркивали формальный тон письменных текстов и придавали им весомость. Чтобы перевес-

---

<sup>48</sup> Так расценивают возникновение споров о языке Ю. М. Лотман и Б. А. Успенский. Другую точку зрения высказывает Н. Н. Булич, согласно которому языковые проблемы имели в этих дебатах второстепенное значение и были лишь поводом обсудить злободневные вопросы [Булич 1902–1905, 1: 120].

ти зарубежную литературу с ее незнакомой лексикой на русский язык, который отличался бы от повседневного разговорного, переводчики обращались к церковнославянскому языку за структурными принципами построения речи из новых лексических единиц. В результате в литературном языке росло число славянизмов, в том числе и новообразованных, потому что «такие процессы, как заимствование, калькирование и т. п., — в принципе способствуют активизации церковнославянских элементов в русском языке <...> и в конечном счете славянизации литературного языка» [Лотман, Успенский 1975: 203]. Славянизмы и русские архаизмы, которые первоначально использовались для передачи «серьезного» стиля, ассоциировавшегося с иностранной литературой, также начали все чаще встречаться в языке собственных сочинений русских писателей. Таким образом, намеренно архаичный литературный стиль, сложившийся в XVIII веке, был продуктом европейских литературных влияний, а не результатом эволюции традиционных русских культурных моделей.

Заимствования из западных языков не влияли на церковнославянский язык, и он воспринимался как часть русской национальной традиции, а также этнического и фольклорного наследия, общего для всех славян. И потому те, кто старался в литературных боях уберечь русский языковой суверенитет от иностранного вторжения, брали на вооружение псевдоархаичный, искусственно славянизированный стиль. Сложилась картина, прямо противоположная первоначальной диглоссии, и к концу XVIII века церковнославянская лексика неизбежно стала считаться квинтэссенцией «исконно русского» языка. Широко распространенное, но ошибочное представление о церковнославянском языке как о прародителе русского побуждало сторонников этой теории использовать его для восстановления или даже искусственного построения «естественного» русского языка. В связи с этим для них имел значение не столько тот факт, что церковнославянский язык являлся исторически сложившимся языком православной церкви, сколько то, что он этнически идентифицировался со всем славянским миром, и это позволяло использовать его для создания «подлинно русского» языка, свободного от «чужеродных» примесей.

Русская лингвистическая мысль была связана с традиционной эсхатологией. В Средние века русские люди ждали, что Бог однажды преобразит мир, искоренив все зло. В ходе последующей секуляризации русской культуры при Иване IV и особенно при Петре I эти надежды стали связывать с государственной реформистской политикой, которая имела бы целью «не частичное улучшение конкретной сферы государственной практики, а конечное преобразование всей системы жизни». Как пишут исследователи, в сознании Петра I и прочих «психология реформы включала в себя полный отказ от существующей традиции и от преемственности по отношению к непосредственным политическим предшественникам», и поэтому «реформа в России всегда ассоциировалась с *началом* и никогда — с *продолжением* определенного политического курса» [Лотман, Успенский 1975: 170]. И Иван IV, и Петр I, и Павел I, и Александр I придерживались мнения, что существующий порядок надо изменить (Екатерина II так не считала), а орудием изменения должно стать государство. Одной из составляющих этого сакраментального разрушения старого порядка было проводившееся правительством в XVIII веке обновление языка. Появление новых терминов вроде «Российской империи» и «императора», как и тотальное переименование государственных учреждений и должностей, символизировало этот процесс.

Подобный подход к языку уходил корнями в далекое прошлое и был связан со средневековыми эсхатологическими ожиданиями уничтожения временного мира — а значит, и языка. Лингвистические модификации являлись частью более глубоких изменений мирового порядка. И не случайно Петр I лично участвовал в усовершенствовании алфавита, Екатерина следила за чистотой русского языка, а Павел пытался запретить употребление иностранной политической терминологии, чтобы тем самым ослабить воздействие Французской революции. Одним из достижений Сперанского стала разработка четкого официального вестернизированного стиля деловой документации взамен принятого ранее. С другой стороны, для возбуждения врожденных националистических эмоций населения в 1812 году государство рас-

пространяло прокламации, которые были написаны Шишковым в пафосной архаичной манере. Иначе говоря, в своей языковой политике правительство руководствовалось стремлением не только развивать национальную культуру, но и решать злободневные политические проблемы.

Соотношение русского, церковнославянского и иностранных языковых элементов имело важнейшее значение для всей русской культуры конца XVIII века и являлось одной из тем лингвистических дебатов, в которые был вовлечен и Шишков. Благодаря эсхатологическим ассоциациям состояние языка служило в сознании людей показателем общего состояния общества. Подвергшийся французскому влиянию язык высших классов, как и широкое использование правительством немецкой и французской терминологии, говорили о том, что власти связывают будущее России с Европой. В то же время архаизация русского литературного языка в XVIII веке свидетельствовала о желании предотвратить чрезмерное доминирование западной культуры. Но ирония заключалась в том, что этот славянизированный «древний» литературный стиль, а также светская русская литература и само создававшее ее образованное космополитизированное дворянство были смешанным продуктом России и Западной Европы. Поэтому подобная языковая политика не означала стремления вернуться в прошлое, а была скорее попыткой привить определенные элементы старой русской культуры европеизированной культуре постпетровской России.

Другим аспектом развернувшихся дебатов с участием Шишкова была литература. Время Александра I было, по выражению Жана Бонамура, «эпохой поисков собственной идентичности» [Bonamour 1965: 22]; сосуществовало несколько литературных направлений: сентиментализм, архаизм, романтизм, классицизм — хотя некоторых писателей (Крылова, Пушкина, Грибоедова) нельзя было причислить к какому-либо одному из них. Наиболее влиятельным течением в 1790-е годы был сентиментализм, а самым ярким представителем его — Карамзин<sup>49</sup>. В отличие

---

<sup>49</sup> О творческой эволюции Карамзина см. [Cross 1971].

от Ломоносова, Сумарокова и других ранних русских писателей, обращавшихся к возвышенным темам и жанрам и вызывавших восхищение Шишкова, сентименталисты исследовали человеческие чувства и предпочитали такие жанры, как стихи и рассказы, весьма скромные по объему и стилю. Выдающимися представителями этого направления были также В. А. Жуковский, П. И. Шаликов, В. Л. Пушкин и И. И. Дмитриев. К 1800-му году это некогда передовое течение уже миновало пик своего развития, и более молодые авторы экспериментировали в романтическом ключе, но писатели-сентименталисты продолжали успешно трудиться. Правда, Карамзин к этому времени практически отошел от литературного творчества, переключившись на работу над «Историей государства Российского», но благодаря завоеванному им ранее престижу он по-прежнему считался «святым покровителем» сентиментализма [Bonamour 1965: 24, 28].

Контраст между сентиментализмом и более ранними литературными направлениями усиливало то обстоятельство, что карамзинисты, сознательно следуя европейским образцам, стремились создать литературный язык, основанный на галлизированной речи образованных слоев общества. Приверженцы «нового слога» использовали французские слова, придавая им русскую форму, или просто буквально переводили их на русский язык. Те же, кто предпочитал «старый слог», заимствовали церковнославянскую лексику, чтобы придать своим сочинениям «важность» — в противовес «нежности» и «приятности» сентименталистских произведений.

Дихотомия «важности» и «нежности» подводит нас к третьему значимому аспекту языковых споров: месту русской культуры в общеевропейском контексте. Сентименталисты в целом ориентировались на культуру Европы и в особенности дореволюционной Франции. В утонченной эlegantности французской аристократии они видели противоядие от безграмотности населения и гнетущей атмосферы застоя, а также средство, позволяющее цивилизовать страну: будущее России, по их мнению, было за космополитизмом и городской, намеренно феминизированной аристократической культурой. Они считали, что Россия не анти-

под Запада, а неотделимая часть Европы и должна развиваться, опираясь на этот элемент своей идентичности, хотя и не подражая Европе слепо во всем [Лотман, Успенский 1975: 228, 230–232, 237–238; Купреянова 1978: 97–98].

В противоположность им критики сентиментализма полагали, что идентичность России заключается в национальных источниках, а Европа тут ни при чем. Их сознанием владели такие понятия, как русская история, народная культура и православная церковь. Культура, полагали они, должна быть строгой, набожной и «мужественной», корениться в славном прошлом страны и народных традициях — они отвергали безбожную, по их мнению, аристократическую культуру, аморальную и распущенную, имитирующую худшее, что есть за границей, и оторвавшуюся от истинных источников русской идентичности.

«Традиционалисты» вели непримиримую войну с «новаторами». Среди них выделялись А. С. Хвостов, Н. М. Шатров, Д. П. Горчаков и особенно П. И. Голенищев-Кутузов, который советовал властям обратить внимание на «якобинство» Карамзина. Как писал один историк, «более молодой Карамзин, со своими более свежими мыслями, казался исчадием французской философии XVIII века, представителем в литературе безнравственности, материализма и безбожия» [Булич 1902–1905, 1: 121]. Вспоминая впоследствии об этих языковых раздорах, Шишков повторил свое мнение, что на кон были поставлены фундаментальные ценности:

Презрение к вере стало оказываться в презрении к языку славенскому. Здоровое понятие о словесности и красноречии превратилось в легкомысленное и ложное: <...> приличие слов, чистота нравственности, основательность и зрелость рассудка — все сие приносилось в жертву какой-то *легкости слога*, не требующей ни ума, ни знаний [Шишков 1870, 2: 5].

Споры о языке затрагивали и политику. При Александре I, особенно в первые годы его правления, широко обсуждались два типа реформ. Первый из них предполагал сглаживание социаль-

ного неравенства — прежде всего путем изменения крепостнической системы или даже полной ее отмены; во втором случае во главу угла ставилось соблюдение гражданских прав и поддержание системы, обеспечивающей участие в работе правительственных органов по крайней мере для дворян. В действительности эти два типа реформ были взаимоисключающими, поскольку дворянство, получившее расширенные права, вряд ли было бы заинтересовано в отмене своих социальных привилегий; тем не менее поборники и того и другого исходили из убеждения, что Россия должна перенимать западные модели общественного устройства. Постепенно адепты карамзинского стиля в литературе (в отличие от самого Карамзина) стали склоняться к признанию необходимости этих реформ, а его противники, как правило, отвергали их.

В 1803 году Шишков вступил в схватку с оппонентами, опубликовав «Рассуждение о старом и новом слоге российского языка» и наделав этим много шума. Идеи, содержащиеся в «Рассуждении», высказывались и раньше (в частности, А. А. Шаховским, Крыловым, А. Тургеневым, С. С. Бобровым), но Шишков завязал такую яростную полемику, что она привлекла к себе невиданное доселе всеобщее внимание [Вопатмур 1965: 88; Лотман, Успенский 1975: 184]<sup>50</sup>. Терминология, которой оперировал Шишков, была, конечно, неточной — «старый слог» зародился всего за несколько десятилетий до этого, — однако суть данной полемики была сложнее, ибо этот стиль черпал вдохновение в воображаемой реальности прошлого и за счет нее пытался утвердиться, а «новый слог» заявлял о себе как о языке будущего, порывающем с традициями. При этом историческая реальность сама по себе не имела особого значения — важна была эмоциональная и идеологическая идентификация с прошлым — или отвержение его — в зависимости от позиции, занимаемой по отношению к культурным ценностям современности<sup>51</sup>.

<sup>50</sup> Х. Роджер описывает некоторые связанные с этими идеями реалии XVIII века в [Rogger 1957].

<sup>51</sup> См. также [Альтшуллер 1983: 214–222].



В своем трактате Шишков сразу берет быка за рога, начиная с повторения главного тезиса сторонников «старого слога»:

Древний славенский язык, отец многих наречий, есть корень и начало российского языка, который сам собою всегда изобилен был и богат, но еще более процветал и обогащался красотою, заимствованными от сродного ему эллинского языка. <...> Кто бы подумал, что мы <...> начали вновь созидать [свой язык] на скудном основании французского языка? Кому приходило в голову с плодоносной земли благоустроенный дом свой переносить на бесплодную болотистую землю? [Шишков 1818–1834, 2: 1–3]<sup>52</sup>.

Культурное родство с греческим православием не занимает в рассуждениях Шишкова заметного места — он упоминает его лишь для того, чтобы подчеркнуть отсутствие подобного родства между российской культурой и культурой латинской Европы. Одним из ключевых положений его теории была мысль, что церковнославянский язык не только не уступает французскому, но богаче его и продуктивнее. По мнению Шишкова, которое разделяли и славянофилы сорок лет спустя, основы западной культуры бесплодны и невыразительны. Он и его последователи верили в славное прошлое России, которое должно возродиться. Подразумевалось (и было высказано славянофилами), что Запад уже достиг — если не оставил его позади — пика своего расцвета.

Долг русских писателей, утверждал Шишков, развивать отечественную культуру, а бездумное увлечение французской литературой препятствует этому, ибо «Волтеры, Жан Жаки, Корнели, Расины, Мольеры не научат нас писать по-русски. <...> Без знания языка своего мы будем точно таким образом подражать им, как человеку подражают попугаи» [Шишков 1818–1834, 2: 10]. Шишков совсем не хотел принижать французскую литературу, однако ожесточенно протестовал против главного тезиса карамзинистов, согласно которому иностранные влияния обогащают русскую

---

<sup>52</sup> См. также [Шишков 1818–1834, 2: 10–12, 23–29, 33–49].

литературу. Его возмущало также мнение «новаторов», согласно которому русские должны брать пример с французов потому, что у них мало собственных образцов хорошего стиля. «В самом деле, кто виноват в том, что мы во множестве сочиненных и переведенных нами книг имеем весьма не многое число хороших и подражания достойных? Привязанность наша к французскому языку и отвращение от чтения книг церковных» [Шишков 1818–1834, 2: 12].

Те из русских, кто не желал воспользоваться литературными и лексическими сокровищами церковнославянского языка, заполняли пробелы в своем лексиконе неологизмами: русифицированными галлицизмами (*эпоха*, *сцена*), новообразованиями (*настоящность*) и кальками с французского (*concentrer* — «сосредоточить», *développement* — «развитие»). В результате, говорил Шишков, человек, не знающий французского языка, не может читать на русском — правда, иронизировал он, это не имеет значения, потому что французский знают все. А писатели вообще знают один французский, и, если им попадается книга автора, использующего церковнославянские (то есть истинно русские) слова, «которых они сроду не слыхивали, [они] о таком писателе с гордым презрением говорят: “Он Педант, провонял Славяницею и не знает французского в штиле Элегансу”» [Шишков 1818–1834, 2: 28–29]. Однако Шишков избегал выводов, которые подразумевались его теорией и были бы направлены против реформ Петра I. Пусть даже такие слова нового стиля, как «сцена» и «развитие», являются нерусскими и оказывают разрушительное действие на русский язык — какое это имеет значение для него самого как адмирала, или для министра, или для императора, если подобные слова, импортированные из Европы, означают жизненно важные реалии императорской России?

Шишков считал, что объекты окружающего мира находят отражение во всех языках в виде идентичных конкретных понятий (так, во всех языках есть слова, обозначающие «дерево» или «луну»), но образованные от них в разных языках абстрактные понятия различаются. Выбор конкретного объекта, обозначаемого словом, которое служит источником того или иного аб-

страктного понятия, определяет коннотации и особенности данного слова и отражает представление нации о данном понятии. Из этого следует, что слова разных языков, соотнесенные с одними и теми же объектами, не вполне совпадают по значению. Именно своеобразие абстрактных понятий, как и понятий, выводимых из конкретных значений объектов, а также способность языка создавать новые значения из имеющегося запаса конкретных понятий делают каждый язык уникальным. Способ, которым нация строит и формирует свой словарный запас, характеризует ее отличие от других: «Каждый народ имеет свой состав речей и свое сцепление понятий, а потому и должен их выражать своими словами, а не чужими или взятыми с чужих» [Шишков 1818–1834, 2: 42]. Воспроизведение комбинации значений, свойственной французскому языку, но чуждой русскому, фактически снижает выразительность русского языка, и потому необходимо создавать словарный запас, возникающий естественным образом на русской языковой основе. Французский язык стал непревзойденным литературным средством выражения благодаря тому, что развивал собственные ресурсы, вместо того чтобы поглощать другие языки, а это как раз и не учитывалось при пересадке французских слов на русскую почву. Русский язык стоит перед выбором, писал Шишков: либо обречь себя на бесплодное, неестественное подражание чужому языку, либо расцвести, черпая жизненные силы и поэтические богатства в своем церковнославянском наследии, которым писатели последнего времени неразумно пренебрегают.

Идея Карамзина, что письменный язык должен основываться на устном, не привлекала Шишкова. Русский разговорный язык и особенно речь нежных дам из высшего общества (которых Карамзин называл непреерекаемыми авторитетами хорошего вкуса)<sup>53</sup> изобиловала галлицизмами и уже потому, считал Шишков, не могла служить образцом хорошего вкуса. Писатели

---

<sup>53</sup> Женщин и раньше обвиняли в том, что они портят русский язык, — в частности, Новиков [Лотман, Успенский 1975: 231] и сам Шишков: РО ИРЛИ. Ф. 358. Оп. 1. Д. 216.

должны уделять больше внимания религиозной литературе. Еще в XII веке, указывал он, язык церкви отличался таким уровнем сложности и красоты, какого французский язык достиг лишь в XVII столетии, и по средневековым текстам «достоверно заключить можно, колико уже и тогда был учен, глубокомыслен народ славенский» [Шишков 1818–1834, 2: 251]<sup>54</sup>. Отсюда следовал вывод, что церковнославянский язык — национальное достояние славянских народов, а не чужеземная манера, завезенная миссионерами; славные дела времен Киевской Руси, не запятнанные вмешательством Запада, — источник вдохновения современного русского человека. А Россия, вместо того чтобы опираться на свое прошлое, возвела на пьедестал французов, не отличая в их культуре достойное от недостойного.

Разносчиками этой заразы, по мнению Шишкова, были французские гувернеры, осевшие в домах аристократии. Эти иноземцы, возмущался адмирал, «научили нас удивляться всему тому, что они делают, презирать благочестивые нравы предков наших и насмехаться над всеми их мнениями и делами». Они внушили русским какую-то неприязнь к самим себе, которая не только оскорбительна для русской культуры, но и губительна для нравственности, — французы фактически «запрягли нас в колесницу, сели на оную торжественно и управляют нами — а мы их возим с гордостью, и те у нас в посмеянии, которые не спешат отличать себя честью возить их!» Россия победила Францию оружием, а «они победителей своих побеждают комедиями, романами, пудрою, гребенками» [Шишков 1818–1834, 2: 252–253]. В условиях французской военной экспансии и недавней революции эти упреки выглядели очень серьезно. Выпады Шишкова против сторонников «нового слога» звучали в унисон с его же прежними обвинениями советников царя в пропаганде революционных идей. В отличие от отстаивавших «новый слог», Шишков не противопоставлял «хорошую» культуру французских аристократов «вредным» идеям революционеров. Для него это были две стороны одной медали, и «старый

<sup>54</sup> См. также [Шишков 1818–1834, 2: 122–129].

слог» был необходимым условием сохранения в России традиционного порядка<sup>55</sup>.

Примечательно, что под огонь критики Шишкова попали образованные высшие классы, а не простой народ, что стало впоследствии ключевым принципом русской культуры: духовная и культурная жизнь простых людей в корне отличается от жизни дворянства; именно народ является хранителем высокой морали, подлинного русского духа и языка, которые некогда были свойственны всему русскому обществу. Убеждение Шишкова, что духовный разлад российского населения можно преодолеть, перенастроив речь и всю культуру аристократии на допетровский лад, делает его, по словам одного из исследователей, «предтечей, первым идеологом русского славянофильства» [Альтшуллер 1984: 38]<sup>56</sup>. Это подтверждает и эпизод, описанный С. Т. Аксаковым. Несколько крепостных Шишкова, с которых он не собрал оброк, явились к нему домой и сказали, что хотят все-таки уплатить его. «Услыхав такие речи, [Шишков] пришел в неописанное восхищение или, лучше сказать, умиление не столько от честного, добросовестного поступка своих крестьян, как от того, что речи их, которые он немедленно записал, были очень похожи на язык старинных грамот». Позже, когда у Шишкова были гости, он позвал крестьян и «заставил их рассказать вновь все, сказанное ему поутру» [Аксаков 1955–1956, 2: 295]<sup>57</sup>. Этот эпизод показывает также, что интересы Шишкова были далеки от реалий сельской жизни.

---

<sup>55</sup> П. Гарде высказывает мнение, что Шишкова интересовали в первую очередь не политические аспекты дискуссии — он использовал политические аргументы, чтобы подкрепить свою лингвистическую теорию [Garde 1986: 282].

<sup>56</sup> См. также [Альтшуллер 1984: 34–38, 341; Коломинов, Файнштейн 1986: 46; Лотман, Успенский 1975: 246].

<sup>57</sup> Гётце подтверждает, что Шишков «годами» не собирал оброк с крестьян [Goetze 1882: 289], однако Пржецлавский вспоминает, что в конце 1820-х или в 1830-х годах все-таки собирал [Пржецлавский 1875: 388]. Письмо Шишкова к жене из Вены от 11 января 1798 года показывает, что он собирал оброк, но не был чрезмерно требовательным помещиком: РО ИРЛИ. Ф. 265. Оп. 2. Д. 3108. Л. 8–11.

Реакция на «Рассуждение» Шишкова была бурной. Язвительный тон трактата и умение автора нащупать слабые места у оппонентов стали, по выражению Бонамура, толчком к «литературной революции и были сопоставимы по своей ожесточенности разве что с выступлениями футуристов» [Bonamour 1965: 31]. Коллеги Шишкова по Российской академии выслушали отрывки из его работы благосклонно, но академия тогда уже не была той авторитетной силой в литературе, какой она виделась Екатерине II. К 1796 году, когда в академию пришел Шишков, она превратилась в цитадель посредственности, не имеющую связи с молодыми писателями-новаторами, за которыми было будущее русской литературы (Карамзин, к примеру, не был ее членом). В 1803 году мнение академиков значило мало, а их поддержка была слишком слабой, чтобы обеспечить Шишкову надежную защиту от критики [Сухомлинов 1874–1888, 7: 557; Щебальский 1870: 196; Стоюнин 1877, 2: 525]. Один из академиков, С. Я. Румовский, писал в частном письме, что «желал бы, чтобы нынешние писатели удостоили сие рассуждение беспристрастного чтения», но безумной страсти к неологизмам «положить преграду столь же трудно, как реке, из берегов своих выступающей»<sup>58</sup>. Журналы время от времени публиковали отдельные отклики на трактат Шишкова, поддерживающие его борьбу с нелепыми неологизмами, но никто из влиятельных фигур не выступил в печати с одобрением его начинания. Однако министр просвещения граф П. В. Завадовский, ветеран Екатерининской эпохи, показал экземпляр «Рассуждения» Александру I, и тот послал Шишкову кольцо в знак монаршего признания его заслуг [Сухомлинов 1874–1888, 7: 188–189, 513–514, 556; Булич 1902–1905: 140–141]<sup>59</sup>.

<sup>58</sup> Цит. по: [Сухомлинов 1874–1888, 7: 189].

<sup>59</sup> Державин и Крылов холодно отзывались о трактате Шишкова. См. [Ходасевич 1988: 210; Альтшуллер 1984: 60; Коломинов, Файнштейн 1986: 46]. С другой стороны, П. А. Кикин стал таким горячим поборником «старого слога», что сделал надпись на своем экземпляре «Рассуждения» Шишкова: «Mon Evangile» («Мое Евангелие»), что свидетельствует об удивительном проникновении французского языка даже в речь убежденных, казалось бы, славянофилов. См. [Аксаков 1955–1956, 2: 284]. См. также письмо Завадовского к Шишкову от 11 ноября 1803 года: РГИА. Ф. 733. Оп. 118. Д. 29.

Тот факт, что «Рассуждение» было принято довольно прохладно (сам Шишков называл свой труд «всего лишь малой каплей воды к потушению пожара» [Шишков 1870, 2: 5]), очевидно, усилил его пессимистическое настроение. Адмирал боялся, что зло, которое он обличал, пустило в России слишком глубокие корни, и жаловался на то, что очень немногие хотят, подобно ему, высказывать непопулярные мнения<sup>60</sup>, особенно если высказываемые идеи неоднозначны и их трудно воплотить в жизнь. Разница между Россией и Западом и между крестьянами и дворянами, о которой он писал, относилась в основном к сфере морали. Разум, приняв форму философии французского Просвещения, нанес человечеству такой урон, какой никогда не смогли бы нанести человеческая глупость или наивность. Шишков размышлял над дилеммой: если люди добрые и мирные, как голуби, оказываются так же тупы, то те, кому присуща мудрость змеи, должны обладать и ее порочным характером. Предлагаемое Шишковым решение выдает его беспомощность перед этой проблемой:

Мне кажется, человек должен так располагать жизнь свою, чтоб, побывав один только час в змеиной школе, на все остальное время суток тотчас бежал в голубиную школу и спешил скорее, чтоб господа самолюбие, корыстолюбие, славолюбие и прочие их товарищи не успели сделаться крайними его приятелями<sup>61</sup>.

Немногие отнеслись к «Рассуждению» Шишкова так же снисходительно, как его друзья по Российской академии. Особенно язвительны были писатели молодого поколения. «Проза Шишкова? — говорил Вяземский. — Как будто это проза, как будто у него есть слог?» [Вяземский 1878–1896, 9: 145]. Ф. Ф. Вигель, поклонник Карамзина, отозвался о Шишкове как о «плохом писателе», пользуясь поддержкой влиятельных особ, с которыми он сошелся

<sup>60</sup> См. письмо Шишкова к Хвостову от 29 января 1805 года, Санкт-Петербург [Письма Шишкова 1896: 33–35].

<sup>61</sup> Письмо Шишкова к Н. С. Мордвинову от 29 января 1805 года, Санкт-Петербург. Цит. по: [Альтшуллер 1984: 32–33].

за карточным столом и которые соглашались с его лингвистическими идеями потому, что ничего в них не понимали [Вигель 1928, 1: 199–200]. К. Н. Батюшков считал, что «Лучшая сатира на Шишкова <...> его собственные стихи, которые ниже всего посредственного» [Батюшков 1989, 2: 164]. Друзья Аксакова по Казанскому университету читали трактат Шишкова «вслух напролет всю ночь», и он «привел молодежь в бешенство» [Аксаков 1955–1956, 2: 267]. Они излили свой гнев на молодого Аксакова, подозревая его (совершенно справедливо) в согласии с точкой зрения адмирала. Сам же Шишков даже с какой-то извращенной гордостью воспринимал враждебность тех, чье мнение он презирал<sup>62</sup>.

Однако и среди молодежи находились читатели, которым «Рассуждение» Шишкова понравилось. Так, Аксаков восторженно воспринял высказанные в нем националистические и антикарамзинские взгляды, которые всегда привлекали молодого человека, хотя он еще не умел облечь свою позицию в слова [Аксаков 1955–1956, 2: 266–268]. Другим примером может служить Н. И. Тургенев. Основываясь на опубликованном неблагоприятном отзыве о трактате Шишкова<sup>63</sup>, он заключил в 1808 году, что, по-видимому, «в сей книге есть *очень* много *очень* глупого» [Тарасов 1911–1921, 1: 97–98]<sup>64</sup>. Однако, прочитав напечатанное в «Вестнике Европы» письмо Шишкова, обличавшее франкофилию, Тургенев нашел, что «письмо в своем роде превосходное и исполненное справедливости» [Тарасов 1911–1921, 1: 97–98]. Год спустя, учась в Германии, он, по всей вероятности, прочитал трактат Шишкова и нашел, что «”Рассуждение”, право, очень хорошо» [Тарасов 1911–1921, 1: 361]<sup>65</sup>. К концу 1810 года

---

<sup>62</sup> См. письмо Шишкова к Бардовскому от 20 июня 1811 года [Шишков 1870, 2: 316–317]. Карамзин, по-видимому, лишь бегло просмотрел книгу Шишкова и отказался давать отзыв о ней, несмотря на просьбы своего друга И. И. Дмитриева [Дмитриев 1869: 60].

<sup>63</sup> Предположительно, рецензии Каченовского в «Северном вестнике» (1804. Гл. 1: 17–29). Рецензия цитируется в: [Булич 1902–1905, 1: 135–137].

<sup>64</sup> Дневниковая запись 4 марта 1808 года, Москва.

<sup>65</sup> Письмо к А. Тургеневу от 15/27 апреля 1809 года, Геттинген.



он, похоже, перечитал его еще раз, соглашаясь с основной идеей произведения, касающейся взаимоотношений церковнославянского и французского языков, но не одобряя резких (пусть даже косвенных) выпадов против Карамзина. Тургенев не мог понять, почему критики обрушиваются на Шишкова с такой одержимостью. Находясь в далеком Гёттингене в тот момент, когда Россия переживала всю горечь поражения от Наполеона, он восхищался стойким патриотизмом адмирала: «Только и удовольствия, как ложусь спать с трубкою и Шишковым!» [Тарасов 1911–1921, 1: 285]<sup>66</sup>.

Один из первых и наиболее агрессивных публичных отзывов на трактат Шишкова был дан П. И. Макаровым, издателем журнала «Московский Меркурий». Карамзин уклонился от участия в дебатах, Макаров же неизменно превозносил всё, что перенимала Россия у Европы, и целенаправленно принижал российское прошлое и традиции. Он даже опубликовал с целью провокации заметку на непривычную для него тему европейской моды, сознавая, что следование моде считалось в России одним из грехов, свойственных европеизации. Краеугольным камнем издательской политики Макарова был тезис, что прогресс и новшества (в том числе и в моде) необходимы.

Вера Макарова в прогресс определила непримиримый тон его рецензии на книгу Шишкова. Он оспаривал мнение адмирала, что установившаяся литературная традиция должна служить вечным критерием совершенства, возражая, что «язык следует всегда за науками, за художествами, за просвещением, за нравами, за обычаями»<sup>67</sup>. Убеждение, что язык — отражение меняющейся жизни общества, было основополагающим принципом сторонников «нового слога». Всеми, что превозносил Шишков, они давали прямо противоположную оценку. Так, он утверждал, что язык — живое явление, которое следует оберегать от заражения вредными нововведениями, они же усматривали в этом

---

<sup>66</sup> Дневниковая запись в ноябре 1810 года. См. также письмо к А. Тургеневу от 10/22 июля 1810 года, Геттинген [Тарасов 1911–1921, 1: 401].

<sup>67</sup> Цит. по: [Лотман, Успенский 1975: 185–186].

попытку умертвить язык, заморозив его и прекратив его развитие на какой-то произвольно выбранной стадии. Шишков видел в церковнославянском языке средство сохранить русскую идентичность. Если бы русские говорили как их предки, полагал он, то и думали бы так же. Макаров непримиримо выступал против стремления Шишкова утвердить вечную неизменность жизни: «Мы теперь совсем не тот народ, который составляли наши предки; следственно хотим сочинять фразы и производить слова по своим понятиям, нынешним, *умствуя как французы, как немцы, как все нынешние просвещенные народы*»<sup>68</sup>. Шишков признавал родство русской церкви с греческим православием, которое в данный исторический момент не играло в России почти никакой роли; ему нравились немцы, а французская культура казалась ему абсолютно чуждой, и он боялся ее влияния. Макарову же, разумеется, она представлялась как раз примером, которому Россия должна следовать: «Мы не хотим возвратиться к обычаям праотческим, ибо находим, что вопреки напрасным жалобам строгих людей нравы становятся ежедневно лучше!»<sup>69</sup> Карамзинисты горячо приветствовали рецензию Макарова. Страсти, которые всколыхнул трактат Шишкова, разгорались.

Шишков с обидой воспринял макаровский сарказм и счел его критику необоснованной. Идея Макарова, что язык русской литературы выиграет оттого, что писатели будут изучать французский, вызвала презрительную насмешку адмирала. «Какой француз учился у немца писать по-французски?» — вопрошал он в ответной заметке [Шишков 1818–1834, 2: 422]. Заявление, что традиционным недостатком России является малое количество светской литературы и что нравственность в последнее время улучшается, встретило резкий отпор со стороны Шишкова. За последние пятьдесят лет, писал он, произошло падение нравов, которое не могут компенсировать никакие сдвиги в чисто литературной области.

---

<sup>68</sup> Цит. по: [Лотман, Успенский 1975: 190–191].

<sup>69</sup> Цит. по: [Булич 1902–1905: 133–134].

Мы оставались еще, до времен Ломоносова и современников его, при прежних наших духовных песнях, при священных книгах, при размышлениях о величестве Божием, при умствованиях о христианских должностях и о вере, научающей человека кроткому и мирному житию, а не тем развратным нравам, которым новейшие философы обучили род человеческий и которых пагубные плоды, после толикого пролития крови, и поныне еще во Франции гнездятся [Шишков 1818–1834, 2: 423]<sup>70</sup>.

Это было серьезное обвинение, связывающее в один вредоносный узел Просвещение, Французскую революцию и русских писателей. Шишков вновь подчеркнул важность различия письменного и устного языков. Он убедился, что это различие существует также в английском, итальянском и немецком языках, и даже у Вольтера нашел аргументы против «нового слога». Предупреждая напрашивавшееся подозрение, что он является узколобым ксенофобом, Шишков изобразил себя человеком, который уважает иноземную культуру, но придерживается мнения, что Россия должна идти своим путем, не опускаясь до бездарного подражания Франции.

Предкам современных россиян, продолжал он, были присущи многие достоинства: набожность, благонадежность, патриотизм, гостеприимство, доброта — и их потомки, включая Макарова, не имеют причин насмехаться над ними. «Просвещенному» человеку вряд ли подобает презирать своих предков. «Просвещение не в том состоит, чтоб напудренный сын смеялся над отцом своим ненапудренным» [Шишков 1818–1834, 2: 459]. (Это замечание заставляет нас вспомнить обстановку во Франции в конце XVIII века. Напудренные парики, ассоциировавшиеся в сознании русских с иностранцами и их привычками, служили символом аристократического упадничества для якобинцев, но если последние связывали их со старым образом жизни, то Шишков — с новым.) Он также постарался более ясно выразить

<sup>70</sup> См. также [Шишков 1818–1834, 2: 422, 432–434, 437–447, 458–459].

преклонение перед крестьянской массой, лежавшее в основе его теорий, но при этом обошел молчанием обстоятельства, говорящие не в пользу старого режима, а сосредоточился вместо этого на общих вопросах культуры и морали:

Мы не для того обрили бороды, чтоб презирать тех, которые ходили прежде или ходят еще и ныне с бородами; не для того надели короткое немецкое платье, дабы гнушаться теми, у которых долгие зипуны. Мы выучились танцевать менуэты, но за что же насмехаться нам над сельскою пляскою бодрых и веселых юношей, питающих нас своими трудами? Они так точно пляшут, как бывало плясывали наши деды и бабки. <...> Просвещение велит избегать пороков, как старинных, так и новых, но просвещение не велит едучи в карете гнушаться телегою. Напротив, оно, соглашаясь с естеством, рождает в душах наших чувство любви даже и к бездушным вещам тех мест, где родились предки наши и мы сами [Шишков 1818–1834, 2: 459].

Шишков гневно обвинял в вопиющей самонадеянности тех, кто позволял себе отбрасывать старые традиции и нравственные ценности, дорогие многим людям, ничем не доказав свое право предъявлять какие-либо претензии. Они объявляли русскую литературную традицию устаревшей, даже не ознакомившись с ней. Не зная толком русского языка, они считали, что он уступает французскому. Не имея представления об исконной русской культуре, они отмахивались от нее как от пережитка прошлого. И что было для русских людей самым оскорбительным, они даже не признавали, насколько смехотворны их жалкие потуги подражать французам, которые просто-напросто цинично использовали их. Просвещение, по мысли Шишкова, означало не столько культурное, сколько моральное совершенствование. Тот, кто презирает своих предков, по определению не может считаться «просвещенным» [Шишков 1818–1834, 2: 459, *passim*].

Все эти разоблачения имели и политическую составляющую. Александр I и его «молодые друзья» были виновны в тех же

грехах, что и карамзинисты, тогда как Екатерина II, к примеру, относилась к русской национальной традиции с искренним уважением. Поэтому недоверие царя к адмиралу имело под собой основания и было взаимным. В спорах о «новом слогe» заключался парадокс. Его приверженцы (за исключением Карамзина, как ни удивительно) выступали за свободу личности, всеобщее образование и представительное правительство, но их вдохновляли иностранные образцы, а это означало дальнейшее усугубление зависимости России от европейских традиций. Шишков же упорно отстаивал право России быть «русской», но эта «русскость» обрекала крестьян на несвободу и безграмотность [Стоюнин 1877, 2: 534; Щебальский 1870: 214].

Поскольку основной движущей силой реформ было государство, а правящая элита находилась под чужеземным влиянием, которому Шишков противился, его борьба за сохранение культурных традиций никак не могла служить поддержкой существующей государственной системы — или даже существовавшей в недавнем прошлом. Несмотря на дорогие его сердцу воспоминания о Екатерине II и его попытки снять с нее и Петра I вину за ущерб, причиненный вестернизацией, Шишков не мог не понимать, что сложившееся положение было логичным результатом исторического развития России в XVIII веке [Лотман, Успенский 1975: 175; Шишков 1818–1834, 2: 462]. Между тем золотой век, о наступлении которого он мечтал, включал в себя элементы, явно порожденные современностью<sup>71</sup>. Он брал за образец старую литературу на церковнославянском языке, но предлагал не возрождать ее в прежнем виде, а сплавить ее с современной светской литературой таких авторов, как Ломоносов и Державин. Это, однако, довольно плохо согласуется с его идеей духовного единения дворян с крестьянами. То, к чему призывал Шишков, было невозможно по своей природе, как невозможно быть одновременно кротким, как голубь, и хитроумным, как змея. Для этого самодержавию и дворянству понадобилось бы соединить изо-

---

<sup>71</sup> Вяземский говорил, что «Шишков был не столько консерватор, сколько старовер» [Вяземский 1878–1896, 10: 288].

щренность екатерининского Петербурга с духовным смирением старой Московии.

Выдвигавшиеся Шишковым концепции языка, литературы, истории и морали, несмотря на их неточности и противоречивость, отражали идеи, витавшие в воздухе, но окончательно еще не сформулированные. Он придал этим идеям единый смысл, направленный против вестернизации. По мере того как распространялись слухи о грядущих реформах Александра I и Россия вступала в период, ознаменованный Аустерлицем, Тильзитом и Бородином, доктрины Шишкова выглядели все более привлекательно в глазах раздраженного и напуганного дворянства.

## Глава 2

# Политика правительства и общественное мнение. 1801–1811

В первое десятилетие своего правления Александр I вызывал осуждение у многих дворян, которым, как и Шишкову, не нравились проводившиеся и планировавшиеся реформы: ограничение самодержавия, облегчение тягот крепостного права, ужесточение требований к образовательному цензу при поступлении на государственную службу. В периоды 1801–1805 и 1807–1812 годов консервативная оппозиция проявляла недвусмысленную враждебность по отношению к посягательствам на абсолютизм и на свои привилегии. Поддержав войну Третьей коалиции и противодействуя возможности российско-французского союза, после 1805 года движение консерваторов окрасилось в националистические тона. Оно развернулось не только в Санкт-Петербурге и Москве, но с не меньшим размахом и в провинции, объединив представителей разных поколений, сановников и служащих низшего ранга, мелкопоместных дворян и отошедших от дел вельмож.

В начале данной главы будет рассмотрено несколько примеров индивидуального протеста против правительственной политики, а затем ее восприятие обществом в целом. Обзор общественного мнения поневоле носит субъективный характер и основан на общих впечатлениях, поскольку источников, содержащих соответствующую информацию, мало и достоверность ее невозможно проверить. Однако все имеющиеся источники оценивают преобладавшие в обществе настроения примерно одинаково,

и именно на основе этих настроений формировалось мнение широкой публики. Несмотря на многочисленные неточности, эти источники, как мне кажется, дают представление об умонастроении образованных людей того времени.

Г. Р. Державин, поэт и борец с коррупцией в государственных структурах, а также первый российский министр юстиции при Александре I, был фигурой, типичной для Екатерининской эпохи, взрастившей многих видных государственных деятелей. Он с подозрением относился к двум тенденциям политического реформирования: к борьбе аристократии за участие в деятельности правительственных органов, ограничивающее власть царя, и к сосредоточению исполнительной власти в руках всемогущих министров и их министерств, учрежденных Александром взамен прежних коллегий. Увлечение правительственных чиновников чужеземными идеями и их новизна отпугивали Державина: он считал, что следует вернуться к привычной — традиционной, как он полагал, — форме управления, при которой добродетельный и всемогущий монарх действовал бы наподобие добросовестного посредника между своими подданными. Он предлагал сохранить все прерогативы царя, но ограничить власть министров, подчинив их Сенату. Державин опасался чрезмерного усиления министерств и самовластия советников Александра, чуя в последних «конституционный французский и польский дух» [Державин 1871: 787]. Он называл Негласный комитет (состоявший из Чарторыйского, Кочубея, Новосильцева и Строганова) «якобинской шайкой» [Державин 1871: 812] и считал, что это «люди, ни государства, ни дел гражданских основательно не знающие» [Державин 1871: 777]. Не устраивало Державина и многое другое: сенатор-поляк С. О. Потоцкий, воспользовавшись недавним расширением полномочий Сената, предложил дать дворянам возможность беспрепятственно увольняться с воинской службы, что Державин расценил как «польский заговор», имеющий целью ослабить обороноспособность России [Державин 1871: 788]<sup>1</sup>. А уж Указ о вольных хлебопашцах воз-

<sup>1</sup> См. также: [Ходасевич 1988: 198–199].



мутил его до глубины души. Этот закон опасен, считал он, так как искушает простодушных, невежественных крестьян химерой «мнимой вольности и свободы». Начнутся споры по поводу величины необходимого выкупа и бесконечные тяжбы, которые будут выигрывать, как правило, помещики, поскольку в судах заседают дворяне; крестьяне же «по своевольству своему и лени» будут всеми силами уклоняться от воинского набора и уплаты налогов, ибо именно так они понимают свободу [Державин 1871: 812–813]. Упрямство Державина и его непререкаемый тон в конце концов восстановили против него и его коллег министров, и сенаторов, и самого Александра. 7 октября 1803 года император сместил его с министерского поста [Шильдер 1897, 2: 115].

В биографиях Державина и Шишкова много общего, поскольку их мировоззрение и образ жизни были типичны для большинства провинциальных дворян. Однако, если Шишков учился в элитном Морском кадетском корпусе, то Державин был слишком беден для этого и вступил в гвардейский полк рядовым. Оба родились в середине XVIII века (Державин был на одиннадцать лет старше Шишкова) в мелкопоместных дворянских семьях со скромным достатком. И хотя оба были наделены недюжинными способностями и пытливым умом, они не получили систематического гуманитарного образования и были в области философии, литературы и политической теории скорее самоучками. В царствование Екатерины II они постепенно поднимались по служебной лестнице. И тот и другой были религиозны и всей душой верили в ценность порядочности и справедливости, однако, в отличие от Александра I и членов Негласного комитета, находившихся под большим влиянием рациональной европейской философии энциклопедистов, остались равнодушны к этим теориям. Их идеал социального устройства был унаследован в нетронутым виде от предков: незабываемая патриархальная иерархия, связывавшая воедино Бога, мудрого царя, верное ему дворянство и довольный жизнью народ. Это мироустройство не регламентировалось буквой закона или бюрократическими предписаниями, и уж подавно в нем не было места конституционализму, ограничивающему власть царя [Augustine 1970].

Представители знатных родов тоже выказывали недовольство. Среди критиков проводимой Александром политики были министр иностранных дел граф Александр Воронцов и его брат Семен, посол в Лондоне и горячий поклонник английской политической системы, в которой доминировала аристократия. Вместе с Державиным они участвовали в 1801 году в неудачной попытке расширить полномочия Сената — не с целью ограничить власть царя, а для того, чтобы наряду с авторитарными решениями его фаворитов-министров до него доходило и мнение дворянства. Как отмечает О. Наркевич, сенаторов назначали сверху и исключительно из аристократической среды, так что вряд ли Сенат мог стать зародышем представительной формы правления. Сенаторам не хватало управленческого и юридического профессионализма, и работали они по-любительски, спустя рукава, что снижало эффективность Сената как административного или консультативно-совещательного органа и как верховного апелляционного суда. В то время как с наступлением нового века в европейской политике все сильнее ощущалось влияние избираемых народом политиков и профессиональных государственных служащих, российская «сенатская партия», чью позицию разделял Шишков, упорно тянула страну в прошлое<sup>2</sup>.

Аналогичных взглядов иногда придерживались и молодые европеизированные аристократы «из лучших семейств». Примером может служить Ф. Ф. Вигель, честолюбивый литератор и сторонник «нового слога», чьи мемуары, наполненные сплетнями, служат ценным источником сведений о культуре и настроениях русской аристократии в начале 1800-х годов. Он высказывал сожаление по поводу того, что Александр I был воспитан в западническом духе и якобы презирал все русское, и в результате его Негласный комитет состоял, по мнению Вигеля, из ничтожеств, англоманов и предателей. Вслед за сенаторами, Державиным и Шишковым, он опасался, что министерское правление обернется тиранией бюрократии. Что касается гражданских свобод

<sup>2</sup> См. [Шильдер 1897, 2: 53; Narkiewicz 1969: 135–136; Christian 1979: 302–314; Шишков 1870, 1: 87].

в России, то, как писал Вигель впоследствии, Александр, с виду либерал, был на самом деле властолюбив, «как совершенно русский человек», а свобода была для него лишь «забавой ума», в то время как «невежественный наш народ и непросвещенное наше дворянство и теперь еще в свободе видят лишь право своевольничать» [Вигель 1928, 1: 148–154, 160–161]. Подобно подавляющему большинству русских консерваторов, Вигель считал крепостное право и самодержавие неотъемлемыми составляющими русской национальной идентичности.

Помимо внутренних российских факторов, консерваторов-оппозиционеров объединяло враждебное отношение к Франции как рассаднику современных идей. Позиция российского образованного класса в этом вопросе давно уже была двойственной. Первоначально многие русские восприняли Французскую революцию благосклонно. Отношение к ней начало меняться с 1793 года, когда были казнены Людовик XVI и Мария-Антуанетта, французские эмигранты стали привозить рассказы о творимых революционерами жестокостях, а правительство Екатерины II заняло антифранцузскую позицию, сохранявшуюся несколько лет и при Павле I. Ужас перед революцией и охватившая всех франкофобия сопровождалась распространенной, хотя и поверхностной англomanией и ростом культурного национализма, который проповедовал Шишков.

Несмотря на это, влияние французской культуры оставалось чрезвычайно большим. Оно проникало во все сферы жизни аристократии через книги и журналы, через общение с гувернерами и прочими эмигрантами. Французская литература стала неотъемлемой частью культурного багажа аристократов, и Шишков усматривал в этом серьезную угрозу. Французское влияние коснулось и консерваторов, которым посвящена данная книга: Ростопчин и Стурдза писали почти все частные письма по-французски, Рунич сочинял свои мемуары тоже на французском языке. Неслучайно большинство французских эмигрантов, приехавших в Россию после 1789 года, не испытывали необходимости учить русский язык: они легко могли обойтись своим родным. Молодая англичанка Кэтрин Уилмот,

подруга Е. Р. Дашковой, находила, что аристократы «ведут себя по-детски глупо, когда поносят Бонапарта, но в то же время не могут обойтись без французского повара и отдают своих детей на воспитание учителям и гувернанткам, которые являются просто беспринципными парижскими авантюристами» [Wilmot 1934: 194]<sup>3</sup>.

Мнение русских дворян о Наполеоне претерпело значительные трансформации. Многие впервые услышали о нем во время его Итальянской и Египетской кампаний. Тогда он поразил воображение романтически настроенных молодых людей, вроде С. Глинки, который впоследствии вспоминал: «Верх желаний наших было тогда, чтобы в числе простых рядовых находиться под его знаменами. <...> Кто от юности знакомился с героями Греции и Рима, тот был тогда Бонапартистом» [Глинка 1895: 194]. Когда Павел I поменял союзников и объединился с Францией против Британии, в России стали появляться сочинения о Наполеоне агиографического характера, а русские либералы прониклись к нему симпатией. Но от этой симпатии ничего не осталось после убийства герцога Энгиенского<sup>4</sup> и провозглашения Наполеона императором. С того момента русское дворянство воспринимало Бонапарта в основном как тирана и узурпатора. Для многих он был чуть ли не личным врагом — как для того дворянина, который назвал своих собак Наполеошкой и Жозефинкой. Страх, испытываемый дворянами перед Наполеоном, был понятен: «законная» монархия обеспечивала их права, и в первую очередь право владеть крепостными. Однако восхищение Наполеоном как человеком, достигшим вершины власти благодаря своим способностям, не исчезло полностью, особенно в чиновничьих кругах; русские офицеры, принимавшие участие в войне Третьей

<sup>3</sup> Письмо К. Уилмот к Анне Четвуд от 24 сентября 1805 года, Троицкое. См. также [Naumant 1910: 119–128, 172–182, 189, 196–197; Вигель 1928, 1: 96; Фридлендер 1990: 12–14, 69–70; Cross 1983; Ignatieff 1966].

<sup>4</sup> См., например, письмо Ж. де Местра к Росси от 18/30 апреля 1804 года, Санкт-Петербург [Maistre 1884–1886, 9: 156], и письмо императрицы Елизаветы Алексеевны к матери от 5/17 апреля 1804 года, Санкт-Петербург [Николай Михайлович 1908–1909, 2: 125].

коалиции, преклонялись также перед его полководческим гением [Казаков 1970, 1: 32–40].

Дворяне видели угрозу как в растущем могуществе Наполеона, так и в планировавшихся Александром I реформах. Но и перспектива войны с Францией не радовала их. Посол Сардинии Жозеф де Местр высказал осенью 1804 года мнение, что гнев на Наполеона не переходит во всеобщее стремление к войне<sup>5</sup>, однако полностью положиться на взгляд этого очевидца событий, к сожалению, нельзя. Как вспоминал А. И. Михайловский-Данилевский, «кто не жил во времена Наполеона, тот не может вообразить себе степени его нравственного могущества, действовавшего на умы современников. <...> Имя его было известно каждому и заключало в себе какое-то безотчетное понятие о силе без всяких границ»<sup>6</sup>. При оценке умонастроения общества того времени необходимо учитывать все эти эмоции. К войне склоняло многое: ненависть к Французской революции, страх перед внешней и внутренней (со стороны «якобинской шайки» советников Александра) угрозой существующему порядку вещей, а также несколько десятилетий постоянных военных побед. Усиливали это настроение такие факторы, как опасность, что Франция добьется разрыва русско-британских торговых связей, английская антинаполеоновская пропаганда, деятельность придворных-англофилов и страх перед тем, что наполеоновские военные успехи могут вызвать в России крестьянские волнения [Жаринов 1911а: 200]. Ставки были выше, нежели в какой-либо из войн, остававшихся в памяти современников: Наполеон был грозен и мог при желании заразить русских крепостных вирусом революции.

Враждебность к наполеоновской Франции сочеталась в общественном мнении с неприятием планов Александра по рефор-

---

<sup>5</sup> Письмо де Местра к России от 28 сентября / 10 октября 1804 года, Санкт-Петербург [Maistre 1884–1886, 9: 241]; см. также письмо императрицы Елизаветы к матери от 5/17 апреля 1804 года, Санкт-Петербург [Николай Михайлович 1908–1909, 2: 125].

<sup>6</sup> Цит. по: [Казаков 1970, 1: 32].

мированию России; истоком и того и другого был глубоко укоренившийся консерватизм высших классов в отношении политических и социальных проблем. Реформа Сената нашла очень слабую поддержку в обществе, поскольку в стране, где связи между властными органами или наделенными властью лицами зависели не от их положения в общей государственной структуре, а от личных отношений и высший класс был гораздо меньше структурно оформлен, чем на Западе, покровительство императора выглядело куда более надежной опорой для интересов дворянства, чем олигархическое правление аристократической элиты. В самодержавной России не было социальной базы для возникновения движения в защиту «прав» дворянства, подобного провинциальным «парламентам», существовавшим во Франции в последние десятилетия перед революцией. Аналогичным образом дело обстояло и с отношением дворян к крепостному праву. Оно служило основой их привилегированного положения, и потому они никак не могли выступать ни за его отмену, ни за реформирование, поскольку, подобно властным структурам, крепостничество строилось на личных отношениях и не подчинялось правовым нормам. Любая реформа могла усложнить официальный статус крепостного и тем самым подорвать роль дворянства как посредника между народом и государством. Эта уникальная функция делала наличие дворянского класса непременным условием существования государства и способствовала тому, что при возникновении социальных проблем царь становился на сторону этой небольшой прослойки населения против широких народных масс. Кроме того, наделение крепостных гражданскими правами могло раздражить их аппетиты, и, если бы крестьяне перестали рассматривать свое бесправное положение как нормальный порядок вещей, вся система крепостничества могла рухнуть. Было крайне необходимо, чтобы в деревне царил покойствие. Все, что грозило его нарушить, — реформаторские указы императора, отстаивающие свои права крепостные, обращения Наполеона к русскому крестьянству или даже слухи о таких обращениях, — было абсолютно неприемлемо для дворянства.

Было маловероятно, что русские дворяне, поддерживающие крепостной строй и самодержавие, когда-либо смогут примириться с Наполеоном. В их глазах он предстал наследником Робеспьера. Как они убедились при установленном Сперанским режиме наполеоновского типа (авторитарное правовое государство, построенное по принципу меритократии), подобный режим давит на них сверху, урезая их привилегии, в то время как снизу маячит угроза крестьянских бунтов. Стремясь не допустить этих неприятностей, они обратились к консервативному национализму, который подчеркивал роль дворянства как носителя национальных традиций и вооруженной опоры государства. В этом смысле ксенофобия представляла собой механизм социальной защиты.

Русское дворянство уверовало в то, что ему предназначено выполнить священный долг: одержать легкую победу над Наполеоном на поле сражения. Эта вера основывалась на длинном списке военных успехов России, традиционном ощущении себя классом воинов и высокомерном презрении к «сброду», верховодившему во Франции после 1789 года. Подстегивало дворян и обостренное чувство собственного и национального достоинства, затуманивавшее их сознание и мешавшее трезво оценить противника, об утрашающей военной мощи которого они не имели представления вследствие провинциальной узости своего мировосприятия. Эти пагубные особенности их менталитета подпитывали друг друга, и в результате испытывать презрение к французам считалось патриотическим долгом, воинственный пыл становился защитой своей чести, а предусмотрительность — трусостью. Правительство со свойственными ему авторитарностью и повышенной секретностью поддерживало эти настроения, препятствуя серьезному обсуждению военной обстановки. Не получая информации, необходимой для разумной оценки событий (как в международной, так и во внутренней политике), публика упивалась иллюзией превосходства собственной нации и верила надуманным теориям заговора, а также слухам об измене российских лидеров и союзников<sup>7</sup>.

<sup>7</sup> См. [Троицкий 1988: 211–212].

Когда в 1805 году наконец разразилась война Третьей коалиции, российская публика была настроена очень воинственно. С. П. Жихарев, семнадцатилетний москвич, отсылал свои дневниковые записи двоюродному брату, подробно описывая в них все, что он видел и слышал той осенью. Изданный царем 1 сентября указ о дополнительном наборе в армию, писал Жихарев, всколыхнул волну патриотического энтузиазма в Москве, где антинаполеоновская лихорадка подчас пробуждала в людях слепую гордыню. Так, некий разгневанный помещик кричал в Английском клубе: «Подавай мне этого мошенника Буонапартия! Я его на веревке в клуб приведу». Один из гостей клуба поинтересовался, не является ли этот человек знаменитым генералом, и получил в ответ стихотворный экспромт:

Он месяц в гвардии служил  
И сорок лет в отставке жил,  
Курил табак,  
Кормил собак,  
Крестьян сам сек —  
И вот он в чем провел свой век!  
[Жихарев 1989, 1: 131].

Молодому Жихареву казалось, что публика слишком легкомысленно относится к войне. Шовинистический угар сменялся тревогой за жизнь сыновей. Люди хотели знать новости, но не имели ясной картины происходящего по целому ряду причин: общей политики секретности, отсутствия развитой прессы, существования цензуры и перлюстрации почты полицией, а также удаленности Москвы от театра военных действий. За отсутствием точных сведений город был наводнен самыми дикими слухами, на сцену выходили те, кто владел информацией. Князь Одоевский даже снял квартиру напротив почтамта, чтобы первым узнавать новости, а фешенебельный Английский клуб, переполненный слухами, напоминал «настоящий воскресный базар» [Жихарев 1989, 1: 144]<sup>8</sup>.

<sup>8</sup> Записи 7 сентября, 9, 18 и 22 октября, 2 и 25 ноября 1805 года [Жихарев 1989,



Так продолжалось всю осень, вплоть до 20 ноября (2 декабря по европейскому стилю), когда русские и австрийские войска потерпели тяжелое поражение под Аустерлицем. Шишков писал впоследствии с гневным сарказмом:

Возгоревшаяся с Франциею война воспламенила всех молодых людей гордостью и самонадеянием. Поскакали все, и сам государь, на поле сражения: боялись, что французы не дождутся их и уйдут; но, по несчастию, они не ушли и доказали им, что в подобных случаях лучше терпеливая опытность, нежели неопытная опрометчивость [Шишков 1870, 1: 95].

Прошли недели, прежде чем выяснились подробности сражения. Влиятельный «Вестник Европы» даже в январе 1806 года все еще задавался вопросом о его исходе. Когда исход стал известен, он ужаснул всех. Де Местр в Петербурге, а Жихарев в Москве отмечали, насколько русские люди не привыкли к военным поражениям. Вигель, вернувшийся в начале 1806 года из Китая после длительной дипломатической миссии, был поражен тем, как упало доверие публики к власти и к императору лично. Особенно значительное недовольство ощущалось в Москве — Петербург в этот кризисный момент оставался лояльным царю. Как вспоминал друг Александра I Новосильцев, по возвращении императора в Петербург он был встречен с патриотическим энтузиазмом, но отношение к нему заметно ухудшилось, когда стали известны его действия во время военной кампании. Шведский посол граф Курт фон Стедингк докладывал в апреле в письме своему королю, что поспешное возвращение Александра после Аустерлица в конце концов усугубило его вину в глазах населения. Армия ропщет, писал он, но особенно громкое ворчание доносится из Москвы. Только недавно город приветствовал генерала Багратиона как героя, но при этом «ни слова похвалы не было произнесено в адрес императора» [Stedingk 1844–1847, 2: 150–151]. Это противоречит показаниям Жихарева, присутствовавшего на

---

1: 117, 131, 133–134, 138, 144, 153].

торжественном обеде в честь Багратиона, устроенном в Английском клубе 3 марта 1806 года, где, по его словам, две с половиной сотни членов клуба и полсотни гостей поддержали восторженный тост в честь Александра. Однако Стедингк оценивает популярность императора более взвешенно: тост мог служить просто рутинным подтверждением лояльности и не выражать истинных чувств.

Подавленное состояние общества, как отчасти показывает и прием в честь Багратиона, может резко смениться вызывающим поведением. Многие, начиная с императрицы, объясняли поражение предательством австрийцев. В Москве, пишет Жихарев, стали поговаривать, что нельзя ожидать побед буквально в каждом сражении и что в России хватит воинов, которые продолжают борьбу. Как выразился один из французских историков, русских будоражил «дух 1792 года» [Naumant 1910: 255]: понести поражение от французов было само по себе очень неприятно, но от вчерашних *санкюлотов* — совсем уж унижительно. Заключать договоры с ними, тем более после поражения, значило потерять лицо, упасть в глазах всего света и, главное, петербургских дам<sup>9</sup>.

После неудачных мирных переговоров летом 1806 года вероятность продолжения войны опять возросла, и князь Одоевский вновь переехал в апартаменты напротив почты. Когда Александр издал 30 августа манифест о предстоящей войне, публика восприняла его, как отметил Жихарев, с мрачной решимостью добиться победы любой ценой<sup>10</sup>. Как и перед Аустерлицем, все были уверены в победе, и Стедингк писал в Стокгольм, что благодаря слухам о полном и окончательном поражении Наполеона

<sup>9</sup> См. [Жаринов 1911а: 202–203]; письмо де Местра к графу де Фронту от 4/16 января 1806 года [Maistre 1884–1886, 10: 16]; дневниковые записи Жихарева 30 ноября и 2 декабря 1805 года [Жихарев 1989, 1: 160, 222–226]; [Вигель 1928, 1: 231, 259; Kukiel 1955: 70–71]; письмо императрицы Елизаветы к матери от 11/23 декабря 1805 года, Санкт-Петербург [Николай Михайлович 1908–1909, 2: 176–177]; [Naumant 1910: 253–255]. О реваншистских настроениях будущих декабристов после Аустерлица см. [Эйдельман 1989: 217].

<sup>10</sup> Записи 18 мая, 25 августа и 6 сентября 1806 года [Жихарев 1989, 1: 242; 2: 5–6].

(которые, подозревал посол, распространялись французскими тайными агентами) шок, вызванный известием о сокрушительном разгроме прусских армий под Йеной и Ауэрштедтом 2/14 октября, возрос многократно. Однако, несмотря на столь быстрый выход Пруссии из войны, русские не пали духом и вскоре схватились с французскими войсками на территории Польши. Они вступили в войну с той же решимостью, что и годом ранее. Некий молодой офицер, наполовину русский, наполовину немец, призванный в армию осенью того года, писал, что «война с Наполеоном рассматривалась как святое дело, а к нему самому в России относились с ненавистью, как к врагу рода человеческого» [Stedingk 1844–1847, 2: 241]<sup>11</sup>.

На внутреннем фронте российские власти стремились избежать какого бы то ни было риска. Они не пытались для повышения боеготовности вызвать всплеск патриотизма среди высших или низших классов, а ставили себе целью прежде всего предупредить всякое публичное обсуждение событий из страха, что оно обернется критикой правительства. Перед отбытием в армию в 1805 году Александр создал тайный комитет, призванный заниматься вопросами внутренней безопасности, — то есть фактически восстановил «тайную экспедицию», распущенную им же в 1801 году. Комитет был обязан, помимо всего прочего, следить за подозрительными лицами, собраниями и перепиской и пресекать распространение панических настроений — короче, «избирать удобнейшие пути к отдалению от граждан всякой неприязни и тревожной мысли» [Шильдер 1897, 2: 363]. Комитет развернул свою деятельность главным образом в столицах, но должен был также поддерживать связь со всеми губернаторами и не допускать распространения опасных слухов в провинции, особенно в связи с вызванным войной повышением налогов. При этом членов комитета обязывали проводить различие между злостными выступлениями подрывного харак-

---

<sup>11</sup> Письмо к шведскому королю от 25 октября / 4 ноября 1806 года. О шоке, произведенном в России известием о разгроме прусской армии, см. [Вигель 1928, 1: 269–270; Schubert 1962: 93].

тера и безобидными слухами [Шильдер 1897, 2: 362–364; Булич 1902–1905, 1: 168–171].

Указом от 13 января 1807 года тайный комитет был преобразован в Комитет общей безопасности. Этот орган, получивший странное, звучащее несколько по-якобински название, должен был не только выполнять те же функции, что и его предшественник, но и обратить особое внимание на «остатки тайных обществ под названием *Иллюминатов*, *Мартинистов* и других тому подобных» [Шильдер 1897, 2: 365]. Подозревали, что эти организации состоят из французских агентов, занимающихся саботажем, подбивающих народ к измене и распространяющих слухи о свободе для крепостных<sup>12</sup>. Правительство и значительная часть дворян полагали, что существует двойная угроза существующему порядку: тайные общества представителей высших классов (подозревавшиеся еще Екатериной в связях с врагами отечества и в подрывной деятельности) и вера крестьян в то, что Наполеон даст им свободу. Перед комитетом поставили задачу разоблачить этот заговор.

Вторая угроза в особенности тревожила власти. Ходили слухи, будто бы Наполеон потребовал освобождения русских крепостных в качестве обязательного условия заключения мира, и какой-то крестьянин выразил надежду, что война покончит с несправедливостью в России. Говорили, что Наполеон считает своими врагами только дворян, а крестьянам даст свободу. Эти слухи усиленно муссировались французскими агентами, распространявшими в 1807 году на западных границах России листовки, в которых расписывалось произведенное Наполеоном освобождение крепостных в Великом герцогстве Варшавском. В ответ российское правительство, в придачу к усилению полицейского надзора, развернуло кампанию по выпуску книг и брошюр, дискредитирующих Наполеона [Казаков 1970, 1: 38–39; Сироткин 1981а; Сироткин 1976].

<sup>12</sup> Письмо Стединга к шведскому королю от 29 января / 12 февраля 1807 года, Санкт-Петербург [Stedingk 1844–1847, 2: 272–273].

Комитет общей безопасности учредили в связи с тем, что правительство было обеспокоено недовольством, возникшим в среде дворянства, и в еще большей мере — волнениями крестьянской массы. Страх перед крестьянскими бунтами, разумеется, всегда был неотъемлемой частью российской жизни, но в 1806–1807 годах он усилился из-за неурядиц с созданием народного ополчения. Царским указом от 30 ноября 1806 года была образована так называемая крестьянская милиция, что приветствовалось большинством дворян<sup>13</sup>, но отнюдь не всеми крестьянами. Так, сенатор И. В. Лопухин сообщал в начале 1807 года о настроениях в Южном и Восточном Подмосковье. Крестьяне не верили обещанию правительства, что служба в ополчении будет кратковременной (воинская повинность в России предусматривала службу в течение двадцати пяти лет), а срочность его создания наводила их на мысль, что вражеские войска уже вторглись на территорию России. Лопухин установил также, что некоторые горожане делают щедрые денежные взносы на войну, а другие предоставляют их неохотно: многие провинциалы считали, что налог на военные расходы начисляется разным губерниям неравномерно<sup>14</sup>.

Даже в спокойные времена приходилось следить за тем, чтобы крестьянские массы не восставали против крепостников, а с появлением такого врага, как французы, эта проблема обострилась. В декабре 1806 года губернаторам был разослан секретный циркуляр, в котором говорилось:

Врываясь в пределы воюющих с ним держав, [Наполеон] всегда старается прежде всего ниспровергать всякое повиновение внутренней власти, возбуждать поселян против законных их владельцев, уничтожать всякое помещичье право, истреблять дворянство и <...> похищать законное достояние и собственность прежних владельцев<sup>15</sup>.

---

<sup>13</sup> См., например, [Жихарев 1989, 2: 40] (запись 30 ноября 1806 года).

<sup>14</sup> РГИА. Ф. 1673. Оп. 1. Д. 2. Л. 1 об.–2.

<sup>15</sup> Цит. по: [Жаринов 1911а: 207].

Александр призвал Русскую православную церковь воздействовать на крестьянские массы своим моральным авторитетом и предотвратить возникновение у них симпатии к Наполеону. Святейший Синод тут же выпустил обращение к народу, в котором прежде всего объяснял космологическое значение создавшегося международного конфликта. Наполеон, заявлял Синод, отрекся от христианской веры и принимал участие в идолопоклоннических празднествах богопротивной Французской революции. Во время Египетского похода он заигрывал с исламом, затем восстановил Великий еврейский синедрион (в свое время приговоривший Иисуса к смерти) и теперь составлял дьявольский план объединения всех евреев с целью покончить с христианством, а его самого объявить новым мессией. Поэтому все правоверные христиане должны храбро сражаться с ним, подчиняться законной власти и не поддаваться дьявольским искушениям врага. В отдельном воззвании Синод расписал кошмары, выпавшие на долю «ослепленного мечтою вольности народа французского», когда «за ужасами безначалия следовали ужасы угнетения» [Шильдер 1897, 2: 357]. Эти призывы, судя по всему, были эффективны и настроили народ против Наполеона, однако вскоре российские власти пожалели об этом, потому что, по иронии судьбы, им пришлось заключить договор с «Антихристом»<sup>16</sup>.

К весне 1807 года русские войска увязли на полях сражений в Польше и Восточной Пруссии, и, как докладывал де Местр своему правительству, популярность Александра в столице продолжала падать. Жихарев наблюдал (теперь уже в Петербурге), как настроения публики сменяются между агрессивностью, страхом, разочарованием и непреодолимым любопытством. 7 апреля 1807 года он был свидетелем разговора нескольких сановников: «Один из них осуждал действия главнокомандующего армию, другой назначал своих генералов, а третий утверждал, что он для окончания войны “просто взял бы Париж и Бонапарте повесил бы как разбойника” и проч. и проч.»

<sup>16</sup> См. [Шильдер 1897, 2: 157–158, 354–358].

[Жихарев 1989, 2: 233]. 25 апреля он отметил, что «в обществах заметно какое-то беспокойство» [Жихарев 1989, 2: 262] и что публика так же, как после Аустерлица, не устает обвинять немецких и британских союзников в отсутствии хороших вестей с театра военных действий. Запись от 16 мая гласит: «Дай бог слышать добрые вести! Между тем известия из армии как-то замолкли: гвардейцы мало пишут, официальных сведений вовсе нет и любопытство публики час от часу возрастает» [Жихарев 1989, 2: 299]. Даже после разгрома при Фридланде 2/14 июня 1807 года и начала мирных переговоров в Тильзите правительство не удосужилось объяснить публике толком, что происходит на фронте. Находившимся в столице иностранным дипломатам приходилось довольствоваться слухами. Так, Стедингк сообщает в Швецию 18 июня, что не знает подробностей битвы при Фридланде, а сведения о перемирии, вроде бы заключенном между двумя императорами, противоречивы. Мир действительно был подписан 25 июня, но даже 26 июля дипломат не мог сказать о нем ничего определенного [Stedingk 1844–1847, 2: 321–322, 329]<sup>17</sup>. 4 июля Александр вернулся в столицу, но лишь 9 августа официальным манифестом известил своих подданных об окончании войны. До этого момента об изменении международной ситуации можно было только догадываться по некоторым неуклюжим мерам, предпринимавшимся правительством; так, 18 июля было запрещено зачитывать в церквях прокламацию Синода, осуждающую Наполеона, и произносить соответствующие проповеди. Вчерашний лжемессия превратился в ценного союзника [Шильдер 1897, 2: 207].

Первая реакция на Тильзитский мир была довольно благоклонной. Орудийный салют в столице 3 июля в честь этого события, прибытие монарха на следующий день, служба в Казанском

---

<sup>17</sup> 6 августа 1807 года русский министр иностранных дел Будберг официально известил Стедингга об условиях мирного договора [Stedingk 1844–1847, 2: 330–331]. См. также письма де Местра к России от 9/21 и 19/31 марта 1807 года, Санкт-Петербург [Maistre 1884–1886, 10: 348]. Об отсутствии новостей с фронта в Москве см. письмо Ю. А. Нелединского-Мелецкого к Е. И. Нелидовой от 4 марта 1807 года, Москва [Оболенский 1876: 72].

соборе 5 июля с последующей праздничной иллюминацией — все это радостно принималось публикой, желавшей мира и не знавшей об условиях его заключения. Но вскоре ее настроение изменилось. 15 июля Кэтрин Уилмот пишет из Петербурга: «...все считают, что вчерашняя иллюминация по поводу заключения мира отражала настроение публики, и если это действительно так, то это не предвещает ничего особенно хорошего, ибо зрелище было крайне убогим... Все бранят англичан за то, что они оказались такими нерасторопными союзниками» [Wilmot 1934: 250–251]. Ее сестра Марта наблюдала аналогичную картину в Москве<sup>18</sup>.

Одобрение Тильзитского мира быстро сменилось всеобщим унынием. Как писал впоследствии Шишков, Россия и другие европейские страны были вынуждены признать, что Наполеон «сделался некоторым образом повелителем и господином над всеми» [Шишков 1870, 1: 95]. Стали подозревать — как отметили и сестры Уилмот, — что, пока Россия честно сражалась с Наполеоном, другие страны (и в первую очередь Британия) загребали жар чужими руками, а германские союзники и российские генералы немецкого происхождения предали ее<sup>19</sup>. Даже старые друзья Александра по Негласному комитету тревожились по поводу его профранцузской политики, а в офицерском корпусе после поражений 1805 и 1807 годов царили реваншистские настроения. Воззвания Синода внушили простому народу, что он воюет с Антихристом, и потому он был уверен, что «мир за-

<sup>18</sup> Письмо К. Уилмот к Анне Четвуд от 15 июля 1807 года, Санкт-Петербург; дневниковая запись М. Уилмот 18 июля 1807 года [Wilmot 1934: 299–300]. См. также [Дубровин 1898–1903, 1: 488].

<sup>19</sup> См. [Глинка 1895: 182]. Ростопчин тоже полагал, что борьба России с Наполеоном на руку только Британии (см. главу третью данной книги). Как пишет Батюшков в письме к Гнедичу от 19 марта 1807 года из Риги, он возненавидел немцев, еще сражаясь с французами [Батюшков 1989, 2: 68]. Вигель в 1806 году был оскорблен тем, что Россия послужила «наемником» для «гордецов-островитян» [Вигель 1928, 1: 259–260]. Дубровин пишет о враждебном отношении к генералу Беннигсену, командовавшему в 1807 году русской армией [Дубровин 1898–1903, 1: 499–500]. Бонамур отмечает уязвленный патриотизм молодых либералов вроде Николая Тургенева [Bonamour 1965: 67].



ключен при содействии нечистой силы» [Дубровин 1898–1903, 1: 493]<sup>20</sup>. В конце-то концов, вспоминал Вяземский, «Наполеон <...> был не что иное, как воплощение, олицетворение и *оцарствование революционного* начала. Он был равно страшен и царям и народам. <...> Все были под страхом землетрясения или извержения огнедышащей горы. Никто не мог ни действовать, ни дышать свободно»<sup>21</sup>. Подобная напряженная атмосфера отнюдь не ограничивалась столичным аристократическим кругом. Александра предупреждали, что Петербург порождает слухи, которые быстро доходят до Москвы, Москва же каждую зиму принимает множество провинциальных дворянских семейств со слугами, и в результате, как писал М. Л. Магницкий, «гибельная мода порицать правительство переходит в провинции <...> и благотворную доверенность к правительству, в важных положениях его столь драгоценную, в основании ее и повсеместно колеблет»<sup>22</sup>.

Стремясь укрепить доверие к правительству, Александр менял одного за другим министров иностранных дел. В 1806 году он сместил с этого поста крайне непопулярного Чарторыйского и поставил на его место А. Я. Будберга, ливонского генерала, не имевшего достаточного опыта в международных делах, а в 1808 году заменил его графом Н. П. Румянцевым, противником войны, открыто выступавшим за союз с Францией. Способствуя заключению Тильзитского мира, Румянцев завоевал расположение Наполеона и потерял популярность в России. Но серьезной роли в политике он не играл, так как, судя по всему, царь готовился к новой войне с Францией за спиной Румянцева [Grimsted 1969: 151–182; Stählin 1929–1939, 3: 131].

К моменту встречи Александра с Наполеоном в Эрфурте осенью 1808 года перспективы союза с Францией были уже не такими блестящими (хотя перед публикой разыгрывалось полное согласие). Российские остряки называли встречу «визитом

<sup>20</sup> См. также [Окунь 1948: 168].

<sup>21</sup> Цит. по: [Дубровин 1898–1903, 8: 478].

<sup>22</sup> Цит. по: [Дубровин 1898–1903, 1: 508].

в Эрфуртскую Орду», намекая на унижительные поездки русских князей в Золотую Орду для уплаты дани татаро-монгольским хозяевам. Эта поездка Александра и реакция на нее — характерный пример того неловкого положения, в котором царь пребывал с 1807 по 1812 год, лавируя между коварным французским союзником и общественным мнением, чью враждебность к Франции он разделял в гораздо большей степени, чем мог позволить себе признать открыто. Он вел двойную игру: публично выступал за укрепление союза с Францией, а втайне готовился к войне с ней. С политической точки зрения эта стратегия была проигрышной на обоих фронтах: Париж не доверял голословным заверениям в дружбе, которым противоречили конкретные действия (вроде слабой поддержки французской кампании 1809 года против Австрии и последовавшего в 1810 году прекращения участия России в континентальной блокаде), а соотечественники поносили Александра за союз с Наполеоном<sup>23</sup>.

Когда французский посланник Рене Савари впервые приехал в Санкт-Петербург в июле 1807 года, его встретили с раздражением и не предоставили никакого жилья, так что ему пришлось устроиться в гостинице, которой владел француз. В течение следующих шести недель никто, кроме Александра, не приглашал его ни на какие публичные мероприятия. Его поразило, с каким неодобрением относились к царю молодые дворяне и сколь значительную роль в формировании общественного мнения играли представители Великобритании: все, и в особенности купцы, были недовольны нарушением налаженных торговых связей с Британией. Александр держался с послом своего грозного союзника очень учтиво, но публика единодушно игнорировала его. Как сказал немецкий дипломат американскому послу Джону Куинси Адамсу, «на одной стороне император и [министр иностранных дел Румянцев], а на другой — все ос-

<sup>23</sup> О проявлениях недовольства в отношении союза с Францией см., в частности, [Альтшуллер 1984: 160]; письма де Местра к Росси в августе 1811 года [Maistre 1984–1986, 11: 136–137; 12: 60]; а также [Вигель 1928, 1: 286; Дубровин 1898–1903, 9: 56].

тальное население» [Adams 1970: 69]<sup>24</sup>. В течение зимы после заключения Тильзитского мира в Петербурге устраивалось необычайно много балов, с помощью которых император надеялся поднять настроение публики и примирить ее с французским послом, но из этого ничего не вышло. Новым послом, сменившим Савари, был Арман Коленкур. Александр принял его с особым почетом, но остальные бойкотировали его так же, как и Савари. Когда в начале 1809 года Петербург посетила прусская королевская чета (незадачливые союзники России в кампании 1806–1807 годов), общество в пику Коленкуру приветствовало их с подчеркнутым гостеприимством. Такую же нарочитую симпатию все выказывали испанцам, ведущим партизанскую войну против Наполеона: многие видели в ней прообраз будущей «народной войны» с французами [Дубровин 1898–1903, 8: 480–482; Доделев 1972].

Всеобщее недовольство нарастало. Весть о возможной женитьбе Наполеона на сестре Александра Анне Павловне была воспринята кисло, так как жених публику никак не устраивал. Когда же выяснилось, что французский император женится на австрийской принцессе Марии-Луизе и что параллельно с Романовыми он вел матримониальные переговоры с Габсбургами, русские были вдвойне оскорблены<sup>25</sup>. К этому добавлялись крестьянские волнения, экономические неурядицы, связанные с набором в крестьянскую милицию в 1806–1807 годах, разрыв торговых связей в результате континентальной блокады и ин-

---

<sup>24</sup> Дневниковая запись 16 ноября 1809 года (н. с.). (Сокращение «н. с.» обозначает даты по григорианскому календарю.) Немецким дипломатом был посол Вестфалии барон Буше Хюннефельдт. См. также [Savary 1828, 2, II: 97–100, 112–113]; отчет Савари, посланный в Париж из Петербурга 24 августа 1807 года (н. с.); письмо Савари к Наполеону от 23 сентября 1807 года (н. с.) и к Шампиньи от 18 октября 1807 года (н. с.), Санкт-Петербург [Savary 1890: 41–43, 80, 86, 140].

<sup>25</sup> См. письмо почт-директора Ф. П. Ключарева к министру полиции А. Д. Балашову от 13 января 1810 года [Дубровин 1898–1903, 13: 242] и письмо де Местра к королю Сардинии Виктору Эммануилу I от 26 февраля / 10 марта 1810 года [Maistre 1884–1886, 11: 406].

фляция, вызванная бюджетным дефицитом<sup>26</sup>. Создать образ Наполеона-Антихриста оказалось легче, чем отказаться от него. На одной из почтовых станций в российской глубинке висел портрет, напоминающий Наполеона. Почтмейстер объяснил, что портрет нужен ему для того, чтобы опознать и арестовать негодяя, если тому вздумается проехать через его станцию под вымышленным именем или с фальшивыми документами [Дубровин 1898–1903, 1: 507–508].

Роптали даже некоторые члены императорской семьи. В жизни Александра особую роль играли три женщины: его мать Мария Федоровна (вдова Павла I), его жена Елизавета Алексеевна и его сестра Екатерина Павловна. И это не удивительно: если при решении государственных дел царя окружали одни лишь мужчины (Шишков, Державин и все прочие), то неофициальную атмосферу аристократических салонов создавали в первую очередь тонкие культурные женщины, а двор был первым салоном в столице. Кроме того, женщины играли активную роль в религиозной жизни светского общества, что имело немаловажные политические последствия.

Мария Федоровна придерживалась консервативных убеждений, обладала сильной волей и открытым характером; она вела безупречный образ жизни и любила вмешиваться во все происходящее. Как заметил Савари, если Александр I избегал роскоши, то вокруг его матери «все цвело с пышностью истинного русского двора. Даже мельчайшие детали частной жизни подчинялись этикету» [Savary 1890: 403]. Притом что Мария Федоровна была женщиной высокообразованной, ум ее был довольно ограничен и неглубок. После убийства Павла в 1801 году она пыталась какое-то время стать его преемницей, но затем уступила трон старшему сыну. Из-за немецкого происхождения и слабого владения русским языком она была неподходящей кандидатурой на роль лидера русских консерваторов-патриотов, но, насколько известно, она выступала против назначения Чарторыйского

<sup>26</sup> Было зарегистрировано 45 случаев неповиновения крестьян в 1801–1805 годах и 38 — в 1806–1810 годах [Игнатович 1950: 49, 68].

министром иностранных дел, способствовала его смещению с этого поста и не одобряла поездку Александра в Эрфурт — как и его брат Константин<sup>27</sup>. Мария Федоровна тщательно налаживала связи с аристократией, выбирая друзей из самых знатных семейств, среди которых было много противников союза с Францией. Савари сообщал в Париж, что «знатные особы Санкт-Петербурга в обязательном порядке бывают по крайней мере раз в две недели при дворе вдовствующей императрицы, и, хотя она живет в двенадцати лье от города, это их не смущает, и они возвращаются домой уже за полночь». Император обедает с матерью дважды в неделю, добавляет Савари, и часто ночует у нее [Savary 1890: 404]<sup>28</sup>.

Супруга Александра, немка Елизавета Алексеевна, жившая с ним врозь, крепко привязалась к России и, в отличие от своей свекрови, говорила по-русски хорошо и интересовалась русской культурой. Савари считал, что у нее «острый ум и здравые суждения», но замечал также, что «в жизни ее нет никакой пышности и мало веселья», «она не ладит с вдовствующей императрицей и давно уже не живет с мужем» [Savary 1890: 402–403]. Несмотря на то что Елизавета Алексеевна находилась фактически в изоляции от царской семьи, у нее были друзья среди видных фигур: сенатор Потоцкий, Голицын (обер-прокурор Святейшего синода и друг детства Александра I), члены Негласного комитета Чарторыйский и Строганов<sup>29</sup>. Чувствуя себя одиноко, она тем не менее

---

<sup>27</sup> О соперничестве Марии Федоровны с Александром в наследовании престола в 1801 году см. [Окунь 1983]. О личности императрицы см. [Николай Михайлович 1908–1909, 1: 277; 2: 9; Vries de Gunzburg 1941: 12–13, 20–21]. Об отношении Марии Федоровны к Чарторыйскому см. ее письмо к Александру I от 18 апреля 1806 года [Nikolai Mikhailovich 1910, 1: 47]. Об отношении Марии Федоровны и Константина к поездке Александра в Эрфурт см. [Maistre 1884–1886, 11: 137].

<sup>28</sup> См. также [Николай Михайлович 1908–1909, 2: 9; Оболенский 1876: 1–80].

<sup>29</sup> См. письмо Елизаветы Алексеевны к своей матери от 1/13 августа 1805 года, Каменный остров [Николай Михайлович 1908–1909, 2: 166–168]; см. также: [Николай Михайлович 1908–1909, 2, 8: 29–31; Pingaud 1910; Amburger 1966: 400; Степанов, Вермаль 1937: 590].

поддерживала мужа в его попытках подружиться с французами, хотя ей самой это претило<sup>30</sup>. Судя по ее частым письмам к матери, одинокая и чувствительная императрица не могла удержаться от того, чтобы не отозваться с презрением о Марии Федоровне, которая «с избытком тщеславия, побуждающего ее при первой возможности подольщаться к обществу и напрашиваться на грубую лесть, <...> разыгрывает из себя лидера фронды, и все многочисленные недовольные так и выются вокруг нее». О своем плохо воспитанном и вспыльчивом девере она писала: «...говорят, что за спиной брата великий князь Константин поносит все, что было сделано и делается Александром. <...> Зная, насколько он лжив и вероломен, я верю этому». Среди близких родственников ее мужа была и увлекающаяся политикой великая княгиня Екатерина Павловна, младшая сестра Александра (в 1807 году ей исполнилось всего 19 лет). «Она пошла не по той дорожке, — писала Елизавета, — потому что копирует взгляды, поведение и даже манеры ее милого братца Константина. Такой стиль поведения не годится даже для женщины сорока лет, не говоря уже о девятнадцатилетней девушке» [Николай Михайлович 1908–1909, 2: 256–257]<sup>31</sup>.

Екатерина была яркой личностью, обаятельной и пылкой, и даже хорошо говорила и писала по-русски, что было необычно для особ ее социального положения. Она была близка с Константином и разделяла его взгляды, но из-за его эксцентричности держалась с ним несколько покровительственно. У Александра она была доверенным лицом и поддерживала хорошие отношения с его любовницей, а Мария Федоровна, не терпевшая никаких возражений от остальных членов семейства, души в ней не чаяла. Все это, надо думать, портило ее отношения с Елизаветой Алексеевной, что усугублялось разногласиями между ними по вопро-

<sup>30</sup> Письмо Елизаветы Алексеевны к матери от 30 апреля / 12 мая 1809 года, Санкт-Петербург [Николай Михайлович 1908–1909, 2: 326]; см. также: [Николай Михайлович 1908–1909, 2: 215–217].

<sup>31</sup> Письмо Елизаветы Алексеевны к матери от 29 августа / 10 сентября 1807 года, Каменный остров.

су союза с Наполеоном [Vries de Gunzburg 1941: 8–9, 30–31]<sup>32</sup>. Дружба Екатерины с Багратионом и другими генералами и савонниками, ее общеизвестная франкофобия и вера в великое будущее России подкупали тех, кого раздражала ее мать и кто находил Константина не только неприятной личностью, но и несерьезной политической фигурой. Она побуждала Александра не уступать требованиям Наполеона в Тильзите, что еще больше возвышало ее в глазах недовольных режимом [Vries de Gunzburg 1941: 28–29].

В обществе ходили упорные слухи о готовящемся перевороте; Екатерину называли при этом возможной преемницей Александра. Французские дипломаты взирали на нее с особым подозрением; голландский посол, по словам Адамса, тоже отзывался о ней как о «самой амбициозной женщине в мире». «Великая княгиня Екатерина, — говорил посол, — это копия ее бабки [то есть Екатерины II, сбросившей с трона своего мужа Петра III]. Если здесь случится что-либо значительное, это будет ей только на руку. Пока еще эта идея не приходила ей в голову, но не может не прийти когда-нибудь» [Adams 1970: 93]<sup>33</sup>. Эти слухи циркулировали по крайней мере с 1807-го по 1810 год и свидетельствовали о неліцеприятных выпадах Екатерины, очевидно воспринимавшихся публикой с одобрением, а также, разумеется, о досадном падении популярности Александра после Тильзита.

В 1807–1808 годах велись активные поиски подходящего мужа для Екатерины. Среди кандидатов был император Австрии Франц I, а также целая когорта германских князей. Поговарива-

<sup>32</sup> О том, как Екатерина пленяла людей с первого взгляда, см. [Жихарев 1989, 2: 233] (запись 28 мая 1807 года). О ее отношениях с Елизаветой см. [Николай Михайлович 1908–1909, 2: 215].

<sup>33</sup> Дневниковая запись 9 января 1810 года (н. с.). Эти слухи повторяли многие дипломаты. См. письмо Стединга к шведскому королю от 28 сентября / 10 октября 1807 года [Stedingk 1844–1847, 2: 356]; письмо Сен-Жюльена к Меттерниху от 29 марта / 10 апреля 1810 года [Nikolai Mikhailovich 1910, 1: 401–402]; письма Савари к Наполеону от 9 и 23 сентября 1807 года (н. с.), Санкт-Петербург [Политическая переписка 1892: 58–59, 82]; цитату Коленкура, приведенную в [Еленев 1936: 77]; письмо де Местра к России от 16/28 дек. 1808 г., Санкт-Петербург [Maistre 1884–1886, 11: 175].

ли даже о браке с Наполеоном, но этот план не был осуществлен — отчасти из-за того, что Екатерина не переносила Наполеона как политика. В апреле 1809 года она вышла замуж за принца Георга Ольденбургского — положительного, достойного и ничем не примечательного человека. Александр назначил принца генерал-губернатором Новгородской, Ярославской и Тверской губерний. В Твери молодые и поселились в августе 1809 года [Богоявленский 1912–1913: 172–173; Nikolai Mikhailovich 1910: xxii]<sup>34</sup>. Живя в Твери, Екатерина Павловна играла более активную роль в политике, чем если бы она вышла за какого-нибудь другого принца или князя и уехала за границу. Даже Мария Федоровна, обычно потакавшая дочери во всем, жаловалась: «Ей достались самые красивые губернии России, и все ей мало!»<sup>35</sup> Александр любил бывать в обществе сестры, ценил ее мнение и обсуждал с ней государственные вопросы, что не осталось незамеченным. Стедингк пишет в Стокгольме о «частых поездках императора к сестре, которую он очень любит и которая открыто бранит Наполеона. <...> Говорят, что вся императорская семья находится под ее влиянием», особенно Константин. «Все, что расходится с желаниями французского правительства, приписывают ей» и полагают, что она «иногда заставляет своего брата колебаться в его отношениях с Францией» [Stedingk 1844–1847, 3: 97–98]<sup>36</sup>.

На основании этой представительной (хотя вряд ли «научно обоснованной») подборки высказываний можно сделать вывод,

<sup>34</sup> О выборе мужа и о принце Ольденбургском см. [Божерянов 1888: 13–28]. Мнение Елизаветы Алексеевны, что замужество Екатерины было с ее стороны политическим шагом, см. в ее письмах к матери от 9/21 декабря 1812 года и 20 декабря 1812 / 1 января 1813 года, Санкт-Петербург [Николай Михайлович 1908–1909, 2: 569]. Восторженный отзыв де Местра о Екатерине Павловне см. в его письме к России от 10/22 ноября 1808 года [Maistre 1884–1886, 11: 163–164].

<sup>35</sup> Цит. по: [Николай Михайлович 1908–1909, 2: 570]. См. письма Елизаветы Алексеевны к матери от 9/21 декабря 1812 года и 20 декабря 1812 / 1 января 1813 года.

<sup>36</sup> Письмо к шведскому королю от 31 мая / 12 июня 1810 года, Санкт-Петербург.



что русские люди в период между заключением Тильзитского мира и 1812 годом были не удовлетворены происходящим, тревожились и чувствовали себя неуверенно. Дворяне не могли забыть прежних попыток Александра отменить их привилегии; часть крестьян надеялась, что Наполеон принесет им свободу, а их жизненный уклад был нарушен набором в ополчение; континентальная блокада нанесла ущерб дворянам и купцам; все были сбиты с толку примиренческой политикой правительства по отношению к Франции или решительно осуждали ее. В этой непростой обстановке Александр, все больше напоминавший двуликого Януса, стал проводить двойственную внутреннюю политику, заключающуюся в подавлении недовольства с одновременным возвратом к реформам, которыми он занимался до войны Третьей коалиции.

Олицетворением растущей авторитарности внутренней политики стало возвышение Аракчеева. Граф Алексей Андреевич Аракчеев происходил из малоизвестного провинциального рода и служил офицером-артиллеристом в армии. Он гордился своими грубыми манерами и отсутствием какой-либо утонченности и замысловатости; был верным другом Павла I и подружился также с великим князем Александром. Неиссякаемая энергия Аракчеева, его неукоснительное повиновение и надежность производили большое впечатление и на отца, и на сына. Прочие современники, однако, не любили Аракчеева за доходившую до садизма безжалостность и педантизм, с какими он требовал исполнения императорских приказов и мельчайших уставных формальностей, а также за его привычку издевательски попирать все светские приличия. Но собственная непопулярность несколько Аракчеева не огорчала, поскольку она вполне устраивала императора, а мнение хозяина было для него единственно важным [Кизеветтер 1912: 381]<sup>37</sup>. Его преданность царю делала его незаменимым помощником монарха во времена политической нестабильности.

---

<sup>37</sup> К. Уайтинг полагает, что Аракчеева нельзя считать реакционером, поскольку у него не было собственной политической программы — он лишь строго подчинялся приказам царя [Whiting 1951: 307–322]. См. также [Jenkins 1969].

После опалы, в которой оказался Аракчеев в непредсказуемой обстановке конца правления Павла I, в 1803 году он вновь стал подниматься по служебной лестнице. Поначалу ему пришлось мириться с относительно невысокой должностью инспектора артиллерии (чему сама «артиллерия» всеми силами противилась), но после Тильзита начался его взлет. 27 июня 1807 года, через два дня после подписания мирного договора, Аракчеев был назначен генералом от артиллерии в знак того, что артиллерия отличилась во время военной кампании. В декабре того же года вышло крайне необычное постановление, согласно которому распоряжения Аракчеева приравнивались к императорским указам, а 13 января 1808 года он стал военным министром, — по-видимому, этот шаг Александра был вызван всеобщим недовольством по поводу союза с Францией [Кизеветтер 1912: 372–374]. Императора тревожили слухи о заговоре, и, поставив армию под контроль Аракчеева, чья преданность царю служила почти гарантией предотвращения любого заговора, он мог спать спокойнее.

Властные полномочия Аракчеева не добавили популярности императору, которая и без того не была велика. Вигель выразил распространенное мнение, когда писал, что еще при Павле I «Аракчеев почитался нашим русским Маратом» [Вигель 1928, 1: 282]. Будучи командиром Преображенского гвардейского полка, вспыльчивый Аракчеев как-то откусил нос grenадеру, а в другой раз вырвал у подчиненного ус. Казалось странным, что воспитанный и «просвещенный» Александр симпатизирует этому не владеющему собой грубияну<sup>38</sup>. Однако де Местр быстро понял смысл нового назначения Аракчеева и уже через неделю писал на Сардинию:

Скорее всего, в такое время восстановить порядок может только такой человек. [Аракчеева ненавидят] *все, кто играет здесь заметную роль, и все, кто связан с ними, [и он удержится на этом посту, только если] будет крепко дер-*

<sup>38</sup> См. также [Вигель 1928, 1: 283; 2: 5].

жаться за него и если решение Его Императорского Величества достаточно твердое. В настоящий момент он крушит все подряд. Самые влиятельные лица исчезли со сцены, как утренний туман [Maistre 1884–1886, 11: 40–41]<sup>39</sup>.

В 1810 году для усиления внутренней безопасности было создано Министерство полиции во главе с А. Д. Балашовым. Бывший советник Александра граф Кочубей впоследствии обвинил Балашова в том, что он «превратил [свое ведомство] в министерство шпионства. Город наполнился шпионами всех цветов, <...> сплошь и рядом переодетыми полицейскими офицерами, причем в переодевании, как говорят, принимал участие и сам министр»<sup>40</sup>. Эти полицейские в штатском, замечает Кочубей, не только контролировали общественное мнение и пресекали революционную деятельность, но и провоцировали ни о чем не подозревающих граждан на враждебные высказывания в адрес правительства. Разветвленная сеть полицейских информаторов собирала также сведения о ведущих государственных деятелях, которые Балашов затем использовал для собственных политических интриг [Семевский 1911: 227]. Тайная полиция и Министерство внутренних дел, взявшие в обычай вскрывать частные письма, работали так усердно, что сам император избегал затрагивать щекотливые темы в своих письмах — разве что они доставлялись специальными курьерами<sup>41</sup>.

Назначения Аракчеева и Балашова объяснялись тем, что у Александра после Тильзита появилось опасение разделить трагическую участь своего отца и деда; кроме того, правительство внимательно следило за прессой, пресекая публичную критику

---

<sup>39</sup> Письмо де Местра к России от 20 января / 1 февраля 1808 года, Санкт-Петербург.

<sup>40</sup> Цит. по: [Семевский 1911: 227].

<sup>41</sup> Так, он писал сестре Екатерине Павловне в 1811 году из Петербурга: «Не отправляя писем с почтой, если в них содержится что-либо важное. <...> Откровенно можно писать только через *Feldjäger*. Я тоже буду придерживаться этого правила». Цит. по: [Nikolai Mikhailovich 1910: 60].

ку своей политики<sup>42</sup>. Но параллельно с этим Александр вернулся к осуществлению реформ, начатых в 1801–1803 годах и временно приостановленных. Этот второй период реформ был связан прежде всего с деятельностью Сперанского.

Сын бедного сельского священника, Сперанский к этому моменту успел получить превосходное религиозное образование и произвести такое сильное впечатление на службе, что занял один из главных постов в Министерстве внутренних дел. Он обладал целым рядом незаурядных качеств: редкой эрудицией, неутомимым трудолюбием, острым умом и исключительным умением излагать сложные вопросы простым и ясным русским языком. Немногие из чиновников, стремившихся сделать карьеру, могли предложить что-либо кроме родословной, друзей «наверху» и сносного владения французским языком; зачастую они были поверхностно образованны и продажны, интересовало их в первую очередь приятное времяпрепровождение, а не работа. Одним словом, люди вроде Сперанского были в этой среде редкостью<sup>43</sup>. Как и Аракчеев, он был в фаворе у императора в период 1808–1812 годов и имел одну примечательную, общую с Аракчеевым черту: при скромном происхождении и замкнутом (некоторые говорили — заносчивом и скользком) характере он держался в стороне от петербургского «высшего общества». Аристократы, опасавшиеся аракчеевского «кнута», не выносили и Сперанского — этого хитрого выскочку, относившегося к ним без всякого почтения. Понятно, что, с точки зрения Александра, добровольная изоляция его главных помощников от общества делала их только более надежными. Они были целиком обязаны ему своим положением, и он мог рассчитывать на их преданность в условиях всеобщего неодобрения его политики.

Если в задачу Аракчеева входило обеспечение безопасности режима, то Сперанский был архитектором созидательных преобразований общества. Его деятельность после 1808 года пони-

<sup>42</sup> О цензуре и пропаганде, развернувшихся после Тильзита, см. [Сироткин 1981а: 142; Сироткин 1976: 84–85].

<sup>43</sup> См. [Raeff 1969: 1–28, 49].

малась всеми как продолжение начинаний Негласного комитета и потому вызывала такое же неприятие у консерваторов. В связи с недостатком квалифицированных государственных служащих бывший семинарист Сперанский рассматривал выпускников семинарий как ценный резерв для пополнения рядов правительственных чиновников. Это раздражало Державина, заявлявшего, что в 1802–1803 годы Сперанский насаждал семинаристов на все ключевые посты и использовал добытую ими, сугубо внутрикорпоративную информацию против тех служащих, которые не устраивали членов Негласного комитета. Державин подозревал, что именно эти интриги стали причиной его опалы в 1803 году [Державин 1871: 807]. Больше всех ненавидел Сперанского Вигель. Он полагал, что Сперанский был инициатором и движущей силой ранних Александровских реформ (в первую очередь министерской реформы), и считал его «тайным недругом православия, самодержавия и Руси, и в ней особенно одного сословия» — дворян [Вигель 1928, 1: 156]. Вигелю, судя по всему, часто доводилось встречаться со Сперанским, и он вспоминает: «Близ него мне все казалось, что я слышу серный запах и в голубых очах его вижу синеватое пламя подземного мира» [Вигель 1928, 1: 157].

Злоба, которой проникнуты эти нападки на Сперанского, объясняется прежде всего двумя указами 1809 года, к которым он несомненно приложил руку. Первый, вышедший 3 апреля, гласил, что в случае, если придворные в чине камергера или камер-юнкера хотят сохранить свое положение, они должны либо полностью выполнять все предусмотренные чинами обязанности, либо переходить на гражданскую или военную службу и заслуживать там право носить эти звания. Придворные, считавшие свои чины закрепленными за ними раз и навсегда, были потрясены. Согласно второму указу, выпущенному 6 августа, восьмой ранг (низший штаб-офицерский чин) и пятый ранг (нижнее генеральское звание) могли присваиваться только после сдачи экзаменов по различным академическим дисциплинам. Этот указ явился дополнительным шагом по совершенствованию образования, начатому было Александром, но застопорившемуся из-за

того, что дворяне не хотели посылать своих сыновей во вновь созданные университеты.

Указ от 6 августа больно ударил по чиновникам, которые надеялись, что постепенный подъем по служебной лестнице обеспечит им с годами уход на пенсию в высоком чине и с пособием соответствующего размера. Многие даже не подозревали о существовании дисциплин, экзамены по которым их теперь заставляли сдавать. Это новшество, придуманное бесцеремонным сыном дьячка, представлялось неприкрытой атакой на дворянские привилегии. «Какой способ имеют бедные дворяне, — возмущалась одна из современниц, — учиться языкам, римскому праву, философии, физике и проч.? По этим экзаменам все места должны быть заняты семинаристами, подобными Сперанскому»<sup>44</sup>. Покровительство высокопоставленных особ и гарантированная карьера считались священной прерогативой дворянства, и меритократический идеал Сперанского представлялся — не без оснований — противоречащим принципу сословного первенства дворян.

Как писал сам Сперанский в отчете за 1810 год, его считали попеременно «мартинистом, поборником масонства, защитником вольности, гонителем рабства и <...> записным иллюминатом»<sup>45</sup>. Это говорит о том, что противники Сперанского не столько критиковали то или иное принимавшееся им решение, сколько нападали лично на него как на организатора социальных изменений. Характерно для умонастроений в обществе данного периода и то, что масонство ассоциировалось с подпольной революционной деятельностью. В Сперанском видели прежде всего противника двух главных дворянских привилегий: права владеть крепостными (он был «гонителем рабства») и монополии на руководящие должности в государственном аппарате. Как заме-

<sup>44</sup> В. И. Бакунина, цит. по: [Шильдер 1897, 2: 306]. Об этих указах и о реакции публики на них см. также [Raeff 1969: 64–65; Amburger 1966: 55–65; Дубровин 1898–1903, 10: 262, 267]. О проблемах системы образования см. [Flynn 1988: 73–75, passim].

<sup>45</sup> Цит. по: [Семевский 1911: 222].

тил Александр, «здесь, в Петербурге, можно почти сказать — в целом государстве, Сперанский — предмет общей ненависти»<sup>46</sup>.

Указы 1809 года являлись лишь частью целого пакета реформ, которые Сперанский предлагал Александру I в период 1808–1811 годов. Среди них была проведенная в 1810 году реформа центрального административного аппарата, призванная сделать более упорядоченными и рациональными судопроизводство и внутреннюю структуру министерств. Однако планы по глобальному преобразованию властных структур с привлечением более широких кругов населения, и по созданию законодательного органа так и не были осуществлены. Кроме того, Сперанский составил проект гражданского правового кодекса — во многом по типу Кодекса Наполеона, — но его французское происхождение лило воду на мельницу врагов законодателя, так что кодекс тоже не был принят. И наконец, Сперанский составил в 1810–1811 годах амбициозный план реорганизации хаотичной финансовой системы, что предполагало повышение налога с крестьян, чреватое их сопротивлением, а также рискованное в политическом отношении «временное» введение налогообложения для помещиков (это предложение еще несколько раз ставилось на повестку дня на протяжении следующих лет)<sup>47</sup>.

У поместного дворянства имелись основания относиться к этим реформам с недоверием. После целого десятилетия испытаний — нервной обстановки при Павле I, переворота 1801 го-

---

<sup>46</sup> Цит. по: [Шильдер 1897, 3: 366].

<sup>47</sup> О реформировании министерств см. [Raeff 1969: 108–116]; о планах более капитальной перестройки правительственных структур: [Raeff 1969: 152–153]; о гражданском кодексе: [Raeff 1969: 65–70]; о преобразовании финансовой системы: [Raeff 1969: 82–105]. Планы Сперанского, как и деятельность Негласного комитета, всесторонне изучались исследователями. Основная идея пользующейся большим авторитетом работы Марка Раева заключается в том, что целями реформ Сперанского были всего лишь рационализация работы административных органов и превращение России в правовое государство. Другие ученые, однако, считают, что Сперанский, как и Негласный комитет, замыслили коренное преобразование социальной структуры государства и конституционной основы. См. [Vernadsky 1947: 53–54; Christian 1978: 250–251; Christian 1976: 203; Gooding 1986: 402–403; Gooding 1988: 400].

да, первых реформ Александра и неудачных войн 1805–1807 годов — им хотелось вернуться к «нормальной» жизни, которую подразумевало обещание Александра править в духе Екатерины II. А вместо этого налицо были поражение в войне и дипломатический кризис, развал международной торговли и крестьянские волнения; теперь же вдобавок ко всему государство было отдано на откуп этому проницательному сыну священника. Обсуждение планов, происходившее между царем и Сперанским, не предавалось огласке, и о размахе готовящихся изменений можно было только догадываться. Однако предшествующая деятельность императора и репутация Сперанского оставляли дворянам мало надежд. Помимо всего прочего, в результате скрытности правительства публика не имела представления о бюджетных проблемах и не могла оценить насущную потребность государства в новых доходах [Дубровин 1898–1903, 12: 24].

6 декабря 1809 года Александр приехал в Москву, где его горячо приветствовали толпы горожан, свидетельствуя о том, что народ остается верен государю. Неофициальной целью царского визита было желание успокоить публику, раздраженную недавними войнами Австрии с Францией и России со Швецией. Примечательно, что император, пробывший в Москве всего неделю, посетил древнюю столицу впервые после своей коронации в сентябре 1801 года [Дубровин 1898–1903, 11: 458–461]. И это не удивительно: своенравная московская элита, придерживавшаяся старых традиций, вряд ли одобрила бы его реформистские планы. Поездка в Москву в декабре 1809 года была запоздалым признанием того факта, что Россия все-таки не ограничивается пределами Санкт-Петербурга с его бюрократическим аппаратом, и означала, что царь вступает в нелегкую борьбу за то, чтобы склонить общественное мнение к поддержке проводимой им политики.

Таким образом, в первых двух главах этой книги речь шла о том, что негативная реакция консерваторов на политику Александра I подпитывалась двумя источниками: теоретическими, хотя и далеко не бесстрастными соображениями культурного и морального характера, которые были озвучены адмиралом



Шишковым и другими литераторами консервативно-романтического склада, а также вполне конкретной тревогой дворянства за судьбу своего статуса и привилегий. По мере того как в 1805–1812 годах благодаря иностранным армиям и внутренним реформаторам тучи над старым порядком все больше сгущались, эта негативная реакция усиливалась. Среди тех, у кого она проявлялась наиболее активно, находилась группа влиятельных московских писателей и аристократов. Некоторые из них были романтическими националистами, тогда как другие решительно отстаивали идеи дворянского националистического консерватизма. Об этих московских консерваторах и пойдет речь в следующей главе.

## Глава 3

# Московские консерваторы

Значительная часть оппозиционных настроений против политики Александра I зарождалась в Москве: сказывалось ее давнее соперничество с Санкт-Петербургом. Своеобразие этих городов, резко отличавшихся друг от друга, проявлялось в составе их населения, в культурном облике и даже в стиле архитектуры. В Петербурге располагались императорский двор и главные правительственные учреждения, и потому здесь проживало много чиновников, военных и придворных. Из почти 270 000 постоянных жителей около 37 000 насчитывали нижние военные чины и их семейства, еще около 20 000 составляли «штаб-и обер-офицеры и дворяне с семействами», и наконец, здесь имелось 2 200 «особ первых пяти классов с семействами», то есть представителей элиты российского государства. Таким образом, двое из каждых девяти человек были дворянами или военными (или одновременно и теми и другими). Иначе говоря, Петербург был бюрократическим и военизированным городом, о чем свидетельствует и тот факт, что 20 000 жителей-дворян были в основном государственными служащими со скромным жалованьем, имевшими всего около 35 000 «дворовых людей с семействами» [Г. И. С. 1890: 870].

Северная столица была, по сути, островом в российском океане, со своим особым миром, где честолюбивые замыслы кипели в едином котле политики, культуры и общественной жизни и случайное замечание могло погубить карьеру или, наоборот, положить ей начало. Горожане жили под всеобъемлющей сенью царского двора, и мечта всей их жизни порой зависела от того, представят ли их нужному человеку и замолвят ли за них

словечко. Забота о карьере, обилие полицейских агентов и тревожная близость Аракчеева в зародыше глушили ростки бунтарского духа; официальная политика формировалась самыми крупными фигурами. К тому же Петербург служил, по замыслу Петра I, «окном в Европу». Коленкур, Адамс, Стедингк, де Местр и другие иностранные посланники и эмигранты играли в обществе важную роль. Россияне нерусских кровей занимали важнейшие правительственные посты; в городе жило много иностранных учителей и гувернанток, в Академии наук работали ученые-иностранцы, выходили газеты на иностранных языках, строились католические и протестантские церкви. Петербург был также самым крупным российским портом, куда приходили корабли из разных стран, поэтому здесь жило много повидавших мир русских моряков, а также иностранных торговцев (2552 в 1808 году). Географическое положение города, его германизированное имя и европейская архитектура помогали ему играть роль моста между Россией и Западом [Г. И. С. 1890: 870–872].

Москва, расположенная в сердце империи, была совсем иной. Ее имя, ее архитектура и история возвращали к наследию допетровской «Святой Руси». Она была самым динамичным центром русской культуры того времени: здесь находились самый старый (и до Александра — единственный в России) университет, самый большой ботанический сад, самые богатые частные библиотеки и некоторые из самых значительных издательств. Если в Петербурге интерес Екатерины II к французской культуре передавался не только двору, но и всему высшему обществу, то в Москве сильнее сказывалось немецкое и английское влияние. Вольтерьянство Екатерины придавало петербургскому обществу рационалистический и скептический уклон, контрастировавший со свойственными москвичам сентиментальностью и мистицизмом [Pipes 1966: 19]. В частности, в Москве жили такие масоны старшего поколения и крупнейшие деятели русской культуры того времени, как Новиков и Лопухин, а также многие из наиболее одаренных молодых писателей (Карамзин, И. Дмитриев, Жуковский и другие сторонники «нового слога»), в то время как в Петербурге господствовал шишковский «старый слог».

Таким образом, Москва сохраняла много особенностей, характерных для столичного города — не хватало лишь главного: правительства. В соответствии с этой необычной ситуацией осуществлялось и разделение ролей между двумя российскими столицами. Как выразился князь Вяземский, молодой поэт и отпрыск видного московского рода, «в Петербурге — сцена, в Москве зрители; в нем действуют, в ней судят» [Вяземский 1878–1896, 7: 82]. Карамзин же заметил, что в Москве «без сомнения больше свободы, но не в мыслях, а в жизни; более разговоров, толков о делах общественных, нежели здесь в Петербурге, где умы увлекаются Двором, обязанностями службы, исканием, личностями»<sup>1</sup>. Как и следовало ожидать в бывшей столице, значительная часть богатой, своеобразной и гостеприимной московской элиты состояла из ушедших на покой вельмож. Как пишет Кэтрин Уилмот, ей казалось, что она «бродит среди призраков екатерининского двора»; она находила, что Москва — «земной политический рай имперской России», а ушедшие в отставку или находящиеся в опале сановники «занимают в этом ленивом, дремлющем, величественном азиатском городе *идеальное* положение, пользуясь всеми благами почета, каковым их окружают» [Wilmot 1934: 213]<sup>2</sup>. Московское общество было построено по принципу строгой иерархии, отражавшей как патриархальные традиции, так и деление по чинам постпетровской эпохи. На Александра, отметила Кэтрин Уилмот, «здесь смотрят как на офранцузенного пустобреха, одержимого новаторскими идеями, школьника с замашками тирана»; «екатерининские призраки» полагают, что, «с тех пор как они выпустили из рук кормило власти, судно беспрестанно швыряет туда и сюда ураган ошибок и опасностей» [Wilmot 1934: 214]. Штаб-квартирой этой элиты был эксклюзивный Английский клуб с шестью сотнями членов, которые собирались, чтобы читать русскую и зарубежную прессу, обедать, играть в карты, шахматы или бильярд и обмениваться сплетнями и мнениями о политических новостях. Здесь «вся знать, все

<sup>1</sup> Цит. по: [Вяземский 1878–1896, 7: 83].

<sup>2</sup> Письмо К. Уилмот к ее сестре Алисии от 18 февраля 1806 года (н. с.), Москва.

лучшие люди в городе членами клуба», — отмечал с трепетом Жихарев [Жихарев 1989, 1: 194]<sup>3</sup>; среди завсегдатаев клуба были Карамзин и брат адмирала Шишкова Ардалион.

Московская элита распространяла свое влияние на политическую жизнь страны по двум каналам. Во-первых, через петербургских друзей и родных, служивших в бюрократическом аппарате, в армии или при дворе. Во-вторых, через провинциальное дворянство, часто собиравшееся в Москве. Большое количество состоятельных дворян придавало Москве особый отпечаток, отличавший ее от Петербурга. Из постоянного населения, насчитывавшего до 1812 года около 250 000 человек, дворянство составляло едва ли более 14 000, но у них было почти 85 000 слуг — примерно треть жителей города. Хотя в Москве постоянно проживало меньше дворян, чем в Санкт-Петербурге, здесь было вдвое больше домашних слуг. Зимой ее население, по сообщениям, удваивалось за счет массового приезда провинциальных дворян с домочадцами. Некоторые помещики привозили с собой тысячу с лишним дворовых людей [Брокгауз, Ефрон 1890–1907, 38: 927–944].

В то время как верхушка московского общества была не менее европеизирована, чем петербургская аристократия, приезжие дворяне вносили в атмосферу традиционный провинциализм. Обычно они съезжались к Рождеству с запасами провизии, селились в скромных деревянных домишках по соседству со знакомыми земляками и ежедневно посещали Благородное собрание [Вигель 1928, 1: 116]. Там часто присутствовали одновременно до пяти тысяч человек и больше. «Это был настоящий съезд России, — вспоминал Вяземский, — начиная от вельможи до мелкопоместного дворянина <...>, от статс-дамы до скромной уездной невесты, которую родители привозили в это собрание с тем, чтобы на людей посмотреть, а особенно себя показать и, вследствие того, выйти замуж» [Вяземский 1878–1896, 7: 84]. Эти события производили глубокое впечатление на провинциалов.

---

<sup>3</sup> Запись 23 января 1806 г. См. там же примечание редактора, с. 291; см. также [Брокгауз, Ефрон 1890–1907, 29: 424–428].

Когда они возвращались домой в первую неделю Великого поста, у них «было про что целые девять месяцев рассказывать в уезде», вплоть до следующего зимнего московского сезона [Вигель 1928, 1: 116–117]. Таким образом, пишет Вяземский, «Москва подавала лозунг России. Из Петербурга истекали меры правительственные; но способ понимать, оценивать их, судить о них, но нравственная их сила имели средоточием Москву» [Вяземский 1878–1896, 7: 83–84]. Зимой город собирал мнения со всей России, летом вернувшиеся в родное гнездо провинциалы распространяли сведения, дошедшие из Петербурга. Москва в гораздо большей степени, нежели Петербург, служила центром духовной жизни России и при рассмотрении политических вопросов проявляла дух патриотизма и фронды<sup>4</sup>.

Самой заметной фигурой среди московских консерваторов-аристократов был граф Федор Васильевич Ростопчин<sup>5</sup>. Он родился в 1763 году в Орловской губернии в семье отставного майора, ведущего свое происхождение от Чингисхана. Поначалу карьера Ростопчина складывалась в целом так же, как у большинства его современников этого социального статуса. Первые пятнадцать лет он прожил в родительском имении, где его учили не только губернеры-иностранцы, но и русский священник. Затем он вступил в гвардейский Преображенский полк, а в 1786 году во время длительного отпуска посетил Германию, Францию и Великобританию, где завязал дружбу с русским послом С. Р. Воронцовым, длившуюся до самой его смерти. Вернувшись в Россию в 1788 году, Ростопчин принял участие в войнах против Швеции и Оттоманской империи, стремясь отличиться и построить на этом карьере. Однако отличиться ему не удалось, и он с досадой решил уволиться из армии и вернуться к сельской жизни. Но тут Воронцову удалось привлечь его к участию русско-турецких мирных переговоров, происходивших в 1791 году в Яссах. После того как договор был подписан, Ростопчин подробно доложил

<sup>4</sup> См. [Дубровин 1898–1903, 3: 244–247, 263–264; Raeff 1969: 171].

<sup>5</sup> Наиболее полная биография Ростопчина: Ельницкий А. Ростопчин, граф Федор Васильевич [Половцов 1896–1918, 17: 238–305].



Рис. 2. Ф. В. Ростопчин.  
[ОВИРО 1911–1912,  
4: 48]

Екатерине II о ходе переговоров, за что ему была пожалована должность при дворе.

Вяземский, пытавшийся впоследствии в своих воспоминаниях понять динамику развития прежнего мира, существовавшего до восстания декабристов и наступления Николаевской эпохи, называет Ростопчина «истым москвичом, но и кровным парижанином» [Вяземский 1878–1896, 7: 501]. Он хочет сказать, что графу были свойственны остроумие, светский лоск и обходительность, но под этой блестящей поверхностью крылся жесткий крепостник. По уровню своей культуры и изысканному стилю жизни Ростопчин превосходил Шишкова или, скажем, Державина и потому в большей степени, чем они, воплощал в себе характерный для XVIII века образ русского аристократа — дилетанта в жизни, выступающего в ролях землевладельца, повесы, литератора, солдата, должностного лица, придворного и (временно) императорского фаворита. Эти ипостаси плавно перетекали у него одна в другую, оттачивая друг друга и формируя своеобразную смесь небрежной эlegantной пресыщенности и жесткого прагматизма, которую имел в виду Вяземский. Ростопчин безупречно говорил и писал по-французски, но с детства усвоил также колоритный стиль русского просторечия, который впо-

следствии с большим успехом использовал в политических целях. Он культивировал в себе смесь версальской утонченности с грубой приземленной силой русского крестьянства и гордился при этом, что не идеализирует ни то ни другое. Как пишет Вяземский, «монархист, в полном значении слова, враг народных собраний и народной власти, вообще враг так называемых либеральных идей, [Ростопчин] с ожесточением, с какою-то мономанией, *idée fixe*, везде отыскивал и преследовал якобинцев и мартинистов, которые в глазах его были тоже якобинцы» [Вяземский 1878–1896, 7: 504].

Ростопчин вынашивал честолюбивые политические планы, однако людей, связанных с политикой, презирал, как и любые человеческие слабости, но в то же время был интересным собеседником и не мог жить без аудитории, которая оценила бы его остроумие по достоинству. Императрица Елизавета Алексеевна находила, что он «симпатичен, когда в хорошем настроении», и добавляла: «...а когда он был моложе, его оригинальность часто развлекала меня»<sup>6</sup>. Немецкого писателя Фарнхагена фон Энзе поразила, как и Вяземского, двойственность натуры Ростопчина, на первый взгляд столь добродушного:

Он завораживал публику своей живой, свободно текущей речью, и впечатление лишь усиливалось, когда ты вскоре осознал <...>, [что он обладает] железной волей и бескомпромиссной решимостью настоять на своем, которая приближалась к <...> полудикой страсти и прямому насилию. <...> Он производил бы отталкивающее впечатление, если бы не его поистине неотразимое красноречие» [Varnhagen 1987–1990, 3: 138]<sup>7</sup>.

Служба при дворе разочаровала Ростопчина, ибо Екатерина хотя и находила, что он умеет забавлять, но не желала способствовать его карьерному росту. Однако в 1792 году его приписали

<sup>6</sup> Письмо Елизаветы к матери от 12/24 июня 1816 года, Каменный остров. Цит. по: [Николай Михайлович 1808–1809, 2: 627].

<sup>7</sup> Личность Ростопчина и его жизнь рассматриваются также в [Schlafly 1972: 49–58].



к свите великого князя Павла, и это явилось стартом его головокружительного взлета. Ростопчин очень хорошо сознавал, что, находясь в близости к Павлу, которого весь двор открыто презирал, он не может рассчитывать на какое-либо повышение. К тому же его отталкивал параноидальный страх великого князя перед революцией и его склонность оскорблять людей. «Даже самые честные» приближенные Павла (включая Аракчеева) казались ему негодяями, не заслуживавшими ничего, кроме того, чтобы «колесовать их без суда и следствия» [Архив Воронцова 1870–1895, 8: 93]. Но постепенно между ним и Павлом установились более доверительные отношения, и Ростопчин «стал смотреть сквозь пальцы на недостатки этого всеми пренебрегаемого, унижаемого и презираемого князя, которые были порождены, очевидно, его ожесточившимся характером» [Архив Воронцова 1870–1895, 8: 135]. Павел со своей стороны испытывал благодарность к людям вроде Ростопчина или Аракчеева, которые оставались верны ему, несмотря на враждебность всего двора. Правда, Ростопчину вдобавок претила «парадомания» Павла и Аракчеева (как современники называли их страсть к муштре и прочим деталям военной рутины), а аскетичный двор Павла в Гатчине, подражающий прусским образцам, вряд ли мог удовлетворить желание Ростопчина жить как гранд-сеньор. Но свойственное гатчинскому двору абсолютное неприятие прогрессивных просветительских идей, возможно, импонировало ему, а вспыльчивый характер Павла, его разочарованность в жизни и ощущение, что все окружающие ему чужды, напоминали Ростопчину его собственные черты. Да и подходящей альтернативы он не видел. Придворные относились к нему в целом с неприязнью, видя в нем язвительного мизантропа, и не были склонны способствовать его возвышению. «Здесь, при дворе, — писал он в 1792 году, — кто-нибудь ежедневно дает мне повод презирать его» [Архив Воронцова 1870–1895, 8: 54]. К тому же служба при Павле являлась своего рода вкладом в будущее, так как екатерининские вельможи были обречены потерять все свое влияние с ее смертью, и потому Ростопчин был не вполне искренен, когда писал: «Я не настолько тщеславен, чтобы соблазняться химерами будущего, и несколько

раз удивлялся сам себе, предаваясь мечтам о тихом существовании на пенсии вместо гонки за блестящими иллюзиями, из-за которых теряешь сон, удовлетворение от жизни и чаще всего также честь» [Архив Воронцова 1870–1895, 8: 135–136]<sup>8</sup>.

Со смертью Екатерины преданность Ростопчина ее сыну была вознаграждена: его назначили генерал-адъютантом при царе и дали ему большую власть над армией. Он был одним из немногих, кому удавалось сдерживать Павла при его безрассудных вспышках. Кроме того, Ростопчин стал главным советником императора по иностранным делам и способствовал коренному изменению в отношениях с европейскими союзниками, которое было осуществлено Павлом в 1800 году. Ростопчин с подозрением относился к стремлению Великобритании быть «владычицей морей»; Франция, казалось ему, представляет меньшую угрозу для российских интересов<sup>9</sup>. Он считал, что сильная — пусть даже республиканская — Франция будет эффективнее препятствовать притязаниям Австрии и Пруссии, нежели Франция, ослабленная внутренними раздорами, которые могут возникнуть, если власть Бурбонов восстановят силой. В меморандуме, подписанном Павлом в октябре 1800 года, Ростопчин предлагал объединить силы России, Австрии, Пруссии и Франции и поделить территорию Оттоманской империи: Россия и Австрия возьмут Балканы, Франции достанется Египет, а компенсация Пруссии будет заключаться в расширении ее владений в Германии. Прагматизм Ростопчина получил поддержку императора,

<sup>8</sup> Письма Ростопчина к С. Р. Воронцову от 8 июля 1792 года, 6 июля 1793 года, 28 мая 1794 года, 14 сентября 1795 года, 22 февраля 1796 года, Санкт-Петербург [Архив Воронцова 1870–1895, 8: 53–54, 76–77, 93–94, 112, 135–136]. См. также письмо Ростопчина к П. Д. Цицианову от 15 апреля 1804 года, Воронеж [Rostopchine A. 1864: 480]. См. также [Половцов 1896–1918, 17: 240–244; Кизеветтер 1915: 67–71; Golovina 1910: 94–95].

<sup>9</sup> В письме к С. Воронцову от 30 июня 1801 года Ростопчин писал: «Я никогда не считал, что России надо бояться какого-либо французского правительства. Расстояние между нашими странами, гигантские просторы нашей империи, ее географическое положение и защита, которую она представляет для других монархов, служат надежной гарантией ее ведущей роли. Коалиции ей не страшны» [Архив Воронцова 1870–1895, 8: 288–289].

чьи взгляды на внешнюю политику были несколько путанными из-за того, что к ним примешивались притязания на рыцарство, преувеличенная забота о защите своей чести и далекие от действительности представления о могуществе России. Как выразился один из биографов Ростопчина, это были «советы Макиавелли Дон Кихоту» [Fuye 1936: 13]<sup>10</sup>. Один из советов заключался в том, чтобы захватить прусские земли к востоку от Вислы, а в виде компенсации предложить Берлину земли в Германии. Пять месяцев спустя Павел был свергнут, и пришедший к власти Александр сразу же круто изменил эту политику разделения Европы на французскую и русскую сферы влияния [Fuye 1937: 14]<sup>11</sup>.

Павел сознавал, что его сумасбродная манера правления вызывает в обществе недовольство, но его неуравновешенность мешала ему отличать друзей от врагов. Осенью 1799 года из-за интриги придворных он изгнал Аракчеева, а 20 февраля 1801 года та же участь постигла Ростопчина. Оставшись без помощников, которым можно было бы доверять, Павел оказался во власти заговорщиков, замышлявших его убийство. В марте, чувствуя опасность, он, по-видимому, велел Ростопчину и Аракчееву вернуться в Петербург, но был убит прежде, чем они успели выполнить его указание. Ростопчин с неприязнью относился к заговорщикам и не одобрял реформаторских планов нового монарха. Его отношения с Александром были испорчены еще до 1801 года, и после убийства Павла он не мог рассчитывать на место при дворе [Jenkins 1969: 74–80; Половцов 1896–1918, 17: 256–257].

В результате он с досадой удалился от мира и обосновался в своем имении Вороново к юго-западу от Москвы. В определен-

---

<sup>10</sup> «Русским Дон Кихотом» назвал Павла Наполеон [Эйдельман 1989: 179]. См. также [Кизеветтер 1915: 82; McGrew 1992: 315–316; Ragsdale 1980: 36–40, 118–119; Fuye 1937: 87, 92]. В книге Фюи, весьма занимательной и озаглавленной «Rostopchine: Européen ou slave?» («Ростопчин: европеец или славянин?»), мнения французов о Ростопчине и о славянах в целом отчасти вытесняют конкретный материал о самом человеке — в итоге автор так и не находит ответа на поставленный в заглавии вопрос.

<sup>11</sup> О деятельности Ростопчина при Павле см. [Половцов 1896–1918, 17: 244–257; Бантыш-Каменский 1836–1847, 3: 110–120; Кизеветтер 1915: 72–82].

ном отношении он мог быть доволен собой. Он сменил роль царедворца на роль независимого аристократа, вставшего в позу праведника и вспоминающего свою службу при дворе, когда ему «приходилось бороться с завистью, ревностью и непорядочностью коллег, а также с ненавистью, которую все испытывали по отношению к убитому царю» [Rostopchine A. 1864: 463–464]. Его отношение к новому императору и его реформаторской политике было ненамного лучше. Александр I, замечал он желчно, был «Крёзом, преисполненным благих намерений, но и Лазарем, который был неспособен их осуществить» [Rostopchine A. 1864: 495]<sup>12</sup>. Сам же он, заявлял Ростопчин с гордостью, не желает больше иметь ничего общего с политикой, его жизнь «уподобилась жизни сельского труженика, который любит Бога и свою семью, творит добро, ложится спать и встает утром с чистой совестью» [Архив Воронцова 1870–1895, 8: 298]. Его вполне удовлетворяет, добавляя он, существование «вдали от мира с его суетой и безумием, которое им управляет» [Архив Воронцова 1870–1895, 8: 294]<sup>13</sup>.

Однако существование вдали от двора оказалось не таким удовлетворительным, как он ожидал. «Дубинка», с помощью которой Петр I добивался своего, все еще необходима, писал Ростопчин своему другу П. Д. Цицианову, ее слишком рано сдали в музей. Его раздражали как скучная, пустая жизнь помещного дворянства, так и бессодержательность и бесцеремонность московской знати<sup>14</sup>. Летом 1803 года, описывая Воронцову состояние русского общества, он впервые высказал мысль, что между на-

<sup>12</sup> Письма Ростопчина к Цицианову от 17 сентября 1803 года и 25 октября 1804 года, Вороново. Ростопчин имеет в виду библейскую притчу о богаче и нищем Лазаре, бессильном помочь богачу, попавшему в ад (Лк. 16: 19–31).

<sup>13</sup> Письма Ростопчина к С. Воронцову от 15 января 1802 года и 10 ноября 1801 года, Вороново.

<sup>14</sup> См. письма Ростопчина от 2 декабря 1803 года и 4 февраля 1804 года, Вороново, и от 8 июля 1804 года, Космодемьянск [Rostopchine A. 1864: 470, 489, 475], а также письмо к С. Воронцову от 3 июля 1802 года [Архив Воронцова 1870–1895, 8: 299].

циональной идентичностью и стабильностью государства существует связь:

Найдется ли человек, который мог бы умерить эгоизм, жадность и глупость большинства наших правителей? <...> Наше образование и общественное мнение порождают слабые умы и бесчувственные сердца, но ни одной истинно русской души. Не знаю почему, но, за исключением молодых ловкачей и нескольких так называемых философов, сталкиваешься с одними лишь недовольными [Архив Воронцова 1870–1895, 8: 307–308]<sup>15</sup>.

За этим следовал перечень «злодеев», с которыми Ростопчин воевал и в то время, и позже: «Немцы вновь объединились. Мартинисты <...> опять вылезли на свет Божий и вербуют многих в свои ряды. Наша молодежь хуже французской: она никому не подчиняется и никого не боится...» Завершала письмо скорбная сентенция: «Хотя мы одеваемся по-европейски, нам еще далеко до подлинной цивилизованности. Хуже всего то, что мы перестали быть русскими и купили знание иностранных языков ценой утраты нравственности наших предков» [Архив Воронцова 1870–1895, 8: 308].

На первый взгляд эти высказывания напоминают «Рассуждение о старом и новом слоге» Шишкова, в особенности тезис, что европеизация русской культуры нанесла огромный вред идентичности России. Но все же граф и адмирал во многом расходились. Примечательно уже то, что трактат Шишкова вышел на русском языке, а письмо Ростопчина, как и большинство его писем, написано по-французски. Сообщая о жизни в Вороново в 1801 году, Ростопчин описывает окружение своей семьи: немецкого доктора, немца-конюшего, французского гувернера своего сына, бывшую гувернантку своей жены — англичанку, и русскую дворянку. Поселившись в Вороново, он сначала намеревался прожить там десять лет, после чего уехать за границу, чтобы дети завершили там свое образование. Его жалобы на узость взглядов

<sup>15</sup> Письмо к Воронцову от 23 августа 1803 года, Вороново.

и инертность провинциального дворянства говорят о том, что он не идеализировал традиционную сельскую жизнь, и, в отличие от отсталых деревенских жителей, которых он высмеивал, Ростопчин в своих занятиях сельским хозяйством не чурался иностранных идей и осваивал зарубежную технику<sup>16</sup>.

В понимании Ростопчина национальная идея важна для того, чтобы сплотить общество. Ее культурное содержание не имеет значения для достижения этой цели, и она вполне может сочетаться с европеизированным образом жизни, если люди при этом подчиняются установленному порядку. Ростопчин был в этом отношении наследником XVIII столетия, эпохи просвещенного абсолютизма — как и Наполеон, чье высказывание о католицизме («Религия — это не таинство боговоплощения, а таинство социального порядка»)<sup>17</sup> очень точно характеризует и национализм Ростопчина. Французы ему никогда не нравились; еще в 1794 году он обвинял пребывавших в России французских эмигрантов в том, что им не хватает глубины и серьезности характера<sup>18</sup>. Но, несмотря на это, он считал язык и стиль жизни французской аристократии универсальным образцом, которому нужно следовать не только во Франции, и не видел противоречия в том, чтобы соблюдать европеизированный образ жизни и оставаться при этом «истинно русским».

Взгляды Ростопчина на внешнюю политику остались почти без изменений со времени правления Павла. Он с недоверием относился к Англии, выступал против конфликта с Францией и считал, что Россия не должна ввязываться в европейские войны. Эта изоляционистская националистическая позиция была характерна для московского и провинциального дворянства. Ростопчин совершенно справедливо полагал, что Наполеон служит гарантией

<sup>16</sup> См. письма к С. Воронцову от 10 ноября и 30 июня 1801 года, Вороново [Архив Воронцова 1870–1895, 8: 295, 292]. См. также [Булич 1902–1905, 1: 186–187].

<sup>17</sup> Цит. по: [Holtman 1967: 123].

<sup>18</sup> Письмо к С. Воронцову от 28 мая 1794 года, Санкт-Петербург [Архив Воронцова 1870–1895, 8: 96].

силы Франции и что Британия в своей безжалостной борьбе за мировое первенство «победит Францию благодаря той же напористости, которая позволила кучке торговцев править Индией и сделала [Британию] владычицей морей. Франция приобрела страшную силу, но она сосредоточена в одном человеке. Когда его не станет, наступит анархия» [Архив Воронцова 1870–1895, 8: 466]<sup>19</sup>. В другой раз он воскликнул: «Не знаю ничего более отвратительного, чем английская политика» — и в раздражении добавил, что Питт, «с его умом, его финансовыми ресурсами и жадной разгромить Францию <...> потянет за собой все европейские державы и сделает их послушным орудием в своих руках» [Rostopchine A. 1864: 479, 484]<sup>20</sup>. Этот результат казался неизбежным: коронация Наполеона, смерть герцога Энгиенского и франкофобия братьев Воронцовых (Александра, министра иностранных дел, и Семена, посла в Англии) — «все это неминуемо втянет нас в войну, в которой нам не поздоровится», — писал он провидчески в 1804 году [Rostopchine A. 1864: 485]<sup>21</sup>.

Ростопчин разрабатывал глобальные внешнеполитические планы, превыше всего ставя интересы государства; восхищался талантливыми и честолюбивыми людьми, презирал как радикалов-пустозвонов, так и полусонных сельских землевладельцев и не придавал большого значения идеологии. Неудивительно поэтому, что он относился с уважением к Наполеону, называя его «великим полководцем [и] благодетелем Франции, сумевшим обуздать революцию»<sup>22</sup> (хотя число человеческих жизней, ценой которых Наполеон возвысился, ошеломляло его). В 1803 году он заявил: «Было бы очень жаль, если бы Наполеона не стало. Я считаю его великим человеком и, хорошо зная человеческую природу, прощаю ему даже его ошибки роста» [Архив Воронцова 1870–1895, 8: 308]<sup>23</sup>. Даже узурпация Наполеоном трона не отвращала Ростоп-

<sup>19</sup> Письмо к А. Воронцову от 23 августа 1803 года, Вороново.

<sup>20</sup> Письма Ростопчина к Цицианову от 30 марта и 26 мая 1804 года, Вороново.

<sup>21</sup> Письмо к Цицианову от 12 июня 1804 года, Вороново.

<sup>22</sup> Цит. по: [Naumant 1910: 252].

<sup>23</sup> Письмо к С. Воронцову от 23 августа 1803 года, Вороново.

чина с его легитимистскими убеждениями: по его мнению, этот шаг позволил укрепить авторитет власти во Франции.

С приближением войны Ростопчин, предчувствуя недоброе, помрачнел. В марте 1805 года он писал Цицианову: «Не может быть, чтобы все правительства были настолько слепы, чтобы не раскусить хитрые замыслы Бонапарта» — и добавил: «...более чем вероятно, что пруссаки не захотят связываться с Францией, и Россия опять станет инструментом английской грабительской политики и будет втянута в бесполезную войну». Он обвинял русское правительство в том, что оно не захотело признать Наполеона французским императором, хотя в то же время согласилось с решением Габсбургов преобразовать Священную Римскую империю, где императора избирали, в Австрийскую империю с наследованием престола. Он ожидал, что разразится «большой общеевропейский пожар», и предвидел, что Наполеон, «предоставив англичанам по-прежнему заниматься морским разбоем», целиком захватит Италию, Пруссия расширит свои владения территорию в Германии, а Австрия попытается завладеть Молдавией и Валахией. «Не лучше ли было бы, отдав Франции Египет, разделить между собой Турцию, не затеявая никакой войны? — задумчиво вопрошал он. — Но, похоже, сам Господь Бог решил сделать Наполеона бичом всех монархов». Давняя идея Ростопчина о русско-французском партнерстве теперь выглядела сомнительно. По его мнению, Россия должна была «помешать чрезмерному расширению владений других государств, а может быть, тоже хватать то, что идет в руки». В конце концов, «если Франции, населенной сплошь безумцами, все же удалось — отчасти действуя силой, отчасти через общественное мнение — завоевать значительную часть Европы, что может остановить Россию?» [Rostopchine A. 1864: 507–508]<sup>24</sup>.

Он подходил к делу прагматически. Наполеон, на его взгляд, был не «узурпатором», а расчетливым политиком, который подчинил себе революцию; Ростопчин воспринимал Французскую революцию как разрушение порядка, а не легитимности. Хотя он не одобрял

<sup>24</sup> Письмо Ростопчина Цицианову от 20 марта [1805], Вороново.



целей революции, как и прогрессивных начинаний наполеоновского режима, самого корсиканца он уважал как близкого ему самому разочаровавшегося в устройстве мира честолюбивого политика. В своем отношении к соперничеству между Францией и Британией граф руководствовался не соображениями легитимности, а великодержавными интересами России. Вероятно, авторитарный режим, установленный французским императором, при всей своей сомнительной законности казался Ростопчину более привлекательным, чем британский парламентаризм. Как заметил один из историков, государственные перевороты в России XVIII века подрывали веру в божественное право правящей династии (кстати говоря, как и внедренные Петром принципы социальной мобильности и меритократии), так что Ростопчин «не возводил легитимность в культ. Главное, что во Франции [был] восстановлен порядок, а кем и каким образом — почти не имело значения» [Fuye 1937: 2]. Ростопчина заботило лишь соблюдение порядка, а какие структуры его поддерживают — не важно.

Даже в своем убежище в Вороново Ростопчин внимательно следил за событиями в жизни России, как и потом, когда с 1805 года стал проводить зимы в Москве, в своем доме на Лубянке. В числе его ближайших друзей была княгиня Дашкова (сестра братьев Воронцовых), заявлявшая, что из всех людей, которых она знала, только Фридрих Великий, Дени Дидро и Ростопчин являются достойными представителями рода человеческого. Другим другом был Карамзин, родственник жены Ростопчина. Ростопчин выступил в его защиту перед Павлом I, когда один из соперников Карамзина по литературному труду оклеветал его как изменника родины. Он часто бывал у Карамзина в Москве, и они ночи напролет с жаром обсуждали текущие события. Хотя амбициозный и общительный Ростопчин резко отличался по характеру от писателя, предпочитающего уединенное созерцание, они были добрыми друзьями и единомышленниками<sup>25</sup>.

---

<sup>25</sup> См. [Rostopchine L. 1984: 28]. См. также [Wilmot 1934: 105–106, 144] (записи 12 июня 1804 года (н. с.) и 21 июня 1805 года (н. с.)). См. также [Булич 1902–1905, 1: 186, 188; Бантыш-Каменский 1836–1847, 3: 114].

Ростопчин часто посещал связанные между собой мистические ложи мартинистов (к которым порой относили людей самых разных убеждений), несмотря на то что громил их в своих речах, и ложи франкмасонов, уделявших внимание не столько религиозным размышлениям, сколько духовному и нравственному самосовершенствованию. Он активно переписывался с Лабзиным, самым известным мистиком Александровской эпохи. Вероятно, они познакомились при дворе Павла I и продолжили знакомство, так как оба интересовались искусством. Лабзин поддерживал связь с Академией художеств, а Ростопчин был страстным коллекционером. Среди московских друзей Лабзина были С. И. Гамалея и Н. И. Новиков, который жил скромно и уединенно, хотя считался патриархом русского масонства.

Екатерина II преследовала Новикова и других масонов, но Павел восстановил их репутацию — отчасти в пику матери, отчасти потому, что их учение было ему по душе<sup>26</sup>. Ростопчину же их мистицизм и стремление к метафизическому совершенству, очевидно, казались чудачеством и даже, возможно, угрозой его собственной популярности. К тому же у русских масонов были установлены прочные связи в Британии и Пруссии, а Ростопчин тяготел к союзу с Францией. Как и многие его современники, он с подозрением относился ко всем ложам, без разбора объединяя их в одну группу под общим названием «мартинисты», которое исходно применялось по отношению к тайным обществам, практиковавшим эзотерические ритуалы. Он доносил на них Павлу как на «подрывные элементы» и позже вспоминал с несомненным удовлетворением (несколько преувеличивая свою роль), что «нанес [им] смертельный удар» [Ростопчин 1875: 78]. Особую радость он испытывал, когда Лопухина (также друга Новикова) в результате его доноса удалили от двора и перевели в Москву, а Новикова тоже изгнали из Петербурга и установили за ним полицейское наблюдение.

<sup>26</sup> См. письма Ростопчина к Лабзину от 8 октября 1800 года, Гатчина; 21 июня [1804] года, Вороново; 22 декабря [1810] года и 12 января 1811 года, Москва [Письма Ростопчина 1913: 419–420, 422–425]. См. также [Тихонравов 1898, 3, I: 322; Vernadsky 1923: 277–285].

Трудно определить подлинное отношение Ростопчина к «мартинистам»: оно было или слишком сложным, или вводящим в заблуждение. Казалось бы, он считал их опасными радикалами, как свидетельствует его письмо 1803 года к Воронцову. В то же время он дружил с Лабзиным, учеником Новикова, пытавшимся познакомить Новикова и Ростопчина. Первая попытка Лабзина не удалась, потому что проницательный Новиков воспринял эту идею настороженно: «Но я весьма опасуюсь, не философ ли он? Т. е. не вольнодумец ли? (это ныне синоним); и не считает ли он наше [движение] или глупостию и скудоумием, или обманом только для глупых?» [Модзалевский 1913, 1: 22]<sup>27</sup>. Тем не менее они познакомились, правда лишь эпистолярно. В 1804 году Новиков попросил Лабзина узнать у Ростопчина, не возьмет ли тот одного из его друзей в ученики: Ростопчин стал обучать желающих английским технологиям земледелия. Ростопчин написал ответ Новикову, в котором восхищался его «рвением образовать столь нужное просвещение и нравственность в отечестве нашем. Вы претерпели обыкновенные гонения, коим превосходные умы и души подвержены бывают, — обращался он к Новикову, — <...> но Провидение <...> наградило вас спокойствием души и памятью жизни добродетельной» [Модзалевский 1913, 2: 25]<sup>28</sup>. Что заставило Ростопчина так лицемерить — загадка: ведь Новиков не пользовался достаточным влиянием в обществе и не мог быть ему полезен. Новиков был несколько озадачен письмом и сообщил Лабзину, что на него произвели большое впечатление «благодарные отзывы [Ростопчина], великодушные его расположения» к нему, «его характер, его возвышенная доброта сердца, его ум, его намерение путешествовать» (возможно, он надеялся установить с помощью Ростопчина связи с иностранными масонскими ложами) [Модзалевский 1913, 2: 26]<sup>29</sup>. Ростопчин, в свою очередь, тоже написал Лабзину, убеждая его, что давно восхищался Новиковым и успешно ходатайствовал за него перед Павлом. «Дружбу вашу я почитаю и не удивляюсь

<sup>27</sup> Письмо без даты, написанное в 1799 году или в начале 1800-х, Тихвинское.

<sup>28</sup> Письмо от 21 марта 1804 года, Вороново.

<sup>29</sup> Письмо от 2 мая 1804 года, Тихвинское.

ей, — добавлял он. — Для чего, когда у Ореста был Пилат, не может быть у Николая [Новикова] Александр [Лабзин], а у Александра — Федор [Ростопчин]?» [Письма Ростопчина 1913: 421]<sup>30</sup>. Все это не помешало Ростопчину вскоре после этого решить, что разоблачение «масонских заговоров» выгодно скажется на его карьере, и в 1812 году Новиков со своими друзьями-масонами пострадали благодаря его стараниям<sup>31</sup>.

Когда в 1805 году разразилась война, Ростопчин публично выражал уверенность в победе России. В глубине души, однако, он был не столь оптимистичен. Причиной поражения под Аустерлицем, считал он, было предательство: русские планы сражения были выданы французам, а австрийцы изменили русскому союзнику и объединились с его врагом [Жихарев 1989, 1: 148]<sup>32</sup>. Обвинял он и Аракчеева, командовавшего в этой битве артиллерией. Два месяца спустя он по-прежнему не видел вокруг ничего хорошего: «О Боже!» — сетовал он. Куда ни посмотри — на состояние армии и флота, дефицит бюджета, коррумпированность правительства, крестьянские волнения, необоснованное предпочтение, отдаваемое немцам при назначении должностных лиц, — «все разваливается и погребет под собой бедную Россию» [Rostopchine A. 1864: 525]<sup>33</sup>. Даже царь не избежал раздраженного замечания с его стороны. «Бог не может покровительствовать войскам плохого сына», — писал Ростопчин, намекая на роль Александра в заговоре против Павла I [Мельгунов 1923: 129]. Это высказывание дошло до царя и возбудило в нем недоверие и неприязнь к Ростопчину<sup>34</sup>.

<sup>30</sup> Письмо от 27 марта 1804 года, Вороново. В этом издании дата письма ошибочно указана как 27 марта 1802 года. См. [Модзалевский 1913, 2: 24, примеч.].

<sup>31</sup> См. также письма Новикова к Лабзину от 12 февраля и 18 апреля 1804 года, Тихвинское [Модзалевский 1913, 2: 21, 25–26]. Мельгунов делает обзор переписки Новикова и Лабзина в работе «Еще о Ростопчине» [Мельгунов 1913: 239–240], которая перепечатана в издании: [Мельгунов 1923].

<sup>32</sup> Запись 12 ноября 1805 года. См. также письмо Ростопчина к Цицианову от 15 декабря 1805 года, Москва [Rostopchine A. 1864: 521].

<sup>33</sup> Письмо к Цицианову от 24 января 1806 года, Вороново.

<sup>34</sup> См. также [Половцов 1896–1918, 17: 257].

В 1806 году, когда Наполеон захватывал Пруссию, мысли Ростопчина приняли совершенно иное направление. Если раньше он видел в могуществе Франции противовес притязаниям Австрии и Пруссии, то теперь он убедился (аналогично Сталину в 1940–1941 годах), что силы европейских держав не просто поколеблены — на что он надеялся, — а уничтожены, и Россия оказалась один на один с могущественным противником, подобранным к самым ее границам. Социальная и политическая природа Наполеоновской империи стала беспокоить Ростопчина гораздо больше, чем прежде, когда она была отделена от России надежным барьером германских государств. Он теперь рассматривал Наполеона как опаснейшего врага России и объявил, что всякое французское веяние в России — политическое, культурное и любое другое — носит подрывной характер по определению [Кизеветтер 1915: 146–149].

Первым шагом, который он предпринял в связи с этим, было написанное в декабре письмо к императору. В нем Ростопчин выражал удовлетворение: «Наконец, и вы сами, Государь, признали [дворян] справедливо единственную подпорою престола» — и одновременно предупреждал, что набор ополчения и прочие меры по обороне государства

...обратятся в мгновение ока в ничто, когда толк о мнимой вольности подымет народ на приобретение оной истреблением дворянства. <...> [Это] единая цель черни, к чему она ныне еще поспешнее устремится по примеру Франции и быв к сему уже приуготовлена несчастным просвещением, коего неизбежные следствия есть гибель закона и царей [Письма Ростопчина 1892: 419–420].

Единственным средством избежать этого была, по мнению Ростопчина, массовая высылка из России иностранцев, расправляющих подрывные идеи

...в сословии слуг, кои уже ждут Бонапарта, чтобы быть вольными <...>, [и их] пагубное влияние губит умы и души несмыслящих подданных ваших. <...> Подумайте о <...>

расположении умов, о философах, о Мартинистах, — призывал он императора. — Явитесь на несколько дней в город сей [Москву] и возжгите паки в сердцах любовь, совсем почти погасшую [Письма Ростопчина 1892: 419–420].

Александр был озадачен заявлением Ростопчина, что он (Александр) до последнего времени не сознавал всей важности роли дворянства и что его подданные настолько недовольны им. Он ответил, что это расхочется с сообщениями его собственных источников информации, согласно которым все слои общества и в особенности дворяне преданы царю и отечеству (возможно, это было предупреждением Ростопчину). Этот ответ был не вполне искренним, если учесть, сколько хлопот было у правительства с попытками «управлять» общественным мнением во время войны. Александр утверждал, что слухи об освобождении крестьян не имеют никакого отношения к «истинному просвещению [и] <...> не что иное есть как невежество» [Рескрипт 1902: 634]<sup>35</sup>. Он заверил Ростопчина, что правительство учитывает возможность таких слухов и держит ситуацию под контролем. Что же касается подрывной деятельности иностранцев и непопулярности Александра в Москве, то император потребовал у Ростопчина доказательств и того и другого. Тон у его письма был оборонительный, но вежливый. По-видимому, Александр не видел смысла восстанавливать против себя Ростопчина и других влиятельных москвичей, которые, как можно было предположить, знали об этой переписке.

В письме Ростопчина отразился страх многих дворян перед крестьянскими волнениями [Кизеветтер 1915: 149]. Такую обеспокоенность высказывал, например, известный публицист Лопухин. Как и многие франкмасоны и мистики, он не считал, что нравственное самосовершенствование, за которое он ратовал, должно сопровождаться какими-либо изменениями общественного строя. В январе 1807 года он послал царю письмо, в котором говорил о нежелании крестьян вступать в новообразованное

<sup>35</sup> Письмо от 2 января 1807 года.

ополчение и убеждал Александра в том, что «в России ослабление связей подчиненности крестьян помещикам опаснее самого нашествия неприятельского» [Лопухин 1990: 171]. Спустя две недели после отправки письма Ростопчину Александр написал в том же тоне и Лопухину, который отозвался об откровенном ответе императора следующим образом: «Государь сказал мне, что не без удивления нашел он в донесении моем рассуждения совсем посторонние сделанному мне поручению» [Лопухин 1990: 180]<sup>36</sup>.

Опубликовав в начале 1807 года памфлет «Мысли вслух на Красном крыльце», Ростопчин стал главным франкофобом в России. Освященный веками жанр политического памфлета пережил новый всплеск популярности в связи с Французской революцией. Памфлет Ростопчина был довольно краток и содержал рассуждения некоего Силы Андреевича Богатырева, чье имя заставляет вспомнить героев русского фольклора. Офицер в отставке, заслуженный ветеран, орденоносец — Богатырев приезжает в Москву, чтобы выяснить, пережили ли его родные битву с Наполеоном при Прейсиш-Эйлау. Прежде всего, как набожный православный россиянин, он помолился за царя в Успенском соборе Московского Кремля, в духовном центре русской самодержавной традиции. Затем этот архетипический дворянин уселся на Красном крыльце в раздумье: «Господи помилуй! Да будет ли этому конец? Долго ли нам быть обезьянами? Не пора ли опомниться, приняться за ум <...> и сказать французу: сгинь ты, дьявольское наваждение! Ступай в ад, или в свояси, все равно, только не будь на Руси» [Ростопчин 1853: 8].

Богатырев сетует на то, что в современном обществе превозносятся невежественных, не уважающих самих себя русские, которые носятся с отбросами французского общества как со знаменитостями. Он обвиняет французских гувернеров в том, что они подорвали традиционную веру в Бога, верность царю и отечеству и приучили молодежь презирать свой родной язык, религию, старших и предков. У молодых аристократов «отечест-

<sup>36</sup> Письмо Александра датировано 16 января 1807 года. О Лопухине см. также [Lipski 1967].

во <...> на Кузнецком мосту, а Царство небесное Париж» [Ростопчин 1853: 10]. (На Кузнецком мосту были сосредоточены фешенебельные магазины французских торговцев [Vopatour 1965: 54], которых Богатырев считает, наряду с французскими гувернерами, виновниками национального упадка.) То, что любой иммигрант автоматически приобретает в России столь высокий статус, оскорбляет российское национальное достоинство и дворянскую честь.

Ну не смешно ли <...> покажется, <...> чтоб псарь Климка, повар Абрашка, холоп Вавилка, прачка Грушка и непотребная девка Лушка стали воспитывать благородных детей и учить их доброму. <...> Чего у нас нет? Все есть, или быть может. ГОСУДАРЬ милосердный, дворянство великодушное, купечество богатое, народ трудолюбивый [Ростопчин 1853: 11–12].

Богатырев перечисляет русских, прославившихся доблестными подвигами на поле битвы, и противопоставляет им французов: француз «врет чепуху, ни стыда, ни совести нет. Языком пыль пускает, а руками все забирает». В таком же духе он отзывается о Французской революции («голова рубили, как капусту») и о Наполеоне, который «пришел, как свирепый лев, <...> теперь бежит, как голодный волк». «Не щади зверя лютого» — этим призывом к русским воинам Богатырев завершает свою филиппику [Ростопчин 1853: 13–14, 17].

Подобно многим другим сочинениям Ростопчина, этот памфлет первоначально ходил по рукам в рукописном виде — и, по-видимому, анонимно. Один из экземпляров, привезенных в Петербург, попал в руки адмиралу Шишкову. Шишков был рад, что нашелся его единомышленник, и в марте опубликовал «Мысли вслух», чуть смягчив остроту выпадов против Франции. Ростопчин был недоволен внесенными изменениями и в мае 1807 года напечатал оригинальный вариант в Москве [Булич 1902–1905, 1: 190; Овчинников 1991: 151]. Очень быстро «эта книжка прошла всю Россию, — писал один из современников, — ее читали с восторгом! <...> Ростопчин был в этой книжке голо-



сом народа; немудрено, что он был понят всеми Русскими» [Дмитриев 1869: 241]. Е. А. Головин, друг Ростопчина, писал ему из столицы, что члены петербургского Английского клуба (представлявшие, как и в московском клубе, элиту общества, которая включала на этот раз сановников, занимавших высшие государственные посты, и иностранных дипломатов) нашли памфлет занимательным и одобрили его содержание, однако представители власти не выразили восторга по поводу непрошенных советов [Rostopchine A. 1864: 431]<sup>37</sup>.

Очень быстро было распродано 7 000 экземпляров книги. (Для сравнения: в революционной Франции тираж самых крупных ежедневных газет доходил до десяти и пятнадцати тысяч, но во Франции грамотность населения была гораздо выше, а пресса намного активнее [Бочкарев 1911: 206; Porkin 1989: 335].) А поскольку одним экземпляром обычно пользовались несколько человек, количество читателей Ростопчина должно было значительно превышать 7 000. Как известно, «Мысли вслух» были популярны также в купеческой среде, и это свидетельствует о том, что грубоватый простонародный язык автора и незамысловатый сюжет помогали преодолеть сословные барьеры [Половцов 1896–1918, 17: 260]<sup>38</sup>. Ростопчин строил модель русской идентичности, прибегая к примитивному культурному и социальному популизму: русский дворянин Богатырев был своего рода «благородным» двойником пресловутого Папаши Дюшена (грубого, ожесточенного санкюлота эпохи террора, героя памфлетов парижского журналиста Рене Эбера), а тон памфлетов, напоминавший популистское милитаристское бахвальство, характерное для Наполеоновской империи, также был перенят у Папаши Дюшена [Furet, Richet 1965: 216]. Тот факт, что Ростопчин выбрал просторечие, чтобы привлечь нижние слои общества и пассивных обывателей (тактика, к которой он вновь прибег с еще более

<sup>37</sup> Письмо от 15 апреля 1807 года. См. также [Брокгауз, Ефрон 1890–1907, 29: 424–428].

<sup>38</sup> Глинка писал, что «листок» Ростопчина «облетел и чертоги, и хижины, и как будто был передовою вестью великого 1812 года» [Глинка 1895: 223].

важной целью в 1812 году), демонстрировал его оппортунистический прагматизм, который отличал его от других консерваторов, относившихся к обсуждению идеологических вопросов более осторожно и вдумчиво.

Готовность Ростопчина использовать пропагандистские методы врага говорит о том, что Шишков ошибался, думая, будто нашел в его лице единомышленника. Различие между ними заключалось прежде всего в том, что для Шишкова крестьянство было средоточием «подлинной русскости», и этим он отвергал мнение дворянства, согласно которому неразвитость и грубая натура крестьян оправдывает крепостное право; Ростопчин же, более искушенный в политике, осмотрительно сделал своего Богатырева дворянином, чтобы его критика вкусов и нравов общества не была понята как призыв к изменению общественного строя. Адмирал, преданный русской культурной традиции, выступал против иноземной культуры лишь тогда, когда она угрожала эту традицию нарушить. Для Ростопчина же националистическая демагогия служила политическим оружием, которое было направлено против всего французского в целом. Впоследствии он писал извиняющимся тоном в одной из брошюр, что в «пустячке, опубликованном в 1807 году», он лишь хотел предупредить русских людей о том, что некоторые французские иммигранты стараются распространить пораженческие настроения. «Да, я выступал против них, но мы ведь воевали с Францией, и было естественно, что они в тот момент мне не нравились» [Ростопчин 1853: 274]. Он даже похвалил русских за то, что они якобы вполне терпимо относились к французским иммигрантам в 1812 году, хотя сам-то он в своих «Мыслях на Красном крыльце» и других выступлениях всеми силами боролся с этой терпимостью.

И Шишков, и Ростопчин твердо верили в необходимость самодержавия и крепостного права, но доводы у них были разные. Шишков считал, что, излечив общество от заразы иноземной культуры, можно добиться естественного и гармоничного объединения всех классов в рамках традиционной социально-политической системы. А по мнению Ростопчина, естественное состояние общества — его внутренние конфликты и только сильная

власть может защитить привилегии дворянства. Историк Кизеветтер усматривает в этом парадокс, лежащий в основе мировоззрения Ростопчина, который «носился с фантастическим идеалом независимого гражданина, исповедывающего идеологию политического рабства и увлеченного этой идеологией не за страх, а за совесть» [Кизеветтер 1915: 103]. Он пытался и впрямь сделать в политике невозможное. Для поддержания общественного порядка, полагал он, необходимо сильное самодержавие и крепостное право, но самодержец при этом не должен вмешиваться в общественный порядок (еще одно курьезное противоречие русского консерватизма)<sup>39</sup>. Романтик-националист Шишков прославлял и старомосковскую традицию, и Петра I, а выразитель взглядов провинциального дворянства Ростопчин хотел, чтобы общество оберегало неограниченную власть царя. Различия между ними наглядно иллюстрируют литературные стили и жанры, которые они избрали. Шишков выражал свои мысли напрямик, без тени юмора, стараясь дать образец возвышенного русского литературного языка, каким он ему представлялся, и обращался к читателю от собственного лица. Созданный Ростопчиным образ Богатырева был абсолютно не похож на автора, являлся чуть ли не карикатурой на помещика-консерватора. Ростопчин, в отличие от Шишкова, писал с сарказмом и пытался одновременно развлечь читателя и направить его мысли в нужное русло.

Следующей зимой, вдохновленный успехом «Мыслей вслух», Ростопчин публикует комедию «Вести, или Убитый живой». Нехитрый сюжет комедии развивается в Москве. Уже знакомый читателю Богатырев узнает от одного из зашедших к нему знакомых, что жених его дочери ранен в бою. Приходят еще двое знакомых, каждый из которых рассказывает хозяину дома о последних событиях, описывая их прямо противоположным

---

<sup>39</sup> См. [Покровский 1912: 19; Кизеветтер 1915: 103–106; Мельгунов 1916: 410]. Мельгунов вынес в заглавие своей статьи название книги Кизеветтера «Исторические очерки», но на самом деле разбирает книгу «Исторические отклики» — «Исторические очерки» были написаны раньше.

образом. Приходит четвертый гость и объявляет, что молодой человек убит. Сразу после этого тот появляется сам, живой и невредимый. Богатырев задает заслуженную взбучку любителям почесать языком. На этот раз он воплощает собой добродетели русской провинции, а сплетники — бесхребетное и трусливое вестернизированное столичное дворянство. Главный герой произносит горячую патриотическую проповедь: «Я люблю все Русское, и если бы не был Русской, то желал бы быть Русским; ибо я ничего лучше и славней не знаю. Это бриллиант между камнями, лев между зверьми, орел между птицами» [Ростопчин 1853: 42]. В одной сцене два посетителя с «говорящими» фамилиями — Пустяков и Моренкопф («голова мавра» — вероятно, ироничное выражение, относившееся к балтийским немцам)<sup>40</sup>, доктор-немец, — обсуждают последнюю битву, вести о которой обрывочны. Пустяков говорит, что даже неизвестно, кто из русских офицеров командовал войсками.

М о р е н к о п ф: Немецких Енерал пыл три штук, и фсе мой семляк.

П у с т я к о в: Да войска-та по крайней мере были Русские.

М о р е н к о п ф: Ну та мошна и эта скасать, а кагтап Енерал тут не пыл, так турна пы пыла [Ростопчин 1853: 42].

Здесь Ростопчин затрагивает одну из своих любимых тем: иностранцы заполнили Россию. Сильный немецкий акцент — характерный для Ростопчина прием, позволяющий добиться неприятельного комического эффекта. Богатырев прерывает

<sup>40</sup> В раннее Новое время в Северо-Восточной Германии был популярен культ христианского мученика святого Маврикия (изображавшегося обычно чернокожим); в честь него были образованы «корпорации черноголовых» (*Schwarzenhäuptervereinigungen*), которые являлись почетными гильдиями молодых неженатых купцов и существовали еще долго после Средних веков. Возможно, русские, торговавшие с прибалтийскими немцами, знали об этом обычае и в шутку прозвали «черноголовыми» всех немцев. Я благодарю за эту информацию Тапио Сальминена, который ссылается на работу [Johansen, Mühlen 1973: 66]. Благодарю также Михаэля Харшайдта и Ганса-Мартина Модероу, которые помогли мне разобраться в этом вопросе.

позорное прославление иностранных генералов (предположительно подразумевая и Беннигсена, командовавшего русской армией в 1807 году, которого Ростопчин особенно не любил — возможно, из-за того, что генерал был причастен к убийству Павла I)<sup>41</sup> и противопоставляет иностранцам *русского* героя — «непобедимого Суворова» [Ростопчин 1853: 61]. Он высмеивает сплетников:

Половина города за тем в нем и живет, чтобы вестями питаться <...>. Вестям есть фабрики, конторы <...> а в иных домах <...> делают вестям промен и спешат их с рук сжить с барышком. <...> Часто рассказы этих публичных вестовых на несколько времени направляют мнение и самой публики, которая почтенна, да немножко легковерна [Ростопчин 1853: 40–41].

Этот отрывок в первую очередь показывает, как Ростопчин расценивал собственную публику, но вместе с тем верно отражает эту особенность московского общества. Уже один лишь пример князя Одоевского, снимавшего квартиру напротив почты, чтобы первым узнавать новости и передавать их другим, говорит о том, что Ростопчин в этом справедлив.

Комедия Ростопчина была показана в Арбатском театре в начале 1808 года всего три раза (и еще дважды — летом 1812-го), но, как вспоминает один из современников, по фамилии Сушков, «от гостиного двора до кабинета литератора, от прихожей и девичей до дворянского собрания, только и толков было в Москве, что об ней»<sup>42</sup>. Не будем забывать, что театр был единственным местом — не считая церкви, — где встречались люди из разных социальных слоев. В петербургском Большом театре в райке сидели «купцы, приказчики, слуги — самая нетребовательная и благодарная публика» [Гордин 1991: 38], в то время как ложи

<sup>41</sup> Ростопчин намеренно не включил Беннигсена в пантеон русских полководцев, прославляемых им в «Мыслях вслух», и был раздосадован, когда Шишков сделал это в своем варианте комедии. См. [Половцов 1896–1918, 17: 260].

<sup>42</sup> Цит. по: [Овчинников 1991: 152].

представляли собой некий аристократический выставочный зал, куда элегантно одетая знать приходила «людей посмотреть и себя показать»; первые ряды кресел были зарезервированы для особо важных персон, а места за креслами («стоящий партер») предназначались для молодых дворян, всецело преданных театру.

Комедия «Вести, или Убитый живой» не имела успеха у публики, так как ее сатира была слишком тяжеловесна. Глинка писал, что она «метила не в бровь, а прямо в глаз различным лицам, известным в тогдашнем большом московском свете» [Глинка 1895: 234]. Ростопчин, понятно, был расстроен провалом пьесы и выплеснул свои чувства в сочиненном им письме к Богатыреву от его вымышленного друга: «Хотя господа актеры из кожи лезли и галерейные заседатели много били в ладоши, однакож правду сказать: ложная и кресельная публика не совсем благосклонно тебя приняла и заключила, что в тебе много соли и ты пересолил» [Ростопчин 1853: 137]. Как выразился Глинка, «роковые отголоски зрительских свистков жужжали не хуже пуль» [Глинка 1895: 234]. Автор комедии саркастически советует своему герою: «Оставь старину в Кремле и на Спасском мосту в картинках» [Ростопчин 1853: 138]. Ростопчин предпочел объяснять свою неудачу не обидой тех, кого он высмеивал, а несогласием публики с патристическими размышлениями Богатырева<sup>43</sup>.

Как видно из этого «письма к Богатыреву», только простые люди («галерейные заседатели»), а никак не элита являются, по мнению Ростопчина, истинными патриотами. Эту мысль он развил в повести «Ох, французы!», написанной примерно тогда же и предназначенной, подобно большинству его сочинений, для частного чтения друзьям<sup>44</sup>. Героем повести был добродетельный дворянин-провинциал, а тему Ростопчин выбрал ту же, что и в «Мыслях» и «Вестях», — разложение российского общества в результате того, что французские влияния вытеснили традиции старой Руси. Вместо одиозного Моренкопфа из «Вестей» в повес-

<sup>43</sup> О том, кого высмеивал в своей комедии Ростопчин, см. [Покровский 1912: 9–11].

<sup>44</sup> См. [Rostopchine A. 1864: 74–75].

ти фигурировала другая темная личность из немцев — шарлатан-прорицатель Мина Шнапгельд (в переводе на русский — что-то вроде «Деньгохвата»). В антинемецкой позиции Ростопчина не было ничего нового: еще за несколько лет до этого он возмущался немцами, которые «вбили себе в голову, что они должны наставлять русских» [Архив Воронцова 1870–1895, 8: 139]<sup>45</sup>. Большое число проживавших в России немцев делало их легкой мишенью для пропагандистов ксенофобии.

Сочинения Ростопчина, направленные против французов, пользовались успехом и положили начало антифранцузской тенденции. Некий Левшин последовал примеру Ростопчина и опубликовал «Послание русского к французолобцам вместо подарка в новый 1807 год». Другой автор выпустил комедию «Изгнание французов». Помимо этого существовало большое количество антифранцузских и антинаполеоновских произведений, происходивших из Германии и изданных в переводе. И. А. Крылов, сочинявший популярные пьесы, не остался в стороне от антифранцузской кампании и написал комедии «Модная лавка» и «Урок дочкам», перекликающиеся с идеями «Рассуждения о старом и новом слоге» Шишкова [Бочкарев 1911: 208; Булич 1902–1905, 1: 174–179; Альтшуллер 1984: 140–144].

В один из вечеров в конце 1807 года Ростопчин посетил салон А. С. Небольсиной, котиравшийся как один из лучших в Москве. Какое-то время он развлекал собравшихся остроумными анекдотами, а затем разговорился с Сергеем Глинкой, начинающим драматургом, который неделей ранее поместил в газете «Московские ведомости» уведомление, что он собирается издавать журнал «Русский вестник» и посвятить его теме русского патриотизма. Ростопчин видел это уведомление и выразил желание сотрудничать с журналом. Польщенный вниманием столь важной особы, Глинка объяснил, что он всего лишь хочет, чтобы в обществе укоренился патриотический дух «Мыслей вслух на Красном крыльце». Ростопчин в ответ пожаловался на адмирала Шишкова, опубликовавшего памфлет без разрешения автора да при этом

<sup>45</sup> Письмо к С. Воронцову, май 1796 года, София.

добавившего в список великих русских полководцев генерала Беннигсена, которого сам Ростопчин не хотел туда включать. Когда Глинка робко указал на слишком большую разницу между ними в статусе, Ростопчин учтиво, но решительно остановил его: «Полно, полно; где дело идет о пользе общей, там нет расстояния и там не считаются чинами» [Глинка 1895: 221–222].

Так началось их сотрудничество, ставшее особенно тесным в напряженные летние месяцы 1812 года. Ростопчин и Глинка составляли странную пару: вельможа и литератор, жесткий прагматик и наивный идеалист. Но у них была общая цель, и наряду с Шишковым и Карамзиным они стали самыми яркими представителями русского консерватизма в период между заключением Тильзитского мира и 1812 годом. Хотя в их биографиях не было почти ничего общего, их взгляды на современную действительность были на удивление похожи, что отражает сложную природу русского консерватизма того времени.

Сергей Николаевич Глинка был чувствителен, великодушен, доверчив и религиозен, готов терпеть лишения ради того, во что верил. К тому же он был хорошо образован и умен, хотя мыслил несколько беспорядочно, о чем свидетельствуют бесчисленные отклонения от основного курса в его интересных воспоминаниях. В России, где мало кто из дворян заботился о том, чтобы согласовать свои просветительские идеи со своей повседневной практикой государственного чиновника или крепостника, Глинка стремился к тому, чтобы его практическая деятельность не расходилась с его убеждениями. Этим, как и многим другим, он напоминал будущих декабристов<sup>46</sup>. Если Шишков стал националистом-консерватором, так как был воспитан в соответствующем духе и этот вопрос занимал его, а Ростопчин обратился к национализму из политических соображений, то у Глинки националистические идеи отвечали его душевной потребности привести свои идеалы в гармонию с действительностью. Впечатлительный Глинка больше, чем кто-либо иной из видных консерваторов, напоминал наиболее вдохновенных французских рево-

<sup>46</sup> Об этой особенности декабристов см. [Лотман 1994: 335–338].





Рис. 3. С. Н. Глинка.  
[ОВИРО 1911–1912,  
5: 133]

люционеров-идеалистов — как по воспитанию, так и по темпераменту. Он был образованным дворянином, предрасположенным к слезливой сентиментальности и вдохновлявшимся образами античных героев, а также страстным оратором, любившим принимать театральные позы; он сознавал свою склонность к мечтательности и морализаторству и грезил о нравственном возрождении общества в результате великого всеобщего катарсиса.

Глинка родился 5 июля 1776 года в дворянской семье в Смоленской губернии. Он вспоминал в идиллическом руссоистском духе свое детство на лоне природы, богобоязненных, скромных и гостеприимных родителей, которые серьезно относились к возложенному на них долгу заботиться о своих крепостных. Эти черты, возведенные в идеал в эпоху позднего Просвещения, Глинка воспринимал как квинтэссенцию русского духа и основу общественного порядка. В 1781 году Екатерина II, проезжая через его родные места, встречалась с семьей Глинки и обещала позаботиться о том, чтобы Сергей и его брат получили образование в Петербурге [Глинка 1895: 1–25]. И год спустя, в свой шестой день рождения, маленький Сергей в слезах распростился с отчим домом и убыл в далекую столицу, где провел безотлучно следующие 13 лет. Он был зачислен в Сухопутный кадетский корпус —

одно из самых престижных учебных заведений России. Вскоре жизнь в кадетском корпусе вытеснила у юного Глинки воспоминания о доме. Директора корпуса И. И. Бецкой и Ф. Е. Ангальт, относившиеся к кадетам с любовью и нежностью, сумели привить Глинке глубокую привязанность к их учебному заведению. Программа обучения в корпусе была ориентирована на основные идеи философии позднего Просвещения и прежде всего на роман Жан Жака Руссо «Эмиль». Упор делался на развитие способности к нравственному самоанализу, веры в силу разума и идеалы справедливости, любовь и всеобщее равенство (хотя Бецкой при этом отстаивал незыблемость самодержавия и крепостного права). Бецкой стремился усовершенствовать российское общество путем создания целого класса людей, невосприимчивых к мирским грехам благодаря полученному воспитанию<sup>47</sup>.

Здесь лучше, чем где бы то ни было, видно, что русский консерватизм вырос на той же культурной почве, что и Французская революция. Подобно Робеспьеру и Камиллю Демулену в своем лицее за десяток лет до этого [Schama 1989: 380], мировоззрение Глинки формировалось, с одной стороны, на основе героической истории Древней Греции и Рима, а с другой стороны — сентиментальных наставлений и отвлеченных идей равенства, которые исповедовали Руссо и его последователи. Но даже если учебные программы в Лицее Людовика Великого и Сухопутном кадетском корпусе были сходны, то действительность, в которую окунались их выпускники, была совершенно разной. В предреволюционной Франции благодаря возросшей социальной мобильности, процветающей коммерции, развитому издательскому делу и прочно вставшим на ноги городским и аристократическим корпоративным организациям честолюбивые экс-лицеисты имели возможность, будучи юристами, журналистами и в конечном итоге политиками, жить в соответствии с привитыми им принципами. А кадетский корпус готовил солдат для общества с жесткой сословной иерархией и самодержавным правлением, так что полученное Глинкой образование почти никак не было связано

<sup>47</sup> См. [Black 1979: 77–83; Ерошкина 1993; Лотман 1994: 79].

с жизнью. Так как в России (в отличие от Франции) перспективы радикального изменения существующего строя отсутствовали, он пытался преодолеть ощущение собственной оторванности от реальности, преобразуя реальность в воображении, пока она не приходила в соответствие с идеалами свободы, социальной гармонии и гражданской добродетели, на которых он, подобно его французским современникам, был воспитан. Те, кто оканчивал кадетские корпуса на десять лет позже Глинки, также болезненно ощущали контраст между привитыми им в корпусе ожиданиями и русской действительностью, решительно отвергали старый режим и вступали в декабристские общества<sup>48</sup>.

Кадетский корпус придавал первостепенное значение классическому образованию. Глинка вспоминал:

Не знал я, под каким живу правлением, но знал, что вольность была душою римлян. Имя римского гражданина стояло почти на чреде полубогов. Исполинский призрак Древнего Рима заслонял от нас родную страну — и в России мы как будто видели и знали одну Екатерину [Глинка 1895: 63].

Екатерина II действительно уделяла большое внимание образованию в кадетских корпусах. Несмотря на попытки графа Ангальта расширить изучение русской истории и культуры, «Россия все еще скрывалась от нас в каком-то отдаленном тумане», — пишет Глинка. Культурной родиной кадетов была не Россия, а Франция. Глинка очень хорошо знал французскую литературу; позже он без всяких сожалений о прошлом писал: «Полюбя страстно французский язык, <...> я затеял уверять, будто бы родился во Франции, а не в России» [Глинка 1895: 66]. В преподавании классических предметов, как и во всем остальном в корпусе, ставилось во главу угла не накопление эмпирических знаний, а моральные ценности (доблестью спартанцев, к примеру, восхищались, но их тираническое социальное устройство

---

<sup>48</sup> Среди декабристов и близких к ним молодых офицеров, окончивших кадетские корпуса, были К. Ф. Рылеев, А. Е. Розен, брат Сергея Глинки Федор и многие другие. См. [Аурова 1996].

осуждалось). Вдобавок к этическим принципам ответственности перед обществом и всеобщего братства людей преподаватели учили своих воспитанников уважать простых крестьян, кормильцев общества, и прибегали к помощи русских народных поговорок и пословиц, чтобы кадеты не отрывались от своих национальных корней [Глинка 1895: 63, 66]<sup>49</sup>.

Глинка не соглашался с тем, что кадетский корпус выпускает молодых людей не подготовленными к жизни в обществе и к государственной службе. Он считал, что обучение в корпусе укрепило лучше черты его характера: нежелание пресмыкаться перед сильными мира сего и уважение достоинства каждого человека. Но все же он не мог преодолеть ощущения, что прекрасное образование — это одно, а суровая реальность жизни совсем иное. Среди товарищей он выделял троих, ставших впоследствии успешными офицерами и дипломатами. В 1794 году только шесть кадетов получили звезду отличника; Глинка был среди них, а трое его товарищей не были. «Впрочем, они получили потом звезды на службе, но я их не домогался заслужить; моя звезда блеснула и померкла в стенах корпуса» [Глинка 1895: 113]<sup>50</sup>. Это был важный момент в жизни Глинки. В эпоху, когда вступающему в жизнь русскому дворянину предоставлялись на выбор только два варианта — либо стать помещиком, либо поступить на службу государству, — Глинка не пошел ни по тому, ни по другому пути. Он предпочел редкую в то время стезю профессионального литератора. Если бы он жил в старорежимной Франции, это не вызывало бы никаких затруднений. В России было иначе. И к тому же это была не та профессия, к которой он готовил себя. Он выбрал это занятие под нажимом обстоятельств, свято веря в благодетельную силу Провидения. В первое десятилетие после

<sup>49</sup> В своих статьях в «Русском вестнике» Глинка часто приводит русские пословицы и поговорки, желая продемонстрировать глубокую интуитивную мудрость русского народа (см., например, июльский выпуск 1811 года, с. 16–43). Часто он обращается также к образам героев древнегреческой и римской истории, чтобы показать, что те или иные личности Киевской и Московской Руси не уступают им по своему величию и добродетелям.

<sup>50</sup> См. также [Глинка 1895: 40–41, 112–113, 116–117].

окончания корпуса в 1795 году жизнь казалась Глинке бесцельной, он старался не нарушать привитых ему в корпусе этических принципов и боролся с разочарованием, вызванным невозможностью использовать полученное им блестящее образование для построения карьеры.

1 января 1795 года выпускнику кадетского корпуса Глинке было присвоено звание лейтенанта<sup>51</sup>. При обучении там он практически не покидал Петербурга, и сразу после выпуска впервые за все это время поехал домой, в Смоленскую губернию, чтобы встретиться наконец лицом к лицу с «Россией». По пути он читал запрещенное цензурой «Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева, а перед этим прочел историческую драму одного из своих преподавателей, Я. Б. Княжнина, «Вадим Новгородский», также запрещенную из-за содержащейся в ней критики абсолютизма<sup>52</sup>. Глинка всегда сентиментально превозносил внутреннее благородство простых людей, но в его описаниях их жизнь не предстает такой юдолюю нищеты и бесправия, как у Радищева. Кадетский корпус дал ему лишь самое общее представление о русской истории, однако пробудил в нем активное романтическое воображение, и данное путешествие подтолкнуло его в новом направлении: «Главным впечатлением юности моей почитаю то, что в первый проезд мой из училища на родину я <...> вычитывал душу народа не из книг, но под сводом неба и прислушиваясь к душе русского слова. Вот что было впоследствии основанием “Русского вестника”» [Глинка 1895: 135]. Но в тот момент националист в нем еще не пробудился. В уме его царила Европа, и состоявшееся в марте первое посещение Москвы не произвело на него особого впечатления: куда ей до Рима или Афин!<sup>53</sup>

Тут необходимо небольшое отступление о воспоминаниях Глинки, которые служат основным источником сведений о нем. В отличие от мемуаров Шишкова, написанных самоуверенным

<sup>51</sup> РГИА. Ф. 777. Оп. 1. Д. 876. Л. 35 об.–36.

<sup>52</sup> См. [Эйдельман 1989: 147–149].

<sup>53</sup> См. [Глинка 1895: 127–136, 142].

тоном, но без утайки регистрирующих все происходящее, «Записки» Глинки напоминают сентименталистский «роман воспитания». Главный герой, проведя невинное детство в деревне, сначала переживает процесс духовного самопознания (в кадетском корпусе), а затем путешествует наяву и в воображении, находясь в поиске своего жизненного предназначения и обретя его в качестве журналиста — пророка русского национального возрождения. Несколько томов его воспоминаний — это тщательно сконструированное литературное произведение, которое описывает этапы его собственной биографии и более масштабные проекты божественного Провидения, осуществленные в 1812 году. Хотя, конечно, безоговорочно доверять всему, что изложено Глинкой в его «Записках», нельзя, они все же служат важным биографическим источником — по двум причинам. Во-первых, Глинка был честен. Зачастую он принимал желаемое за действительное, но вряд ли стал бы целиком сочинять те или иные эпизоды. Во-вторых, идеи, которые он высказывает в «Записках», опубликованных в 1830-е годы, в целом повторяют то, что он писал в «Русском вестнике» в 1808–1812 годах, так что можно считать, что независимо от фактической точности воспоминаний Глинки они отражают его мироощущение в рассматриваемый период.

Летом 1795 года Глинка едет в Москву, чтобы вступить в должность адъютанта князя Ю. В. Долгорукова. «Русское было далеко от моих мыслей, — признается он впоследствии, — а в настоящем затерялся я в области так называемого большого света, так же далеко от древней Москвы и от старобытной России» [Глинка 1895: 146]. Он завел друзей в театральных и литературных кругах, которые поощряли его в его первых поэтических опытах. Жизнь стала открываться ему и с изнанки, о которой преподаватели кадетского корпуса умалчивали, — в частности, он увидел нравственную распушенность аристократии и ее презрительное отношение к более низким слоям общества [Глинка 1895: 146, 153–164, 175]. Международная политика не вызывала особого интереса у Глинки и его друзей, но войну с Францией он не одобрял. Наполеон захватил его романтическое воображение со

времен Египетского похода. Долгоруков был против того, чтобы русские помогали англичанам воевать с французами, и, хотя Глинка восхищался Суворовым, он рассматривал его Итальянский поход как попытку Австрии и Британии использовать Россию в собственных интересах [Глинка 1895: 166, 175, 182, 194]. В 1799 году его батальон направили на поддержку Суворова, но в этот момент было решено свернуть эту кампанию, и они вернулись в Москву.

Для пополнения доходов Глинка начал переводить либретто иностранных опер. Но армия оставляла ему слишком мало времени для этого занятия, и 30 октября 1800 года Глинка ушел в отставку — уже в чине майора<sup>54</sup>. Служба в армии не давала ему финансовой независимости и не позволяла осуществить желание внести свой вклад в развитие общества. Владение крепостными тоже никак этому не способствовало. Когда один из богатых друзей предложил ему дарственную на 60 крестьянских душ, Глинка порвал бумагу и заявил: «Не возьму; я никогда не буду иметь человека как собственность, и притом не понимаю сельского быта» [Глинка 1895: 177]<sup>55</sup>. Таким образом, он отверг два пути, традиционных для русского дворянина: государственную службу и землевладение — и предпочел вместо этого, подобно интеллигентам более поздних поколений, зарабатывать собственными силами.

Следующие несколько лет он плыл по течению, перебиваясь случайными заработками. Он работал для театра и даже сочинил оперу, но этого было мало, чтобы обеспечить свое существование. Сначала, выйдя в отставку, он поселился было в отчем доме, но после смерти родителей ничто его там не удерживало. Перед смертью матери в 1801 году Глинка пообещал ей позаботиться о сестре и уступить ей свою долю наследства, и, хотя он не выступал публично с осуждением крепостничества, он был рад избавиться от своих крепостных: «Я отдал крестьян как будто бы бремя, тяготившее меня. Люблю человечество, но людьми править

<sup>54</sup> РГИА. Ф. 777. Оп. 1. Д. 876. Л. 35 об.–36.

<sup>55</sup> См. также [Глинка 1895: 177–179, 184].

не умею» [Глинка 1895: 187]. Осенью 1802 года он вернулся в Москву, проиграл в карты оставшиеся у него деньги, а на последние гроши распил бутылку вина с другом. Один из друзей помог ему устроиться учителем на Украине, и Глинка провел там три года, после чего вновь вернулся в Москву без гроша в кармане. Он попытался поступить на государственную службу, но его не приняли, и он возобновил сотрудничество с театром [Глинка 1895: 184–193]<sup>56</sup>.

Поворотный момент в жизни Глинки наступил в 1806 году, когда впервые возникла угроза наполеоновского вторжения в Россию. Он записался добровольцем в ополчение. Как он сам писал, оккупация Вены французами в 1805 году убедила его, что они доберутся и до Москвы. Мысль, что отечество в опасности, подхлестнула его энергию. Наполеон представлялся ему теперь чуть ли не мифическим существом, побуждаемым к новым завоеваниям некоей таинственной, неподвластной ему силой. Для молодого человека, оторвавшегося от своих корней и безуспешно пытавшегося найти цель в жизни, исполнение патриотического долга в рядах ополчения стало достижением этой цели, квазирелигиозным откровением, окончательным прозрением, начавшимся во время путешествия домой за 11 лет до этого. Позже он с глубоким чувством вспоминал:

В необычайный год среди русского народа ознакомился я с душою наших воинов. <...> Мне стыдно стало, что доселе, кружась в каком-то неведомом мире, не знал я ни духа, ни коренного образа мыслей русского народа. <...> Но время могучею силой вывело дух русский перед лицом нашего отечества и перед лицом Европы. Он повел меня, как далее увидим, к новой жизни [Глинка 1895: 216–217].

Разочаровавшись в старом режиме, Глинка нашел смысл в национальной идее, подобно многим его современникам во Франции после 1789 года и в Германии в 1813 году. Однако, в отличие

<sup>56</sup> Обзор его сочинений содержится в статье «Глинка Сергей Николаевич» [Половцов 1896–1918, 5: 290–297].



от многих из них, романтический национализм привел его к *консерватизму*, побуждавшему его преобразовать старый порядок, а не разрушать его.

Война дала ему возможность приложить свои силы в этом новом направлении. Пьесы его отвечали настроением публики. Осенью он посетил Петербург, где ставилась его историческая драма «Наталья, боярская дочь». «Ложи, партер — все было занято, — вспоминал он с гордостью. — Играли словом живым, душевным; гремели рукоплескания. Тут все сливалось с ходом тогдашнего времени. В драме моей и пожар, и самоотвержение для земли русской» [Глинка 1895: 203]. Он написал также пьесу «Михаил, князь Черниговский» (1808), которая была посвящена борьбе с татаро-монгольским нашествием, что звучало очень злободневно [Глинка 1895: 19–96, 211, 216–217, 203]<sup>57</sup>. С тем же жаром, с каким он старался пробудить патриотические чувства у аристократов, Глинка обращался к крестьянам. По пути из Петербурга в Москву он проезжал деревню, крестьяне которой яростно спорили о том, кому из них идти в ополчение. Дело дошло почти до драки. «Кровь ваша и жизнь нужна отечеству, — принялся увещевать их Глинка (как он описывает это позже). — У меня, братцы, нет ни кола, ни двора, нет ни жены, ни детей; я сам в поте лица добываю хлеб насущный, а я дал клятву служить отечеству и умереть за него». Он объяснил, что народ набирают в ополчение, чтобы они постояли «за свою землю, за свои поля, за могилы отцов, за все, чем наделил Бог нашу землю русскую, что велит нам хранить и соблюдать в ней». Под влиянием его речи, пишет Глинка, «утирали слезы крестьяне, не замерзали слезы и в моих глазах <...> “Дай Бог вам здоровья!”» — кричали

---

<sup>57</sup> Письмо, написанное Глинкой из Смоленска к Д. П. Руничу, показывает, что он усматривал связь между своими сочинениями и службой в ополчении: «Отеческой страны смущенное зрю время. / Мой друг! Сколь тягостно влачить сей жизни бремя!» Се глас моего Михаила и глас моего сердца. Пока не скажут нам: “Покойтесь!” до тех пор не увижу ни Москвы, ни Петербурга. <...> О, cara Patria!» (ОР РНБ. Ф. 656. Д. 13. Л. 3–3 об.). Этот «глас сердца» встречается в несколько измененном виде и в пьесе «Михаил, князь Черниговский» (акт II, сцена 1).

ему крестьяне на прощание. Несколько десятилетий спустя Глинка признается: «Эти слова и теперь откликаются в памяти и в сердце моем» [Глинка 1895: 204–205].

Итак, Глинка взял на себя миссию объединить нацию. Его патриотические драмы и пламенные речи, его навеянная историей Древнего Рима клятва умереть за родину, как и вся его последующая деятельность в качестве издателя «Русского вестника», были отзвуком Французской революции. Глинку объединяло с ней неуклонное стремление преодолеть социальные барьеры и привлечь свою аудиторию к активному участию в общей жизни. Он взывал к непосредственным чувствам людей, а не к холодному рассудку; патриотизм подразумевал героическое самопожертвование. Не случайно многие наиболее активные революционеры были связаны, как и Глинка, с театром и журналистикой [Schama 1989: 168, 379]. Оставив профессиональную армию, он с радостью присоединился к народному ополчению. Сергей Глинки и Камили Демулены были продуктами одной и той же культуры, одного страстного ожидания катарсиса, который приведет к созданию чистого и честного общества руссоистской модели. В зависимости от национальных особенностей и от того, что представлял собой человек, это умонастроение могло привести как к радикализму, так и к консерватизму.

Глинка не участвовал в боях, но свои обязанности в народном ополчении выполнял с энтузиазмом. «Смерть для Отечества сладка, — писал он Державину, с которым познакомился, еще будучи кадетом. — И что значит жизнь в те дни, когда властолюбивые изверги, повергнув человечество в бездну неверия и разврата, мчат его по произволу своему по яростным волнам гибели и смерти?» Критикуя Наполеона, он рассматривал вопрос в более широком плане. «Какую пользу приобрели мы от мнимого нашего просвещения? Усугубило ли оно счастье наше? приемля сие слово в смысле жизни умеренной, семейственной, в союзе родства, дружества? — вопрошал он и сам же с убеждением отвечал отрицательно. — Умствователи, <...> которые <...> хотели низвергнуть алтари Бога, веры, <...> потрясли правила и нравы Русской земли. Слава тем, которые воскресят Россию в России!

то есть возобновят любовь, исключительную любовь к простым нравам, к вере и к Богу»<sup>58</sup>.

В обществе Глинка чувствовал себя одиноко. Поскольку его знакомые дворяне не признавали духовных ценностей, привитых ему в кадетском корпусе, он стал искать тех, для кого они имели бы значение, и нашел таковых среди простых крестьян, к которым он привык относиться с уважением благодаря своему воспитанию. Он не принадлежал к какой-либо определенной социальной группе, так как утратил связь с сельской жизнью и не ступил на путь служебной карьеры, типичный для его класса, хоть и получил элитное образование. Эту пустоту в своей жизни он заполнил, отождествляя себя со всей русской нацией в целом, и в первую очередь с теми традиционными сторонами народной жизни, которые были наиболее далеки от его личного опыта. Подобно Александру I, пришедшему в конце концов к религиозному мистицизму, Глинка хотел жить, подчиняясь строгим этическим нормам, но ему не хватало знаний и интеллектуальной дисциплины, чтобы найти связь между своими идеалами и действительностью. В личной жизни он был готов к любому самопожертвованию, но его романтические националистические взгляды на общество, которые он отстаивал с упрямой решительностью, оказывались зачастую слишком упрощенными. Видя вопиющие недостатки современного общества, он избрал объектом поклонения допетровскую Русь, когда усвоенные им моральные ценности были, как ему казалось, реальностью, а Россия еще не подверглась «поддельному просвещению», лишившему многих русских дворян, включая его самого, их национальной идентичности. Как и Шишков, Глинка идеализировал мифическое прошлое, якобы не затронутое нравственной коррозией и не знавшее душевных сомнений. Он отвергал просветительскую идею прогресса и верил, что в прошлом существовал золотой век социальной гармонии. Эту гармонию, полагал он, обеспечивало патерналистское христианское правление добродетельного царя и не

---

<sup>58</sup> Письмо Глинки к Державину от 21 марта 1807 года, Москва. Цит. по: [Державин 1871, 6: 398].

менее добродетельных бояр, воплощавших чисто русские моральные и духовные качества. Крепостничество было благотворно, так как оно давало возможность дворянам осуществлять руководство крестьянами с отеческой мягкостью. В 1806–1807 годы Глинка окончательно уверовал в то, что его миссия — напомнить русским людям о золотом веке и освободить их от европейских духовных оков. На место жестокости и самодурства должны прийти альтруизм и забота о слабых и невинных. Дворянство, вернувшись к своим патриархальным корням, нравственно очистится и оставит декадентскую привычку к роскоши и паразитический образ жизни, появившиеся с тех пор, как Петр III отменил в 1762 году обязательную службу для дворян. Оружием Глинки в его крестовом походе стал ежемесячник «Русский вестник» [Бочкарев 1911: 209–210; Попов 1987: 5–9]<sup>59</sup>.

По окончании войны 1806–1807 годов Глинка вернулся в Москву и впервые взглянул на древнюю столицу как на хранилище русского прошлого и величия России. «В этом расположении духа задумал я издавать “Русский вестник”, <...> главной целью [которого] предположил я возбуждение народного духа и вызов к новой и неизбежной борьбе», — писал Глинка [Глинка 1895: 220]: ведь Тильзит, как он полагал, был лишь временной передышкой. Он восхищался «Мыслями вслух на Красном крыльце» Ростопчина и с радостью воспринял желание графа сотрудничать с новым журналом. Между ними установились прочные взаимоотношения. В феврале 1808 года Глинка посетил Вороново, где хозяин развлекал его воспоминаниями о суворовских походах (опубликованных впоследствии в «Русском вестнике») и о царствовании Павла I<sup>60</sup>. Это были любимые темы разговоров Ростопчина, и Глинка слушал его с жадным интересом [Глинка 1895: 220–226].

«Русский вестник» оказывал ощутимое влияние на современников благодаря тому, что превозносил до небес допетровскую

<sup>59</sup> Большой интерес представляет также статья [Walker 1979].

<sup>60</sup> Первой публикацией Ростопчина в «Русском вестнике» было письмо к издателю журнала, написанное под псевдонимом, в духе «Мыслей вслух». Оно воспроизведено в работе [Тихонравов 1898, 3, 1: 371–372].

Русь и русский национальный характер. Позиция издателя допускала критику современных недостатков, вроде жестокости по отношению к крепостным, бюрократического деспотизма, злоупотреблений властью, поскольку эти недостатки, которые удивительным образом отсутствовали в идеализированном прошлом, можно было приписать влиянию Запада. До того как к власти пришел Петр I, утверждал «Вестник», Россия «едва ли уступала какой стране в гражданских учреждениях, в законодательстве, в чистоте нравов, в жизни семейственной и во всем том, чем благоденствует народ, чтущий обычаи праотеческие, отечество, царя и Бога»<sup>61</sup>. Однако экскурсы Глинки в российское прошлое грешили неточностью, так как он недостаточно хорошо об этом знал. Сказывалось его европейское воспитание: он часто приписывал персонажам русской истории не соответствовавшие эпохе взгляды и поведение героев из западноевропейской истории. Так, Н. М. Зотов якобы учил будущего императора Петра I согласно принципам, которые проповедовали Кондильяк и Песталоцци, а покорителя Сибири Ермака Глинка уподобляет

<sup>61</sup> «Русский вестник». 1808. № 3. С. 42. Цит. по: [Булич 1902–1905, 1: 213]. Темы превосходства допетровской морали и культуры (включая одобрительное цитирование лингвистических трудов Шишкова) и идиллических отношений между крестьянами и их хозяевами, еще не испорченных влиянием Запада, не сходят со страниц журнала — см. содержание хотя бы первых двух выпусков за 1811 год. Январь 1811: «Лукьян Степанович Стрешнев» (3–24), «Отрывки о внутренней промышленности и о сношении оной с нравственностью» (31–49), «Поучительная грамота царя Алексея Михайловича <...> о Божьем гневе и об учреждении поста» (56–71), «О воспоминании великих Мужей» (91–104), «Мысли Ипполита Федоровича Богданова о славянах» (105–116). Февраль 1811: «Нравственные свойства царя Федора Алексеевича» (1–27), «Деревенская честность» (28–34), «Мысли о переводе К. Б. Г. с примечаниями издателя “Р. вестника”» (35–52), «Послание к чиновнику-поселянину» (52–62), «Выписки и замечания из хитрости ратного дела, или воинского устава, изданного в царствование царя Алексея Михайловича, 1647 года» (62–80), «Отъезд Моды из Москвы, или переписка Моды со Вкусом» (81–90), «Благодеяние» (91–107), «Замечания на одно место из книги; сравнение свойств и дел Константина Великого с свойствами и делами Петра Великого» (108–126). Даже говоря о Петре I, Глинка подчеркивает его лояльное отношение к московской традиции.

Сципиону Африканскому. Вслед за Шишковым Глинка подыскивает русские соответствия крупнейшим фигурам из западной культуры, а вестернизированное образование, которое он и сам получил, теперь представляется ему одним из источников болезни, поразившей Россию. Традиционная Россия предстает у него как царство добра и образцовой нравственности [Булич 1902–1905, 1: 212–216; Попов 1987: 7–9]. Хотя это было весьма поверхностное понимание истории, большинство читателей Глинки знали ее еще хуже, и многие из них смотрели на прошлое сквозь такие же европейские очки, как и Глинка. Подобная позиция издателя в сочетании с распространившейся повсеместно франкофобией обеспечивали успех журнала у публики, воспитанной в европейской традиции и вдруг обнаружившей, что ее собственная страна имеет историю, с которой имеет смысл познакомиться<sup>62</sup>.

Глинка опубликовал список своих подписчиков за 1811 год — четвертый год издания «Вестника»<sup>63</sup>. В тот момент у него числился 171 подписчик в Москве, 531 в других губерниях и еще 12, чей адрес он не указал. Список включал представителей старинных аристократических родов (некоторые из них позже примкнули к декабристам) и таких выдающихся персон, как Лабзин и бывший президент Коллегии иностранных дел Н. П. Панин (Ростопчин не входил в их число, так как Глинка с ним поссорился). Журнал распространялся по всей территории Российской империи: от Иркутска до Риги и от Архангельска до Тифлиса. Подписывались на него и священнослужители — один митрополит, четыре епископа, пять архимандритов, два протоиерея, один иерей, две духовные академии и три семинарии, — а также три Дворянских собрания, не менее пяти светских школ и Москов-

<sup>62</sup> См., например, [Дмитриев 1869: 103; Вяземский 1878–1896, 2: 337]. Историк консервативных взглядов М. П. Погодин писал Глинке: «Ваш “Русский Вестник” 1808 г. <...> возбудил во мне первое чувство любви к отечеству, Русское чувство, и я благодарен вам во веки веков» (Цит. по: [Вяземский. 1878–1896, 2: 337]).

<sup>63</sup> «Русский вестник». 1811. № 1. Продолжение: 1812. № 2.

ский танцевальный клуб. В Петербурге же к ним присоединились всего девять человек, не считая адмирала Шишкова, и это говорит о том, что антинаполеоновская пропаганда Глинки и прославление допетровской Руси воспринимались недоверчиво в официальных кругах и неприязненно — в культурных. В 1808 году французский посол даже подал Александру I жалобу на опубликованные в «Вестнике» антифранцузские выпады, но никаких официальных мер против Глинки предпринято не было [Булич 1902–1905, 1: 211–212].

Судя по всему, Глинка обращался в первую очередь к московскому и провинциальному дворянству: большинство его подписчиков жили в Москве или Подмосковье, на Украине и в Поволжье. Об этом свидетельствуют цифры 1813 года<sup>64</sup>. Из 386 подписчиков, чьи адреса известны, 165 проживали в густонаселенных центральных и южных губерниях, по преимуществу сельскохозяйственных<sup>65</sup>. В Орловской губернии «Вестник» получали в каждом из десяти уездных городов. 69 подписчиков жили к западу и северу от Москвы, 55 — на Волге, между Нижним Новгородом и Астраханью, где экономические и социальные условия были примерно такими же. А вот в районах с менее развитой крепостнической структурой или отличающихся от других в этническом отношении их число было значительно меньше: в Архангельске всего четыре, в Сибири — 11, на Северном Кавказе — один, в Петрозаводске и Прибалтике — ни одного.

Социальный состав подписчиков «Русского вестника» за 1813 год подтверждает описанный характер журнала (в 1811 году сведения о составе не публиковались). 451 человек были дворянами, из них 136 были обозначены как «его благородие», 197 — как «высокоблагородие» (майоры, полковники и соответствующие им по положению гражданские чины), 75 — как «высокородие», «превосходительство» или даже «высокопревосхо-

<sup>64</sup> «Русский вестник» за 1813 год: № 3 (март), № 6 (июнь), № 11 (ноябрь), № 12 (декабрь).

<sup>65</sup> Это были Орловская, Калужская, Тульская, Рязанская, Тамбовская, Пензенская, Харьковская, Воронежская и Курская губернии (в границах 1850 года).

дительство» (генералы и соответствующие им). Еще 41 подписчик был «сиятельством» (то есть графом или князем), по экземпляру получали великие князья Михаил и Николай (будущий царь Николай I), и один поступал в Императорскую библиотеку в Эрмитаже. С другой же стороны социальной лестницы 52 человека были купцами, а некий Григорий Сокольников, проживавший в далеком холодном Якутске и выписывавший журнал Глинки, был простым мещанином. Таким образом, число читателей журнала было приблизительно пропорционально числу грамотных людей (если не считать служителей церкви, из которых всего девять подписывались на журнал Глинки, так как он, как правило, избегал затрагивать религиозные темы). Основная масса читателей принадлежала к провинциальным дворянам (вроде членов семьи Шишкова), отошедшим от дел в достойном среднем чине, но были среди них также и сановники, и простолюдины. Состав подписчиков «Русского вестника» отражает социальную базу русского консерватизма.

Оценить уровень воздействия журнала Глинки на читателей трудно. Он печатался в количестве 600–700 экземпляров, в то время как тираж газеты «Северная почта», издававшейся Министерством внутренних дел, составлял 5 000 экземпляров. С другой стороны, «Вестник Европы» Карамзина и «Сын отечества» Н. И. Греча при тираже от одной до двух тысяч экземпляров считались весьма успешными, так что «Русский вестник» выглядел в этом ряду вполне достойно. К тому же многие периодические издания сходили с дистанции после нескольких первых выпусков, а «Русский вестник» продержался больше десяти лет, что свидетельствует о неослабевающем интересе к нему читателей. Более того, журнал был не из тех, которые бегло просматривают, чтобы затем выбросить. Начать с того, что для читателей, живших за пределами Москвы, годовая подписка стоила 15 рублей, а это по тем временам было недешево. Еще важнее тот факт, что это был не просто листок новостей, и, стало быть, журнал не слишком быстро устаревал. Вероятно, провинциальные дворяне добавляли каждый новый выпуск к своей скромной библиотеке, давали его читать друзьям и соседям. Можно предположить, что боль-



шинство грамотных домочадцев внимательно прочитывали журнал, размышляли над ним в течение долгих, скучных месяцев однообразной провинциальной жизни и делились своими впечатлениями с теми, кто его не читал. Среди подписчиков были также школьные библиотеки и читальные залы Дворянских собраний, где он проходил через многие руки. Поэтому количество читателей «Русского вестника» было, скорее всего, гораздо больше числа подписчиков.

«Русский вестник» муссировал излюбленные темы Глинки: величие Руси и падение нравственности. Так, декабрьский номер за 1811 год, к которому был приложен список подписчиков этого года, представлял собой книжку объемом в 124 страницы, содержащую стихи самого Глинки и одного из читателей; отрывок из хроники о казаках (с панегирическими комментариями Глинки); рецензию на новую французскую книгу о значении религии; анализ московской хроники Смутного времени — о событиях начала XVII века; небольшую аллегорическую пьеску, высмеивавшую погоню за модой; письма читателей, сообщавших о семьях, находившихся в крайней нужде, и письма членов этих семей, благодаривших других читателей за оказанную финансовую поддержку. Неизменным рефреном были патриотизм, здравый смысл и сердечность, присущие русским всех времен и сословий, если только они оставались верны заветам предков и не поддавались пагубным соблазнам современного мира.

Многие литераторы были такого же невысокого мнения о сочинениях Глинки, какого они придерживались в отношении Шишкова. Так, Батюшков писал, что Глинка «похож на проповедника крестового похода» [Батюшков 1989, 2: 17]<sup>66</sup>. «Можно ли любить невежество? — спрашивал он. — Можно ли любить нравы, обычаи, от которых мы отделены веками и, что еще более, целым веком просвещения? <...> Эти патриоты, жаркие декламаторы, не любят или не умеют любить Русской земли» [Батюшков 1989, 2: 111]<sup>67</sup>. Жуковский говорил, что он «очень далек от грубо-

<sup>66</sup> Батюшков. Из записной книжки 1810–1811 годов.

<sup>67</sup> Письмо к Гнедичу от 1 ноября 1809 года, Хантоново.

го восхищения à la Glinka» [Жуковский 1960, 4: 481]<sup>68</sup>. Вигель отмечал, что Глинка «без исключения превозносил все отечественное, без исключения поносил все иностранное» [Вигель 1928, 1: 346]<sup>69</sup>, и, одобряя это, находил, что «Вестник» выполнял очень важную функцию, особенно в провинции. Шишков был в восхищении: «...весьма охотно читаю *Русской Вестник*, который не твердит о словах *эстетика, образование, просвещение* и тому подобных [то есть ключевых понятиях «нового стиля»], — но говорит всегда об истинной и чистой нравственности». Адмирал восторгался упорством Глинки: «Он не смотрит на то, что таковые его писания многим, у которых голова вскружена *новыми понятиями*, не нравятся; он <...> сеет семена благомыслия, <...> не угадывая предбудущего и не зная, дождь ли их зальет или солнце согреет» [Шишков 1870, 2: 319]<sup>70</sup>.

Глинка бескомпромиссно оберегал независимость «Русского вестника» от посягательств сильных мира сего. Княгиня Дашкова выразила желание писать для журнала, но Глинка нашел, что в ее заметках слишком сильно чувствуются англоманья и германофобия, и их сотрудничество быстро закончилось. Аналогичная история произошла с Ростопчиным. Его пьеса «Вести, или Убитый живой» потерпела в начале 1808 года фиаско, и он отправил Глинке для публикации два гневных письма, в которых обрушился с упреками на публику. Глинка посчитал, что они слишком оскорбительны, и отказался печатать их, сказав, что он не станет угождать всем прихотям кого бы то ни было, после чего Ростопчин, рассердившись, прекратил знакомство с ним. Таким образом, их сотрудничеству пришел конец всего через несколько недель после того, как оно началось (в конце 1809 года оно ненадолго возобновилось, а в 1812 году вновь развернулось в полную силу). Однажды Аракчеев, с которым издатель «Вестника» находился в хороших отношениях, попросил Глинку напечатать письма

<sup>68</sup> Письмо к А. И. Тургеневу от 4 декабря 1810 года, Белев.

<sup>69</sup> Вяземский также отмечал, что «Русский вестник» пользуется особой популярностью в провинции [Вяземский 1878–1896, 2: 338].

<sup>70</sup> Письмо Шишкова к Бардовскому от 19 июля 1811 года, Санкт-Петербург.

нескольких человек с хвалебными отзывами о нем самом, где его называли «спасителем отечества», и получил от Глинки вежливый, но твердый отказ. Когда Глинка рассказал об этом М. А. Милорадовичу, тот воскликнул: «И вы это сделали с таким страшным человеком?» — на что издатель хладнокровно ответил: «А что такое страшный человек?» [Глинка 1895: 240]<sup>71</sup>. В конце концов, «Русский вестник» боролся с «исполином [тех] времен» — Наполеоном [Глинка 1895: 240], и Глинка слишком серьезно относился к этой задаче, чтобы позволить кому-либо манипулировать им. Вполне возможно, что в его описании события приукрашены, но нет оснований сомневаться в том, что он желал быть свободной совестью русского народа, а не орудием абсолютистского государства. Другие журналисты обвиняли его в ксенофобии и мракобесии, но это его не останавливало. Он не обращал внимания на эти нападки, так как годы между Тильзитским миром и войной 1812 года были для него насыщены значительными событиями в жизни и делах. К тому же в 1808 году он женился и чувствовал себя счастливым семьянином, таким же, как все окружающие: «По знакомству моему с людьми московскими со мною говорили не запинаясь и откровенно. Словом, я жил среди народа и жизнь народную» [Глинка 1895: 252].

В свободное время Глинка работал над другими замыслами, в том числе над историей Французской революции, опубликованной в 1809 году под названием «Зеркало нового Парижа»<sup>72</sup>. Это было логическим дополнением к статьям «Русского вестника»: в то время как журнал прославлял Россию, исторический очерк пригвождал к позорному столбу деградирующую Францию. Книга демонстрирует его знание французской и классической культуры, приобретенное в стенах кадетского корпуса, но драматическое описание всех ужасов революции проникнуто высоко нравственным негодованием и враждебностью.

<sup>71</sup> См. также [Глинка 1895: 229–235, 239–252].

<sup>72</sup> Полное название: «Зеркало нового Парижа, от 1789 до 1809 года». Сохранились лишь два первых тома, охватывающие период до эпохи террора 1793 года. Глинка намеревался выпустить еще четыре тома, но неясно, написал ли он их.

Во введении автор излагает свою теорию Французской революции. В период с 1788 по 1793 год, пишет он, Париж, который «почитался столицею вкуса, ума, моды и просвещения, <...> сделался вертепом извергов и злодейства. Причину сей чудной перемены ищите в нравах и страстях. Страсти дали роскоши власть над добродетелью, легкомыслию над рассудком; страсти в жилище вкуса и моды поселили ужас и смерть». И вообще, морализирует он, «нравы, образ мыслей и свойства людей более всего объясняют причину и последствие всех общественных перемен» [Глинка 1809, 1: 1].

Дальше этого утверждения книга не идет. Сначала следует длительная ретроспектива морального разложения после смерти Людовика XIV, которое поражает все общество, но в особенности двор и аристократию в целом. Одним из зловещих симптомов этого процесса было растущее пренебрежение к соблюдению корпоративного достоинства. Тут сыграло свою роль и искусство. Популярность «Женитьбы Фигаро» Бомарше, в которой «осмеяно все то, что в обществе почитают святым: супружество, суды, стыдливость и пр. и пр. доказала, что умы Парижских жителей готовы к решительной перемене» [Глинка 1809, 1: 32–33]<sup>73</sup>. Рисуя мрачную картину революции, Глинка все больше сгущает краски. Людовик XVI, честный и преданный своему долгу правитель, был окружен лишь льстецами, дворянство отвернулось от него. Выдвиженцы из третьего сословия предавались отвлеченным мечтаниям и не знали реальной жизни. Принятая ими Декларация прав человека и гражданина была лишь трюком, призванным ввести массы в заблуждение и замаскировать преступления Марата и Робеспьера; в своей противоестественности они дошли даже до того, что требовали равных со всеми гражданских прав для негров и евреев [Глинка 1809, 1: 55, 73–76, 98–99, 116–117, 132–134; 2: 43, 94–96]. В результате революции жизнь во Франции стала безрадостной и беспокойной; усилился разрыв между баснословным богатством и беспросветной нуждой; люди перестали доверять друг другу, подозревая в другом доносчика; ис-

<sup>73</sup> См. также [Глинка 1809, 1: 22; 2: 6, 11].

чезло уважительное отношение к женщинам и старикам. Причины этой болезни были ясны: «отмищение, честолюбие, зависть, тщеславие, корысть и властолюбие» [Глинка 1809, 2: 37]<sup>74</sup>. Глинка не вдавался в подробности практических последствий этого всеобщего грехопадения и лишь подчеркивал, какой контраст эти грехи составляли добродетелям старой Руси. «Рассмотрите свойства сих страстей, — писал он, — и тогда можно предсказать все то, что от них впоследствии. Нравственные и политические происшествия предвещаются с такою же точностью, как и естественные явления» [Глинка 1809, 2: 37]. В предисловии ко второму тому книги он писал со своей обычной непосредственностью и прямоотой: «Беспристрастные наши соотечественники, читая “Зеркало нового Парижа”, еще более порадуются, что они родились Русскими и в России» [Глинка 1809, 2: предисловие].

Критика морального растления общества к тому времени служила уже несколько десятилетий одной из главных тем русской литературы, но позиция Глинки, Шишкова и их современников была оригинальной в двух отношениях. Во-первых, Просвещение стало ассоциироваться с революцией, и поэтому они атаковали его более яростно и бескомпромиссно, чем их предшественники. Во-вторых, в общеевропейской культурной атмосфере романтической франкофобии они не занимались отвлеченным морализированием, а систематически исходили в своей критике просветительского общества из сравнения его с прошлым русской нации. Таким образом, их романтический национализм знаменовал отход от воззрений конца XVIII века: он открыто и сознательно сочетал отпор Западу со свойственным консерватизму противодействием изменению российских социально-политических структур. Притом что Глинка и Шишков были кровно связаны с европейской культурой, они явились важным звеном, соединяющим западную культуру XVIII столетия с русским консервативным национализмом XIX века.

Третьим видным московским консерватором, помимо Ростопчина и Глинки, был Карамзин — соперник Шишкова в «споре

---

<sup>74</sup> См. также [Глинка 1809, 2: 22–27].

Рис. 4. Н. М. Карамзин.  
[ОВИРО 1911–1912,  
2: 160]



о языке». Безусловно более глубокий мыслитель и более одаренный писатель, чем двое других, Карамзин не был, в отличие от них, плодовитым сочинителем политических трактатов, формировавших общественное мнение в годы перед 1812-м. По этой причине его роль не столь важна для изучения русского консерватизма, хотя его вклад в русскую культуру более значителен и общепризнан. Существует обширная литература, посвященная Карамзину, и потому я ограничусь общим описанием его жизни и его интеллектуального развития<sup>75</sup>.

Карамзин родился в 1766 году в Поволжье, под Самарой, в небогатой дворянской семье. В детстве он был свидетелем разорения, произведенного восстанием Пугачева, а после того, как к этому добавились впечатления от Французской революции, нашествия Наполеона и декабристского восстания, он окончательно уверовал в то, что обществу необходима сильная власть. Жизнь на Волге была патриархальной и довольно суровой, и, хотя Карамзин часто предавался меланхолическим мечтаниям и чтению французских романов, в нем были сильно развиты

---

<sup>75</sup> См. [Cross 1957]. Среди наиболее значительных монографий, написанных о Карамзине на Западе, работы [Black 1975, Mitter 1955, Pipes 1966].

чувство принадлежности к мелкопоместному дворянству и связанная с этим гордость. В 1777 году его послали в Москву учиться в пансионе, где ему привили, как и Глинке в кадетском корпусе, моральные принципы и чувство прекрасного. В эти же годы он приобщился к московской интеллектуальной жизни. С 1781 по 1784 год он периодически служил в Преображенском гвардейском полку, а в 1784-м в Смоленске сблизился с масонами.

Вернувшись в 1785 году в Москву, Карамзин начал литературную карьеру в качестве писателя и переводчика, сотрудничая с одним из журналов Новикова. Его привлекала филантропическая деятельность Новикова и распространение просвещения с помощью высокоморальной литературы, но он не разделял религиозных взглядов масонов и отвергал оккультизм и отрешенность от мира, которые проповедовала ветвь масонского движения, известная как розенкрейцерство, или мартинизм. Карамзин порвал с масонами и увлекся литературой английского сентиментализма; его интересовали вопросы этики, а рационализм французских энциклопедистов был ему чужд. Подобно Глинке и Шишкову, он понимал прогресс как моральное совершенствование, а не как политические и социальные сдвиги. Поэтому, будучи убежден, как и Новиков (а также Глинка и Шишков), что с крестьянами надо обращаться гуманно, он вместе с тем не подвергал сомнению законность крепостного права. Каждого должно устраивать его место в жизни, считали они.

В 1789–1790 годы Карамзин предпринял длительную поездку по Западной Европе, которую впоследствии описал в «Письмах русского путешественника». В них он с сентиментальным энтузиазмом пишет о религиозной терпимости, идиллической жизни швейцарских пастухов, примерах свободы и добродетели. Политика его не интересовала — это видно хотя бы из того, что, услышав о свершившейся во Франции революции, он отложил намеченную поездку туда и предпочел поближе познакомиться с живописной Швейцарией [Ripes 1966: 31–32]<sup>76</sup>.

---

<sup>76</sup> См. также [Kisliagina 1975].

Однако после 1789 года в России усилились репрессии, и это заставило Карамзина занять более определенную позицию в политике и скорректировать свое двойственное отношение к Французской революции. В теории ему нравилась картина, нарисованная Платоном в «Республике»: добродетельное правление, при котором абсолютное счастье куплено ценой утраты свободы. Но он считал, что это утопия. Во-первых, это требовало отмены собственности, которую Карамзин считал причиной социальных конфликтов. Исходя из невозможности ее упразднения, он считал предпочтительным сохранять и регулировать ее посредством крепостного права, нежели посредством хаотической свободы частной собственности. Второе возражение Карамзина против утопии Платона носило политический характер. В описываемом Платоном «республиканском» правлении писателя привлекали добродетельность правителя и общественный порядок, что также требовало «сильной руки». В результате, как отмечает Лотман, Карамзин симпатизировал Робеспьеру и Наполеону в начале его карьеры и отвергал как демократию, так и тиранию в пользу авторитарного государства, управляемого мудро и с благими намерениями. Но сумбур Французской революции, наполеоновская агрессия и деспотическое царствование Павла I убедили его, что добродетельное правление тоже утопия. В нем усилилась склонность отделять нравственность от политики; вера в социальный прогресс, достигаемый образованием и «просвещением» («республиканский» идеал, как казалось Карамзину), сочеталась у него с убеждением, что этот прогресс возможен лишь при сохранении существующего общественно-политического порядка. Как выразился шурин писателя Вяземский, «Карамзин был в самом деле душою республиканец, а головою монархист» [Вяземский 1878–1896, 7: 357]<sup>77</sup>.

Крепостное право, считал Карамзин, является неотделимой частью русского общественного устройства, и его отмена возможна лишь в далеком будущем — через пятьдесят или сто лет.

<sup>77</sup> См. [Лотман 1990: 59–66]. См. также интересное обсуждение этой темы в работах [Dudek 1989; Mitter 1955: 202].



Противник олигархического правления аристократии, он тем не менее энергично отстаивал социальные привилегии дворянства. Правительство должно быть всемогущим, но в рамках своей юрисдикции (то есть его должны ограничивать его собственные законы, не позволяющие ему скатиться к деспотизму). Иначе говоря, оно должно обеспечивать спокойствие и безопасность общества, но не должно вмешиваться в те сферы общественной жизни, которые являются прерогативой общественности: культуру, свободу личности, права и обязанности разных слоев населения и национальные традиции.

Доводя идеи Робеспьера до крайности, переходящей в пародию, Карамзин утверждает, что республиканское правление требует такой степени добродетели, которая невозможна, а потому оно должно оставаться мечтой. Тщательное изучение русской истории подсказывало ему, что самодержавие, в отличие от этого, — если оно ограничено правилами общепринятой морали и законами, изданными самим монархом, — служит самой надежной гарантией разумного правления без крайностей тирании или анархии. Монарх действует как честный посредник при конфликте интересов разных общественных групп, которые знают, что их гражданские (но не политические) права охраняет закон и что все зависит от их собственного нравственного самосовершенствования. Развитие общества будет успешным благодаря постепенному распространению «просвещения» и возрождению русского языка и национальных традиций, вытесняющих культуру, основанную на слепом подражании иностранным образцам [Pipes 1966: 45; Pipes 1957: *passim*; Cross 1971: 205–210; Mitter 1955: 213–224].

В начале царствования Александра I Карамзин относился к событиям в Европе примерно так же, как и его друг Ростопчин. Оба хвалили Наполеона за то, что он восстановил стабильность в стране; в его успехе Карамзин видел подтверждение своей веры в добродетель самодержавия. В основе его взглядов на международную политику и его поддержки абсолютистской власти лежали прагматические соображения. Он соглашался с Ростопчиным, что вооруженная интервенция в страны Европы

противоречит государственным интересам России, а когда в 1803 году разразилась война между Францией и Великобританией, Карамзин не стал высказываться в пользу какой-либо из сторон [Cross 1964]. Но его не привлекали грандиозные макиавеллиевские планы Ростопчина по перекраиванию европейской карты. По складу характера он был осторожным изоляционистом, испытывал отвращение к войне и полагал, что Россия соблюдет свои интересы и при этом сохранит достоинство, если не будет вмешиваться в европейские конфликты. Он критически относился к воинственным выпадам Павла I, выступал за компромисс с Наполеоном, а в 1805–1806 годах осуждал Александра за то, что тот втянул Россию в войну, которая мало что могла ей принести даже в случае победы. Когда же в 1807 году Россия неожиданно заключила союзный договор с Францией, Карамзин был в тревоге, так как это угрожало безопасности России и могло подорвать доверие к ней европейских государств, противостоящих Наполеону. Тем не менее вплоть до 1812 года он поддерживал политику примирения с Францией [Mitter 1955: 230–234; Cross 1971: 210–215; Black 1970].

Подобно Ростопчину (но не Шишкову), Карамзин считал, что Россия принадлежит к европейской цивилизации<sup>78</sup>. Если адмирал выдвигал всесторонне обоснованную концепцию русской культуры, по существу изоляционистскую и обращенную в далекое прошлое, то Карамзин отталкивался от происходившего в постпетровской России синтеза с Западом. Шишков считал, что современное ему образование подрывает нравственные и политические основы существования России, Карамзин же рассматривал просвещение как прогресс. Оба они были противниками Французской революции и реформ Александра I, но Карамзин, в отличие от Шихова, не выдвигал в качестве идеала застывших в неподвижности форм прошлых эпох. Он говорил одному из друзей: «Я враг революций, но мирные эволюции необходимы.

<sup>78</sup> Следующие ниже в этой главе обобщения, касающиеся Карамзина и Ростопчина, частично основываются на текстах их сочинений, рассматриваемых в следующей главе.

Они всего возможнее в правлении монархическом»<sup>79</sup>. Шишков отрицал возможность прогресса — Карамзин верил в него. Он считал, что Россия в современном состоянии превосходит старую Русь и что в основе ее национальной идентичности лежит не образ жизни предков, а вечный принцип монархического правления. Иначе говоря, если для Шишкова главным были люди и их культура, то для Карамзина — государство. Карамзин ощущал историю как динамический процесс, Шишков же различал только статическое равновесие и его нарушение. На этом основании М. Альтшуллер делает вывод, что «Шишков по всей сумме своих идей — славянофил, а Карамзин, несмотря на оппозицию поспешным преобразовательным планам царя, — западник» [Альтшуллер 1984: 45]. Однако с возрастом взгляды Карамзина становились все более консервативными, он проявлял все больший интерес к неповторимому национальному наследию России. После того как Александр назвал его в 1803 году официальным историографом России, одобрение Петровских реформ уступило у Карамзина место признанию ценности достижений Московской Руси и сопротивлению дальнейшей вестернизации.

Несмотря на существенную разницу в мировоззрении, Шишков и Карамзин часто сходились во мнении по тем или иным конкретным вопросам. Оба восхищались Екатериной II и не признавали ее наследников. Оба любили теоретизировать, но, будучи порождены культурой XVIII века, в целом аполитичной, чувствовали себя не в своей тарелке в более политизированной атмосфере 1790-х годов. В вопросы о преимуществах разных типов правления они не вдавались и считали, что чрезмерное внимание к ним — это в лучшем случае отвлечение от правильного управления государством, а в худшем — уловки с целью нанести государству вред. В своем понимании сущности государства и общества оба они опирались на традицию ведения государственных дел через личные отношения (хотя интерес, который Карамзин проявлял к кодификации законов, говорил о том, что его позиция была более сложной, чем у Шишкова).

---

<sup>79</sup> Цит. по: [Альтшуллер 1984: 45].

И тот и другой рассматривали самодержавие и крепостное право как нечто само собой разумеющееся, лежащее в основе общественного порядка и не терпящее никаких поправок, кроме добровольного самоограничения по религиозным или этическим соображениям. Их взгляды на международную политику тоже в общих чертах совпадали. Они осуждали опрометчивость Александра, ввязавшегося в 1805 году в войну и согласившегося на унижительные условия Тильзитского договора в 1807-м. Правда, войну 1812 года Шишков встретил с большим энтузиазмом, чем Карамзин.

Шишков и Карамзин представляли собой два разных социокультурных типа личности. Оба были по происхождению небогатыми провинциальными дворянами и имели связи с масонством, но на этом их сходство кончалось. Шишков был на 12 лет старше, получил техническое образование, жил в Петербурге и служил во флоте, а Карамзин получил гуманитарное образование и жил писательским трудом в Москве. Шишков вел жизнь типичного дворянина на государственной службе, безоговорочно преданного трону и алтарю и подверженного распространной в то время смеси русских и иностранных культурных влияний. Лишь его филологические увлечения выделяли его из своей среды, хотя и тут его морализаторство, недостаток профессионального образования и его своеобразные теории выдавали в нем культурные привычки и вкусы, характерные для всего этого поколения. Карамзин был независимым литератором, более склонным к уединению и лишь в самом общем смысле религиозным. В отличие от большинства дворян, он не интересовался ни службой, ни сельским хозяйством и практически целиком отдавался писательскому делу. Он был исключительно эрудированным человеком и продолжал расширять свой кругозор на протяжении всей своей жизни. Его взгляды на культуру и политику отличались большей глубиной, чем у Шишкова; различалась и воздействующая на них социальная среда: если Шишков жил в окружении придворных и государственных чиновников, то Карамзин вращался в кругу московской аристократии. Ни тот ни другой практически не испытывали воздей-

ствия кого-либо из зарубежных консерваторов. Карамзина, судя по всему, не увлекали идеи Эдмунда Бёрка (которого он слушал в Лондоне) или Жозефа де Местра (с которым он был знаком), хотя определенные параллели между его собственными взглядами и теориями обоих из них существовали. Но, разумеется, на него оказал влияние интеллектуальный климат, созданный этими и другими европейскими мыслителями консервативного толка [Pipes 1966: 33, 89].

На Шишкова, возможно, повлиял в первую очередь Санкт-Петербург Екатерининской эпохи, где он жил с 13 до 42 лет. Благодаря этой среде его внимание привлекла проблема взаимоотношения между русской традицией (знакомой ему с детства, проведенного в деревне, а также из средневековой литературы) и Европой, которую он видел, служа во флоте. Карамзин же воспитывался в Москве, где иностранное влияние было выражено не так сильно, и впервые попал за границу впечатлительным молодым человеком 23 лет — как раз тогда, когда разразилась Французская революция. Страны, которые он посещал, вызывали у него, в отличие от Шишкова, живой интерес. По возвращении из-за границы он столкнулся с возросшей активностью полиции, арестом его друзей-масонов и ужесточением цензуры, мешавшей его журналистской работе. Он вырос в районе, особенно пострадавшем при восстании Пугачева; ему было всего 30 лет, когда к власти пришел Павел I, продемонстрировавший еще один тип управления страной. Шишков тоже был свидетелем деспотического правления Павла, но на его мировоззрении это не сказалось — разве что оставило общее впечатление о человеческой природе и нравственности.

Важно то, что Шишков как личность сформировался на десять лет раньше, чем Карамзин, в то время, когда абсолютистской власти за границей еще ничто не угрожало, а целесообразность самодержавия и крепостничества в России еще не подвергалась сомнению. Поэтому он воспринимал их как нечто неизблемое, не мог понять тех, кто критиковал старый режим, и гневался на них. Карамзин же в решающие моменты своей жизни воочию видел эти нападки на власть, а изучение истории подтвердило

его наблюдения, свидетельствующие о непрочности самодержавия и реальности угрозы хаоса в обществе. Ощущение уязвимости старого режима побуждало его тем более настойчиво защищать самодержавие и крепостничество.

Вклад Карамзина, Шишкова и Глинки в развитие консервативных идей осуществлялся в основном через литературу, что в целом позволяло оставить без внимания вопиющее несоответствие между основами их мировоззрения и реальностью. Ростопчин же был погружен в практическую деятельность как государственный служащий и крепостник и вращался в реальном мире франкоговорящей полуобразованной дворянско-чиновничьей элиты, с одной стороны, и в гуще угнетенной крестьянской массы — с другой. Поэтому даже в своих теоретических построениях он был резок и не питал иллюзий. Этот трезвый взгляд сближал его с Карамзиным — ему не хватало только этических принципов последнего. Если Карамзин (как и Шишков в глубине души) считал, что условием достижения гармонии в обществе и его стабильности является нравственное совершенствование человека, то Ростопчин не разделял этого взгляда. Будучи преданным слугой Павла I, он, в отличие от Карамзина, не верил в необходимость строгого соблюдения законов и не опасался возможности деспотического злоупотребления властью. Его не заботило развитие русской культуры, независимой от европейской, и он писал по-русски лишь тогда, когда хотел пробудить в массах ксенофобию. Ростопчиным двигали политические амбиции, которых Карамзин был начисто лишен. В отличие от других лидеров консерватизма, перенявших высокопарный морализаторский тон немецких просветителей, Ростопчин предпочитал легкое, изысканное остроумие и скептический сарказм, характерные для Просвещения французского, которые чередовались у него с грубоватым стилем помещика из дальнего захолустья. Ростопчин активнее других ведущих консерваторов выступал в защиту интересов и культурных привычек европеизированного старого режима конца XVIII столетия, что парадоксальным образом делало его единственным консерватором в полном смысле этого слова — то есть защитником сущест-

вующего порядка. Но какими бы разными ни были их предпочтения и теоретические умозаключения, Ростопчин и Карамзин соглашались по многим важным вопросам, в первую очередь касающимся угрозы общественному порядку со стороны как внешних врагов (Наполеона), так и внутренних противников (Негласного комитета, Сперанского, самого Александра I), а также прискорбного морального состояния русского общества, с пьянством крестьян, продажностью чиновников и царящим при дворе лицемерием. Отсюда их страстные заявления в поддержку крепостничества и самодержавия, их враждебность к реформам и откровенно эгоистическая защита дворянских привилегий [Кизеветтер 1917: 25]<sup>80</sup>.

«Дворянская оппозиция» не образовывала сколько-нибудь оформленного движения — ее объединяло лишь широко распространенное убеждение, что важнейшей задачей правительства является сохранение самодержавия и дворянских прав. Центром, из которого исходило это убеждение, была Москва. Карамзин был его самым глубоким теоретиком, а Ростопчин — политическим лидером. Шишков и Глинка принадлежали к иному направлению консервативной и националистической мысли. Они были настроены более оптимистично, чем Ростопчин и Карамзин, и видели в «патриотическом духе» гарантию существующего порядка. Они верили, что можно не только отсрочить распад старого режима, но и возродить его с помощью древних традиций, сохранившихся за вестернизированным российским фасадом. В отличие от Ростопчина, например, они утверждали (если им вообще случалось вдруг обсуждать эти проблемы), что межсословные конфликты и политические притеснения — это всего лишь результат расхождений между разными русскими людьми во взглядах на суть национальной идентичности. Поэтому их оправдание крепостничества было менее циничным, чем у Ростопчина, и менее запутанным интеллектуально, чем у Карамзи-

---

<sup>80</sup> В литературе широко обсуждались также сходство и различие между взглядами Карамзина и Сперанского. См. [Шильдер 1897, 3: 34; Pipes 1966: 84; Пыпин 1918: 277; Black 1970: 79–80].

на. Они искренне верили, что крестьяне довольны своей участью, и потому не испытывали того страха за стабильность общества, который мучил Карамзина и Ростопчина.

Значение московских консерваторов заключалось не только в том, что они формировали и отражали мнения, распространенные среди жившего в старой столице и за ее пределами дворянства, но и в том, что они могли довести эти мнения до императора через посредника — а именно его сестру, великую княгиню Екатерину Павловну. В следующей главе я попытаюсь это показать.



## Глава 4

# «Тверская полубогиня» и «Любители русского слова»

Великая княгиня Екатерина Павловна и ее муж принц Георг Ольденбургский после его назначения в 1809 году генерал-губернатором провели в Твери три счастливых года<sup>1</sup>. В течение 1810–1811 годов императрица Мария Федоровна дважды навестила там свою дочь, а Екатерина трижды приезжала в Санкт-Петербург. Кроме того, она регулярно переписывалась с братом Александром, и они встречались по крайней мере каждые три месяца, потому что Тверь была удобным промежуточным пунктом на пути императора из Петербурга в Москву. Екатерина часто устраивала приемы для местного общества и обрела популярность благодаря хорошим манерам и доброжелательности ко всем, независимо от чина и положения в обществе. Однажды Александр даже заметил с одобрением: «У тебя тут, сестра, прямо маленький Петергоф» [Пушкин Е. 1888: 11]. Однако жизнь в провинции была скучновата, и подобных праздников было недостаточно, чтобы заполнить существование вдали от столицы. Поэтому она пыталась рассеять скуку чтением и знакомством с интересными людьми, которых можно было бы приглашать к себе время от времени. Особенно привлекали ее те, кто разделял ее политические взгляды — националистические и консервативные. (В 1818 году, уже будучи королевой Вюртембергской, она писала, что германские конституции «не иное, как совершенный

---

<sup>1</sup> Идиллическое описание их супружеской жизни см. [Божерянов 1888: 45–48].

Рис. 5. Великая княгиня Екатерина Павловна. [ОВИРО 1911–1912, 2: 224]



вздор. <...> Хорошие законы, которые исполняют, вот лучшая конституция» [Пушкин Е. 1888 73]<sup>2</sup>.) У Екатерины в гостях бывали Жозеф де Местр, генерал Багратион и ее брат Константин Павлович. Интересовали ее и люди искусства — художник Кипренский, поэты Батюшков и Гнедич (возможно, также Шишков) и различные московские профессора и меценаты. Когда барон фон Штейн направлялся в Петербург, спасаясь от Наполеона, он тоже останавливался в Твери [Vries de Gunzburg 1941: 44–46, 50; Любяновский 1872: 504; Божерянов 1888: 44, 46; Black 1970: 73]<sup>3</sup>.

Ее часто навещал Ростопчин, очевидно знакомый ей еще со времен царствования Павла. Ей было почти 13 лет на момент смерти отца, и она оценила преданность ему Ростопчина. (Ее брат Александр никогда не отзывался одобрительно об убийстве Павла, и это, вероятно, объясняет, почему память об отце не омрачала тесную дружбу брата и сестры). Ростопчин не без

---

<sup>2</sup> Письмо Екатерины к Карамзину от 1/13 ноября 1818 года, Штутгарт.

<sup>3</sup> Означают ли все эти визиты, что она активно интересовалась политикой? Богоявленский и Пайпс отвечают на этот вопрос утвердительно [Богоявленский 1912–1913: 175; Pipes 1966: 69], в то время как Врис де Гунзбург считает, что она просто искала лекарство от скуки.

умысла напоминал ей о своей верности императору и имел на это право: он отказался отречься от Павла даже после 1801 года, когда это могло оказаться политически выгодно. Тень убитого царя, вбившая клин между Ростопчиным и Александром, укрепила связь между первым и великой княгиней и дала ему возможность развлекать ее, пользуясь своим талантом рассказчика. Как позже описывал некий недоброжелательный свидетель, его рассказы «имели полный успех, — со смеху от них помирали, — несмотря на то, что были — и перед кем же? — о царе-благодетеле, который вывел рассказчика в люди, осыпая его милостями и почестями» [Любяновский 1872: 502]. После ее смерти Ростопчин писал: «Я глубоко скорблю о ней, потому что она проявляла ко мне дружеские чувства, а я относился к ней с участием, как к дочери Павла. Она была единственной из его детей, на кого у меня нет права пожаловаться» [Архив Воронцова 1870–1895, 8: 360]<sup>4</sup>. Это была искренняя дружба, являвшаяся, однако, для Ростопчина самым верным способом вернуть себе расположение императора. Он пишет Екатерине со смирением:

Самолюбив был бы я, если бы возмечтал отличить себя пред тою, коя рождает удивление и любовь во всех Русских; но преданность моя к особе и к памяти Родителя дает надежду, что пронизательный взор подобной ему умом и сердцем Дочери обратится некогда на того, кто до сих пор движим единственно был честью и верностью [Три письма Ростопчина 1869: 759]<sup>5</sup>.

На протяжении нескольких лет стратегия Ростопчина давала неутешительные результаты. Екатерина устроила ему встречу с братом во время их совместного приезда в Москву в декабре 1809 года и даже убедила Александра поручить ему изучение состояния благотворительных учреждений Москвы. Ростопчин со всем рвением посвятил себя выполнению этой довольно

---

<sup>4</sup> Письмо Ростопчина к С. Р. Воронцову от 26 января 1819 года, Париж.

<sup>5</sup> Письмо Ростопчина к Екатерине Павловне от 24 марта 1810 года, Москва (цитируется также в [Божемянов 1888: 31]).

скромной задачи и написал глубокий и обстоятельный обзор [Половцов 1896–1918, 17: 261]. Когда 9 февраля 1810 года он прибыл в Петербург, чтобы представить свой обзор, мельница сплетен в столице немедленно запустилась. Все знали, что ему покровительствует влиятельная великая княгиня, и, как писал посол Сардинии де Местр, не сомневались, «что она причастна... к его воскрешению» [Maistre 1884–1886, 11: 402]<sup>6</sup>. Самоуверенное поведение Ростопчина развязало языки, а изменение его положения в обществе было очевидно уже из того, что в 1810 году он обедал с императором 27 раз, тогда как прежде, после смерти Павла, этого не случалось ни разу (и не произошло ни разу в 1811 году). 26 февраля посланник Сардинии немало удивился на победоносный вид Ростопчина: он с явным пренебрежением держался с послом Франции Коленкуром, даже не попросив, чтобы его представили. Чувствуя, куда ветер дует, «все склонялись перед новоприбывшим. Император спросил его на следующий день: “Как дела, Ростопчин?” — „Очень хорошо, Государь, только вот здесь болит“ (прикоснувшись пальцем к щеке). — „Отчего же?“ — „Оттого, Ваше Величество, что все меня целуют”» [Maistre 1884–1886, 11: 416]<sup>7</sup>. Однако в то время, когда де Местр писал эти строки, Ростопчину уже пришлось смирить свои амбиции. Возможно, Александр был раздражен его самоуверенностью, откровенным неуважением, проявленным к Коленкуру, и связью с противниками Сперанского, так что Ростопчин был отправлен домой всего лишь с почетным повышением в чине до обер-камергера. Император уточнил, что его новый чин не предполагает официальных обязанностей, он в отпуску, может отдыхать от службы и проживать вне столицы<sup>8</sup>.

<sup>6</sup> Письмо де Местра к королю Виктору Эммануилу от 21 февраля / 5 марта 1810 года, Санкт-Петербург.

<sup>7</sup> Письмо к Виктору Эммануилу от 26 февраля / 10 марта 1810 года, Санкт-Петербург.

<sup>8</sup> См. также [Николай Михайлович 1912, 2: 720]. О неудачной попытке Ростопчина пристроиться при дворе см. письмо де Местра к России от 14/26 сентября 1810 года [Maistre 1884–1886, 11: 493].

Во время приезда Александра в Москву в конце 1809 года Ростопчин представил Екатерине Павловне Карамзина. Она сразу почувствовала расположение к нему и даже думала назначить губернатором Твери, что позволило бы ей наслаждаться его обществом и, как она его заверяла, не помешало бы его занятиям историей (Карамзин вежливо отказался). Он впервые навестил ее в Твери в феврале 1810 года, а затем еще раз в конце ноября или начале декабря [Божерянов 1888: 37; Пушкин Е. 1888: 5; Pipes 1966: 70]. Если отношения Екатерины с Ростопчиным основывались на памяти о Павле, на объединявшем их политическом национализме и таких присущих обоим качествах, как общительность и честолюбие, то с Карамзиным ее сближала любовь к русской культуре; с ним она имела возможность проявить свой ум. Она (как и Ростопчин) с гордостью считала себя не такой «иностранкой», как прочие аристократы и члены императорской фамилии. Когда она поселилась в Твери, жена губернатора заметила: «Странно, право, слышать, как хорошо Великая Княгиня русским языком владеет». Екатерина тут же разыскала ее, чтобы расставить точки над «i»: «Удивляюсь, — сказала она, — что вы странного нашли, что я, русская, хорошо говорю по-русски?» [Пушкин Е. 1888: 9]. Она также интересовалась историей и с живым вниманием слушала, когда Карамзин читал отрывки из сочинения, над которым тогда работал. Для вестернизированных русских патриотическая и монархическая по духу «История государства Российского» Карамзина — как и история страны, изложенная Глинкой в упрощенном виде в «Русском вестнике» (которой ни Карамзин с Ростопчиным, ни великая княгиня, по-видимому, не читали), — была откровением. Зачарованные слушатели «боялись даже изъявлением удовольствия прервать чтение, равно искусное и увлекательное; слушали с невозмутимым вниманием» [Любяновский 1872: 501–503].

Карамзин стал для нее кем-то вроде наставника. В своих письмах она называет его «учителем» и явно под его влиянием старается писать по-русски. Это было непростое занятие: обычно она начинала письмо на русском языке, а затем соскальзывала на французский, заметив: «Это целый подвиг, для вас одного я на

него способна» или: «Я творю чудеса, в надежде угодить вам» [Карамзин 1862: 95, 97]<sup>9</sup>. Он посылал ей русские книги, а она сообщала о своих переводах и об изучении грамматики. Письма Екатерины не сообщают деталей этих занятий, но говорят о ее интересе к русской культуре и — шире — о том, что националистические идеи глубоко проникали даже в самые космополитичные круги аристократии<sup>10</sup>. Карамзин посещал Тверь также в феврале, марте, июне и ноябре 1811 года, задерживаясь там на одну-две недели; были запланированы и другие приезды, которые по разным причинам не состоялись. Карамзин всем сердцем отвечал на привязанность к нему женщины, которую он называл «тверской полубогиней»<sup>11</sup>.

Во время его второго визита осенью 1810 года они, по-видимому, обсуждали политические вопросы, и Екатерина предложила ему положить на бумагу критические мысли о политике Александра I. Судя по всему, она объяснила, что хотела бы потом показать эту работу императору. Историк Ричард Пайпс полагает, что это был обдуманый шаг и что великая княгиня использовала ничего не подозревавшего Карамзина в своих политических целях. Вполне вероятно, что именно она проявила инициативу, потому что Карамзин (в отличие от Ростопчина) не любил полемики и не стремился к государственной службе, посвящая все свое время научной работе; к тому же, занимаясь историей, он зависел от жалованья, которого мог лишиться по воле императора. «Что бы он выиграл, критикуя императора и его советников? — спрашивает Пайпс и сам же отвечает: — Абсолютно ничего» [Pipes 1966: 70–71]. С другой стороны, Вольфганг Миттер высказывает мнение (возможно, более убедительное), что Карамзин, как и Ростопчин, был активным деятелем московской «дворянской оппозиции», ненавидевшей Сперанского, и это

<sup>9</sup> Письма Екатерины Павловны к Карамзину от 3 и 14 июля 1811 года, Тверь.

<sup>10</sup> Другие письма Екатерины к Карамзину см. в [Карамзин 1862: 87–124; Пушкин Е. 1888: 38, 40, 43, 45, 51, 55–56; Божерянов 1888: 43].

<sup>11</sup> См. письма Карамзина к И. Дмитриеву от 3 июня 1811 года, Тверь, и от 19 февраля 1811 года, Москва [Письма Карамзина 1866: 149, 137].

побудило его изложить ее позицию перед Екатериной и ее братом [Mitter 1955: 259–262]. К тому же заключению приходит и Лоренс Блэк [Black 1970: 73].

Как бы то ни было, возвратившись в Москву в начале декабря, Карамзин взялся за работу, а 3 февраля 1811 года приехал в Тверь с готовым сочинением. Он пробыл там две недели, в течение которых Екатерина знакомилась с его трудом, и уехал в Москву. 19 февраля Екатерина написала ему, что император приедет в Тверь и что она хочет, чтобы они встретились. Однако она не сообщила, что намеревается показать его работу императору в этот его приезд. Карамзин и император встречались 16–19 марта и несколько раз вместе обедали. Александр предложил Карамзину высокий правительственный пост (от которого тот отказался), а 18 марта, после чтения незаконченной рукописи Карамзина о русской истории, они горячо дискутировали на тему самодержавной власти. Скорее всего, Карамзин защищал идею абсолютизма в противовес реформистским планам Сперанского. (Последние были известны великой княгине, которая, вероятно, обсуждала их со своими друзьями.) После этого разговора Екатерина без ведома Карамзина передала его эссе брату. Автор узнал об этом только в тот момент, когда захотел получить свой труд обратно.

Неясно, прочел ли Александр карамзинскую «Записку о древней и новой России», но основные ее идеи до него, безусловно, донесли в беседах либо сам Карамзин, либо Екатерина Павловна. Поскольку великая княгиня поклялась Карамзину хранить строгую секретность, «Записка» (в отличие от сочинений Ростопчина), по-видимому, не стала известна в обществе. Однако она представляла собой наиболее цельное и теоретически обоснованное изложение образа мыслей дворянской оппозиции. Таким образом, это был важный документ, отражавший мнение влиятельной социальной группы, и содержащиеся в нем идеи предлагались в той или иной форме вниманию царя [Pipes 1966: 70–75].

«Записка о древней и новой России» фактически являлась яростной атакой на политическую линию Александра и его советников, хотя при этом имена советников из осторожности не

были названы, а лично император ни в чем не обвинялся. «Записка» была всесторонне проанализирована другими историками [Pipes 1966: 75–86; Mitter 1955: 236–258; Black 1970: 73–78], поэтому моя задача заключается в том, чтобы обобщить ее идеи в контексте консервативного движения того времени. Текст (более ста печатных страниц) состоит из трех разделов: введения, охватывающего русскую историю вплоть до 1801 года, анализа событий, последовавших после 1801 года, и ряда конструктивных предложений монарху.

Взгляд Карамзина на историю разительно отличался от воззрений адмирала Шишкова, который, как и все романтические националисты, полагал, что идентичность России определяется ее *народом* и его культурой. Карамзин следовал более ранней концепции Петровской эпохи и ядром нации считал государство. Последовательно рассмотрев периоды величия Киевской Руси, междоусобной борьбы эпохи удельных княжеств и восстановления единого государства под эгидой Москвы, автор «Записки» пришел к выводу, что «Россия основалась победами и единоначалием, гибла от разновластия, а спаслась мудрым самодержавием». В стране наблюдалась «смесь древних восточных нравов, принесенных славянами в Европу и подновленных, так сказать, нашею долговременною связью с монголами, — византийских, заимствованных россиянами вместе с христианскою верою, и некоторых германских, сообщенных нам варягами» [Карамзин 1991: 22–23].

Таким образом, Карамзин рассматривал русскую культуру как результат действия исторических сил, тогда как более поверхностный подход Шишкова представлял ее словно возникшей каким-то образом в готовом виде из туманов прошлого. Оба высоко ценили Киевскую Русь, которую Карамзин считал «в сравнении с другими и самым образованным государством» [Карамзин 1991: 18]. Однако он частично приписывал достижения московской культуры ее взаимодействию с Европой, чего не признавал Шишков. По мнению Карамзина, Смутное время показало, что самодержавие жизненно важно для России, и он видел в избрании на царство Михаила Романова славную веху в ее истории. Россия



стала осознавать «явное превосходство» Европы в военном деле, дипломатии, образовании, «в самом светском обхождении» и в том, что Европа «далеко опередила нас в гражданском просвещении». Россия начала изменяться «постепенно, тихо, едва заметно, как естественное возрастание, без порывов и насилия. Мы заимствовали, но как бы нехотя, применяя все к нашему и новое соединяя со старым» [Карамзин 1991: 31].

Оба — и Шишков и Карамзин — проецировали на московское прошлое то, что они хотели видеть в России будущего: Шишков — традицию культурной автономии, Карамзин — сплав русской и европейской культур, сохраняющий живыми те исходные элементы, которые наиболее значимы для национального наследия. Следуя этой логике, Карамзин занял позицию, неприемлемую для Шишкова и Глинки из-за резкой критики в адрес Петра Великого (работа Щербатова «О повреждении нравов в России», нарушившая этот запрет двумя десятилетиями ранее, не публиковалась вплоть до 1858 года) [Walicki 1975: 21–22]; на протяжении XIX века все больше консерваторов-националистов следовали его примеру. Внутренняя сила нации, рассуждал Карамзин, исходит из патриотизма, который есть «не что иное, как уважение к своему народному достоинству» [Карамзин 1991: 32]. Каким образом может способствовать «просвещению» унижение русских, которых заставляют изменить свою одежду и сбрить бороды? Притом что вестернизация России способствовала развитию науки и техники, а иногда даже служила исправлению «дурных» нравов (с чем Шишков категорически не согласился бы), она вызвала в стране культурный раскол, отделивший знать от всех остальных (этот взгляд Шишков разделял), и нанесла серьезный ущерб национальной гордости.

Подобно Ростопчину (но не Шишкову или Глинке), Карамзин делал акцент на этом функциональном аспекте патриотизма: для него имела значение не духовная сущность «русскости», а скорее целостность национальной идентичности, в чем бы она ни выражалась. В XVII веке Россия развивалась более гармонично, чем в XVIII, поскольку «деды наши, <...> присваивая себе многие выгоды иноземных обычаев, все еще оставались в тех мыслях,

что правоверный россиянин есть совершеннейший гражданин в мире, а *Святая Русь* — первое государство». Однако теперь, «более ста лет находясь в школе иноземцев, без дерзости можем ли похвалиться своим гражданским достоинством?» Подобно Шишкову, Карамзин видел в иностранном влиянии политическую угрозу. Если раньше русские относились к европейцам как к неверным, то теперь считали их братьями: «Кому бы легче было покорить Россию — *неверным* или *братьям*? Т. е. кому бы она, по вероятности, долженствовала более противиться?» [Карамзин 1991: 34–35].

«Сравнивая все известные нам времена России, едва ли не всякий из нас скажет, что время Екатерины было счастливейшее для гражданина российского», — писал Карамзин [Карамзин 1991: 44]. Он восхвалял ее экспансионизм и мудрое управление государством, но вместе с Шишковым сетовал на упадок нравов, поразивший все общество в период ее царствования, на растущую продажность, страсть к европейской роскоши и влияние иностранцев. Он также считал, что проводившиеся реформы государственного устройства зачастую не подходили для российской реальности. Империя делала большие успехи в образовании, дипломатии, военном деле, однако «не было хорошего воспитания, твердых правил и нравственности в гражданской жизни» [Карамзин 1991: 44]. Тем не менее царствование Екатерины было счастливым в сравнении с правлением ее сына. В отличие от своего друга Ростопчина, Карамзин считал Павла тираном, сравнимым с Иваном Грозным, и вспоминал о всеобщей радости при известии о его смерти. Он открыто осуждал заговор против Павла, хотя для этого требовалась немалая смелость, так как тема оставалась весьма щекотливой [Карамзин 1991: 46].

Карамзин предостерегал Александра против соблазнов конституционализма. «Ты можешь все, но не можешь законно ограничить [свою власть]!» — обращался он к царю от имени воображаемого «добродетельного гражданина» [Карамзин 1991: 48]. Подобно Шишкову, Державину, Вигелю и другим, Карамзин сочувствовал «сенатской партии» начала царствования Александра и восставал против бюрократического самоуправства всемогущих министров,

которые «стали между государем и народом» (имеются в виду дворяне) и служат барьером для проникновения к нему советов многоопытного, консервативно настроенного Сената [Карамзин 1991: 58]. Карамзин критиковал также инициативы Сперанского, не называя его имени. Россия, согласно его убеждению, нуждалась в правительстве, которое было бы внимательно к ее лучшим умам и включало бы их в свой состав, уважая при этом традиционный порядок вещей. Так было при Екатерине, когда правительство минимально вмешивалось в дела дворянства. Однако теперь, сетовал Карамзин, государством управляют люди, чьи представления о нем строятся на безжизненном, авторитарном формализме и следовании букве закона, люди, которые «славятся наукою письмоводства более, нежели наукою государственною» [Карамзин 1991: 61]. «Перемены сделанные, — заключает он, — не ручаются за пользу будущих: ожидают их более со страхом, нежели с надеждой, ибо к древним государственным зданиям прикасаться опасно» [Карамзин 1991: 63].

Его оценка внешней политики Александра также была нелестной. Он соглашался с Ростопчиным, что в отношениях с Францией до 1805 года Россия «ничего не утратила и могла ничего не бояться». Австрия служила преградой для Франции, а ее, в свою очередь, сдерживала Пруссия. Россия, «великодушная посредница Европы», могла пострадать только в том случае, если бы новая война изменила соотношение сил в пользу Наполеона или Габсбургов. Карамзин был возмущен тем, что Россия сражалась, «чтобы помогать Англии и Вене, т. е. служить им орудием в их злобе на Францию без всякой особенной для себя выгоды». Если бы Третья коалиция победила, торжествующая Австрия «объявила бы нас державою азиатскою, как Бонапарте», и выдавила бы Россию из круга европейских великих держав. Ввязавшись в войну, Россия могла до Аустерлица заключить мир на выгодных условиях, но «судьбы Божии неисповедимы: мы захотели битвы!» К этим двум ошибкам прибавилась третья — Тильзит, следствием которого были постыдный союз с Наполеоном, дорогостоящая торговая война с Британией, нападение на ни в чем не повинную Швецию и восстановление Польского государства. «Таким обра-

зом, великие наши усилия, имев следствием Аустерлиц и мир Тильзитский, утвердили господство Франции над Европою и сделали нас чрез Варшаву соседями Наполеона». В этой обстановке самый благоразумный курс состоял в том, чтобы избегать противоборства с Францией, но «что будет далее — известно Богу» [Карамзин 1991: 50–55].

Под огонь критики Карамзина попали и другие аспекты государственной политики. Созданное в 1806–1807 годах ополчение было недостаточно подготовлено и плохо организовано. Образовательная реформа также провалилась, потому что государство слепо копировало структуру немецких университетов, игнорируя уникальные условия, сложившиеся в России. Карамзин критиковал требования к уровню образования при продвижении по служебной лестнице: молодые чиновники и могли бы получить университетскую степень, «но кто уже давно служит, с тем нельзя, по справедливости, делать новых условий для службы» [Карамзин 1991: 69], и неразумно было бы ожидать, что чиновник может стать экспертом в области, не связанной с его собственной работой. Подобные постановления были типичны для бюрократии, склонной при решении проблем насаждать иноземный порядок без учета российских обстоятельств. Пространное обсуждение Карамзиным государственных финансов содержит также критику управления налоговой и денежно-кредитной политикой и в особенности финансовых реформ, предложенных Сперанским [Карамзин 1991: 156–161, 167–182].

Как и практически все российские консерваторы, Карамзин был против любой реформы крепостного права. Он утверждал, что, поскольку крепостные происходят как от свободных крестьян, так и от рабов-холопов, а эти две группы ныне неразличимы, самодержавие не может освободить крепостных, не лишая дворянство его права владеть холопами. Освобождение станет для крестьян экономическим бедствием, писал он, потому что помещики сохранят свои земли — свое законное имущество, — и крестьяне станут перебираться с места на место в поисках подходящего в финансовом отношении землевладельца, препятствуя ходу сельскохозяйственных работ и затрудняя сбор налогов.

Кроме того, уничтожение крепостного права будет означать конец власти дворян в своих поместьях и взвалит управление крестьянством на государство, которое может не справиться с этой задачей, и крестьяне предадутся своим порокам (прежде всего пьянству). При этом продажные чиновники не будут добрее к крестьянам, чем были помещики. Карамзин был убежден, что нравственное разложение крестьян вследствие их закрепощения сделало их неспособными к свободной жизни. Вместо того чтобы искать пути к освобождению крестьян, правительству следовало бы пресекать злоупотребления их владельцев и этим удовлетвориться. «В заключение, — пишет он, обобщая в одной фразе суть дворянского консерватизма, — скажем доброму монарху: “Государь, история не упрекнет тебя злом, которое прежде тебя существовало (положим, что неволя крестьян есть решительное зло), — но ты будешь ответственать Богу, совести и потомству за всякое вредное следствие твоих собственных Уставов”» [Карамзин 1991: 74].

Карамзин осуждал также идею Сперанского принять модифицированный Кодекс Наполеона в качестве российского закона на том основании, что этот кодекс несовместим с российской правовой традицией и общественно-политической структурой. Подобно Шишкову и Ростопчину, а также множеству радикалов и консерваторов в беспокойной европейской политике после 1789 года, он просто заклеил как изменников родины тех, кто не разделял его взглядов: «Для того ли около ста лет трудимся над сочинением своего полного Уложения, чтобы торжественно пред лицом Европы признаться глупцами и подсунуть седую нашу голову под книжку, слепленную в Париже 6-ю или 7[-ю] экс-адвокатами и экс-якобинцами?» [Карамзин 1991: 90]. Вместо этого он предлагал положить в основу кодекса уже существовавшие в России законы. Именно этот подход в конце концов и применил Сперанский, работавший над кодификацией законодательства при Николае I.

Карамзин предложил свои рецепты избавления от перечисленных им бедствий. Его совет был прост: организационная структура учреждения не так важна, как характер служащего.

«Не формы, а люди важны», — утверждал он [Карамзин 1991: 98] — и людей надо мотивировать путем разумного поощрения или запрета. Екатерина II дала пример для подражания, поскольку она доверяла тщательно подобранным помощникам, а не параграфам конституции. «Не спрашивайте, как писаны законы в государстве? сколько министров? Есть ли Верховный Совет? Но спрашивайте: каковы судьи? каковы властители?.. Фразы — для газет, только правила — для государства». Здоровье нации, продолжает Карамзин, неотделимо от благоденствия дворянства, которому следует придать больше исключительности, ограничив практику дарования дворянства при достижении определенного чина на государственной службе. Некоторые государственные посты при этом должны сохраняться за потомственными дворянами: «Надлежало бы не дворянству быть по чинам, а чинам по дворянству» [Карамзин 1991: 105–106]. По мнению Карамзина, необходимо ограничить право императора произвольно изменять состав элиты общества — это позволит избежать превращения самодержавия в деспотизм.

В заключение Карамзин формулирует свой взгляд на государственное устройство: «Дворянство и духовенство, Сенат и Синод как хранилище законов, над всеми — государь, единственный законодатель, единовластный источник властей. Вот основание российской монархии». Александру следовало бы в будущем быть «осторожнее в новых государственных творениях, <...> думая более о людях, нежели о формах». Он должен уделить внимание проблемам денежного обращения и внешней торговли, заключить мир с Оттоманской империей и избегать новой войны с Наполеоном, «хотя бы и с утратою многих выгод так называемой чести, которая есть только роскошь сильных государств и не равняется с первым их благом, или с целостью бытия» [Карамзин 1991: 109]. Только эти меры восстановят доверие общества к императору. «Россия наполнена недовольными: жалуются в палатах и в хижинах, не имеют ни доверенности, ни усердия к правлению, строго осуждают его цели и меры» [Карамзин 1991: 49].

После сочинения «Записки» Карамзин продолжал содействовать стараниям Екатерины Павловны приобщиться вместе

с мужем к русской культуре. В течение нескольких месяцев, предшествовавших войне 1812 года, он не принимал большого участия в политической жизни. Ростопчин же, потерпев неудачу в своей первой попытке вернуть расположение государя, продолжал поддерживать дружбу с Екатериной и стремился представить себя выразителем воли «дворянской оппозиции».

Ростопчин с большим искусством выбирал и использовал основные темы и приемы современной политической полемики, эффективно применявшиеся и в старорежимной Европе. Одной из этих тем была франкофобия, которую насаждали в России Шишков и другие. Еще одной была теория заговоров: начиная с 1789 года и консерваторы, и революционеры все чаще и чаще оправдывали все несовершенства реальности «подлыми заговорами» тайных обществ. После 1815 года царь также уверовал в то, что где-то в Западной Европе имеется некий руководящий центр, который организует революции, тем самым мешая ему проводить внешнюю политику. В период между 1789 и 1815 годами среди консерваторов широко распространились страхи перед иллюминатами и прочими масонскими организациями. (Иллюминаты были немецким обществом, просуществовавшим недолго и запрещенным в 1780-х годах; название общества стало для всех консерваторов Европы синонимом тайной подрывной деятельности.) О них было мало что известно, но общественное мнение полагало их революционерами. «Иллюминизм» и «мартинизм» стали удобными расплывчатыми клише, которые употреблялись без разбора против всех, кто был связан с революционной деятельностью или реформами. Как и в отношении «Мыслей вслух на Красном крыльце», трудно определить, отражают ли высказывания Ростопчина его убеждения, или он просто использует политический язык той эпохи [Пыпин 1918: 309–310]<sup>12</sup>. Однако на этот раз он был намерен действовать, не апеллируя к общест-

---

<sup>12</sup> Мельгунов считает, что развязанная Ростопчиным кампания против масонов объясняется не только его политическим оппортунизмом, но и тем, что его настроили против них его знакомые иезуиты [Мельгунов 1923: 134]. Об иллюминатах см. [Erstein 1966: 87–104].

венному мнению, а прибегая к более традиционным — то есть принятым при дворе — методам.

В 1810 году Ростопчин принялся убеждать Екатерину (которая относилась к франкмасонам довольно благосклонно) в опасности «мартинизма» и в необходимости оповестить об этой угрозе императора. 14 апреля он обещает ей: «Я заготовлю собственно для вас историю сословия Мартинистов в России, имея все нужные для сего сведения. Тайное сие общество (и посему нетерпимое) <...> ныне явно господствует и достигает безопасно до своей цели, уверяя Государя в своем ничтожестве» [Письмо Ростопчина 1876: 374]<sup>13</sup>. Ростопчин привез в Тверь «Записку о мартинистах» — изложенную по-французски историю русских франкмасонов, в которой он расписал их предполагаемую заговорщическую деятельность. Последующая судьба этого труда неизвестна. Возможно, Екатерина послала его Александру осенью 1811 года, поскольку его письмо свидетельствует, что она затронула тему «мартинизма» в своих письмах<sup>14</sup>.

Примерно в то время, когда Ростопчин сочинил свою «Записку», государство со своей стороны заинтересовалось масонским движением, которое заметно оживилось после гонений 1790-х годов. Хотя многие представители элиты были его участниками, а некоторые ложи стояли на реакционных политических позици-

---

<sup>13</sup> Письмо Ростопчина к Екатерине Павловне от 14 апреля 1810 года, Москва.

<sup>14</sup> О том, что она считает масонов честными и набожными людьми, Екатерина пишет Александру 8 февраля 1810 года из Твери [Nikolai Mikhailovich 1910: 28]. Отзыв Александра о масонах см. в его письме Екатерине от 18 декабря 1811 года, Санкт-Петербург [Nikolai Mikhailovich 1910: 60]. Семевский рассматривает его отзыв как доказательство того, что Екатерина послала ему «Записку» Ростопчина [Семевский 1911: 231]. В самой «Записке» дата ее написания не указана; из текста ее тоже нельзя установить. Издатели журнала «Русский архив» датируют «Записку» 1811 годом, но отсутствие в ней какого-либо отклика на проведенное в 1810–1811 годах расследование по делу масонства говорит о том, что она, по-видимому, была написана раньше. Возможно, издатели, как и Семевский, не знали о письме Ростопчина 1810 года и судили о дате по письму Александра 1811 года. Или же письмо Ростопчина Екатерине могло быть написано в 1811 году, а «Русский архив» ошибочно датировал его 1810 годом.



ях, засекреченность обществ и исходная близость их учения к идеям Просвещения страшили консерваторов всей Европы. Зловещие конспирологические теории о деятельности безбожных радикалов возникали уже в 1760-е годы в писаниях французского иезуита Клода Франсуа Ноннота (который предупреждал о преступных заговорах *философов*) и его итальянского собрата, иезуита Луиджи Моцци. Но наиболее влиятельным пропагандистом этих теорий был другой иезуит — француз Огюстен Баррюэль, которого в 1790-е годы читали в Германии, Великобритании, Соединенных Штатах, Нидерландах, Италии, Португалии и Испании; в России же его сочинения опубликовали только в 1905 году<sup>15</sup> [Herrero 1988: 35–45, 183–218; Elorza 1966: 374; Epstein 1966: 503–504]. Вполне естественно, что Россия, где высшее сословие составляли франкофоны, была восприимчива к идеям иезуитов, поскольку писали они по-французски. Поэтому в 1807 году Комитету общей безопасности было дано задание расследовать деятельность масонских обществ, и Сперанский жаловался, что его враги клеймят его как иллюмината и «мартиниста».

Любопытной иллюстрацией этой паранойи служит меморандум, предположительно адресованный самому императору и составленный в 1810 году одним из офицеров его свиты — майором Александром Полевым<sup>16</sup>. «Развращеннейшие и честолюбивейшие из ученых», утверждал Полев, создали тайные общества с целью «в мнениях людских ослабить веру как основание семейственных и гражданских союзов» под предлогом борьбы с предрассудками и суевериями, и они стремятся к этой цели с помощью богатых и могущественных людей. Масонские ложи, основанные «нечестивейшими из этих просветителей», привлек-

---

<sup>15</sup> В русском переводе книга Баррюэля впервые вышла под названием «Волтеррианцы, или история о якобинцах, открывающая все противу-Христианския злоумышления и таинства Масонских лож, имеющих влияние на все Европейския Державы в 1806. — *Примеч. М. Б.*

<sup>16</sup> В меморандуме указаны лишь имя и чин его автора, но не указано, кому он предназначен. В 1812 году Полев написал еще две записки к Александру I, так что, по-видимому, он был одним из офицеров императорской свиты. См. РГВИА. Ф. 474. Оп. 1. Д. 1223.

ли юных и несмышленных обещанием привести их к истинной мудрости и «обязав их первее к молчанию ужасными заклинаниями»; они сумели представить всякое общество, закон, правление или религию, отличные от их собственных, «тиранством, ненависти достойным, а истребление всего оногo — оказанием благотворения человеческому роду и к преследованию и исполнению всего оногo их воспламенили»<sup>17</sup>.

Распространяя лживую идею, что человечество — одна большая семья, писал Полев, эти масонские лидеры, очевидно, убедили своих последователей, что «любовь к отечеству есть ненависть к прочему человеческому роду» и что «род человеческий управляем быть должен по всему кругу земному единообразными законами и иметь одного правителя» — естественно, франкмасона (Наполеона?). С этой целью «они наполнили собою все кабинеты государей, сенаты, лицеи, воинские и гражданские места презрителями веры, ненавистниками законов, предателями государей и своих отечеств». Масонство, таким образом, не только угрожало общественному порядку, но, якобы используя свое влияние в правительстве (Сперанский, к примеру, был франкмасоном), подрывало саму идею о законности государства в глазах общества<sup>18</sup>.

Следствием озабоченности такого рода стало поручение Балашову (назначенному 28 марта 1810 года министром полиции) собрать сведения о деятельности масонских лож. Можно было ожидать, что, будучи сам приверженцем масонства, он проявит к ним снисходительность. В августе 1810 года он заверил масонских лидеров в своем письме к ним, что власти не имеют оснований для беспокойства, однако «из тайных [их общества] стали почти явными и тем подали повод невежеству или злонамеренности к разным на них нареканиям. В сем положении вещей и дабы положить преграду сим толкованиям», правительство было вынуждено удостовериться в их политической благонадеж-

<sup>17</sup> СПбФ АРАН. Ф. 100. Оп. 1. Д. 198. Л. 483–483 об.

<sup>18</sup> СПбФ АРАН. Ф. 100. Оп. 1. Д. 198. Л. 483–483 об. О Сперанском см. [Мельгунов, Сидоров 1914–1915, 2: 176].

ности [Мельгунов, Сидоров 1914–1915, 2: 178]. В результате согласно новому постановлению, вышедшему осенью 1811 года, деятельность ряда лож была разрешена под контролем полиции, в то время как другие, включая ложу Лабзина и еще несколько розенкрейцерских, были запрещены, однако продолжали собираться тайно [Мельгунов, Сидоров 1914–1915, 2: 176]. Говоря о «невежестве» и «злонамеренности», Балашов, возможно, имел в виду Полева и Ростопчина с их меморандумами: они, несомненно, отражали настроение публики, испытывавшей иррациональный страх перед тайными обществами.

Ростопчин начал «Записку о мартинистах» с краткой истории русского «мартинизма», под которым он подразумевал мистическую ветвь масонства — традицию розенкрейцеров, занесенную в Россию И. Г. Шварцем и его единомышленником — «одним Новиковым, человеком очень умным, лицемерным, бедным, смелым, красноречивым» [Ростопчин 1875: 75]. (Любопытно, что на самом деле розенкрейцерство зародилось в Германии как консервативное движение, направленное против иллюминизма и рационализма.) После вполне достоверного сообщения об опасениях Екатерины II в связи с масонской деятельностью и об аресте Новикова Ростопчин подводит итоги проведенного по ее приказу расследования: ложа Новикова якобы планировала убийство Екатерины; в нее входили «несколько ловких обманщиков и тысячи простодушных жертв» (в действительности ложа не насчитывала и 20 членов, хотя периодические издания Новикова имели широкий круг читателей). «Эти слабые умы надеялись приобрести царствие небесное, куда их прямо введут их руководители, которые проповедовали им пост, молитву, милостыню и смирение, присваивая себе их богатства, с целью очищения душ и отрешения их от всех земных благ» [Ростопчин 1875: 77].

В окружении Павла I было несколько выдающихся масонов, и один из них, С. И. Плещеев, предположительно внушил ему мысль об эксгумации Петра III и захоронении его вместе с Екатериной. Павел, пишет Ростопчин, имел чистосердечное намерение примирить своих почивших родителей и вовсе не желал при этом оскорбить память своей матери. Эта любопытная попытка

Ростопчина оправдать покойного императора показывает, что он использовал память о Павле, чтобы построить отношения с великой княгиней. Затем он описывает собственные усилия по дискредитации масонов в глазах царя, несколько преувеличивая при этом свое влияние: Павел и без того постепенно ожесточался против них.

Ростопчин отмечал, что «мартинизм» несколько оживился в начале правления Александра, но вновь поднял голову только в 1806 году, когда московское дворянство собирало губернское ополчение. Он заявил, что избрание командующим ополчением адмирала Н. С. Мордвинова, бывшего морского министра, не имеющего опыта ведения военных действий на суше, было подстроено «мартинистами» с очевидной надеждой, что он не справится с задачей. В дальнейшем они стали активно распространять пораженческие сплетни, пишет Ростопчин, и даже «возбудили мысль о необходимости изменить образ правления и о правлении избрать себе нового государя». Особой критике подверглись в «Записке» московские генерал-губернаторы Т. И. Туттолмин (1806–1809) и И. В. Гудович (1809–1812), которые, по словам Ростопчина, были недостаточно бдительны в отношении «мартинистов». Ростопчин стал преемником Гудовича в 1812 году и, очевидно, пытался таким образом представить себя как более подходящую кандидатуру на это место. Саркастические замечания в адрес Гудовича были обычным явлением в его письмах к великой княгине [Ростопчин 1875: 78–79; Мельгунов, Сидоров 1914–1915, 2: 150; Кизеветтер 1915: 86–87].

Список людей, которых Ростопчин причислял к «мартинистам», в Петербурге включал Мордвинова и графа А. К. Разумовского (назначенного министром народного просвещения в апреле 1810 года, после службы в качестве попечителя Московского университета), а в Москве — почт-директора Ф. П. Ключарева, его помощника Д. П. Рунича и И. В. Лопухина. Ключарев, которого Ростопчин с особым пылом преследовал в 1812 году, был охарактеризован им как «самый отъявленный и презренный негодяй, который когда-либо существовал». Он якобы участвовал в контрабанде, вскрывал почту, присваивал государственное

имущество и притеснял подчиненных. Лопухин был, по мнению Ростопчина, «человек самый безнравственный, пьяница, преданный разврату и противоестественным порокам». Другим повергшимся разоблачению «мартинистом»-заговорщиком был новый попечитель Московского университета П. И. Голенищев-Кутузов, «бывший полицейским шпионом в царствование Павла, человек глупый, низкий, обладающий всеми дурными свойствами грубого простонародья». Ростопчин мимоходом намекнул даже, что Сперанский, могущественный протеже императора, покровительствовал Ключареву, а тот, в свою очередь, ему «льстил». Таковы были руководители «множества людей хитрого ума, [которые] <...> скрывают свои замыслы под покровом религии, любви к ближнему и смирения», тогда как в действительности «они поставили себе целью произвести революцию, чтоб играть в ней видную роль, подобно негодям, которые погубили Францию и заплатились собственной жизнью за возбужденные ими смуты». Обобщая обвинения против «мартинистов», Ростопчин подчеркивает, что законопослушным гражданам не было бы никакого смысла участвовать в секретных обществах, и заключает, что они являются агентами Наполеона и что «эта секта не что иное, как тайный враг правительств и государей» [Ростопчин 1875: 80–81].

Можно предположить, что Александра, который пробыл в Твери с 29 мая по 6 июня 1810 года, ознакомили с основными положениями «Записки о мартинистах», если не с самим текстом. Ростопчин, очевидно, возбудил любопытство великой княгини, но не настроил ее решительно против «мартинистов», потому что после его визита она попросила у Александра книги Лопухина<sup>19</sup>. Вероятно, «Записку», как и другие работы Ростопчина, читали еще в рукописи. Однако ее автору не удалось подвигнуть императора на борьбу с масонами, и он предпринял против них личный крестовый поход, став в 1812 году генерал-губернатором Москвы (его официальное звание было «главнокомандующий»).

<sup>19</sup> Письмо Александра I к Екатерине 27 июня 1810 года, Царское Село [Nikolai Mikhailovich 1810: 30, 34].

Таким образом, карьера Ростопчина застыла на мертвой точке. Летом 1811 года он писал Лабзину (притворяясь «мартинистом»): «Я уверился в том, что ни на что не гожусь. Во-первых, по-нынешнему — стар, а притом честен, усерден и не якобинец». Он был убежден, что ближайшей осенью Наполеон «явится на Север бичем Господним и станет хлестать нещадно» [Письма Ростопчина 1913: 428]<sup>20</sup>. Учитывая российский климат, кажется странным, что он ожидал наступления Наполеона в такое позднее время года, но он был точен в предсказании войны. Возможно, Ростопчин также понимал, что в случае войны его политическая активность будет востребована. А пока что он продолжал играть роль глашатая консервативных идей.

Три явления в политической жизни России заставляли усомниться в будущем крепостничества: ранние реформы Александра I, призрак Наполеона и малопонятные для большинства проекты Сперанского. Вопрос о крепостном праве — пожалуй, самый больной для дворянства — был с осторожностью затронут в 1808 году в книге, русская версия которой вышла в 1809 году, но не выпускалась на рынок цензорами вплоть до осени 1811 года<sup>21</sup>. Книга была написана польским графом В. Б. Стройновским и называлась «Об условии крестьян с помещиками». В ней автор выражал надежду, что русские дворяне в конце концов поймут необходимость освободить своих крепостных (хотя и не наделяя их землей). 11 сентября 1811 года друг Ростопчина Е. А. Головин написал ему из Петербурга, что книга «имеет поразительный успех; магазин, где она продается, не справляется со спросом». Головин заявлял, что в книге «нет ни единой новой идеи», и подозревал автора в намерении «дезорганизовать и свергнуть наше правительство». По сути дела, добавлял он, «представляется несомненным, что автору заплатило французское правительство»<sup>22</sup>.

Ростопчин, не разделявший идеалистического взгляда Шишкова и тем более Глинки на крестьянские добродетели, за месяц

<sup>20</sup> Письмо Ростопчина к Лабзину от 12 июня 1811 года, Москва.

<sup>21</sup> См. [Тарасов 1911–1921, 3: 433–434, примеч. ред.].

<sup>22</sup> Цит. по: [Rostopchine A. 1864: 436].

написал обстоятельное опровержение. Он утверждал, что Стройновский — несведущий мечтатель и что его книга — типичные «повторяемые бредни иностранных насчет рабства в России». Стройновский «писал свою книгу по-польски, а я думаю и пишу по-русски», — провозглашал он и намекал, что вероломный поляк желает отделения польских земель от России. Стройновский, предполагал Ростопчин, был сторонником Французской революции, тогда как себя он считал защитником интересов российского дворянства. Он последовательно оспаривал доводы Стройновского и обосновывал защиту крепостного права. «Слово *вольность* или *свобода*, — пишет он, — изображает лестное, но не естественное для человека состояние, ибо жизнь наша есть беспрестанная зависимость от всего». Дело обстоит именно так, потому что в обществе люди взаимозависимы. Власть сделать людей счастливыми «предопределена от Провидения сидящим на престолах или управляющим народами». Древние республики навсегда исчезли, но их призрачные образы побудили «многих из голодных и нагих писателей» прошлого столетия, и в особенности Руссо, вообразить себя наследниками классических героев и стремиться переделать мир. Эти писатели породили «вольнодумство» и тем самым «посадили семена французского исступления, называемого революциею». Стремление к свободе от ограничений, существующих в обществе, иллюзорно и предосудительно; основу общественного порядка составляет авторитарное правление, а желание свободы равнозначно подстрекательству к мятежу [Ростопчин 1860: 203–206].

Ростопчин изложил и свои взгляды на крепостное право. В то время как Карамзин в «Записке о древней и новой России» внимательно проследил за развитием крепостной зависимости начиная с XVI и XVII веков, Ростопчин полагал, что все крепостные произошли от средневековых холопов. Он утверждал, правда, не называя их, что в прошлом правители уже делали безуспешные попытки дать крестьянам свободу передвижения, но всякий раз эта свобода «производила расстройство имуществ помещичьих и разорение самих крестьян, кои, для избежания податей, работы и повинностей», жили «в переездах и бегах, по примеру кочующих

народов, и от беспрестанных переселений из одного места в другое лишались последнего своего имущества». Раскрепощение всегда будет приводить к такому результату. Длительное существование какой-либо государственной структуры (в частности, крепостного права), доказывает, что при всех ее недостатках «она или полезна, или не могла быть заменена лучшей» [Ростопчин 1860: 207–208].

К тому же, заявлял Ростопчин, крепостное право обеспечивало крестьянам социальную защищенность. Некоторые из них, зная, что хозяева не допустят их обнищания, даже пользовались их неистощимой щедростью. (Ростопчин не коснулся внутреннего противоречия крепостной зависимости: обеспечивая общественную дисциплину, она одновременно поощряла леность крестьян.) Он приводил в пример собственных крестьян, пытавшихся обмануть его, притворяясь бедными, и заключал, что «вообще распутство, лень и нерадение [крестьян] превышает понятие». Он утверждал, что русские крестьяне, унаследовавшие свой дом и землю, живут лучше английских фермеров-арендаторов. Опасение, что хозяин воспользуется правом лишить крепостных их собственности, не имеет никаких оснований, потому что «разорить крестьянина есть самый верный способ разорить себя», и, даже если какой-то отдельный помещик плохо обращается с крестьянами, он остается ангелом добродетели по сравнению с англичанами, французами или голландцами на их заморских территориях. Екатерина II, «устроивая в славное царствование блаженство России», и Александр I преследовали жестокость крепостников, тогда как западноевропейцы «дали себе в колониях право на всевозможные наказания невольников» [Ростопчин 1860: 209]. Так что с учетом всех этих обстоятельств крепостное право оказывается необходимым злом и даже вовсе не злом; да если бы оно и было злом, то у иностранцев всё еще хуже, и они не имеют права критиковать Россию.

Далее Ростопчин рассмотрел факторы, препятствующие успеху предложений Стройновского. Как и Карамзин, он полагал, что земля останется у дворян, и предвидел нескончаемые споры по поводу допуска крестьян к полям, водным путям, лесам и т. д.



Привыкнув к свободному пользованию этими ресурсами, крестьяне откажутся платить за них, и дворянам будет невозможно организовать оплату их труда и закупки продукции. Но главной причиной необходимости крепостничества он видел отсутствие других способов заставить крестьян работать на земле. «Земледелие вольностию крестьян в России процвести не может, — объявлял Ростопчин, — потому что русский крестьянин не любит хлебопашества и пренебрегает своим состоянием, не видя в нем для себя пользы» [Ростопчин 1860: 212]. Отмечая, что крестьяне несведущи в элементарной агрономии и ленивы, он утверждал, что их освобождение спровоцирует их массовый исход в города и неуправляемую миграцию в поисках новых земель в других краях. Сезонные отъезды мужчин на работу в города и прекращение существующей практики, когда хозяева устраивали свадьбы крестьянам, которым трудно было найти себе пару, приведут к сокращению населения (а не к его увеличению, как полагал Стройновский). Работа фабрик и животноводство застынут, как и сбор подушной подати.

Сами крестьяне недолго будут наслаждаться своей свободой, потому что появившийся новый класс обеспеченных сельских жителей начнет притеснять остальных. Дворяне более не смогут помочь крестьянам в случае необходимости, а любая тяжба между дворянином и крестьянином будет неизбежно решена в пользу дворянина, поскольку судьи избираются из их среды. Однако от судов и прочих органов власти будет мало толку и в защите законных интересов дворянства, поскольку государство не в состоянии управлять «10 000 000 упоенных и разнузданных вольностию людей» [Ростопчин 1860: 214]. Повторяя Карамзина, Ростопчин напоминал, что дворяне управляют сельским населением без каких-либо затрат со стороны государства и что заменить их в этом отношении в настоящее время некем.

Более того, он уверял, что сторонники освобождения крестьян «осудили на голодную смерть» огромное число дворовых людей, которые не найдут себе места при новом порядке. Они не имеют ни ремесла, ни навыков, позволяющих обеспечить себя и свои

семьи, и лишь немногие из них в действительности как-то служат своим хозяевам, но более живут за их счет: «хотя издержки на дворовых и велики, но у нас расчетов по-иностранному еще нет, и слово “Ведь он человек” кормит миллион людей» [Ростопчин 1860: 215]. Он уже не в первый раз отвечал на обвинения со стороны иностранцев, утверждая, что благодаря русскому характеру крепостная зависимость оказывается более гуманной, чем алчная и бессердечная «свобода» стран Запада, и заявлял, что дворяне, освободившие крепостных по Указу о вольных хлебопашцах, сделали это только для того, чтобы избежать ответственности за старых и нетрудоспособных крестьян, а не из чело-веколюбия.

«Замечание» Ростопчина, по-видимому, хотели напечатать, но разрешение не было дано, и оно ходило по рукам в виде рукописи<sup>23</sup>. Нет сведений о том, показывал ли он текст Карамзину или Екатерине Павловне, но в свете его дружбы с ними и желания использовать свои сочинения с максимальным политическим эффектом представляется вероятным, что они были знакомы с его работой. Ее идеи перекликаются с мыслями Карамзина, изложенными в его «Записке». Это показывает родство политических взглядов того и другого, которые, вероятно, выражали умонастроение целой прослойки российского дворянства. Можно полагать, что ростопчинское опровержение взглядов Стройновского было, как и «Записка» Карамзина, передано монарху<sup>24</sup>, но реакция Александра неизвестна.

Идеи Ростопчина вызвали возражения. Так, будущий декабрист Николай Тургенев, по-видимому, читал текст Ростопчина (или другой, ему приписываемый) весной 1812 года, по возвращении из Геттингена, где он учился. Он с возмущением писал, что Ростопчин «не знает дела» и путает «улучшение состояния полез-

<sup>23</sup> См. письмо Головина к Ростопчину от 23 октября 1811 года, Санкт-Петербург [Rostopchine A. 1864: 437]. Редактор «Замечания» пишет о существовании нескольких рукописей на эту тему и о трудности установления авторства Ростопчина [Ростопчин 1860: 193].

<sup>24</sup> См. [Сайтов 1899–1913, 1: 530, примеч. ред.].

нейшего класса народа в Государстве» со «свободой и независимостью, кот[орые] были проповедываемы властолюбивыми республиканцами и энтузиастами-философами». Тургенев отвергал утверждение, что благосостояние России «основано на рабстве», и говорил, что Ростопчин «плохо <...> доказывает благоденствие наше примерами бедности нищих других народов» [Тарасов 1911–1921, 3: 191–192]<sup>25</sup>. Однако, несмотря на отдельные критические голоса вроде тургеневского, Ростопчин выражал мнение многих. Михаэль Конфино отмечает, что в глазах дворян образ крестьянина, как правило, был лишен глянца, привнесенного Глинкой или даже Шишковым: они смотрели на него с недоверием и сверху вниз. Крепостных считали мелкими лгунами и притворщиками, живущими за счет хозяев, в лучшем случае — наивными и простоватыми. Леность крестьян была, как полагали, причиной и их бедности, и отсталости сельского хозяйства в целом. Всякое ослабление их связи с помещичьим хозяйством — особенно работа на стороне, то есть уход в города, к которому, как предупреждал Ростопчин, приведет их освобождение, — лишний раз будет подтверждать их «беспутство» и «безнравственность». В представлении дворян крестьянин был тупым существом, и мысли его ограниченного ума не заслуживали внимания. Этот взгляд утверждал дворян в их собственном превосходстве и позволял им безмятежно, не испытывая угрызений совести, сохранять крепостное право. Однако тот факт, что Ростопчин делал акцент на пользе закрепощения для самих крестьян, говорит о возникновении новых веяний в атмосфере начала века: аболиционисты доказывали, что упадок нравственности крестьян является на самом деле как раз следствием рабства, а не доводом в пользу его сохранения [Confino 1961: 51–63]<sup>26</sup>.

О том, что Ростопчин был не одинок в своем образе мыслей, свидетельствуют и другие сочинения, ходившие по рукам в то время. Говоря о крепостном праве, автор одного из них, рассматривавший вопрос более кратко и упрощенно, утверждал, что

<sup>25</sup> Дневниковая запись 9 апреля 1812 года, Москва.

<sup>26</sup> См. также [Regemorter 1968].

«дело идет <...> о бытии или небытии России!» [Возражение неизвестного 1860: 195]<sup>27</sup>. Приравнивая освобождение крестьян к Французской революции, анархии и безбожию, он, подобно Ростопчину, заявлял, что русские крестьяне, будучи крепостными, живут гораздо лучше, чем бедняки в Европе. Он предупреждал о всевозможных социальных и экономических бедствиях, угрожающих России, и доказывал, что ее крепостные счастливее, чем освобожденные польские крестьяне, умирающие в данный момент за Наполеона в Испании. Он обличал Стройновского как агента Наполеона, который, отчаявшись когда-либо восторжествовать над Россией, пытается разрушить ее изнутри: «Нет! Не вообще любление к роду человечества и не пользы желание России водило пером Вашим, но тайная зависть <...> снедающая всех чужеземцев при воззрении их на славу и величество России, на силу и благоденствие ее» [Возражение неизвестного 1860: 200]. Автор, естественно, повторял тезис, уже высказывавшийся Шишковым и Ростопчиным. Недостаточное восхваление русской «традиции», культурной или общественно-политической, ставило на человеке клеймо пособника французских врагов России.

В сознании общества Ростопчин был настолько неотделим от «дворянской оппозиции», что начали циркулировать антиправительственные трактаты под его именем, написанные другими. Это касается, например, письма к Александру I, распространявшегося в рукописной форме весной 1812 года и якобы составленного Ростопчиным от лица московских жителей — «для представления вам гибельного состояния всего государства и опасности, угрожающей собственной особе вашей от умышленной и почти уже

---

<sup>27</sup> Аналогичная работа была опубликована под названием «Возражение князя Володимира Михайловича Волконского на книгу: “Об условиях помещиков с их крестьянами, соч. графа Стройновского, 1811 года”». Комментарии Тургенева к «Замечанию» Ростопчина позволяют предположить, что он читал текст Волконского. Перепутать эти две работы было нетрудно, так как обе ходили по рукам в виде рукописи. Содержание работ, однако, показывает, что «Замечание» было написано Ростопчиным, а «Возражение» — кем-то другим. По вопросу об авторстве Ростопчина см. статью [О графе Ростопчине 1861], в частности с. 181–182.

совсем совершенной измены толпою, вас окружающею» [Письмо графа Ростопчина 1905: 412]. В действительности в предполагаемый момент написания письма (март 1812 года) Ростопчин находился в Санкт-Петербурге и обсуждал с императором свое назначение генерал-губернатором Москвы [Половцов 1896–1917, 17: 262]. К тому же даже в «Записке о мартинистах» он избежал открытой персональной атаки на Сперанского, а поскольку в указанное время тот уже находился на пути в место ссылки, Ростопчину не было никакого смысла нападать на бывшего государственного секретаря и настраивать против него императора. Между тем письмо без обиняков извещает Александра: Сперанский и его помощник Магницкий «продали вас с сообщниками своими мнимому вашему союзнику» — Наполеону, который собирается вторгнуться в Россию. Ко всему прочему Сперанский якобы умышленно обременил русский народ непосильными налогами (это был, возможно, намек на особый, возложенный на дворян налог, по поводу которого они негодовали). Далее в письме следует обращение якобы от имени Ростопчина: «...позволь приблизиться мне к столице и прервать действие, злоумышленное хищными зверьми, тебя окружающими...» Письмо заканчивается на резкой угрожающей ноте, чего никогда не допустил бы искушенный в политике Ростопчин: «Письмо сие есть последнее, и если останется недействительным, тогда сыны отечества необходимостью себе поставят двинуться в столицу и настоятельно требовать как открытия сего злодейства, так и перемены правления» [Письмо Ростопчина 1905: 412–414]. Власть восприняла это письмо настолько серьезно, что Комитет общей безопасности провел расследование и выявил, среди прочих, двух человек, которые распространяли его и делали копии. Ими оказались чиновники скромного ранга (9-го и 12-го класса по Табели о рангах), что свидетельствует о распространении влияния этой и других рукописей далеко за пределы высших кругов общества, в которых вращались Ростопчин и ему подобные<sup>28</sup>.

<sup>28</sup> Письмо датировано 17 марта 1812 года. См. [Васильев 1916]; РГИА. Ф. 1163. Оп. 16. Д. 5. Л. 5–5 об.

Главной союзницей и покровительницей Ростопчина была Екатерина Павловна, чью политическую значимость трудно оценить точно. Как уже говорилось, иностранные дипломаты считали, что она обладает большим влиянием, представляющим даже угрозу для императора. Важную роль играл тесный контакт Екатерины с Александром, позволявший ей знакомить императора со взглядами консервативных кругов, с которыми она была связана. Так, через нее к Александру попала «Записка» Карамзина; то же самое могло произойти и с «Запиской о мартинистах». Екатерина позаботилась о том, чтобы император услышал мнение Карамзина о природе самодержавия, и принимала активное участие — по крайней мере с 1809 года — в карьере Ростопчина<sup>29</sup>.

Придерживаясь консервативных взглядов во внутренних делах, Екатерина и во внешней политике занимала воинственную националистическую позицию, порой совершенно отрываясь при этом от реальности. Так, во время переговоров в Тильзите, в которых Россия была слабой стороной, она заявила, что союз с Наполеоном возможен только при одном условии — расширении границ России до Дуная и Вислы (что означало бы ограбление прусских союзников). Екатерина подхватывала идеи Ростопчина о том, что России надлежит переkreить Оттоманскую империю, так как нет необходимости в германском буфере, и о том, что внешнюю политику следует проводить, только исходя из соотношения сил. «Я хочу, чтобы Россия была недоступна, недосыгаема, неприступна, — писала она брату. — Я хочу, чтобы ее уважали не на словах, а на деле, потому что у нее есть все данные для этого и она имеет полное право на уважение». В то же время она говорила Александру: «Никогда не смирюсь с мыслью, что ты заодно с Бонапартом. <...> Его дифирамбы в адрес русской нации — сплошное притворство; этот человек — сочетание коварства, честолюбия и лживости» [Nikolai Mikhailovich 1910: 19]<sup>30</sup>.

<sup>29</sup> Один из биографов Екатерины считает, что влияние на нее Ростопчина преувеличивается [Vries de Gunzburg 1941: 49–50].

<sup>30</sup> Письмо Екатерины Павловны к Александру от 25 июня 1807 года.

При встречах с Александром они вели политические дискуссии, иногда даже по определенному плану. Так, в 1811 году, планируя поездку, в ходе которой он встречался с Карамзиным, Александр послал Екатерине программу из 15 пунктов, охватывавшую вопросы внешней политики, военных приготовлений и даже отчет Сперанского о его государственной деятельности с «разными идеями об учреждениях, которые надо создать» [Nikolai Mikhailovich 1910: 36]. Кроме того, ей были представлены соображения Сперанского по поводу реформы центральных органов власти: летом 1811 года Александр послал ей «напечатанные предложения о новой организации Сената» — «в соответствии с известным тебе большим планом, о котором мы часто говорили». Он приложил также для ее мужа план реформы министерств: «Поскольку это письмо адресовано ему, как и тебе, я прошу у вас обоих совета по всем этим вопросам» [Nikolai Mikhailovich 1910: 51–52]<sup>31</sup>. «Просочились» ли сведения об этих планах в круг московских друзей Екатерины, неизвестно<sup>32</sup>.

Екатерина испытывала глубокую неприязнь к Сперанскому, который, в свою очередь, не слишком старался с ней поладить. Так, он отклонил ее просьбу повысить секретаря ее мужа в чине без положенного по закону 1809 года экзамена, что разгневало Екатерину, которую немедленно поддержали ее друзья-консерваторы. Ростопчин говорил: «Как смеет этот дрянной попovich отказывать сестре своего государя, когда должен был почитать за милость, что она обратилась к его посредничеству»<sup>33</sup>; он довел до сведения императора, что в Москве очень раздражены Спе-

<sup>31</sup> Письма Александра к Екатерине от 26 декабря 1810 года и 5 июля 1811 года. Они встречались в Твери в начале декабря 1809 года, 29 мая — 6 июня 1810 года и 14–26 марта 1811 года, не считая нескольких встреч в Петербурге ([Nikolai Mikhailovich 1910: 30, примеч. ред.]). Согласно другим источникам, в 1811 году визит длился с 15 по 19 марта [Божерянов 1888: 38].

<sup>32</sup> Семевский подозревает, что Екатерина поставила их в известность [Семевский 1911: 224].

<sup>33</sup> Цит. по: [Семевский 1911: 231].

ранским<sup>34</sup>. Не улучшило отношения Екатерины к государственному секретарю и то, что в 1810 году Сперанский убеждал Александра не назначать Карамзина министром народного просвещения [Богоявленский 1912–1913: 178]<sup>35</sup>. Уже тогда она жаловалась, что Сперанский «преступник», а брат ее «и не подозревает этого», и муж вторил ей: «Можно ли такого злодея при себе держать?»<sup>36</sup> Враждебность тверского салона была известна Сперанскому, и не исключено, что его возражения против назначения Карамзина и задержка продвижения Ростопчина по службе были вызваны его опасениями за собственную карьеру. То, что Александру не удалось осуществить реформы, запланированные Сперанским, также могло быть отчасти связано с противодействием великой княгини и ее мужа.

Дружеская связь Екатерины с братом и прямота, с какой она высказывала свое мнение, явствуют из их частых встреч и переписки, хотя некоторые всплески эмоций в его письмах, безусловно, отражают влияние романтической литературы. Менее ясной остается степень влияния политических взглядов великой княгини. Ряд обстоятельств указывает на то, что это влияние не стоит преувеличивать. Начать с того, что она была элегантной и очаровательной женщиной, а Александр очень любил подобное общество и поддерживал платонические отношения со многими дамами, начиная с королевы Луизы Прусской и кончая фрейлиной своей жены Роксандрой Стурдзой [Мельгунов 1923: 98–101]. С ними он забывал о бремени государственных забот и мог

---

<sup>34</sup> Александр говорил де Санглину: «Из донесения графа Ростопчина о толках московских я вижу, что там ненавидят Сперанского, полагают, что он в учреждениях министерств и Совета хитро подкопался под самодержавие» [Семевский 1911: 232].

<sup>35</sup> 11 апреля на этот пост был назначен Разумовский. Это произошло через несколько недель после того, как Александр получил «Записку» Карамзина. Насколько связаны эти два события, неизвестно.

<sup>36</sup> Цит. по: [Семевский 1911: 224–225]. Цитата с отзывом Ростопчина о Сперанском приведена Семевским в этом же издании. В качестве источника высказываний Екатерины и Георга Ольденбургских Семевский указывает воспоминания Любянского.



греться в лучах собственной харизмы и могущества, не думая о личных или политических обязательствах.

Выслушивая советы противоборствующих сторон, Александр не поддерживал открыто ни одной из них, оставляя выбор решения за собой. После Тильзита он позволял Румянцеву развивать союзнические отношения с Францией, тогда как сам одновременно препятствовал этому собственными действиями. Сперанский был главным поборником государственных преобразований, Аракчеев укреплял дисциплину, а император мог обратиться за советом к кому-то со стороны. Так, генерал Философов предложил радикальный план, как разделить землю между крестьянами более справедливо, с тем чтобы укрепить крепостное право и общественный порядок [Сафонов, Филиппова 1983; Сафонов, Филиппова 1985]. Понятно, что Екатерина представляла собой полезное связующее звено с Москвой как с центром дворянской оппозиции. Однако, как уже было отмечено, между взглядами княгини и императора имелись существенные различия философского характера: он был идеалистом и мистиком, не доверявшим ни себе, ни другим — она была прагматичнее и проще психологически. Во внутренних делах она инстинктивно сильнее брата тяготела к консерватизму, а во внешних — к национализму [Vries de Gunzburg 1941: 49]. Советники предлагали царю возможные подходы к той или иной проблеме, предоставляя ему принимать собственное решение. Нет указаний на то, что Екатерина обладала большим влиянием, чем другие. В 1807 году она хотела выйти замуж за австрийского императора, но не смогла преодолеть сопротивление Александра [Nikolai Mikhailovich 1910: 9–17]. В 1810 году Карамзин, ее кандидат на пост министра народного просвещения, был отвергнут, а его «Записка о древней и новой России» не привела к заметным изменениям в политике. Попытка Екатерины восстановить высокое положение Ростопчина также не увенчалась успехом; его «Записка о мартинистах» не стала сокрушительным ударом по масонству.

«Тверская полубогиня», таким образом, не была всесильным «серым кардиналом», как подозревали некоторые иностранные дипломаты. Но ее салон был тем проводником, который доводил

до Зимнего дворца голос московских консерваторов и провинциального дворянства, чьи страхи москвичи отражали и озвучивали. В период относительной политической стабильности вплоть до 1811 года Александр мог позволить себе игнорировать этот голос. В условиях кризиса 1812 года, однако, оказалось, что ему известны их заботы, что он готов принять Ростопчина в качестве их лидера и уступить их желаниям. В этом отношении усилия Ростопчина, Карамзина и Екатерины Павловны были щедро вознаграждены.

В то время как Ростопчин, Карамзин и Глинка организовывали деятельность консерваторов в Москве, распространяя свои взгляды в аристократических салонах, через прессу и неофициальные встречи с членами царской семьи, независимое оппозиционное течение возникло и в Санкт-Петербурге. Его центральной фигурой был адмирал Шишков, и в соответствии со статусом столицы течение было квазибюрократическим по форме. Эта оппозиция была не столь откровенна, но на свой лад не менее критично настроена по отношению к режиму, чем консерваторы Москвы и Твери. Шишков разделял их опасения по поводу создания министерств в 1802 году, вступления в войну в 1805 году и заключения Тильзитского мира в 1807-м [Шишков 1870, 1: 87, 95]. Однако по причине присущей ему осмотрительности и из-за политической атмосферы в столице он не изливал свое недовольство в гневных брошюрах и воззваниях. Вместо этого он посвятил себя литературной деятельности.

Это было отступлением, но не капитуляцией. В развернувшейся битве между «старым и новым слогом» Петербург был в целом на стороне адмирала, тогда как его противники базировались в Москве. Поскольку его защита «старого слога» имела яркую политическую окраску, литературная борьба фактически выражала политические разногласия другими средствами. Опорным пунктом Шишкова была Российская академия, которой он управлял железной рукой. Адмирал не терпел никакой критики своих сочинений, и академия покорно перевозносила их и публиковала. Он развивал свое учение о «старом слоге» в периодических изданиях академии, которые не выжили бы без его

энергичного руководства. Одна из особенностей его диктаторского правления заключалась в том, что Российская академия привлекала только писателей, одобренных им самим, и при этом даже их творческая активность подавлялась. В результате академия не выполняла своей задачи — играть ведущую роль в литературной жизни. Жихарева, который предпочитал «новый слог», но был знаком с Шишковым и расположен к нему, шокировал список членов академии. Туда были включены имена нескольких серьезных авторов и нескольких важных государственных лиц, но не было некоторых лучших российских писателей (например, Карамзина и В. А. Озерова). «Понять не могу, как попали в нее люди, вовсе не известные в литературе или, что еще хуже, известные своей бездарностью?» — удивлялся Жихарев [Жихарев 1989, 2: 199]<sup>37</sup>.

Примерно в 1804–1805 годах Шишков приступил к организации литературных вечеров и привлек к этому троих своих друзей: бывшего обер-прокурора Святейшего Синода Д. И. Хвостова<sup>38</sup>, заместителя министра народного просвещения и попечителя Московского учебного округа М. Н. Муравьева [Amburger 1966: 112, 192, 194] и Державина (дружба Шишкова с Державиным началась примерно в это же время) [Ходасевич 1988: 210]. Они договорились регулярно встречаться в доме одного из четверых друзей, чтобы читать и обсуждать свои сочинения. Все они принадлежали к тому же поколению, что и Шишков (Державин родился в 1743 году, Шишков — в 1754-м, Хвостов — в 1756-м, а Муравьев — в 1757-м) [Amburger 1966: 528, 554], и, подобно ему, достигли совершеннолетия до того, как культура конца XVIII века и разрыв между бюрократией и интеллектуалами начали развешивать социальный и культурный фундамент старого режима. Собранная Шишковым группа не была так озабочена сохранением старого порядка, как Карамзин, Ростопчин или Глинка, и не

---

<sup>37</sup> Дневниковая запись 18 марта 1807 года. См. также [Сухомлинов 1874–1888, 7: 189–196, 235–236, 557; Кочубинский 1887–1888: 39–54; Ходасевич 1988: 211–212].

<sup>38</sup> Его биографические данные см. [Хвостов 1938: 361].

видела особой необходимости открыто защищать его. В конце концов, даже самый молодой из них (Муравьев) был все-таки на шесть лет старше главы московской троицы (Ростопчина), а Державин был вдвое старше Глинки. Две группы находились по разные стороны барьера, отделявшего поколение людей, выросших до 1789 года, в обстановке, которую Талейран ностальгически называл «сладостью жизни», от тех, кто был еще молод и впечатлителен, когда Людовик XVI взошел на эшафот.

В начале 1807 года Шишков превратил эти частные встречи в публичные мероприятия, которые привлекали значительную часть петербургской литературной элиты. Первое из них состоялось в его доме в субботу 2 февраля и собрало около 20 человек, в основном писателей, но присутствовали также Лабзин, флигель-адъютант императора П. А. Кикин и полковник лейб-гвардии Семеновского полка А. А. Писарев. Лабзин и Шишков были знакомы еще с 1790-х годов. Православная вера Шишкова, как видно, не повлияла на его отношения с известным мистиком<sup>39</sup>. Подобные субботние встречи имели место трижды в феврале, четырежды в марте и один раз в мае, после чего группа распущалась до осени. Эти собрания посещали выдающиеся петербургские деятели культуры и политики, в том числе генерал-губернатор С. К. Вязмитинов, министр народного просвещения П. В. Завадовский, сенаторы Д. И. Резанов и С. И. Салагов, помощник директора Публичной библиотеки и почетный член Академии художеств А. Н. Оленин и бывший адъютант Г. А. Потемкина генерал в отставке С. Л. Львов<sup>40</sup>.

Здесь был представлен широкий спектр литературных дарований и поколений. Так, Д. Хвостов, у которого не находили никакого таланта, был посмешищем литературного мира [Хво-

<sup>39</sup> О связи логи Лабзина с группой Шишкова см. статью «Журналы “Беседы любителей русского слова”» [Десницкий 1958: 108–109]. Жихарев в записи 3 февраля 1807 года приводит список присутствовавших на этом собрании [Жихарев 1989, 2: 117]. Лабзин в письме к Руничу от 9/20 января 1798 года упоминает Шишкова в этом контексте: РО ИРЛИ. Ф. 263. Оп. 2. Д. 216. Л. 3–4.

<sup>40</sup> См. записи Жихарева 17 февраля, 10, 17 и 24 марта и 5 мая 1807 года [Жихарев 1989, 2: 139–141, 177–178, 197, 206, 279].

стов 1938: 359], а Крылов и Гнедич были известны как писатели большого дарования. Интересен возрастной состав группы. Все члены ее ядра, кроме Державина, — те, кто организовывал встречи и принимал у себя собравшихся (Шишков, Муравьев, И. С. Захаров и двоюродные братья Хвостовы), — родились в 1750-е годы. Остальные, как правило, были моложе. Из 20 членов кружка (не считая Н. И. Язвицкого, чью дату рождения не удалось установить) один родился в 1739 году, трое — в 1740-е и 1750-е, пятеро — в 1760-е, четверо — в 1770-е, пятеро — в 1780-е и один — в 1790 году<sup>41</sup>. Из родившихся до 1760 года один лишь Д. П. Горчаков был писателем, тогда как из родившиеся после 1780 года писателями были все. Шестерка, образовавшая ядро группы, состояла сплошь из ветеранов академии (Шишков был самым молодым из них, если не считать Муравьева, который, похоже, перестал посещать литературные собрания еще до 1807 года), а из 22 оставшихся девять человек были действующими или будущими ее членами. Поскольку Лабзин, сенаторы Резанов и Салагов, Завадовский, Вязмитинов и генералы Кикин и Львов не были академиками, то доля академиков в писательском составе была еще выше (девять из 15)<sup>42</sup>.

Таким образом, Шишков протягивал руку молодому поколению. Когда встречи еще только планировались, Жихареву было сказано, что абсолютно «все литераторы без изъятия, представленные хозяину дома кем-либо из его знакомых, имеют право на них присутствовать и читать свои сочинения, но молодые люди, <...> подающие о себе надежды, будут даже приглашаемы, потому что учреждение этих вечеров имеет главным предметом приве-

---

<sup>41</sup> Годы рождения членов группы: Завадовский — 1739, С. Л. Львов — 1742, Вязмитинов — 1748, Салагов — 1756, Резанов — 1757, Д. П. Горчаков — 1758, Оленин — 1763, П. И. Соколов — 1764, П. М. Карabanов — 1764, Лабзин — 1766, Крылов — 1768, П. Ю. Львов — 1770, Кикин — 1775, Я. А. Галенковский — 1777, М. С. Шулепников — 1778, Писарев — 1780, В. Ф. Тимковский — 1781, С. А. Ширинский-Шихматов — 1783, Гнедич — 1784, Жихарев — 1788, П. А. Корсаков — 1790. Эти данные приведены в указателе ко второму тому «Записок» Жихарева [Жихарев 1989].

<sup>42</sup> См. [Сухомлинов 1874–1888, 7: 444–465].

дение в известность их произведений» [Жихарев 1989, 2: 109]<sup>43</sup>. В организации собраний проявлялась явная тенденциозность: сторонников «нового слога» отвергали (Жихарев отметил «какое-то обидное равнодушие к московским поэтам» [Жихарев 1989, 2: 208]<sup>44</sup>), в то время как академики превалировали. Шишков хотел не только поддержать молодые таланты, но и переманить молодое поколение в свой лагерь. В результате литераторы более молодого возраста часто находили эти вечера и всю Российскую академию скучными и не имеющими особой ценности для литературы<sup>45</sup>.

Литературные вечера, как и академия, привлекали и литераторов, и официальных лиц, а также тех, кто, подобно полковнику Писареву, был и тем и другим. Эта особенность бросалась в глаза на третьем вечере, который, как писал Жихарев, «не похож был на вечер литературный. Кого не было! Сенаторы, обер-прокуроры, камергеры и даже сам главнокомандующий» [Жихарев 1989, 2: 139]. Показательно, что на первом же собрании политика обсуждалась в той же мере, что и литература. Недавнее сражение при Прейсиш-Эйлау вызвало горячие споры: офицеры Кикин и Писарев считали, что войну надо продолжить, тогда как Лабзин и А. Хвостов ратовали за мир. Шишков выражался уклончиво — по крайней мере в присутствии молодого Жихарева — и пробормотал лишь, что Россия должна действовать осторожно и что он полностью доверяет решению императора. Из записок Жихарева можно понять, что атмосфера не была резко оппозиционной, — хотя, возможно, он понимал не все тонкости обсуждаемого. Но все-таки, в отличие от салона Екатерины Павловны, это не было форумом, созданным для того, чтобы выразить возмущение правительством. Вместо этого здесь предоставлялась возможность для встреч консервативной литературной элиты с единомышленниками из числа государственных служащих, придворных и военных. Здесь Шишков и другие представители старшего

<sup>43</sup> Дневниковая запись 24 января 1807 года.

<sup>44</sup> Запись 24 марта 1807 года.

<sup>45</sup> См. также [Стоюнин 1877, 2: 525–528].

поколения могли изложить свои взгляды на русскую культуру — ну и, разумеется, политику<sup>46</sup>.

С наступлением осени встречи возобновились и проходили в обстановке недовольства, вызванного Тильзитским миром и континентальной блокадой<sup>47</sup>. Как объяснял Шишков в своем «Рассуждении о старом и новом слоге», для него политика и культура были неотделимы друг от друга, и сложившаяся в обществе после 1807 года атмосфера побудила его придать новый импульс вражде с «новым слогом». В результате в 1808–1811 годах в прессе была опубликована целая серия колючих заметок и сердитых опровержений [Булич 1902–1905, 1: 220–231; Стоюнин 1877, 2: 537]. В этой обстановке литературные вечера Шишкова и Державина приобретали политическую окраску даже в том случае, если о политике как таковой на них речь не шла. Публика на этих заседаниях собиралась в основном все та же. Правда, появилось и несколько новых лиц, в том числе друг Карамзина, поэт И. Дмитриев, ставший министром юстиции в 1810 году. Частыми гостями были также друзья Шишкова: губернатор Санкт-Петербурга М. М. Бакунин, герой войны фельдмаршал М. И. Кутузов и адмирал Мордвинов, который помогал Сперанскому в подготовке финансовой реформы и был принят в члены Государственного совета. Мордвинов выступал за то, чтобы правительство больше прислушивалось к запросам дворянства, но отвергал любую мысль о вмешательстве в вопрос о крепостном праве. Помимо этих высокопоставленных особ из поколения Шишкова, в группу вошли также родившийся в 1774 году и состоявший ранее в Негласном комитете Строганов, противник союза с Францией, и несколько подающих надежды молодых интеллектуалов:

---

<sup>46</sup> См. записи Жихарева 17 и 3 февраля 1807 года [Жихарев 1989, 2: 139, 117–120] и предисловие М. А. Гордина [Жихарев 1989, 1: 26].

<sup>47</sup> Особенно бурно это недовольство выражалось в театре. См., например, оставленное А. Стурдзой впечатляющее описание реакции публики на пьесу Озерова «Дмитрий Донской» [Стурдза 1851: 6]. О двойственном отношении Шишкова к этой пьесе см. [Сидорова 1956]. О патриотических веяниях в театре и, в частности, о драматургах, близких к Шишкову, см. [Альтшуллер 1984: 137–167].

С. И. Висковатов (родившийся в 1786 году), А. Стурдза и С. Аксаков (оба 1791 года рождения) [Аксаков 1955–1956, 2: 302; Брокгауз, Ефрон 1890–1907, 38: 840–841].

У группы Шишкова — Державина, как и у консерваторов Москвы, имелись связи с императорской семьей. Императрица-мать Мария Федоровна сочувствовала их взглядам и приглашала литераторов, связанных с группой, читать отрывки из своих произведений в ее пригородной резиденции в Павловске. Посол Савари жаловался в 1807 году Наполеону, что петербургская элита регулярно совершает паломничество в ее салон и что ее покровительство придает взглядам Шишкова и его друзей бóльшую известность и весомость [Альтшуллер 1984: 163]. С другой стороны, Шишков (как и Ростопчин) раздражал Александра своей политической активностью. При создании Государственного совета в 1810 году в его состав были включены Мордвинов и Философов. Мордвинов хотел предложить императору пригласить также и Шишкова, но Шишков попросил этого не делать. Позже Философов (не знавший Шишкова лично) зашел к нему домой повидать гостившего у него Мордвинова и спросил хозяина, отчего тот не состоит членом Государственного совета. Оба этих сановника из поколения Шишкова считали его вполне достойным столь высокого положения. Ничего не говоря Шишкову (по версии самого адмирала), Философов направился к царю, чтобы позаботиться об исправлении этого ненормального положения. Впоследствии он рассказывал Шишкову: «Я заметил, что [император] настолько нерасположен к Вам, что когда я стал настаивать, он наконец сказал, что скорее согласится не править более, чем ввести вас в совет» [Шишков 1870: 115]<sup>48</sup>. Шишков был шокирован столь глубокой враждебностью Александра. Таким образом, он был, подобно Ростопчину, отстранен от государственной службы (хотя и не искал ее) и отдался вместо этого своим литературным занятиям. Он был непопулярен при дворе, импе-

---

<sup>48</sup> См. также письмо Шишкова к Ивану Ивановичу [де Траверсе] от 31 августа 1810 года, Санкт-Петербург, и анонимное письмо к Шишкову от 12 сентября 1810 года: РГАВМФ. Ф. 166. Оп. 1. Д. 2669. Л. 1–3.



ратор отклонил его просьбу напечатать собрание его сочинений в издательстве Морского министерства, и вместе с тем неудовлетворенность Шишкова отражала настроения дворянства, которое все более разочаровывалось в политике монарха.

Как вспоминал Вигель, французская угроза висела тяжким грузом над обществом, и в числе немногих сил, способных оказать ей сопротивление, выделялись религия и патриотизм. Говорить по-французски считалось все более непатриотичным, и «знатные барыни на французском языке начали восхвалять русский, изъявлять желание выучиться ему или притворно показывать, будто его знают» [Вигель 1928, 1: 359–360]. Ростопчин отбросил свой изысканный французский и, взывая к патриотическим чувствам, заговорил на нарочито простонародном языке; Екатерина Павловна тоже совершенствовалась в своем русском. Созданный Ростопчиным образ Богатырева, «Русский вестник» Глинки, патриотические драмы Глинки, Державина и Озерова, как и доктрины Шишкова, приветствовались публикой, которая стремилась защитить свою точку зрения и сохранить привычный образ жизни, обосновывая это идеей национальной идентичности в духе социального консерватизма.

В 1810 году, откликаясь на эти настроения, группа Шишкова и Державина решила преобразовать свои собрания в официальную организацию, чьи чтения были бы открыты для столичной элиты. Это был знаменательный шаг, поскольку консервативно настроенные дворяне и сановники старшего поколения обычно не создавали официальных организаций для распространения идей, которые можно было бы хоть в какой-то степени расценить как политические, не говоря уже об оппозиционных взглядах. Это решение свидетельствовало об отстраненности группы от политики правительства и намерении объединиться на основе идеологии. Хотя новая организация ни в коей мере не представляла собой политическую партию, она представляла из себя осторожный шаг от мира, полностью разделенного на частную и официальную сферы, к гражданскому обществу, в котором политика реализуется посредством независимых структурированных организаций, не основанных ни на родстве, ни на покровительстве.

Обсудив различные варианты, члены общества решили назвать его «Беседой любителей русского слова». Оно состояло из четырех разрядов, у каждого был свой председатель (Шишков, Державин, А. Хвостов и Захаров), четыре или пять действительных членов и три-четыре члена-сотрудника, которые при освобождении места могли стать действительными. Общество имело четырех попечителей (ими были Мордвинов, министр юстиции Дмитриев, министр народного просвещения Разумовский и его предшественник на этом посту Завадовский) и 33 почетных члена<sup>49</sup>. Карамзинистам вроде Вигеля эта структура (напоминавшая ему Государственный совет) представлялась бессмысленной, поскольку у разных разрядов не было самостоятельной функции. Более того, это казалось отражением абсурдности «Беседы» в целом, которая «имела более вид казенного места, чем ученого сословия, и даже в распределении мест держались более Табели о рангах, чем о талантах» [Вигель 1928, 1: 360–361].

Это обвинение было не вполне заслуженным, потому что деление на разряды облегчало организацию вечеров, которые «Беседа» планировала в мельчайших деталях. Однако в определенном смысле точка зрения Вигеля была верна: поборники «старого слога» возражали против таких особенностей, принятых у адептов «нового», как намеренная неформальность и эгалитаризм, и отстаивали четкое разделение между формами, подходящими для повседневности, и подобающими для таких торжественных событий, как литературные чтения. Они выдвигали концепцию общества — важную для старого режима в целом и российского служилого государства в частности, — в котором все взаимоотношения основаны на единой иерархии. Ничто не могло быть более чуждым представлениям членов «Беседы» о чинах и о приличии, чем взволнованный до слез Сергей Глинка, обращающийся со страстной речью к толпе крестьян, или Ростопчин, изображающий неотесанного деревенщину. Торжественная обстановка и церемониальность «Беседы» должны были подчеркнуть особое достоинство литературы, подобно тому как

<sup>49</sup> Список членов «Беседы» опубликован в [Альтшуллер 1984: 365–370].

церемониальность монархии выражала и внушала благоговение перед ней. Приверженность «старому слогу» была отчасти свойством поколения, проповедовавшего уважение к возрасту, традиции и высокому общественному положению. Это отразилось и в иерархической структуре «Беседы», где действительные члены были, как правило, более известны и старше по возрасту и по чину, чем члены-сотрудники. К тому же в обществе состояло много чиновников, для которых уважение к бюрократическим нормам было второй натурой; их вселенная, сформированная в XVIII веке, еще не была разделена на мир литературы и мир государственной службы [Альтшуллер 1984: 51, 98].

«Беседа», объединившая большую часть прежнего литературного кружка Шишкова, по праву гордилась впечатляющим подбором литературных талантов. Как указывает Альтшуллер, в нее входили «талантливейшие писатели старшего поколения» (Державин, Крылов, Шишков), «крупнейшие литераторы “второго ранга”» (Шаховской, С. А. Шихматов, В. В. Капнист, Д. П. Горчаков, Н. П. Николев, П. М. Карabanов), ученые (Ермолаев, Восток), «талантливая молодежь» (Н. И. Греч, В. Н. Олин, Жихарев, А. П. Бунина, Гнедич) [Альтшуллер 1984: 52]<sup>50</sup>. Примечательно, что практически ни одно из имен списка членов «Беседы» 1811 года не встречается в листе подписчиков «Русского вестника» за тот же год. Оно и понятно: круг последователей Шишкова, состоявший из видных петербургских сановников и писателей, резко отличался от круга читателей Глинки — московских и провинциальных дворян и купцов.

Подобно первоначальной группе Шишкова, «Беседа» была не просто собранием писателей и филологов. Почетные должности попечителей занимали бывшие или действующие министры, а список почетных членов читался как перечень самых видных представителей российской элиты. Кроме двух епископов, он

---

<sup>50</sup> Писатели «нового слога», высмеивавшие «Беседу», оказали значительное влияние на восприятие этого общества последующими исследователями. В своем труде Альтшуллер стремится исправить эту одностороннюю точку зрения.

включал Вязмитинова, А. Д. Балашова, министра внутренних дел О. П. Козодавлева и обер-прокурора Святейшего синода Голицына. Почетными членами «Беседы» были также генерал-квартирмейстер (фактически начальник штаба армии) П. М. Волконский, попечители учебных округов Петербурга и Москвы, председатель Комитета министров, директор императорских театров и два члена Государственного совета. Хотя они не играли активной роли, их имена придавали «Беседе» дополнительный политический вес. Когда Державин добавил в список Карамзина, Шишков в отместку ввел в общество Ростопчина и некоторых других лиц, не нравившихся Державину. Однако они, как и другие проживавшие вне Петербурга участники, не посещали собраний. И наконец, уступая политической необходимости, Шишков скрепя сердце зачислил в члены «Беседы» Сперанского и его помощника Магницкого, хотя вся группа была категорически против политики, которую проводили эти двое [Ходасевич 1988: 233]<sup>51</sup>.

Организаторы «Беседы» надеялись, что император утвердит ее устав в ноябре 1810 года, но, как замечает Альтшуллер, он «не торопился разрешать многолюдные собрания подозреваемых в оппозиции литераторов» [Альтшуллер 1984: 52]. Д. Хвостов слышал, что «у государя за столом, говоря о новой “Беседе”, сказано было, что она вместо слова “билет” намерена употребить “звальцо”. Сие произвело всеобщий хохот, и “Беседа” оставлена без утверждения» [Хвостов 1938: 368]<sup>52</sup>. К середине февраля, однако, «Беседа» получила одобрение императора и могла начать работу<sup>53</sup>. Причина этой задержки не вполне ясна: возможно, Александр желал выразить свое неудовольствие, но при этом избегал конфронтации, к которой привел бы прямой отказ.

Первые публичные чтения состоялись 14 марта 1811 года в 8 часов вечера «в присутствии двухсот избранных» [Хвостов 1938: 369], допущенных по особому приглашению. Обстановка

<sup>51</sup> Стурдза полагал, хотя и не был уверен, что видел Карамзина на собраниях «Беседы» [Стурдза 1851: 5].

<sup>52</sup> Запись конца января — начала февраля 1811 года.

<sup>53</sup> См. [Десницкий 1958: 109] (запись 21 февраля 1811 года).

в доме Державина на Фонтанке была праздничной и торжественной. Дамы были в вечерних туалетах, мужчины — в парадной форме при медалях и лентах. Стурдза позднее вспоминал:

Зала средней величины, обставленная желтыми под мрамор красивыми колоннами, казалась еще изящнее при блеске роскошного освещения. Для слушателей вокруг залы возвышались уступами ряды хорошо придуманных седалищ. Посреди храмины муз поставлен был огромный продолговатый стол, покрытый зеленым тонким сукном. Около стола сидели члены беседы под председательством Державина, по мановению которого начиналось и перемежалось занимательное чтение вслух, и часто образцовое [Стурдза 1851: 5–6].

Некоторые участники собрания, продолжавшегося два или три часа, приезжали (по воспоминаниям К. С. Сербиновича) «по чувству патриотизма, если не по убеждениям литературным» [Александр Семенович Шишков 1896: 574]. Это чувство патриотизма было могучей силой, и не один Стурдза отмечал, что «Беседа» стала ответом образованной части общества на создание в 1806–1807 годах народного ополчения. Так Россия собиралась с силами, чтобы противостоять агрессии Наполеона [Десницкий 1958: 112]<sup>54</sup>.

Никто не выразил желания выступить со вступительным словом, и Шишков взял эту задачу на себя [Шишков 1870, 1: 116]. Текст его речи, объемом в 38 печатных страниц, изобилует длинными цитатами из русских писателей и поэтов; в нем вновь утверждался основной тезис теории «старого слога»: культура должна опираться на родной язык, а не подражать иностранной. Шишков всячески превозносил Екатерину II, кумира консерваторов, Александра же упомянул лишь для того, чтобы подчеркнуть, что создание «Беседы» отвечает устремлениям самого государя, поскольку и его реформы образования, и деятельность «Беседы» способствуют распространению просвещения в России. Он говорил, что русский язык — один из древнейших в мире

<sup>54</sup> Запись 14 марта 1811 года.

и никоим образом не ниже греческого или латыни; это язык, способный выразить любое понятие и чувство, а народный язык — важнейший источник национальной культуры. (Даже критики Шишкова с уважением отмечали его усилия добиться признания ценности народного языка и поэзии [Булич 1902–1905, 1: 231–233]). Воздерживаясь от нападков на зарубежную культуру и языки, он призывал русских изучать собственные, ибо в противном случае, предупреждал он, истощатся внутренние жизненные силы народа [Шишков 1818–1834, 4: 108–146]. Это был тот же пафос, которым было проникнуто его «Рассуждение о старом и новом слоге». Шишков, в отличие от Ростопчина с выдуманным им Богатыревым, тщательно избегал псевдонародных просторечий и ксенофобии. Его представление о собственной роли опиралось на понятие достоинства: строго упорядоченная структура «Беседы» была данью уважения к достоинству русской литературы; достоинство языка не позволяло произвольно использовать просторечия ради дешевого эффекта; достоинство патриотизма не допускало эксплуатации этого чувства в политических играх.

Он считал, что его речь удалась. «Речь мою слушали с великим вниманием: во время чтения царствовала совершенная тишина и безмолвие». Затем аудиторию потчевали занимательными баснями Крылова, и ««Беседа» кончилась к общему всех удовольствию. Все отзывались о ней с похвалою» [Шишков 1870, 1: 116–117]. Общее впечатление было столь благоприятным, что присутствующие тут же, «без всякой просьбы со стороны членов «Беседы», учредили подписку, чтобы ее поддержать» [Хвостов 1938: 364]. Графиня Строганова призналась Шишкову, что поначалу боялась заскучать из-за внушительного объема его речи, но речь оказалась такой интересной, что она охотно слушала бы ее еще два часа кряду [Шишков 1870, 1: 116–117]. Шишков был доволен тем, что вечер побудил многих дам заинтересоваться родным языком и литературой. На следующий день он навестил графиню и застал там Крылова, который читал гостям свои басни, пользовавшиеся неизменным успехом. Зашедший в салон Жозеф де Местр наблюдал эту сцену и сказал Шишкову по-фран-

цузски: «Я вижу нечто новое, никогда небывалое: читают по-русски, — язык, которого я не разумею и редко слышу, чтоб в знатных домах на нем говорили!»<sup>55</sup> Шишков, естественно, был счастлив.

Ежемесячные публичные чтения продолжали собирать целые толпы. На втором чтении, состоявшемся 22 апреля 1811 года, было «не менее трехсот человек лучших людей в городе, в котором числе множество дам» [Хвостов 1938: 372]<sup>56</sup>. Интерес, который проявили женщины, был особенно отраден, потому что Шишков уже давно убедился в том, что очарование дам, говорящих по-французски, сбивает с пути истинного даже самых ярых русофилов<sup>57</sup>. Поэтому было публично заявлено, что цель «Беседы» — «приохотить публику, а особливо дам, к русской словесности и языку» [Хвостов 1938: 364]<sup>58</sup>. Спустя год интерес публики к чтениям не угас, и 23 февраля 1812 года они собрали три сотни гостей. Стремясь привлечь внимание общества и за пределами столицы, «Беседа» послала свои издания (опубликованные как «Чтения в “Беседе любителей русского слова”») главам 21 губернии. Большое число столичных жителей, посещающих чтения, и их социальный статус, как и усилия «Беседы» завоевать провинциальную публику (которые, скорее всего, были успешны, так как члены общества и его петербургские попечители имели связи в провинции), позволяют предположить, что «Беседа» превратилась в важный форум, выражающий и распространяющий мнения элиты не только в столице, но, возможно, и по всей России [Десницкий 1958: 127–128]<sup>59</sup>.

Реакция людей на «Беседу» зависела, конечно, от их политических и литературных взглядов. Шишков послал опубликованный отчет о первом вечере Марии Федоровне и ее дочери Анне Павловне. Императрица-мать ответила благожелательно и, очевидно, просила Шишкова передать ее наилучшие пожелания членам

<sup>55</sup> Цит. по: [Шишков 1870, 1: 117].

<sup>56</sup> Запись в апреле 1811 года.

<sup>57</sup> РО ИРЛИ. Ф. 358. Оп. 1. Д. 216. Письмо Шишкова к племяннице.

<sup>58</sup> Запись в ноябре 1810 года.

<sup>59</sup> Записи 11 и 23 февраля 1812 года.

общества, которые приняли ее приветствие «с глубочайшей благодарностью». Император, напротив, демонстративно осадил членов группы, отклонив их приглашение на публичное чтение. Тогда Державин отвез ему приглашение лично, после чего объявил, что император все-таки обещал посетить чтения, но тот привел его в замешательство, передав ему через Балашова: «Я вам не давал слова; вы ослушались» [Хвостов 1938: 372]<sup>60</sup>.

Одни приверженцы «нового слога» забавлялись, другие были шокированы. Вигель заявил, что гости собрания, на котором он присутствовал, «ровно ничего не понимали, не показывали, а может быть, и не чувствовали скуки: они исполнены были мысли, что совершают великий патриотический подвиг, и делали это с примерным самоотвержением». «Горе было только тем, — иронизировал он, — которые понимали и принуждены были беспрестанно удерживать зевоту». Собрание, судя по всему, имело политические цели: «...модный свет полагал, что торжество отечественной словесности должно предшествовать торжеству веры и отечества» [Вигель 1928, 1: 360]. Остальные отзывы тоже были нелестными. После двух первых собраний А. Тургенев заметил: «...множество съезжается из знатной публики, но мало проку, ибо члены большею частию и в сторожа на Парнас не годятся» [Тарасов 1911–1921, 2, 436]<sup>61</sup>. А Карамзин — главная (хотя обычно не называемая по имени) мишень нападок адептов «старого слога» — только простодушно пожаловался: «Для чего сии господа не хотят оставить меня в покое?» [Письма Карамзина 1866: 139]<sup>62</sup>.

Разряды общества в 1811–1812 годах проводили чтения по очереди; каждое из них сначала обсуждалось на заседании разряда, где оно должно было получить одобрение. Первое торжественное чтение в марте 1811 года организовал разряд Шишкова, второе, состоявшееся 22 апреля, — разряд Державина, третье

<sup>60</sup> Запись в апреле 1811 года. См. также дневниковую запись Десницкого 10 апреля 1811 года [Десницкий 1958: 114]; письма Шишкова к Вилламову от 18 и 22 апреля 1811 года: ОР РНБ. Ф. 143. Д. 115. Л. 1–2.

<sup>61</sup> Письмо к Н. И. Тургеневу от 2–3 мая 1811 года, Санкт-Петербург.

<sup>62</sup> Письмо к Дмитриеву от 19 февраля 1811 года, Москва.



провел 26 мая разряд А. Хвостова. После роспуска собрания на лето и раннюю осень, когда дворяне обычно уезжали в деревню, чтения были возобновлены 11 ноября разрядом Захарова [Десницкий 1958: 115, 120, 122]<sup>63</sup>.

Затем снова пришел черед адмирала. Движимый свойственной ему пламенной убежденностью в правоте своего дела, он набросал конспект дерзкой речи, «но не смел одного читать» [Шишков 1870, 1: 118], боясь вызвать гнев монарха. Поэтому он принял необычные меры предосторожности, заручившись 4 декабря на собрании «Беседы» формальным одобрением всех четырех разрядов, и уже после этого произнес речь на чтениях 15 декабря. Для начала огласили письмо царя, в котором тот благодарил «Беседу» за посланный ему третий выпуск «Чтений». Александр явно не спешил, так как этот выпуск был опубликован еще летом, а на ноябрьском собрании его ответ не зачитывался. Хотя не исключено, что Шишков хотел озвучить письмо именно в этот вечер, чтобы подчеркнуть свои хорошие отношения со двором и как-то нейтрализовать возможное недовольство его речью, напечатанной в очередном выпуске «Чтений» [Шишков 1870, 1: 117–118]<sup>64</sup>. Он нервничал, ощущая, что вступает в политическую игру. Двадцать дней спустя, описывая другу этот вечер, он писал, что «более четырех сот посетителей», среди которых «духовенство и знатнейшие особы обоего пола <...> едва вместились в залу». С обычным своим чистосердечием он добавлял: «Признаюсь, что я приступил к чтению с некоторою робостию; казалось мне, что не все разделят со мною мои чувствования, и, может быть, многим некоторые истины покажутся слишком смелыми» [Шишков 1870, 2: 321–322]<sup>65</sup>.

---

<sup>63</sup> Записи 22 апреля, 26 мая и 11 ноября 1811 года. Перечень всех докладов, представленных на заседаниях общества и опубликованных в виде кратких обзоров в «Чтениях в “Беседе любителей русского слова”», содержится в работе [Альтшуллер 1984: 372–374].

<sup>64</sup> См. также [Десницкий 1958: 123–124] (записи 4 и 15 декабря 1811 года). Письмо императора опубликовано в том же выпуске «Чтений», что и речь Шишкова, сразу после нее. Это позволяет предположить, что и зачитана она была раньше.

<sup>65</sup> Письмо к Я. И. Бардовскому от 27 декабря 1811 года.

Он начал свою речь, впоследствии опубликованную как «Рассуждение о любви к отечеству», с утверждения, что любовь к отечеству — это Богом данный инстинкт, столь же естественный, как любовь к родителям; поэтому «человек, считающий себя гражданином мира, то есть не принадлежащим ни к какому народу, подобен тому, кто не признает ни отца, ни матери, ни рода, ни племени» [Шишков 1818–1834, 4: 148]. Такой человек отрекается от своей человечности и опускается до уровня животного. Шишков утверждал, что патриотизм сильнее любой другой любви. На 14 страницах он перечислял классических героев, указывая их двойников из российской истории, как это любил делать и Глинка. Так, Фемистоклу был подобен патриарх Филарет (отец Михаила Романова), а петровский генерал Голицын напоминал Эпаминонда. Этими примерами Шишков хотел проиллюстрировать мысль о том, что истинный патриот готов пожертвовать собой на поле битвы, подвергнуться гонениям со стороны иноземных врагов, принять верную смерть и даже противостоять законам собственной страны, защищая свой народ. Никто из названных героев не был правителем, и все проявили личное моральное мужество. Нетрудно было увидеть в этом намек на людей, подобных самому Шишкову и способных выразить протест правителю, чтобы предупредить его, что отечество в опасности. Упомянутые им русские патриоты противостояли татаро-монголам и полякам. Подразумевалось, что Александр I также должен оказать сопротивление Наполеону.

Порицая тех, кто не любит родину, он считал, что еще более серьезную, скрытую угрозу представляют те, кто не проявляет патриотизма из слабости. «Отними у нас слепоту видеть в любимом человеке совершенство, — говорил он, — ум начнет рассуждать, сердце холодеть, и вскоре человек сей, ни с кем прежде несравненный, сделается для нас не один на свете, но равен со всеми, а потом и хуже других. Так точно отечество» [Шишков 1818–1834, 4: 165]. Эта болезнь поразила некоторых в России. Они презирают все русское и восхищаются всем иностранным. Осуждая ту гордость, что побуждает человека восстать против Бога и добродетели, он считал необходимым такой род национальной

гордости, который заставляет людей бескорыстно трудиться на благо своей страны. Если народ сознает себя ниже других в какой-то области знания или деятельности, он должен искать возможности подняться своими силами, не теряя присутствия духа и не торопясь подражать иностранцам.

Только патриотизм может придать народу силу подняться против захватчиков, а враги могут истощить его силы, подрывая духовное единство и приверженность своей идентичности:

...это есть средство надежнейшее мечей и пушек. <...> Мало-помалу налагает оно нравственные узы, дабы потом наложить и настоящие цепи. <...> Если бы какой народ <...> сделался во всем образцом и руководителем другого народа, так чтобы сей <...> не возлюбил ни страны своей, ни обычаев, ни языка, ни ремесел, ни забав, ни одежды, ни пищи, ни воздуха, и все сие казалось бы ему у себя не хорошо, а у других лучше: не впал бы он в достойное жалости уничтожение? [Шишков 1818–1834, 4: 171–172].

Патриотизм вдохновляет народ на борьбу за честь, традиции и интересы своей страны. Гордый народ — друг всех наций, но только до тех пор, пока они не стремятся завоевать его хитростью или силой (прозрачный намек на русских франкофилов и Тильзит).

Каковы источники русской национальной гордости? — спрашивал Шишков. Он называл три фактора. Первый — православная вера. Религия есть первооснова морали и, следовательно, мира в обществе, справедливости и верности своей стране. Вера в Бога и вечную жизнь дает людям силу противостоять ужасам битвы. Люди, которым незнакома истинная вера, могут обладать некоторыми из этих качеств, но тот, кто сознательно отверг ее, никогда не поднимется над своим себялюбием. Только молодые люди, воспитанные в любви к своей вере, смогут любить своего монарха, свою страну и все человечество.

Из этого следует, рассуждал он — и это был второй фактор, — что воспитанием молодежи должны заниматься соотечественники. Иностранец, даже имея лучшие намерения и будучи источником полезных практических знаний, воспитает молодых рус-

ских в любви к его собственной стране и ее обычаям, и они перестанут быть русскими. Но что произойдет, если иноземец будет обладать «худыми нравами, склонностью к безверию, к своевольству, к повсеместному гражданству, к новой и пагубной философии, к сим обманчивым именам начальствующего безначалия, верной измены, человеколюбивого терзания людей, скованной свободы?» [Шишков 1818–1834, 4: 182]. Последствия подобного воспитания можно предотвратить только в том случае, если Россия более решительно займется подготовкой своих собственных учителей и они удостоятся большего уважения, чем то, каким пользуются сейчас. Но если придется выбирать из двух зол, то невежество предпочтительнее дурного воспитания. «Лучше простой человек со здравым рассудком и добрыми нравами, нежели ученый с развращенными мыслями и худым сердцем» [Шишков 1818–1834, 4: 183].

Третий источник патриотизма — уважение к языку и литературе. Карамзин в статье 1802 года «О любви к отечеству и народной гордости» уже говорил, что любовь к своему языку является признаком самоуважения нации [Карамзин 1982: 96]. Шишков развил эту мысль, утверждая, что язык и литература — «душа народа, зеркало нравов, верный показатель просвещения, немолчный проповедник дел». Если бы мысли народа были ложными, язык не мог бы выразить правду. «Язык есть мерило ума, души и свойств народных. Он не может там цвести, где ум послушен сердцу, а сердце слепоте и заблуждению» [Шишков 1818–1834, 4: 184]. Это, разумеется, был еще один выпад против французов, их языка и книг; к тому же «новояз» Французской революции, как и Петровских реформ, показал несомненную связь между изменениями в политике и языке. Благородный язык выражает и поощряет добродетель. Единый язык осуществляет важнейшую связь, которая формирует и объединяет нацию. Люди, потерявшие уважение к своему языку, теряют и уважение к своей нации<sup>66</sup>.

Речь длилась часа полтора. Вначале Шишков опасался реакции аудитории, но, как он пишет, успех превзошел его чаяние, и тут

<sup>66</sup> См. также [Шишков 1818–1834, 4: 147–148, 150–163, 165, 161–187].

увидел он, «что, как бы нравы ни были повреждены, однакож правда не перестает жить в сердцах человеческих» [Шишков 1870, 2: 322]<sup>67</sup>. Его воинственный тон, резкая критика союза с Францией, отождествление патриотизма с военной славой и неприятием Запада задели слушателей за живое. На Д. Хвостова речь не произвела большого впечатления, но он отметил, что «члены Беседы были без памяти» [Хвостов 1938: 378]. Де Местр, пришедший на чтения, по-видимому, из любопытства, не смог ни от кого добиться причины всеобщего ажиотажа: публика была слишком взбудоражена<sup>68</sup>. Критики Шишкова, однако, были оскорблены вызовом, брошенным их патриотизму. Так, Батюшков, раненный на поле боя в 1807 году, говорил Вяземскому о членах «Беседы»: «Какое невежество! Какое бесстыдство!» — и возмущался тем, что бесталанности посредственности, «оградясь щитом любви к отечеству» — за которое он «на деле всегда был готов пролить кровь свою, а они — чернила, <...> гонят здравый смысл...» и к тому же невыносимо скучны [Батюшков 1989, 2: 205]<sup>69</sup>.

Речь Шишкова была переполнена националистическим пафосом, классическими аллюзиями и прославлением патриотического самопожертвования — непременными элементами культуры позднего Просвещения во всей Европе. Хотя все эти элементы могли служить защите старого режима, они, как хорошо известно, использовались и французскими революционерами, так что Шишков и его соратники чувствовали — по крайней мере интуитивно, — что в своей аргументации ступили на скользкую тропу. По своей идеологической направленности «Беседа» была, конечно, как небо от земли далека от Якобинского клуба, но не показателен ли был сам характер этого форума?

---

<sup>67</sup> Письмо к Бардовскому от 27 декабря 1811 года.

<sup>68</sup> Хвостов счел приводимые Шишковым примеры «ребяческими» и заметил, что «местами писано сильно и недурно, но вообще [речь] могла годиться при царе Михаиле Романове, а не потомках его» [Хвостов 1938: 378]. Он называет 16 декабря как дату чтения речи, а не 15-е (запись 16 декабря 1811 года). Об отзыве де Местра см. [Александр Семенович Шишков 1896: 575].

<sup>69</sup> Запись 27 февраля 1812 года, Санкт-Петербург.

Очевидно, лидеры «Беседы» видели эту опасность и старались разрядить атмосферу. Ораторствовать на публике свойственно революционным политикам, но манера выступления Шишкова была, надо думать, скорее уравновешенной и полной достоинства, нежели драматической и подстрекательской. Массовые общественные сборища могли бы оказаться взрывоопасными, но гости «Беседы» (отобранные исключительно из числа «лучших людей») приходили строго по приглашению, а сценарий собраний тщательно готовился заранее. Духу эгалитаризма, который мог бросить хотя бы неявный вызов общественному строю, основанному на чинах и происхождении, противостояла иерархическая структура «Беседы». Чтобы отвести всякое подозрение в политической неблагонадежности, ее лидеры стремились приглашать к себе императора и членов его семьи, сановников и придворных. Однако создается впечатление, что попытки примирить независимое общественное мнение со старым режимом не вполне удалось, так как и монарх, и все высшее общество относились к «Беседе» как к заявлению об оппозиционности к его политике.

17 марта 1812 года Сперанский был внезапно отстранен от должности государственного секретаря и отправлен в ссылку. Его отставка стала результатом все более громко проявлявшейся враждебности общества к его политике, к реформам в целом и к сближению с Наполеоном. Континентальная блокада, налоги на дворян, необходимость сдавать экзамены для продвижения по службе, подозрение, что Сперанский как сын священника является врагом дворянства, зловещий туман неясности, окутавший предлагаемые им реформы, чувство унижения после Тильзита — все это вменяли ему в вину, отчасти потому, что не хотели бросать обвинения в лицо императору. Мария Федоровна и Екатерина Павловна относились к Сперанскому с неприязнью, так же как и де Местр, Штейн и другие иностранцы, осуждавшие внешнюю политику Александра. Аналогичную позицию занимали Балашов и многие другие сановники [Raeff 1969: 172–182].

Это недовольство оставляло Александра в опасной изоляции. В отсутствие непосредственной внешней угрозы он был способен противостоять давлению внутренней оппозиции. Однако

в 1812 году перспектива войны вынуждала его устранить разрыв с дворянством и, стало быть, удалить Сперанского и отложить реформы. Граф Густав Армфельт, один из участников интриг против него, очертил ситуацию с чрезвычайной прямоотой: Сперанский должен быть обвинен в предательстве и «принесен в жертву, — виновен он или нет; это необходимо для сплочения народа вокруг главы государства». Это было самое важное, потому что «война, которая будет у нас с Наполеоном — это не обычная война, и чтобы избежать поражения, ее нужно превратить в войну отечественную. <...> Послушайте, что говорят в обществе, какое кругом негодование. Раскрыть заговор — это именно то, что нам надо»<sup>70</sup>.

У де Местра сложилось впечатление, что дворянство и даже население в своей массе (стонавшее под бременем налогов) приняли падение Сперанского с ликованием. Вигель вспоминал, что в Пензе (где многие читали «Русский вестник» Глинки) это событие «торжествовали как первую победу над французами». Люди поздравляли друг друга и только дивились, «как можно было не казнить преступника, государственного изменника, предателя и довольствоваться удалением его из столицы и устранением от дел!» [Вигель 1928, 2: 7–8]. Отставка Сперанского полностью себя оправдала и восстановила доверие дворянства к императору и его политике<sup>71</sup>.

Это означало победу и для Ростопчина с Шишковым — сам император дал это понять. Ростопчин прибыл в столицу 12 марта, чтобы просить у Александра разрешения состоять при его особе. Позже он вспоминал: «Государь принял меня очень хорошо» — и говорил о своей решимости сражаться с Наполеоном до конца [Ростопчин 1889: 647]. Пять дней спустя Сперанский был смещен. Ростопчин отрицал, что знал об этом заранее, не говоря уже об участии в какой-либо интриге против него. Через две недели после прибытия Ростопчина в столицу император — по-видимо-

<sup>70</sup> Цит. по: [Шильдер 1897, 3: 367].

<sup>71</sup> См. письмо де Местра к России от 9/21 апреля 1812 года [Maistre 1884–1886, 12: 105]. См. также [Шильдер 1897, 3: 45].

му, после разговора с Екатериной Павловной — назначил его генерал-губернатором Москвы. Ростопчин поначалу отказывался и просил вместо этого включить его в число приближенных императора. Екатерина и Александр пытались уговорить его, но Ростопчин не соглашался, и тогда Александр просто приказал ему занять предложенный пост [Ростопчин 1889: 646–649].

Вскоре после отставки Сперанского, которая, похоже, удивила Шишкова, адмирал был вызван к императору. Направляясь во дворец, он нервничал. Если Сперанский был смещен, а Мордвинов также просил освободить его от должности, то что могло ожидать Шишкова, о котором царь был невысокого мнения? Однако Александр сказал: «Я читал рассуждение ваше о любви к отечеству. Имея таковые чувства, вы можете быть ему полезны. Кажется, у нас не обойдется без войны с французами; нужно сделать рекрутский набор, и я бы желал, чтобы вы написали о том манифест» [Шишков 1870, 1: 121]. Шишков быстро составил манифест в своем высоком архаичном стиле. Александр одобрил текст, и вскоре из провинций стали поступать сообщения о благоприятной реакции на манифест населения. В итоге 9 апреля Шишков занял освобожденный Сперанским пост государственного секретаря (по-видимому, рассматривалась также кандидатура Карамзина) и должен был присоединиться к ставке императора в Вильне [Шишков 1870, 1: 121–123]<sup>72</sup>.

Однако эти назначения не стали триумфом консерваторов. Ни тот ни другой не получили достаточной власти: Ростопчин находился далеко от имперского штаба, а Шишков унаследовал должность Сперанского, но не его влияние. Смысл их нового положения заключался в поддержании связи между императором и народом, и они, казалось, парадоксальным образом обладали всем необходимым для выполнения этой задачи. Москва долгое время была очагом оппозиции, и недовольство могло бы усиливаться, если бы вторжение французов увенчалось успехом. Ростопчин, с его диктаторскими замашками и связями в местном обществе,

---

<sup>72</sup> Шильдер указывает точные даты встречи Шишкова с императором и назначения его на пост [Шильдер 1897, 3: 64–66].



идеально подходил для того, чтобы обеспечить в Москве общественное спокойствие. Более того, он уже доказал, что может взаимодействовать посредством своих сочинений со всеми группами населения вне аристократического круга; это было справедливо и в отношении Глинки, чей «Русский вестник» начал получать императорские субсидии<sup>73</sup>. Шишков же зарекомендовал себя на собраниях «Беседы» как мастер пафосных патриотических речей. Язык его «Рассуждения о любви к отечеству» был именно таким, какой был нужен для возбуждения воинственного духа в массах, поэтому на него была возложена задача писать обращения императора к народу.

Назначая Ростопчина и Шишкова, Александр сделал убедительный жест примирения с консервативной публикой, которая солидаризировалась с ними. Своим поступком он показал, что порывает с политикой Сперанского и Тильзита и выступает заодно с выдающимися лидерами консерваторов. К тому же они как пропагандисты уже доказали свою способность обсуждать текущие дела на языке, понятном даже малообразованным читателям. С этого момента, вместо того чтобы критиковать политику царя, Шишков, Ростопчин и Глинка направили свои способности и популярность у публики на то, чтобы оправдывать действия властей.

---

<sup>73</sup> См. об этом в следующей главе.

## Глава 5

# Отечественная война: народная война?

Вторжение Наполеона в Россию в 1812 году вызвало в русском обществе жаркие споры о цели войны, в которых проявлялись коренные разногласия относительно природы социально-политического устройства России. Один из спорных вопросов касался характера войны. Была ли она лишь противоборством между монархами-соперниками или битвой не на жизнь, а на смерть, ведущейся ради спасения России от потери национальной независимости и хаоса в обществе? И насколько необходима была в этой ситуации мобилизация всех национальных ресурсов, человеческих и материальных, учитывая, что Наполеон мог использовать материальные средства и живую силу чуть ли не всей Европы?

Идея массовой мобилизации всех русских возбуждала противоречивые эмоции у людей, подобных Шишкову и Ростопчину. С одной стороны, тот факт, что народ объединился против корсиканца, подогревал их патриотические чувства и утолял их ненависть к Наполеону, с другой же — зрелище закаленной в боях толпы крестьян-ополченцев с вилами и мушкетами в руках и лозунгами освобождения в головах представлялось крепостникам кошмарным сном наяву. Де Местр выражал опасения многих, видя «этот вооруженный народ, так блестяще проявивший себя», и думая, «вернется ли он мирно к своему прежнему состоянию». Эти крестьяне, «превратившиеся в настоящих громи, которые умеют только убивать, — станут ли они опять по-

корными рабами?» [Maistre 1884–1886, 12: 281–282]<sup>1</sup>. Видение крестьянского восстания преследовало дворян всей России. Вигель наблюдал это и в Пензе, удаленной от района военных действий, и в столице [Вигель 1928, 2: 14–15]. Джон Куинси Адамс обнаружил, что этот вопрос больше всего волновал русских, с которыми он затрагивал эту тему [Adams 1970: 426]<sup>2</sup>. Однако эти опасения оказались беспочвенными. Были случаи неповиновения, иногда вызванные заблуждением, будто служба в ополчении освобождает от крепостной зависимости; Наполеон, желая заставить Александра заключить мир, поощрял слухи, что он провозгласит освобождение, но в целом крестьяне оставались лояльны власти и даже присоединялись к борьбе с французами<sup>3</sup>.

Другой вопрос, беспокоивший консерваторов — и не их одних, — это цели России в войне. Если «великая армия» французов потерпит поражение, следует ли России переходить от оборонительной войны к кампании по разгрому наполеоновской империи?

Вопрос о характере войны был особенно проблематичен, потому что отношение консерваторов к понятию *народной войны* было глубоко противоречивым. Ростопчин не доверял массам и (подобно имперскому правительству в 1914–1917 годах) стремился одновременно ограничить их желание участвовать в войне и использовать его, направив в нужное русло. Глинка, в отличие от него, ликовал, видя, что общество, прежде столь разительно разделенное, объединяется перед лицом общего врага (настроение, напоминающее «дух августа 1914 года»). Шишков занимал промежуточную позицию. Как обычно, он был более мягок, чем подозрительный Ростопчин, но не разделял наивного воодушевления Глинки. Ростопчин видел свою миссию в том, чтобы воспрепятствовать народным волнениям и подрывным действиям «мартинистов», тогда как Глинка воспринимал 1812 год как апофеоз «русского духа». Шишков ощущал войну как явление

<sup>1</sup> Письмо де Местра к королю Виктору Эммануилу от 27 октября / 8 ноября 1812 года.

<sup>2</sup> Дневниковая запись 3 декабря 1812 года (н. с.).

<sup>3</sup> О волнениях, связанных с ополчением, см. [Предтеченский 1957: 326–327; Тартаковский 1968].

необходимое, но отталкивающее, обременительное для него лично (в свои 58 лет он должен был следовать за Александром I и его ставкой пересекавшей Россию и всю Центральную Европу) и губительное для империи.

Все трое понимали, что участие народа в войне сделало 1812 год событием беспрецедентным в недавней истории России. Глинка выразил это чувство, вспомнив Смутное время (1605–1613), когда Россия в последний раз стояла перед лицом столь серьезной внешней угрозы. Новизна 1812 года заключалась в том, что Французская революция заменила небольшие, сражавшиеся по принуждению профессиональные армии мощными войсками, набранными по призыву и движимыми патриотическими чувствами. Нации, бывшие ранее сторонними наблюдателями, стали ведущими действующими лицами драмы. Об этом свидетельствовали победы революционных армий и Наполеона, молниеносный разгром Пруссии в 1806 году, успешное сопротивление испанцев французам. Когда после катастрофы под Йеной и продвижения французских войск вглубь Пруссии президент берлинской полиции объявил: «Король проиграл битву. Теперь первый долг гражданина — сохранять спокойствие» [Nipperdey 1983: 15], он, сам того не желая, подтвердил, что попытка династического государства исключить народ из войны приводит к обратным результатам. Победа стала возможна только усилиями всей нации. Однако в России значительную часть «нации» составляли крепостные крестьяне, и их мобилизация угрожала как стабильности общества, так и сложившемуся «разделению труда» между сословиями, которое, с точки зрения дворян, оправдывало существование крепостного права.

Консерваторы по-разному пробовали решить эту проблему. Ростопчин пытался отвлечь недовольство народа от дворянства и крепостной системы с помощью ксенофобии и страха перед масонскими заговорами. Глинка надеялся, что война воскресит общественный договор и дворяне осознают свое кровное родство с собственными крепостными, а не с иностранными аристократами. Он уповал на то, что гордость русских за свою историю и популярность монархии восстановят связь между классами.

Такая межклассовая солидарность могла бы высвободить энергию в России, как это произошло во Франции после 1789 года, с той лишь разницей, что она была бы использована для восстановления национальной гармонии, а не для ниспровержения старого режима. Глинка даже намекал на некий универсализм, отличавший и Французскую революцию, и, позже, Священный союз. Вере французских республиканцев в то, что «великая нация» призвана принести «свободу, равенство и братство» на европейские территории, находящиеся в плену деспотизма и религиозных догм [Doyle 1989: 218, 418–419; Furet, Richet 1965: 145–150, 183–185, 411], он противопоставлял протославянофильскую идею о том, что добродетель христианской России спасет Европу от просветительского варварства. Шишков отстаивал традиционную изоляционистскую версию этой идеи. В отличие от Глинки, он не одобрял ни социальные перемены, ни российскую кампанию по освобождению Европы. Однако он соглашался, что война идет не только на поле брани, но также в области культуры и духа, и использовал императорские воззвания для обличения франкофилов от культуры. Подобно Глинке, он верил, что война принесет мир между социальными группами и дворяне вернуться к своим национальным корням. Но он подчеркивал необходимость сохранения структур старого режима, тогда как Глинка уповал на его способность к духовному перерождению.

Все трое стремились, каждый по-своему, убедить русских, что старый режим необходим для развития их национальной идентичности. Все служило этой цели: обращение к истории, восхваление национального характера, высмеивание французов, даже архаичный язык манифестов Шишкова. Они утверждали, что истинно православные русские верны царю и отечеству, послушны своим господам и ненавидят захватчиков. Народ должен подняться не на защиту универсальных принципов свободы и народовластия (как французы в 1792 году), но скорее (как испанцы в 1808 году, а пруссаки в 1813-м) за право вести традиционный национальный образ жизни, включая «право» на крепостную зависимость и самодержавие. Это означало, что век спустя после реформ Петра I император и дворянство возвращались к своей традиционной

роли правителей «Святой Руси». В ответ на просветительскую риторику Наполеона консерваторы объявляли европеизированный старый режим петербургского самодержавия наследником Киевской и Московской Руси и при этом уподобляли Александра I — разочарованного реформатора, наполовину немца и франкофона — благочестивым царям древности. Таким образом консерваторы заложили идею, которая только укрепилась в последующем столетии в имперской России и достигла апогея после 1881 года: идею, что старый европейский режим XVIII века, облаченный в риторику и символику допетровской Московии, представляет подлинную идентичность России и ее особый путь в будущее<sup>4</sup>.

Взгляд Ростопчина на стратегическую обстановку поначалу был двойственным. Временами он проявлял твердую уверенность и писал Александру: «Ваша империя имеет двух могущественных защитников в ее обширности и климате. <...> Император России всегда будет грозен в Москве, страшен в Казани и непобедим в Тобольске» [Переписка императора 1893: 179]. Ростопчин также оптимистично утверждал, что массы, не испорченные иностранными влияниями, поднимутся против захватчиков. Московское население, по его словам, ненавидит французов, и он вынужден защищать живущих здесь ни в чем не повинных иностранцев от ярости толпы. Иначе говоря, заключал он, вражеская пропаганда свободы не находит отклика у русских. Однако ситуация на фронте вызывала у него беспокойство. Хотя он сознавал, что полезно завлечь врага в глубь российских просторов, постоянное отступление русских тревожило его, и он непрестанно молил императора не уступать больше территории. Особенно страшила его возможность падения Москвы, так как эта потеря, по его мнению, была бы убийственным ударом для духа русских [Переписка императора 1893: 177]<sup>5</sup>. Его беспокоило, что империя по-

<sup>4</sup> См., например, [Whelan 1982: 27–30].

<sup>5</sup> Письмо к Александру I от 11 июня 1812 года, Москва. См. также письма Ростопчина к Балашову от 23 и 30 июля, 1, 10, 23 и 29 августа 1812 года, Москва [Дубровин 1882: 60, 69, 76, 90, 109, 115], и к Александру от 23 июля, 10, 14 и 23 августа 1812 года, Москва, от 21 сентября 1812 года, Нара, от 1 октября 1812 года, Владимир [Письма Ростопчина 1892: 433, 444–445, 522, 524, 545, 547].

литически нестабильна и может рухнуть при отсутствии хороших вестей с фронта. Он сомневался в самоотверженности и патриотизме дворянства. С другой стороны, он боялся восстания народных масс или заговора «мартинистов», так что его администрация старалась предотвратить их, сочетая демагогию с репрессивными мерами. Эта озабоченность повлекла за собой два самых (печально) известных эпизода времен губернаторства Ростопчина: его пропагандистскую кампанию и дело Ключарева-Верещагина. Оба эпизода не раз привлекали внимание исследователей, но к ним стоит вернуться, чтобы лучше понять политическую позицию Ростопчина и стиль его правления.

Пропаганда Ростопчина в 1812 году основывалась, как и прежде, на двух посылах: невежественные и непредсказуемые массы нуждаются в строгом надзоре и он лично идеально для этого подходит, потому что интуитивно их понимает и может (в прямом и переносном смысле) выразиться на их языке. В 1812 году он появлялся на публике в самых разных местах и так часто, как только мог, предоставляя всем желающим возможность увидеть его. Позже он хвастливо вспоминал: «Два утра были для меня достаточны для того, чтобы пустить пыль в глаза и убедить большинство московских обывателей в том, что я неутомим и что меня видят повсюду» [Ростопчин 1889: 656]. Не уставая изумляться тому, что народ «всегда склонен выкинуть какую-нибудь глупость, когда соберется толпою» [Ростопчин 1889: 709], он любил использовать эту особенность в своих целях. Впоследствии он рассказывал, что по утрам, когда он получал курьерскую почту из армии, у его резиденции «сходились лица всех возрастов и чинов, все люди праздные и привлекаемые любопытством узнать что-либо положительное» о ходе войны. Толпа старалась понять смысл этих сообщений по выражению, появлявшемуся на его лице во время чтения новостей, поэтому он принимал радостный вид, даже если они были плохими (как обычно и случилось тем летом). Зрители понятия не имели, вспоминал он с удовлетворением, что он «был очень силен по части пантомимы и в молодости своей отличался актерским искусством» [Ростопчин 1889: 685].



Рис. 6. Пропагандистский листок, выпущенный Ростопчиным в Москве в 1812 году. Текст гласит: «Московский мещанин бывший в ратниках Карньюшка Чихирин выпив лишний крючок на тычке услышал что будто Бонапарт хочет итти в Москву, рассердился и разругав скверными словами всех французов, вышед из питейного дому, заговорил под орлом так...». [ОВИРО 1911–1912, 4: 83]

Что касается самой Москвы, то Ростопчин боялся массовой паники при приближении французов. Чтобы рассеять страхи населения, он регулярно выпускал бюллетени, печатавшиеся в «Московских ведомостях», и расклеивал их по городу. Бюллетени были двух видов: одни более или менее точно воспроизводили официальные военные сводки или обращения императора, другие, написанные генерал-губернатором в его характерном нелитературном стиле, побуждали народ ненавидеть и презирать французов<sup>6</sup>. В одной из этих ростопчинских афиш фигурировал вымышленный мещанин Карньюшка Чихирин, выходявший из кабака после нескольких принятых стаканов и поносивший французов<sup>7</sup>. (Имя персонажа происходит от слова *чихирь* [креп-

<sup>6</sup> По мнению Герцена, прокламации были написаны «настоящим народным слогом», несмотря на то что Ростопчин был «офранужен»; в то же время, писал Герцен, «влияние [Шишкова] [на народ] было ограничено» [Герцен 1954–1966, 9: 136].

<sup>7</sup> Я благодарен Славке Паперно, который обратил мое внимание на эту афишу.



кое красное вино] и означает «пьяница»). Бóльшая часть текста представляет собой поток его сознания, наполнена просторечными выражениями, отражает написание на слух и лишена пунктуации. Карнюшка насмеяется над Наполеоном: «Салдаты та твои карлеки да щеголки» — и напоминает о плачевной судьбе захватчиков прошлых времен — шведов, поляков и татар: «Посю пору круг Москвы курганы как грибы, а под грибами та их кости ну и твоей силе быть в могиле» [Картавов 1904: 13]<sup>8</sup>.

В другой афише Ростопчин напоминает москвичам об их могущественных покровителях:

А за нас пред Богом заступники: Божия Мать и Московские Чудотворцы. Пред светом милосердный Государь наш Александр Павлович, а пред супостаты Христолюбивое воинство. <...> [Народу следует только] иметь послушание, усердие и веру к словам Начальников [Картавов 1904: 44].

Особенно же предостерегает их Ростопчин от доверия к коварным обещаниям Наполеона принести свободу и социальное равенство: он «солдатам сулит Фельдмаршалство, нищим золотые горы, народу свободу, а всех ловит за виски да в тиски и пошлет на смерть». Всеми, кто повторяет эту вражескую ложь, займется полиция, предупреждает генерал-губернатор. И в заключение говорит о себе: «А я верный слуга Царский, Русский барин и православный христианин», вновь декларируя свои идеалы самодержавия, социальной иерархии и православия [Картавов 1904: 44].

Настроение жителей древней столицы было изменчивым. Моральный дух был высок в июле, во время визита Александра I, но после его отъезда и особенно после падения Смоленска (считавшегося основной преградой продвижению Наполеона) население стало нервничать. По мере того как русская армия отступала к Москве, Ростопчин прилагал все больше усилий, чтобы воодушевить людей, раздувая успехи русских и распространяя

<sup>8</sup> Другое, не такое полное собрание листов: [Суворин 1889].

ложные слухи. Так, после Бородинской битвы 26 августа фельд-маршал Кутузов осмотрительно заявил, что тяжелые потери вынуждают его отступить, а Ростопчин утверждал в одном из своих бюллетеней, что Кутузов обещал не сдавать Москву [Тартаковский 1967: 98]<sup>9</sup>. Боязнь беспорядков никогда его не оставляла. Он опасался, что освобождение от службы в ополчении, дарованное государственным крестьянам, вызовет зависть призванных в ополчение крепостных и они обратят свой гнев против благородных хозяев. Позже он предупреждал императора, что дальнейшее отступление позволит Наполеону возмутить народ, уже деморализованный потерей Москвы<sup>10</sup>. После падения города Ростопчин писал министру полиции Балашову, что он «сохранил Москву в спокойствии <...> и защитил страну, не дав взойти семенам смуты»<sup>11</sup>, что и было в действительности его главной целью. В 1813 году один из его ближайших помощников А. Я. Булгаков написал памфлет (под руководством Ростопчина), в котором защищал методы генерал-губернатора. Он утверждал, что если бы население знало об отчаянном военном положении и состояние умов не контролировалось правительством, то дело могло бы дойти до анархии, и избежать этого можно было, только обращаясь к народу на его языке.

Отношение Ростопчина к мобилизации народа в связи с войной было сложным. Он полагал, что народ инстинктивно настроен против французов: «Расположение народа таково, что еже-

<sup>9</sup> См. также [Мендельсон 1911; Ростопчин 1889: 666–667; Картавов 1904: 58]. См. также письмо Ростопчина к Воронцову от 28 апреля 1813 года, Москва [Архив Воронцова 1870–1895, 8: 314–315].

<sup>10</sup> См. письмо к Балашову от 23 июля 1812 года, Москва [Дубровин 1882: 60–61]; письмо Ростопчина к Александру I от 19 сентября 1812 года, Вороново [Письма Ростопчина 1892: 540].

<sup>11</sup> Цит. по: [Тартаковский 1967: 60]. Источником цитаты является опубликованный анонимно памфлет «Московские небылицы в лицах». К. Покровский считает, что автором памфлета является А. Я. Булгаков [Покровский 1914]. Булгаков также высказывает мнение, что большим достижением Ростопчина было сохранение порядка в столице [Булгаков 1843: 511]. Это мнение разделяет и друг Ростопчина А. Ф. Брокер [Брокер 1893: 164].

дневно заставляет меня плакать от радости» [Дубровин 1882: 102]<sup>12</sup>, — сообщал он Балашову за неделю до Бородина. Он старался предотвратить расправы над неповинными иностранцами, но при этом с удовольствием поощрял в народе ксенофобию. Так, в начале августа он писал, что его повар-бельгиец обмолвился, будто Наполеон приходит, чтобы освободить народ, и кто-то немедленно доложил об этом Ростопчину, который на следующий же день публично выпорол повара, а затем отправил в Сибирь<sup>13</sup>.

После падения Москвы он обратился к крестьянам окружающих деревень (в которых Наполеон должен был добывать провиант) с призывом не торговать с «врагом рода человеческого, наказанием Божиим за грехи наши, дьявольским наваждением, злым французом». Он описывал в ярких красках, как французы оскверняют церкви и кладбища и призывал «православных, верных слуг царя» не доверять их ложным посулам и защитить Святую Русь от богохульников. Дабы никому не пришло в голову увидеть в этих призывах возможность бунтарских выступлений, он подчеркивал, что всякий добрый русский христианин является «верным слугой царя». Император всегда был объектом народной любви (правда, далеким и абстрактным), в отличие от помещиков, вследствие чего Ростопчин убеждал крестьян подавлять желание восстать против них. Напротив, говорил он, «почитайте начальников и помещиков, они ваши защитники, помощники, готовы вас одеть, обуть, кормить и поить». Права дворян исходят от императора, который получил власть от Бога. «Он отец, мы дети его, а злодей француз — некрещеный враг. Он готов продать и душу свою; уж был он и туркою, в Египте обасурманился». В заключение, повторяя обличения Святейшего Синода 1806–1807 годов (уподоблявшие Наполеона Антихристу), он обращался к крестьянам: «Истребляйте сволочь мерзкую,

<sup>12</sup> Письмо к Балашову от 18 августа 1812 года, Москва.

<sup>13</sup> См. письмо Ростопчина к Багратиону от 6 августа 1812 года, Москва [Ростопчин 1883: 650]. О преследовании иностранцев, допускавших профранцузские высказывания, см. письма Ростопчина к П. А. Ивашкину от 19, 26 и 31 августа 1812 года [Шукин 1897–1908, 1: 113–116]. См. также [Кизеветтер 1915: 158–160; Мельгунов 1923: 140–144].

нечистую гадину, [и тогда царь] вас восстановит по-прежнему, и вы будете припеваючи жить по-старому» [Картавов 1904: 64]. Таким образом, крестьянам следовало сражаться по велению сердца за восстановление старого режима под руководством «лучших» членов общества.

Ростопчин относился к народу как к огромной, но лишенной разума силе, которая может сокрушить все, будь то французская армия или российское дворянство, если они встанут на его пути. В отличие от многих русских дворян в 1812 году, он не ощущал духовной связи с простыми людьми, которым он проповедовал воинственную франкофобию, но при этом отказался открыть для них арсенал с оружием, даже когда Москва была беззащитна. Он видел в народе дикого зверя, которого он должен укротить, чтобы старый режим смог пережить войну [Картавов 1904: 64]<sup>14</sup>. Тартаковский подчеркивал эту мысль, сравнивая пропаганду Ростопчина со сводками штаба армии. Армейские сводки давали довольно точную информацию и апеллировали к чувству гражданского долга, тогда как афиши Ростопчина вводили людей в заблуждение и призывали к ксенофобии. Эти два типа пропаганды отражали различное отношение к народу и войне. Армейские сводки составлялись штатскими — чиновниками-реформистами, которые рассматривали участие народа в войне как первый шаг к отмене крепостного права, а также Кутузовым, понимавшим, что во время войны не обойтись без народной поддержки. Ростопчин противостоял реформистам и не любил Кутузова. Представители армии относились к крестьянам как к согражданам, с которыми надо находить общий язык. Ростопчин же видел в них грубых

<sup>14</sup> Об отношении крестьян к монархии см. [Gleason 1980: 6–12; Мельгунов 1923: 152, 159; Орлик 1987: 29, 57]. Как свидетельствуют письма Ростопчина к Багратиону и к московскому полицмейстеру Ивашкину, он часто подвергал наказанию провинившихся иностранцев в назидание остальным, а в письмах к царю и Балашову, как и в своих воспоминаниях, он пишет о своем стремлении защитить их от разгневанного населения (см. [Кизеветтер 1915: 121–22]). И. Тарасуло высказывает мнение, что сопротивление, которое крестьяне оказывали французам, никоим образом не было признаком их верности старому режиму (и, значит, Ростопчин был прав в этом отношении) [Tarasulo 1883].

мужиков, почти столь же опасных для русских, как и для Наполеона [Тартаковский 1967; Дружинин 1988: 91, 93]<sup>15</sup>.

Ростопчин опасался также и «мартинистов». Ему казалось, что он окружен врагами; им он приписывал всю критику, звучавшую в его адрес. «Мартинисты суть скрытые враги ваши», — предупредил он императора 30 июня [Письма Ростопчина 1892: 426]; «эта адская секта не может удержать своей ненависти к вам и России и своей преданности неприятелю» (4 августа) [Письма Ростопчина 1892: 442]. «Если войска будут терпеть еще поражения и если полиция затруднится сдерживать негодяев, проповедующих бунт, то я велю некоторых повесить», — заявлял Ростопчин (13 августа) [Письма Ростопчина 1892: 520]. Они — пятая колонна Наполеона, считал он. «Если, по несчастью, вашему жестокому врагу удастся поколебать верность ваших подданных, вы увидите, Государь, что замыслы Мартинистов вскроются, что они отлично помогут Бонапарту» (19 сентября) [Письма Ростопчина 1892: 541].

Кампания Ростопчина против «мартинистов» принимала разные формы. Он представлял императору известных москвичей как предателей<sup>16</sup>. Старик Новиков был посажен под домашний арест, но главной мишенью Ростопчина был московский почт-директор Ключарев, — как по причине персональной вражды между ним и А. Ф. Брокером, другом и помощником Ростопчина, так и оттого, что на почтамте можно было вскрывать частные письма, и, если бы Ростопчин контролировал почту, жалобы на него не достигали бы Санкт-Петербурга. Почт-директор служил для министерства внутренних дел источником информации, поступающей к императору, и это могло усилить или подорвать положение Ростопчина в столице.

Орудием против Ключарева послужил Ростопчину купеческий сын М. Н. Верещагин, у которого были найдены русские переводы опубликованных в зарубежных газетах речей Наполеона, запре-

<sup>15</sup> Альтшуллер и Тартаковский опубликовали сборник армейских сводок 1812 года [Альтшуллер, Тартаковский 1962].

<sup>16</sup> См., например, письмо к Александру от 13 августа 1812 года, Москва [Письма Ростопчина 1892: 520].

щенных в России и перехваченных на почте. Ростопчин объявил его злодеем, которого следует наказать с предельной строгостью. В частности, он советовал императору приговорить несчастного молодого человека к смерти и в последний момент на месте публичной казни заменить этот приговор на каторжные работы в Сибири. Ростопчин ставил в вину Верещагину и бюллетень, опубликованный в Москве, и несколько писем к Александру I<sup>17</sup>. Он пытался доказать связь Верещагина с Ключаревым, которого он сослал в Воронеж (своевольно превысив собственные полномочия) после ареста его помощника Дружинина и отправки его в Санкт-Петербург. В своих отчетах Ростопчин описывает почт-директора как главу чудовищного тайного заговора царевубийц, но спокойная реакция императора на эти обвинения говорит о том, что он понимал их абсурдность. Действительно, как указывает Кизеветтер, наблюдалось странное несоответствие между масштабностью заговора, якобы выявленного Ростопчиным, и скромной горсткой «заговорщиков» (явно безобидных), которых он называл. Трагическая гибель Верещагина навсегда осталась связана с именем Ростопчина, потому что она явилась воплощением его жестокой демагогии, вызвавшей у других русских дворян тяжелое чувство неловкости, а также потому, что ее с такой беспощадной выразительностью описал Л. Н. Толстой в «Войне и мире». Хотя детали рассмотрения дела неясны, несомненно следующее: досье Верещагина безрезультатно путешествовало между Москвой и Петербургом в течение двух месяцев, пока 2 сентября, за несколько часов до вступления французов в Москву, Ростопчин не отдал его на растерзание разъяренной толпе — поступок, который глубоко возмутил самого императора<sup>18</sup>.

<sup>17</sup> Письмо от 4 июля 1812, Москва [Письма Ростопчина 1892: 429]; см. также [Картавов 1904: 12].

<sup>18</sup> См. письма Ростопчина к Александру I от 30 июня, 23 июля, 4 и 10 августа 1812 года, Москва, и от 1 октября 1812 года, Владимир [Письма Ростопчина 1892: 426, 434, 442, 445, 548]. См. также [Кизеветтер 1915: 161–169]. О подробностях гибели Верещагина см. [Мельгунов 1923: 160–165]. О реакции Александра I см. [Шильдер 1897, 3: 377]. О связях Ключарева и Верещагина с масонами см. [Bakounine 1967: 244–245, 584–585].

Атака на «мартинистов» мотивировалась тремя соображениями. Во-первых, это был циничный расчет: высказывая угрожающие предупреждения об организованной подрывной деятельности, Ростопчин выступал в образе незаменимого защитника государственных интересов. Во-вторых, его диктаторская натура не терпела тех, кто мыслил независимо, каковы бы ни были их убеждения, и он, с презрением относясь к высшему обществу, выделял в нем, как правило, только две категории: мягкотелых ничтожеств и мятежных «мартинистов». То, что фельдмаршал Кутузов (ставший его главным врагом после сдачи Москвы) был масоном, должно было только усилить ненависть Ростопчина к нему. И наконец, он искал козлов отпущения, чтобы обвинить их в отступлении русских и наказать в назидание остальным; это стремление диктовалось его страхом перед общественными беспорядками и убежденностью в легковерии народных масс<sup>19</sup>.

Ростопчин ни разу не поколебался в своем убеждении, что французы будут разбиты, и был готов ради победы на многое, особенно если это приковывало к нему внимание окружающих. Вопрос о его роли в пожаре, спалившем почти всю Москву, остается спорным, но несомненно то, что он характерным театральным жестом поджег собственный дом в Вороново, оставив при этом вызывающего содержания афишу. Этот патриотизм выжженной земли не мог не произвести впечатления на французов, которые, как свидетельствовал один из французских генералов, прочли афишу, «содрогаясь от изумления» [Séguir 1972: 112]. Согласно другому генералу, «афиша произвела глубокое впечатление на всех мыслящих людей» и «встретила больше одобрения, чем критики», несмотря даже на то, что Наполеон лично «высмеял этот поступок» [Коленкур 1991: 147–148]<sup>20</sup>.

<sup>19</sup> См. [Ростопчин 1889: 650–654, 662–664; Кизеветтер 1915: 156–157; Мельгунов, Сидоров 1914–1915, 2: 184–195, 201].

<sup>20</sup> См. также воспоминания мадам де Сталь [Лимонов 1991: 36]; письмо Р. Уилсона к П. от 19 сентября / 1 октября 1812 года, Боровск [Дубровин 1882: 159]. Афиша Ростопчина воспроизведена в собрании его сочинений [Ростопчин 1853: 197].

В качестве генерал-губернатора Ростопчин продолжал действовать как самопровозглашенный выразитель мнения московского дворянства перед императором. Он осуждал текущую политику, так же, как и большую часть сановников. Он требовал, чтобы Кутузов (которого Александр любил не больше, чем самого Ростопчина) был назначен главнокомандующим — только для того, чтобы непрестанно нападать на него после их разлада по поводу оставления армией Москвы. В письмах Ростопчина к царю очень много самовосхваления, но мало лести или лицемерия. Как отмечает Кизеветтер, Ростопчин имел твердые политические убеждения и считал своим долгом противостоять самому императору, если видел угрозу самодержавию или дворянским привилегиям [Кизеветтер 1915: 129–131]. Свойственная ему манера сочетать демагогические методы с горячей приверженностью старому строю воспринималась современниками совершенно по-разному. Некоторые — например Багратион, А. П. Оболенский и Карамзин — восхищались им как великим патриотом; правда, Карамзин находил афиши Ростопчина слишком вульгарными и участливо предлагал писать их для него. Однако эти листки нравились его другу Жуковскому, а князь Вяземский, хоть и испытывал отвращение к их подстрекательскому тону, признавал, что более сдержанный стиль (вроде карамзинского) вряд ли столь же эффективно воздействовал бы на население. Вигель и М. Дмитриев вспоминали, что многие дворяне соглашались с критическими замечаниями относительно афиш, но оба сходились в том, что оригинальный стиль Ростопчина оказался очень действенным. В отличие от них, братья Тургеневы были возмущены его жестокими и демагогическими приемами (как и Толстой в «Войне и мире»)<sup>21</sup>.

---

<sup>21</sup> См. письмо Багратиона к Ростопчину от 22 августа 1812 года из-под Семёновского [Дубровин 1882: 108]; [Оболенский 1876: 140]; письма Карамзина к Дмитриеву от 20 августа 1812 года, Москва, и от 11 октября 1812 года, Нижний Новгород [Письма Карамзина 1866: 165–166]. Вяземский пишет об отношении Карамзина к листовкам Ростопчина [Вяземский 1878–1896, 7: 194] и о реакции Жуковского [Вяземский 1878–1896, 7: 504], а также высказывает собственное мнение о них [Вяземский 1878–1896, 7: 194, 504–505]. См.



Действия Ростопчина отличались жестким прагматизмом. Он надеялся сохранить общественный порядок, перенаправив агрессивность народных масс с дворянства на французов и «мартинистов». В отличие от некоторых современников, он сделал из Французской революции важный вывод: следует вести тотальную войну любым доступным оружием и по всем фронтам. Поэтому он использовал пропагандистский арсенал революции: грубую демагогическую риторику (если его герой Богатырев не дотягивал до эберовского Папаши Дюшена, то Карнюшку Чихирина, безусловно, можно поставить рядом с ним), намеренное раздувание параноидальных вымыслов о тайных заговорах, показательные публичные наказания подозреваемых в сотрудничестве с врагом, использование в своих целях «контролируемого» возмущения толпы. Вполне возможно, что Ростопчин, культурный гран-сеньор, и не получал от этого большого удовольствия, однако, в отличие от Шишкова и Глинки, у него не было этических сомнений относительно использования любых доступных ему действенных средств.

Если обратиться к визиту императора в Москву в июле 1812 года, можно увидеть, насколько различны были взгляды консерваторов на войну. Эта история начинается с адмирала Шишкова, чьей основной обязанностью в новом статусе государственного секретаря было составлять объявления и манифесты, с которыми император обращался к народу. Шишков был поражен неразберихой, царившей в штабе армии в Вильне. Было неясно, кто командует: Александр или М. Б. Барклай-де-Толли; во главе одной из трех армий стоял морской офицер (адмирал Чичагов), а великий князь Константин не находил ничего лучше, как гонять войска по плацу. Шишков глядел на столь легкомысленное отношение к предстоящим схваткам с врагом подавленно и пессими-

---

также [Вигель 1928, 2: 11–12; Дмитриев 1869: 243–244]; дневниковую запись Н. Тургенева 9 августа 1812 года, Санкт-Петербург [Тарасов 1911–1921, 3: 200]; письмо А. Тургенева к Вяземскому от 15 октября 1819 года, Санкт-Петербург [Сайтов 1899–1913, 1: 328–329]. В 1812 году А. Тургенев придерживался более высокого мнения о Ростопчине, чем в 1819-м: см. его письмо к Булгаковым от 21 июля 1812 года, Санкт-Петербург [Письма Тургенева 1939: 134].

стично. Когда началось отступление, он (подобно Ростопчину) был озабочен в первую очередь тем, чтобы предотвратить распространение пораженческих настроений, и постоянно побуждал императора сохранять решительный вид. Не будучи почитателем Александра I, он отказывался рассматривать непрерывное отступление как запланированный маневр, это утверждение казалось ему неубедительным. И много лет позже он продолжал настаивать, что не отход армии спас Россию, а излишняя самоуверенность врага, пожар Москвы, партизанская война, назначение Кутузова и суровая зима. Все эти факторы невозможно было предвидеть; отступление само по себе могло привести лишь к гибели России, и только божественное вмешательство спасло ее от краха.

Шишков полагал, что присутствие императора в штабе армии было ошибкой, так как оно подрывало авторитет Барклая и превращало любую неудачу в личное поражение монарха. Возможно, под влиянием его друга Кутузова, который был против пагубной стратегии Александра I при Аустерлице, Шишков не доверял Александру как военачальнику, чему способствовал и ненавистный ему мелочный армейский формализм, который унаследовали все сыновья Павла I. Император был необходимой фигурой в тылу, где он должен был поднимать патриотический дух и вселять в народ уверенность. Но Шишков был уверен, что царь, надеявшийся стереть унижение Аустерлица, не одобрит эту идею, и потому убедил Аракчеева и Балашова поддержать его. Поколебавшись несколько дней, Александр в конце концов неохотно согласился [Шишков 1870, 1: 125–126, 128–148]<sup>22</sup>.

11 июля император со свитой прибыл в Москву, где он надеялся убедить дворян предоставить часть своих крепостных для службы в ополчении, а купечество — пожертвовать средства на нужды армии. Прибытие императора сопровождалось бурным проявлением восторга [В. 1912]<sup>23</sup>, одним из инициаторов которого был (по его собственным словам) находившийся в толпе

<sup>22</sup> Обзор составленных Шишковым манифестов (с хвалебными комментариями) см. в работе [Палицын 1912].

<sup>23</sup> См. также [Пушкин 1985–1986, 3: 119–121].

Сергей Глинка. Ранним утром, услышав о создании ополчения, он поспешил к резиденции Ростопчина, чтобы записаться первым. Позднее, еще не остыв от возбуждения, он вспоминал, что при известии о прибытии царя

...доверенность безмятежная завладела умами. Никакое слово ненависти и негодования против врагов не исторгалось из уст. Все мысли, все слова слились в одно чувство любви. <...> Оборотясь ко мне, [собравшиеся люди] сказали: «А вы, ваше благородие? Ведите нас!» Я провозгласил: «Ура! Вперед!» И тысячи голосов повторили: «Ура! Вперед!» <...> [Так,] 1812 года июля 11-го порывистый дух народа сделал меня вождем своего усердия [Глинка 1836: 6, 9].

Излишне говорить, что импульсивное избрание толпой лидеров на волне патриотического восторга было крайне редким явлением при старом режиме, но ведь и Глинка не был человеком старого режима.

Кульминационным моментом императорского визита стало состоявшееся 15 июля обращение Александра к большим депутациям московского дворянства и купечества. Ради соблюдения иерархического порядка российской монархии две группы слушателей были приглашены в разные залы Слободского дворца. Но в воображении Глинки это проявление старорежимного сословного сознания превратилось во впечатляющий патриотический катарсис. Позже он вспоминал, как в зале для дворян он в ожидании императора произнес длинную и пылкую импровизированную речь (оборванную при появлении Ростопчина), в которой предсказывал падение Москвы, поскольку «из всех отечественных летописей явствует, что Москва привыкла страдать за Россию», и утверждал, что «сдача Москвы будет спасением России и Европы». Теперь, конечно, трудно установить, до какой степени его воспоминания являлись ретроспективной фантазией. Столь же восторженно он описывает в своих мемуарах и атмосферу в купеческом зале: казалось, что, как и в самые славные моменты Смутного времени, «в каждом гражданине воскрес дух *Минина*» [Глинка 1836: 19–20].

Интересно сравнить эту встречу Александра I с дворянством и купечеством с французскими Генеральными штатами 1789 года. В отличие от французского короля, Александр I просто просил помощи в войне, исход которой зависел в первую очередь от дееспособности армии. Однако эти московские события июля 1812 года, сами по себе лишь незначительная деталь исторического процесса, оказываются более интересными при сравнении с тем, что происходило таким же летом в Версале за двадцать три года до этого. Людовик XVI созвал Генеральные штаты, чтобы они помогли ему вывести страну из финансового кризиса, но разделил их в духе иерархии старого режима по сословиям, предусмотрев даже такие детали, как разная одежда и разные места в зале. Король, как и многие делегаты двух первых сословий (дворянства и духовенства), настаивал на раздельном голосовании, понимая, что оно важно для сохранения старых порядков. Но радикалы из этих двух сословий и все представители Третьего были увлечены идеей национального единства и требовали совместного голосования. Такие же проблемы оказались в центре внимания и на Фестивале Федерации в Париже в 1790 году: тысячи человек со всей Франции собрались, чтобы поклясться в вечной верности родине, выразив таким образом демократическую идею народовластия и продемонстрировав решительное и героическое единодушие. Как замечает Жан Старобинский, целью революционных празднеств было мобилизовать воодушевление масс в торжественной обстановке и направить его на достижение славного будущего; этим они отличались от бессодержательных и незапоминающихся праздников аристократии [Starobinski 1979: 62–67]. Глинка, который тоже презирал легкомысленные развлечения аристократов и с восторгом принял бы участие в подобном празднике народного единства, проецировал эти чувства на 1812 год: ему виделась Россия, сплотившаяся вокруг царя и заражающая его своим энтузиазмом и целеустремленностью. Глинка не считал себя революционером, однако по своему темпераменту и душевным качествам он оказывался чужаком в разделенном на сословия старорежимном обществе.

Шишков и Ростопчин сопровождали императора во время его встреч примерно с тысячей дворян и купцов, и их отзывы о царившей там атмосфере совпадают с оценкой Глинки. Шишков зачитал купцам составленное им самим обращение. Оно не было спонтанным взрывом чувств, как у Глинки. Шишков представлял традиционную монархию во всем ее величии.

— Неприятель вступил в пределы Наши, — торжественно произнес адмирал. — Он положил в уме своем злобное намерение разрушить славу [России] и благоденствие. С лукавством в сердце и лестию в устах несет он вечные для ней цепи и оковы [Шишков 1870, 1: 426].

Генерал Сегюр в штаб-квартире Наполеона был ошеломлен неистовством этих строк [Ségur 1872: 38, 89], и так же реагировали купцы. Даже на Ростопчина слова Шишкова произвели впечатление, и позже он писал, что присутствующие при этом «рвали на себе волосы, ломали руки, <...> [и] за шумом не слышно было, что говорили [эти люди], но то были угрозы, крики ярости, стоны. Это было единственное в своем роде зрелище» [Ростопчин 1889: 674]. Продолжая свою речь, Шишков провозглашал:

Да найдет он на каждом шаге верных сынов России, поражающих его всеми средствами и силами, не внимая никаким его лукавствам и обманам. Да встретит он в каждом дворянине Пожарского, в каждом духовном Палицына, в каждом гражданине Минина [Шишков 1870, 1: 427].

Придерживаясь социальной иерархии, он обращался к каждому сословию по отдельности, но призывал их: «...соединитесь все: со крестом в сердце и оружием в руках, никакие силы человеческие вас не одолеют» [Шишков 1870, 1: 427]. Он считал, что военные действия лишь укрепляют социальные границы, которые Глинка хотел преодолеть. Показательно, что в своих мемуарах Глинка отводит шестнадцать полных экспрессии страниц визиту царя и особо подчеркивает стихийное проявление преданности

масс отцу нации в Москве, отличающейся своей богатой допетровской историей и своей религиозной ролью. Шишков же уделяет визиту всего одну страницу и упоминает лишь встречу Александра с дворянством [Шишков 1870, 1: 151].

Ростопчин тоже был поражен реакцией народа, но, в отличие от Глинки и Шишкова, не испытывал доверия к подданным Александра I и рассматривал этот визит только с точки зрения пропаганды и общественного порядка. Ему стало известно, вспоминал он, что «мартинисты» сговорились саботировать встречу царя с дворянством, задавая ему «наглые» вопросы, вскрывающие их критическую гражданскую позицию: «Каковы силы нашей армии? — как сильна армия неприятельская? Какие имеются средства для защиты? и т. п.». Поэтому он ясно дал понять, что если кто-нибудь «нарушит спокойствие и забудется в присутствии своего государя», то немедленно «начнет весьма далекое путешествие» [Ростопчин 1889: 673]. Для убедительности он расставил около здания полицейских с готовыми к путешествию экипажами. В результате «фанфароны, во все продолжение оного [собрания], не промолвили ни слова и вели себя, как подобает благонравным детям» [Ростопчин 1889: 674].

Контраст между отзывами Глинки и Ростопчина о визите императора имел важную подоплеку. Страстная речь Глинки 15 июля могла быть произнесена только потому, что Ростопчин счел ее уместной; если бы Глинка говорил иначе, то вполне мог бы сразу отправиться в Сибирь в одном из экипажей генерал-губернатора. Но он являл собой живое разрешение проблемы, которая стояла перед консерваторами, поддерживавшими авторитарную власть: независимый ум, отстаивавший государственную точку зрения. Вяземский с иронией отмечал, что «Глинка был рожден народным трибуном, но трибуном законным, трибуном правительства» [Вяземский 1878–1896, 2: 341]. Для Глинки такое положение было внове. Совсем недавно, 11 июля, он находился под наблюдением и был обязан докладывать о том, какую роль он играл в толпе, приветствовавшей императора. Когда 19 июля грозный граф Ростопчин послал за Глинкой, жена его, естественно, испугалась, так как Ростопчин и Глинка с декабря

1809 года были в ссоре. Но генерал-губернатор великодушно забыл прошлое. Вручив Глинке медаль от императора «за любовь к отечеству», он объявил: «Священным именем государя императора развязываю вам язык на все полезное для отечества, а руки на триста тысяч экстраординарной суммы» [Глинка 1836: 27]<sup>24</sup>. В оставшиеся до сдачи города недели Глинка — действуя уже от имени правительства — продолжал издавать «Русский вестник», который публиковал некоторые воззвания Ростопчина, и, как мы видели, имел широкую читательскую аудиторию [Дружинин 1988: 104]<sup>25</sup>. Но война мешала распространению журнала, и позже Глинка писал, что в тот год удавалось разослать лишь какую-нибудь сотню экземпляров очередного выпуска [Глинка 1895: 227]<sup>26</sup>. Он часто выступал с речами и, если верить воспоминаниям современников, воспламенял своей энергией патриотические чувства москвичей. Как выразился Вяземский, в 1812 году Глинка был «оракулом провинций и Штатбрианом Московского ополчения» [Вяземский 1878–1896, 9: 115]<sup>27</sup>.

Глинка и Ростопчин сходились во взглядах лишь частично. Позднее Глинка защищал Ростопчина от обвинений, что тот обманывал москвичей, утверждая, будто Москва не будет оставлена; он хвалил воззвания Ростопчина и умение говорить с простыми людьми и видел его заслугу в том, что он поднимал подмосковных крестьян на борьбу с французами. Однако его поддержка Ростопчина не была однозначной. Оглядываясь назад, он особенно

---

<sup>24</sup> См. также: [Глинка 1836: 9–10, 27–28].

<sup>25</sup> В советском литературоведении было принято относить Глинку к безнадежным реакционерам, однако в годы Великой Отечественной войны его патриотизм временно рассматривался как «политически выдержанный». См. [Храпков 1943: 73].

<sup>26</sup> Глинка, как можно понять, подразумевает, что это *больше*, чем ему удавалось распространять в другое время, но это противоречит опубликованным спискам подписчиков за 1811 и 1813 годы.

<sup>27</sup> Письмо Вяземского к Д. Г. Бибикову от 2 сентября 1830 года, Остафьево. Судя по всему, Глинка со свойственными ему честностью и бескорыстием не пожелал тратить на себя дарованную ему денежную сумму. См. [Вяземский 1878–1896, 2: 341; Дмитриев 1869: 104].

возражал против сомнений губернатора в верности народа. Возможно, в этом было основное расхождение между ними, поскольку Глинка верил, что война объединит русских. В двух его автобиографических книгах о периоде войны постоянно проводится параллель между 1812 годом и 1612-м, когда Россия, возглавляемая князем Пожарским и простолюдином Мининым, изгнала западных захватчиков и добровольно избрала на царство династию Романовых. Глинка надеялся увидеть, как в 1812 году возродятся черты героического прошлого: национальная гордость, солидарность, преодолевающая классовые барьеры, и «демократическая» монархия. Он также осуждал Ростопчина за высмеивание живших в Москве французов и высылку их из города, считая это недостойным культурного человека, и позже косвенно дистанцировался от губернаторской пропаганды, утверждая, что «никакая неистовая ненависть не волновала сынов России» в 1812 году [Глинка 1836: 42]<sup>28</sup>. Он часто возвращался к мысли, что русские люди стремятся к объединению, движимые любовью, а не ненавистью, и их борьба с Наполеоном обрела достоинство благодаря их преданности родине, так что вульгарная ксенофобия только пятнает чистоту их помыслов.

По крайней мере, так Глинка писал через двадцать лет после войны, когда он стал мягче относиться к французам, а поводов возмущаться самоуправством чиновников у него накопилось немало. В 1812 году, в пылу борьбы с захватчиками, он был не столь мирно настроен: уничтожил все свои французские книги и (по непроверенным данным) «разъезжал по улицам, стоя на дрожках, и кричал: “Бросьте французские вина и пейте народную сивуху!”» [Вяземский 1878–1896, 8: 365]. В то время он заявлял в своем «Вестнике», что Наполеон — «исчадие греха, раб ложной, адской славы, изверг естества, лютый сын геенны»<sup>29</sup>. Тем не менее в основе патриотизма Глинки лежали нравственные и гуманистические побуждения, что в корне отличало его от Ростопчина.

<sup>28</sup> См. также [Глинка 1837: 40–44; Глинка 1895: 255].

<sup>29</sup> Цит. по: [Замотин 1911: 134]. См. также [Тартаковский 1991: 167]; дневниковую запись Федора Глинки 2 сентября 1812 года [Глинка 1987: 22].



В своих воспоминаниях Глинка развивает теорию войны как свершающегося по воле Провидения таинственного события, при котором — как и в 1612 году — патриотический «русский дух» двигал всеми русскими, от императора до мужиков, устраивавших в лесу засады французам. Глинку тревожило отчуждение, существовавшее между царем и народом. Он верил, что простой народ, который редко отделяет естественное от сверхъестественного, мирскую историю от священной, является неистощимым источником русской силы и идентичности. Когда царь и дворянство отказались от такого понимания жизни ради бесплодных идей Запада, они потеряли связь с народом. Горячий прием, оказанный Александру в Москве, означал возвращение «блудного сына» к своему народу. Однако просто вызвать в памяти имена Минина и Пожарского было недостаточно: «надлежало вместе с тем вызывать и русский быт их времени» [Глинка 1836: 30]. Для Глинки было большим разочарованием, что этого не произошло и даже в 1812 году французская культура и образ жизни оставались у русского дворянства доминирующими.

Он полагал, что захватчики сыграли роль, предначертанную им космическими силами, находящимися за пределами их понимания. Триумф Александра I был достигнут благодаря терпению, смирению и любви. Наполеон был гением, более великим полководцем, чем Александр Великий или Цезарь; в юности он тяготел к созерцательной жизни, но был совращен властолюбием и предпринял роковые шаги, провозгласив себя императором и вторгшись в Россию. Однако Бог и тут не оставил его. Фигура трагическая, он в конце концов осознал свои недостатки, и на острове Святой Елены «в торжественном сознании Наполеона подтвердилось перед лицом вселенной, что слово небесное — *слово жизни и любви*. Тут Провидение опровергло доводы, смешивающие небо с кознями земными» [Глинка 1837: 349]. В Москве Наполеон должен был встретиться со своей судьбой; неодолимая сила влекла его туда, приготавливая его падение и наказание России за ее грехи; подобным образом варвары разрушили прогнившую Римскую империю.

Эта параллель была призвана подчеркнуть, что европейское «просвещение» не имеет отношения к истинной цивилизации и нравственности, ибо именно Россия в 1813–1814 годах спасла Европу от нее самой и подарила европейской цивилизации новую жизнь. После того как она подверглась разлагающему влиянию Запада, Россия принесет свет разума и нравственности в Европу. Движимый желанием русифицировать западные мифы, которые он усвоил еще кадетом, Глинка подменил задачу цивилизовать Россию, взятую на себя Европой, миссией России спасти Европу. В XVIII столетии Европа много нагрешила: вела войны, отвергла истину и любовь; ее преступления были все более вопиющими, и потому божественные предостережения становились все более суровыми, вплоть до опустошительной войны 1812 года, в которую были вовлечены армии многих стран. Ложное европейское «просвещение», писал Глинка, подобно высокой приставной лестнице, достигнув вершины которой, стремительно падаешь на самое дно варварства, как и случилось с захватчиками в 1812 году. Ужасы войны, утверждал он, должны наконец открыть глаза европейцам на необходимость духовного возрождения. Ранее Глинка сравнивал Наполеона с героями Древнего Рима и с Карлом Великим, теперь же он превозносил русских, уподобляя их северным народам, которые разрушили Рим и Каролингскую империю. Его возмутило заявление Наполеона, что он защитит Европу от русских дикарей: «В *третий раз*, — писал Глинка, — Север спас Европу за нашествие Европы на Север; будет ли снова так великодушен Север? Не знаю» [Глинка 1837: 316].

Москва сгорела, чтобы спасти Россию и Европу, и Глинка уверял, что он это предвидел. Он обвинял Ростопчина в том, что в своем памфлете 1823 года «Правда о московском пожаре» тот солгал, будто французы подожгли Москву: нет, «над нею и в ней ходил суд Божий. Тут нет ни русских, ни французов: тут *огнь небесный*». Бог поразил аристократическую Москву: «Горели наши неправды; наши моды, наши пышности, наши происки и подыски: все это горело, но — догорело ль?» В 1612 году спасение России было достигнуто усилиями Святой Москвы,

а в 1812 году погрязший в грехах город был «не *сдан* Наполеону, а *отдан* на суд Божий» [Глинка 1837: 78–80]<sup>30</sup>.

Его взгляд на роль народа в войне не всегда воспринимался с полным пониманием. По мнению Тартаковского, Глинка не считал войну 1812 года «народной» (которую народ ведет по своей инициативе и под руководством собственных лидеров), связывая это понятие с демократическими тенденциями Смутного времени. Действительно, в отрывке, который приводит Тартаковский, Глинка уничижительно отзывается о начале XVII века; он возражает против представления о войне 1812 года как о «народной» и утверждает вместо этого, что царь, армия и общество сообща выполнили миссию, возложенную на них Провидением [Тартаковский 1967: 67–69; Глинка 1836: 263], и, следовательно, 1812 год демонстрирует социальную гармонию, а не независимость народа от власти. Однако Тартаковский заблуждается, когда ставит знак равенства между образом мыслей Глинки и Ростопчина, который видел в вооруженных простолюдинах призрак анархии. Глинка верил в их преданность монархии и восхищался их борьбой. Об этом говорит уже язык, каким он пишет: «Душа Русская полнотою жизни своей отстаивала землю Русскую» [Глинка 1836: 316], поэтому благодарить за победу следует не только армию, императора и суровую зиму. В отличие от Ростопчина («Мне отлично удалось заставить крестьян ненавидеть французского солдата», «Я спас империю») [Архив Воронцова 1870–1895, 8: 315; Шильдер 1897, 3: 377]<sup>31</sup>, он не приписывал себе заслуг в разжигании народного гнева, но уважал патриотизм крестьян и их желание защитить свой дом. На вопрос, что двигало русскими, он отвечал: «*общая цель*», а не правитель и не

<sup>30</sup> См. также [Глинка 1836: 14, 30, 60, 64, 78–82, 134–135, 140–141, 143–148; Глинка 1837: 85, 164–176, 200–224, 227–228, 249–250, 258, 276–277, 279, 297–300, 308–316, 335–336, 348–349]. Глинка поражался тому, насколько события 1812–1814 годов совпадали, по его мнению, с библейскими пророчествами [Глинка 1837: 87–93].

<sup>31</sup> Письма Ростопчина к Воронцову от 28 апреля 1813 года, Москва, и к Александру I от 2/14 декабря 1812 года, Москва.

общественный строй [Глинка 1836: 346]. Ростопчин рассматривал «народную войну» в лучшем случае как вынужденную, но опасную военную необходимость. Глинка видел в ней волнующее зрелище национальной солидарности.

Глинка надеялся, что среди далеко идущих последствий войны будут изменения в обществе. В своих воспоминаниях он рассказывает, как после падения Москвы он отправился с братьями в Рязань, где должна была находиться семья Сергея. В дороге они, естественно, говорили о войне. Они пришли к примечательному выводу, показавшему, что позиции консерватора Сергея и будущего декабриста Федора совпадали <sup>32</sup>.

Необычайные события производят и необычайные преобразования. На этом основании мы предполагали:

*Во-первых:* что сближение дворян с крестьянами к взаимной обороне отечества сблизит и на попрание жизни нравственной и что, не посвящая их в философы, они, по крайней мере, уступят им череду людей.

*Во-вторых:* мы думали, что владельцы тысячей душ, брося прихоти мод столичных и городских, заживут в поместьях своих, чтобы от различных управлений не гибли имущества и не страдали наши почтенные питатели рода человеческого и отечества, то есть: земледельцы.

*Наконец,* мы воображали, что уничтожение всепожирающих мод и перемена безжизненного воспитания сроднят души всех сословий и вдохнут в них новое бытие.

Утопия, утопия! Мечта, мечта! [Глинка 1836: 91–92].

Глинка мечтал о духовном прозрении дворянства, которое приведет к преобразованию общества. В своих мемуарах он высказывался о крепостном праве с осторожностью и завуалированно (принимая во внимание активность цензуры в 1836 году), хотя, по-видимому, надеялся, что несправедливость будет побеждена без кардинального изменения общественного строя.

---

<sup>32</sup> В работе Уокера проводится интересное сравнение взглядов Сергея и Федора Глинок [Walker 1979].

Но по духу он был все-таки ближе к либералам, которые рассчитывали на то, что «народная война» покончит с рабством, а не к консерваторам, не желавшим ничего иного, кроме сохранения старого режима.

После визита в Москву адмирал Шишков вслед за императором вернулся в столицу. Кутузов был назначен верховным главнокомандующим, русские и французы сразились в великой Бородинской битве, после которой Москва пала. Воззвание Шишкова в связи с этими событиями было подчеркнуто оптимистичным. Он говорил о потерях наполеоновской армии, ее трудностях с продовольствием и о ненадежности воюющих под началом Бонапарта иностранных войск, приводил доводы, внушающие надежду на победу, и молил Бога благословить усилия русских в этой борьбе [Шишков 1870, 1: 157–159]. По просьбе Александра Шишков также составил детальную сводку о злодеяниях, учиненных французами в Москве. Он обвинял французов в утрате чувства чести, которое смягчает нравы во время войны между цивилизованными народами: даже дикари, с радостью отдаваясь мародерству, не занимаются бессмысленным разрушением. Акты вандализма французов (особенно в отношении церквей), а также ничем не оправданное разрушение Москвы и жестокое обращение с оставшимися жителями, составляли резкий контраст с гостеприимством, которое москвичи всегда оказывали французам. Эти преступления свидетельствовали о нравственном падении французов, выставленном на всеобщее обозрение после 1789 года. Подобно Глинке, Шишков приходил к выводу, что русские должны быть благодарны тому, что их несчастья наконец открыли им правду о культуре, которой они так долго восхищались и которой старались подражать. Настало время покаяния. «Опаснее для нас дружба и соблазны развратного народа, чем вражда их и оружие. Возблагодарим Бога! Он и во гневе Своем нам Отец, пекущийся о нашем благе. Провидение в ниспослании на нас бедствий являет нам Свою милость» [Шишков 1870, 1: 442]. Таково было личное мнение Шишкова. Он писал другу о тех, кто нападал на его «Рассуждение о старом и новом слоге»:

Тогда могли они так вопиать, надеясь на великое число зараженных сим духом, и тогда должен я был поневоле воздерживаться; но теперь я бы ткнул их носом в пепел Москвы и громко им сказал: вот чего вы хотели! Бог не наказал нас, но послал милость свою к нам, ежели сожженные города наши сделают нас Русскими [Шишков 1870, 2: 327]<sup>33</sup>.

Поначалу Шишков медлил с подачей этого сочинения царю, который был последователем западной культурной традиции и мог почувствовать себя задетым. Однако война, по-видимому, нанесла Александру тяжелый эмоциональный удар и вселила в него мучительную метафизическую тревогу, так что он признал: «Так, правда! я заслуживаю сию укоризну» [Шишков 1870, 1: 160].

Как заметил один из исследователей, манифесты Шишкова распадаются на две группы, различающиеся в зависимости от того, когда они были написаны. Примерно до падения Смоленска он в основном поддерживал действия правительства; уверившись в патриотизме и «боеготовности» дворянства и простых людей, он призывал их активно участвовать в войне. Он писал в стиле, к которому прибегал с 1803 года, и его архаичный язык с высокопарной старомодной лексикой, испещренный стихами из Священного Писания и славянизмами, придавал его манифестам «не только торжественный, но и церковно-библейский колорит» [Альтшуллер 1984: 344]<sup>34</sup>. Сам Шишков считал их своим достижением, которое запомнится надолго. Спустя годы, копируя несколько цитат из этих манифестов в альбом своей знакомой, он с гордостью приписал: «Я стар, темнеет взор, слабеет разум мой. / Но, может быть, не все умрет навек со мной»<sup>35</sup>.

С официальной трибуны он проповедовал то же самое, что и ранее утверждал годами, и его бескомпромиссная искренность вызывала уважение даже его литературных противников. Аксаков писал, что назначение Шишкова приветствовалось в Москве

<sup>33</sup> Письмо к Бардовскому от 11 мая 1813 года, Силезия.

<sup>34</sup> См. также: [Альтшуллер 1984: 344–349; Жаринов 19116: 174–175].

<sup>35</sup> РО ИРЛИ. Ф. 13. Д. 947. Л. 33. Шишкову льстило, когда его манифесты нравились иностранцам. См. ОР РНБ. Ф. 862. Д. 3. Л. 81–81 об.

и в провинции (стало быть, его сочинения были широко известны) и что манифесты, несмотря на их книжный язык, «действовали электрически на целую Русь», заряжая ее «русским духом» [Аксаков 1955–1956, 2: 305–306]. Н. И. Греч, молодой и в ту пору либеральный журналист, соглашался с этим (хоть и без особого энтузиазма), и даже язвительный Ростопчин хвалил манифесты адмирала. Спустя три десятилетия, после похорон Шишкова, Вяземский размышлял:

Во время оно мы смеялись нелепости его манифестов; <...> но между тем большинство, народ, Россия читали их с восторгом и умилением, и теперь многие восхищаются их красноречием; следовательно, они были кстати. <...> Карамзина манифесты были бы с бóльшим благоразумием, с бóльшим искусством писаны, но имели ли бы они то действие на толпу, на большинство, неизвестно [Вяземский 1878–1896, 9: 195–196]<sup>36</sup>.

Однако в другом случае Вяземский высказал мнение, что царь никогда не подписал бы этих манифестов, будь они написаны по-французски, и только слабое знание русского языка не позволило ему увидеть нелепость их стиля<sup>37</sup>.

Шишков был яростным полемистом, но мягким человеком, и за его воинственной риторикой скрывалась настоящая ненависть к войне, порожденная как личными, так и политическими

---

<sup>36</sup> Дневниковая запись 15 апреля 1841 года.

<sup>37</sup> Дневниковая запись 8 октября 1865 года [Вяземский 1878–1896, 10: 257]. См. также [Греч 1990: 210; Ростопчин 1889: 670]. Пушкин писал: «Сей старец дорог нам: друг чести, друг народа, / Он славен славою двенадцатого года» [Пушкин 1950–1951, 2: 61]. Даже те писатели, которые критически относились к творчеству Шишкова, признавали его влияние. В. Ф. Ходасевич и П. К. Щербальский замечают, что некоторые фразы Шишкова откликаются эхом и много лет спустя [Ходасевич 1988: 236; Щербальский 1870: 201]. Де Местр (не знавший русского языка) считал, что Шишков был «прост» и «набожен», но стиль его не годился для официального общения и «плохо воспринимался европейским ухом». См. письма де Местра к Валлезу от 24 декабря 1815 года и 5 января 1816 года, Санкт-Петербург [Maistre 1884–1886, 13: 207]. Следует заметить, что этот отзыв был дан после того, как вышел указ о высылке из Петербурга иезуитов, среди которых были и друзья де Местра.

причинами. Он писал своей жене Дарье Алексеевне, что с трудом выносит лишения, вызванные войной. «Надоело всякий день <...> тащиться по грязи <...> скучно, <...> очень скучно. <...> Чувствую, что пришла старость», — жаловался он в январе 1813 года [Шишков 1870, 1: 319]. Он ощущал, что слишком стар для всего этого, его здоровье было ослаблено, дороги грязны, он часто отставал от штаба и потом разыскивал его, чувствовал себя бесполезным в воинском деле, боялся попасть в плен к французам и просто-напросто хотел домой<sup>38</sup>. Кроме того, его ужасали человеческие потери в этой первой сухопутной войне, которую он видел. Вдоль пути отступления французов взорам его «представились такие страшные зрелища», которые поразили душу его «неизвестными ей доселе мрачными чувствованиями» [Шишков 1870, 1: 165]. Он испытывал глубокую жалость к несчастным, которых Наполеон заманил в Россию, и его отвращение к войне не уменьшилось, когда военные действия переместились за границу: «Проклятая эта война сколько берет жертв!» [Шишков 1870, 1: 375]. В конце 1813 года он писал Дарье Алексеевне из Фрайбурга:

Война гремит, но провались она! Ежели б истребить всех ученых (я не признаю учености без добронравия), то бы все люди сделались злыми невежами; а если б истребить всех воинов (то есть страсть к славе и корыстям), то бы все люди жили в тишине [Шишков 1870, 1: 384].

Шишков был утомлен, война тяготила его и вызывала отвращение; сказывались и свойственные ему осторожность и пессимизм, которые, возможно, возрастали с годами. Он преданно служил в 1812 году, но почувствовал облегчение, когда все закончилось, заметив в письме к другу: «Провидение Божие,

<sup>38</sup> См. письма Шишкова к жене от 16 января 1813 года, Филипсберг, 12 февраля 1813 года, Калиш, 12 и 14 августа 1813 года, Мариенберг [Шишков 1870, 1: 313, 319, 347, 349]. Вяземский, зачастую коротавший ночь за книгой, находил забавным «ребяческое простосердечие», пронизывавшее заметки Шишкова о военной кампании. «Все его путевые впечатления и замечания совершенно детские», — писал он в своем дневнике 25 июля 1853 года [Вяземский 1878–1896, 10: 60–61].



с помощью Веры и народного духа, спасло нас» [Шишков 1870, 2: 331], — и, как многие в то время, проводил параллель с партизанской войной в Испании. Россия могла только благодарить Бога за свое спасение и очищение от французской заразы. В отличие от молодых офицеров, стремившихся сбросить наполеоновскую «тиранию» и впоследствии примкнувших к декабристам, его не вдохновляло перенесение фронта в Европу. Он убеждал Кутузова, что Россия должна радоваться восстановлению своей безопасности и предоставить немцам воевать с Наполеоном, если они пожелают. С этим, очевидно, были согласны и Кутузов, и Аракчеев, но не император. Шишков оценил гостеприимство, оказанное русской армии населением Пруссии, и восхищался храбростью, с какой оно поднялось против Франции, но по-прежнему желал, чтобы война поскорее закончилась. Даже когда союзники уже стояли на границе Франции и были готовы пересечь ее, он писал жене: «Если б Бог умилился над нами и велел нам ехать восвояси, так бы это было гораздо лучше. Пусть их Париж останется цел, и пусть они хвастают гнусною славою, что сожгли Москву». Это было бы моральной победой, добавлял он, — Россия «за зло заплатила добром, не сожгла ни одного ни города ни селения, и всех тех, которые приходили наносить нам вред, <...> освободила от ига. Вот истинная слава!» [Шишков 1870, 1: 381]<sup>39</sup>.

Шишков изложил эти взгляды в меморандуме, представленном царю. Россия достигла своих главных целей, писал он: мощь Франции сокрушена, немецкий буфер восстановлен, и тем самым безопасность России обеспечена. Вторжение во Францию с целью устранить Наполеона может потребовать огромных затрат,

---

<sup>39</sup> Письма Шишкова к жене от 22 ноября и 19 декабря 1813 года, Франкфурт-на-Майне; письмо к Кикину, декабрь 1812 года, Вильна. См. также его письма к жене от 15 декабря 1813 года, Фрайбург [Шишков 1870, 1: 167–168, 381], и к Марии Федоровне от 3 апреля 1813 года, Либень (?): ОР РНБ. Ф. 143. Д. 210. Л. 1. См. также [Stählin 1929–1939, 3: 222; Кочубинский 1887–1888: 59]. О том, хотел ли Кутузов продолжать войну, см. [Дружинин 1988: 101; Троицкий 1988: 304–305]. Ряд историков придерживаются мнения, что Шишков был лидером «антивоенной фракции» [Бескровный 1965: 87].

привести к примирению французов с их императором и закончиться так же плачевно, как наполеоновский поход в Россию, и это, чего доброго, приведет к возрождению его империи. Было бы лучше, если бы вместо этого союзная армия при участии небольшого русского контингента контролировала французскую границу и убедила народ, что в его интересах скинуть Наполеона, так как с его имперскими амбициями покончено, а на территорию Франции союзники не претендуют. Александр сказал Шишкову, что он частично согласен с положениями меморандума, но не намерен следовать его рекомендациям [Шишков 1870, 1: 303–309]. Однако позицию Шишкова разделяли многие, — в частности, в штабе союзников во Франкфурте велась горячая дискуссия именно по этому вопросу. Александр I и прусские «патриоты» (Штейн, Блюхер, Гнейзенау) смело смотрели в будущее и вынашивали дерзкие планы коренной перестройки европейской политики в ходе войны. В то же время Меттерних и монархи Австрии и Пруссии, преследуемые памятью о 1792 годе (когда армия революционной Франции наголову разбила мощные силы вторгшихся на ее территорию государств), разделяли страхи Шишкова, предпочитая действовать осторожно и восстановить баланс сил. В конце концов, когда Наполеон не поддержал пробные шаги Меттерниха к проведению мирных переговоров, война продолжилась.

Становилось ясно, что поражение Наполеона неизбежно, и у Шишкова появился более дерзкий план: стереть все следы Просвещения. Россия сможет заявить о полной победе, только если повернет вспять «не столько естественные, сколько нравственные перемены», спровоцированные французами.

Надобно дух и огонь революции потушить, чтоб ни искры его не осталось; надобно возратить прежнее достоинство царям и народам; надобно лжеучение французских демонов сжечь на костре в Париже, там, где оно родилось; а без того дело будет не dokonчено и слава не совершенная<sup>40</sup>.

---

<sup>40</sup> СПбФ АРАН. Ф. 100. Оп. 1. Д. 354. Л. 4. Письмо к Балашову от 15 [месяц не указан] 1814 года.

Таким образом, Шишков испытывал два противоположных побуждения. Инстинкт самосохранения, обострившийся из-за страхов 1812–1813 годов, заставлял его скептически относиться к ведению войны ради немцев, которых (за исключением пруссаков) он считал ненадежными союзниками. С другой стороны, военная победа была почти несомненна, и он был преисполнен намерения вырвать ростки Просвещения с корнем из их родной французской почвы.

Столь же пылкий патриот, как и Глинка, Шишков был менее мелодраматичен. Для Глинки — по крайней мере в ретроспективе — Наполеон был трагическим героем; Шишков ненавидел его как агрессора и узурпатора трона. Подобно Глинке он верил, что на их веку сбылись библейские пророчества, но не разделял ни его видения войны как величественного и судьбоносного события, ни его надежды на то, что проявленная крестьянами доблесть будет вознаграждена изменением их положения. Шишков считал, что война доказала жизнеспособность старого режима. Как и другие консерваторы, он недооценивал роль народа в войне и объяснял победу русских помощью Всевышнего и сплоченностью русского общества. Соглашаясь с Ростопчиным, он не видел связи между военной победой и реформами общества и, как только поражение Наполеона в России стало очевидным, был не меньше московского губернатора заинтересован в том, чтобы крестьяне-ополченцы были разоружены и память о «народной» войне канула в Лету [Шишков 1870, 1: 239, 252–257, 270, 284]<sup>41</sup>.

Нежелание связывать победу с проведением социальных реформ хорошо иллюстрирует один из эпизодов 1814 года. 30 августа (в день именин Александра) царь нередко выступал с важными обращениями к народу, и по возвращении в Санкт-Петербург он пожелал выразить благодарность своим подданным. По этому случаю Шишков составил черновик обращения, в котором все, кто отдавал свои силы в этой войне, были упомянуты в порядке, соот-

---

<sup>41</sup> В своих воспоминаниях адмирал часто с презрением отзывается о Наполеоне как о *простолюдине*. Был случай, когда Шишков зачитал царю отрывки из Библии, и при этом они «оба с ним довольно поплакали» [Шишков 1870, 1: 257]. См. также [Окунь 1962: 64–65; Мельгунов 1923: 235–236; Картавов 1904: 75; Тартаковский 1967: 67–69].

ветствующем их заслугам. Согласно представленному Шишковым проекту документа, прежде всего царь заявлял, что следует каждое Рождество благодарить Бога. Во-вторых, всем священникам полагалось получить памятные кресты. Затем Александр должен был объявить, что дворяне, военные и некоторые купцы получают медали, и при этом призвать дворян к более добродетельной жизни и большей заботе о своих крепостных. В конце обращения царь высказывал пожелание: «Крестьяне, верный наш народ, да получит мзду свою от Бога» [Шишков 1870, 1: 306], и объявлял, что в связи с возросшей в военное время численностью армии год или два не будет рекрутского набора. Говоря об отношениях между дворянами и их крепостными, документ Шишкова гласил:

*Существующая издавна между ними, на обоюдной пользе основанная, русским нравам и добродетелям свойственная связь <...> не оставляет в нас [то есть у Александра I] ни малого сомнения, что с одной стороны помещики отеческою о них, яко о чадах своих, заботою, а с другой они, яко усердные домочадцы, исполнением сыновних обязанностей и долга, приведут себя в то счастливое состояние, в каком процветают добронравные и благополучные семейства [Шишков 1870, 1: 306–307].*

Перечисляя подданных царя, Шишков поставил дворянство впереди армии, полагая, что это его место как первого сословия в империи. Но император в сердцах приказал ему поменять их местами. Когда Шишков возвратился с исправленным вариантом, Александр заявил, что совесть не позволяет ему рассматривать крепостную зависимость как «на обоюдной пользе основанную». Шишков тщетно доказывал, что эта идея составляет нравственную основу крепостного права; ему оставалось только сетовать на «сие несчастное в государе предубеждение против крепостного в России права, против дворянства и против всего прежнего устройства и порядка» [Шишков 1870, 1: 309]<sup>42</sup>. Этот эпизод был

<sup>42</sup> Тем не менее это обращение разочаровало прогрессивно мыслящих образованных людей. См. [Предтеченский 1957: 361].

характерен для Александра, чувствовавшего несправедливость старого режима. Однако его взгляд на «народную войну» был консервативен и мало отличался от мнения Шишкова: император полагал, что французы необратимо оттолкнули от себя русских крестьян, оскверняя их церкви; в конце 1812 года он сказал, что в крестьянах он вновь увидел «нравы патриархальных времен, глубокое почитание религии, любовь к Богу и полную преданность государю» [Choiseul-Gouffier 1900: 140]<sup>43</sup>.

Отнюдь не все консерваторы относились к войне с такой же опаской, как Шишков. Ростопчин, к примеру, убеждал царя, что надо освободить всю Европу и расширить границы России до Вислы. (Впрочем, не вполне ясно, что он в действительности думал о продолжении войны<sup>44</sup>.) Его покровительница Екатерина Павловна тоже видела в войне возможность наращивания сил России. Подобно Ростопчину и императрице Елизавете Алексеевне (и в отличие от ее матери Марии Федоровны, Константина Павловича, Аракчеева и министра иностранных дел Румянцева)<sup>45</sup>, она была против заключения мира после падения Москвы и не разделяла религиозного фатализма своего брата. Екатерина

---

<sup>43</sup> Окунь высказывает принятое в советской исторической науке мнение, что мотивами, заставлявшими крестьян оказывать сопротивление врагу, были страстная религиозность, патриотизм и ненависть к крепостному праву [Окунь 1962: 58].

<sup>44</sup> См. письма Ростопчина к Александру I от 13 октября 1812 года, Владимир, и от 2 декабря 1812 года, Москва [Письма Ростопчина 1892: 550, 561]. Дружинин утверждает, что Ростопчин, как и Шишков, был против продолжения войны [Дружинин 1988: 101]; и действительно, отзываясь с презрением о министрах Александра I, Ростопчин поддерживал министра иностранных дел Н. П. Румянцева, участвовавшего в подготовке тильзитского соглашения [Ростопчин 1889: 653]. Той же точки зрения придерживается Дж. Л. Блэк [Black 1970: 38]. Карамзин с самого начала выступал против войны [Black 1970: 38]. О целях, которые преследовали консерваторы в связи с войной, см. [Предтеченский 1950: 240–241].

<sup>45</sup> См. письма Ростопчина к Александру от 1 сентября 1812 года, Москва, и от 13 сентября 1812 года, Пахра [Письма Ростопчина 1892: 529, 538]; письма Елизаветы Алексеевны к матери от 26 августа / 7 сентября 1812 года, Каменный остров, и от 24 сентября / 6 октября 1812 года, Санкт-Петербург [Николай Михайлович 1908–1909, 2: 543–544, 549]. См. также [Пыпин 1918: 300; Греч 1990: 212].

Павловна утверждала, что «неудачи происходят от ошибок, сделанных людьми, и не следует обвинять в этом Провидение» [Письма великой княгини 1870: 1971]<sup>46</sup>, и убеждала Александра продолжать войну, потому что этого требуют честь и общественное мнение. Героическая борьба России с захватчиками наполнила ее гордостью и надеждой. Ей была близка идея «народной войны», она поддерживала создание ополчения и заявляла в письме к Карамзину (которое демонстративно написала по-русски), что «Россия была вторая в Европе держава, теперь и навеки она первая» [Пушкин 1888: 59]<sup>47</sup>. Когда французы были изгнаны из Центральной Европы, в 1813 году Екатерина Павловна отправилась в путешествие по ней как с личными целями (чтобы оправиться после скоропостижной кончины мужа в декабре 1812 года), так и с политическими. Она писала, что

...всего более поражает [ее] своею грандиозностью то обстоятельство, что Русские войска теперь расставлены от Петропавловской крепости до берегов Рейна, и что есть люди, прошедшие пешком из Камчатки под Франкфурт. Но теперь-то именно не следует нам пьянеть от успехов, но, напротив того, собирать жатву [Письма великой княгини 1870: 1998]<sup>48</sup>.

В награду за принесенные жертвы «Россия должна упрочить свое могущество и в особенности свое преобладание на будущие века. Чем более я вижу других народов, тем более убеждаюсь я, что [мой народ] между ними первый» [Письма великой княгини 1870: 1998]<sup>49</sup>.

---

<sup>46</sup> Письмо Екатерины Павловны к Деволану от 3 сентября 1812 года, Ярославль.

<sup>47</sup> Письмо к Карамзину от 13 ноября 1812 года, Ярославль; см. также [Vries de Gunzburg 1941: 54].

<sup>48</sup> Письмо Екатерины Павловны к Деволану от 6 сентября 1812 года, Ярославль. См. также [Nikolai Mikhailovich 1910: 84]; письмо Ю. А. Нелединского-Мелецкого к Е. И. Нелидовой от 10 октября 1812 года, Вологда [Оболенский 1876: 156].

<sup>49</sup> Письмо к Деволану от 20 октября / 1 ноября 1813 года, Прага. См. также [Божеянов 1888: 59–75; Богоявленский 1912–1913: 178–179; Vries de Gunzburg 1941: 59–62; Еленев 1936: 11–56].

Война стала вершиной, и следовательно, концом подъема движения романтических националистов и дворян-консерваторов. В Москве Ростопчин продолжал преследовать русских, сотрудничавших с французами, а также «мартинистов», реальных или вымышленных. Судя по всему, москвичи все больше разочаровывались в нем, обвиняя его в несчастьях 1812 года и возмущаясь недостаточной помощью правительства жертвам московского пожара. 30 августа 1814 года Ростопчин и Шишков были сняты со своих постов [Покровский 1914: 200; Мельгунов 1923: 227–231; Половцов 1896–1918, 17: 288–290; Шильдер 1897, 3: 259–260]<sup>50</sup>. Отечественная война была позади, и царю больше не нужны были стойкие приверженцы консерватизма, враждебные его либеральным мечтаниям и мистическим религиозным чувствам. Став самым могущественным монархом Европы и повелителем ее судеб, он не нуждался больше в демагогах-ксенофобах и простодушных поборниках изоляции России.

Ростопчин, расстроенный этим и оскорбленный неблагодарностью своих соотечественников, оставался в России до 1815 года, пока наконец не уехал — в Париж. Там он отбросил свою франкофобию и снова превратился в утонченного гран-сеньора, который развлекал завсегдатаев салонов своими едкими остроумиями и купался в лучах славы как герой, который сжег Москву и одержал верх над Наполеоном<sup>51</sup>. В 1823 году он вернулся в Россию и в 1826-м умер в Москве.

Екатерина Павловна вышла замуж за короля Вюртемберга, поселилась в его владениях, где и умерла скоропостижно в конце 1819 года после внезапной болезни. Сергей Глинка жил долго — в бедности и относительной безвестности. С поражением Наполеона исчез смысл его деятельности как писателя, а его наивный

---

<sup>50</sup> По словам одного из москвичей, весь город радовался отставке Ростопчина. См. письмо Ф. Кристина к Туркестановой от 3 сентября 1814 года, Москва [Ferdinand Christin 1882: 146].

<sup>51</sup> См. письма Ф. Кристина к Туркестановой от 14 декабря 1816 года и 28 мая 1817 года, Москва, и письмо Туркестановой к Кристину от 19 мая 1817 года, Павловск [Ferdinand Christin 1882: 444, 571–574].

идеалистический патриотизм, который некогда увлекал за собой соотечественников, стал терять свою ведущую роль, по мере того как в России обретал почву культурный национализм. Он продолжал издавать «Русский вестник» и пробовал себя в разных литературных жанрах. Но ему никогда больше не удавалось завладеть воображением публики, и Россия перестала читать его сочинения задолго до его смерти в 1847 году. Слава адмирала Шишкова также померкла, и он лишился прежнего влияния, но оставался в добром здравии и жил в столице, где его новое положение в Государственном совете и Российской академии, а также неизменная категоричность его высказываний внушали уверенность, что повторная отставка пылкого старца, подобно первой (в 1801–1812 годах), — явление временное. И правда, после десятилетней политической спячки адмирал Шишков и правда вновь займет высокий пост, чтобы вступить в последнюю битву с силами модерна.



## Глава 6

# Духовные основания Священного союза

Победа России над Наполеоном обозначила водораздел в эволюции консерватизма при Александре I в двух отношениях. Прежде всего, инициатива перешла от общества к государству, и поэтому наше основное внимание в данном исследовании переходит от салонов, литературных обществ, театра и прессы к миру двора и бюрократии. Общественное мнение по-прежнему играло определенную роль, но лишь в той мере, в какой его идеи разделялись влиятельными персонами, которым и будут посвящены последние главы. К тому же новые «консервативные» идеи, отчасти заимствованные у протестантов Германии и Англии и воплощенные в Священном союзе, были с политической точки зрения даже более двусмысленными, чем национализм Шишкова и Глинки, и являлись — в гораздо большей степени, чем романтический национализм или дворянский консерватизм — результатом прямого интеллектуального диалога с Западной Европой. Важно, однако, что этот послевоенный консерватизм являлся продолжением более раннего консервативного движения. Оба этих этапа не только были связаны интеллектуально или через конкретных лиц, но и цель оставалась прежней — очистить общество нравственно, не нарушая общей структуры государства. После победы консерваторы контролировали рычаги государственной власти и имели возможность попытаться воплотить свои идеи. (В данной главе не рассматриваются ни происхождение, ни последствия *договора* о Священном союзе, в ней в основном пойдет речь об идеологах Священного союза и их идеях.)

Мыслители этой второй консервативной волны основывались на религии. Иерархия православной церкви сама по себе была весьма склонна к консерватизму, но религиозный консерватизм, характерный для правления Александра, в основном сформировался под влиянием иностранных идей. (Ни в одной из ветвей консерватизма той эпохи не проглядывают столь явственно связи между русской и европейской мыслью.) Духовный авторитет православия для образованных классов был поколеблен еще с тех пор, как Петр I упразднил патриаршество и, поставив церковь под наблюдение светского официального лица (обер-прокурора Святейшего Синода), ослабил доверие к ней населения, которое стало смотреть на церковь как на служанку государства. Высказывалось мнение, что статус церкви приблизился к образцу официальных протестантских церквей в других странах, и, поскольку из-за слабости собственной философской традиции, обучение в церковных школах оказалось под влиянием протестантской схоластики, это привело к дальнейшему размыванию отчетливой православной идентичности [Müller 1951: 9; Müller 1949: 27]<sup>1</sup>.

Вынужденное сосуществование национального («отсталого») и чужеземного («прогрессивного») элементов в сфере религии отражало общие тенденции в русской жизни, и в частности споры о языке. Величавому и ориентированному на традицию «старому слогу» соответствовало в сфере религии традиционное православие, но дворянство плохо знало церковнославянский язык и литературу на нем, и это сказывалось в религиозной практике, так как церковнославянский язык был языком писаний, молитв и служб. «Новый слог» — космополитический, эlegantный, сентиментальный, непринужденный, порой поверхностный — хорошо соответствовал распространившемуся в России на рубеже веков интроспективному внецерковному благочестию. Подобно «новому слогу», это внецерковное благочестие было эхом европейского романтизма и сентиментализма. Как выра-

---

<sup>1</sup> Д. Тредголд высказывает мнение, что реформы Петра I были своего рода Реформацией [Treadgold 1973, 1: 105]. Г. Фриз считает, что церковь фактически сохранила свою независимость [Freeze 1985].

зился Г. В. Флоровский, век страдал от «безответственности сердца, <...> “эстетическая культура сердца заменила нравственные принципы нежными чувствами” (слова Ключевского)» [Флоровский 1937: 128]. Этот характер религиозности был близок обществу, чей духовный голод, коренящийся в веках православной традиции, не ослабевал, тогда как учения и обряды официальной церкви не предоставляли ему достаточной пищи [Дубровин 1894–1895, 1: 180–186].

Возрождение веры в высших классах общества происходило под воздействием различных сил. Начать с того, что многих оскорблял примитивный скептицизм, порожденный французским Просвещением и часто служивший фиговым листком, который прикрывал порок и невежество. Просвещение, при всей его интеллектуальной мощи, хранило молчание по поводу духовных вопросов. Многие из ранних интеллигентов (например, Новиков и Лопухин), чья православная вера была подорвана в результате контакта с «вольтерьянством», находили выход из конфликта в туманной религиозности масонов — своеобразной смеси христианских и просветительских идей [Мельгунов, Сидоров 1914–1915, 1: 133–135, 180]<sup>2</sup>. Начиная с 1780-х годов русское масонство становилось все более мистическим и осознанно враждебным рационализму, и эта тенденция способствовала последующему возвращению к религии. Особенно влиятельной группой были розенкрейцеры. Они не считали, что изменили православию, но под влиянием западных мистиков (таких как Якоб Бёме, Карл Эккартсгаузен, Эммануил Сведенборг и Луи-Клод де Сен-Мартен) делали упор на внутреннюю духовность и личное общение с Богом и принижали значение догм, таинств, иерархичности и прочих «внешних» проявлений традиционного православия [David 1962; Treadgold 1973: 122–127; Миропольский 1878, 1: 15–18]. Другой причиной, побуждавшей обратиться к религии, было впечатление, произведенное Французской революцией, дискредитировавшей философию французского Просвещения, чью риторику подхватили революционеры. По мере

<sup>2</sup> Подобный пример приводит Оболенский [Оболенский 1876: 91–92].

того как русское общественное мнение отворачивалось от идей Просвещения и породившей его французской культуры, безбожие, которое ассоциировалось с якобинцами, также начинало вызывать все большее неодобрение.

Однако православие, отчужденное от высшего класса, было не в состоянии воспользоваться этим возрождением веры. Точнее говоря, церковь тоже по-своему претерпела культурную и интеллектуальную вестернизацию, но ее связи с идеями протестантизма и католицизма не привели к ее сближению с высшим обществом, вестернизация которого шла в другом направлении — либо к мистицизму, либо к свободомыслию. К тому же принадлежность к духовенству являлась наследственной, поэтому, в отличие от католических стран, аристократы не занимали в русской церкви высоких постов. Вследствие этого аристократия и духовенство были разобщены и почти не общались друг с другом; как пишет Дональд Тредголд, Пушкин («величайший русский поэт») и Серафим Саровский («величайший из современных русских святых») были современниками, но, по-видимому, не подозревали о существовании друг друга [Treadgold 1978: 21]. Православная церковь, которую аристократы обычно считали холодной, сугубо обрядовой и интеллектуально косной, могла лишь в небольшой степени быть их духовным руководителем. В результате, как ни парадоксально, церковь подвергалась со стороны правительства и элиты нападкам в то самое время, когда христианство переживало в России возрождение. Слабость церкви вынуждала большую часть образованной городской элиты искать духовной пищи в другом месте. В заполнении этого вакуума наибольшего успеха добились четыре течения: сектантство, «нетрадиционное» православие, «Пробуждение» и католицизм.

Секты играли среди них наименее заметную роль, но являли редкий пример встречи аристократов и крестьян на культурной почве, где преобладали крестьяне<sup>3</sup>. То, что секты оказывали хоть

---

<sup>3</sup> Квазиэтнографическое описание сектантства приводится в романах П. И. Мельникова-Печерского «В лесах» и «На горах», написанных во второй половине XIX века. Я благодарю Марка Раева за эту подсказку.

какое-то влияние на высший класс общества, свидетельствовало о слабости православной церкви, поскольку церковь и государство неустанно с ними боролись. Антицерковные эмоционально насыщенные мистические верования сектантов с их почти протестантским акцентом на личное общение с Богом затрагивали чувствительные струны в душах элиты. Ярким примером может служить история Кондратия Селиванова, основателя одного из самых необычайных религиозных сообществ — секты скопцов, в которой мужчинам предлагалось кастрировать самих себя, чтобы избежать греха. Его последователи полагали, что он бог; к тому же, подобно мятежнику Пугачеву, он объявил себя сыном императора Петра III. Все это казалось настолько опасным, что Екатерина II сослала его в Сибирь на 20 лет. После ее смерти Селиванова вернули и представили Павлу I, которому он, по-видимому, тоже предложил кастрировать самого себя, после чего был заключен в сумасшедший дом. Несмотря на эксцентричность его учения, Селиванов после своего освобождения в 1802 году вызывал большой интерес публики. Дамы дворянского и купеческого происхождения искали его благословения и приходили слушать его пророчества, и даже император посетил его в 1805 году [Милюков 1899: 107, 118–120]<sup>4</sup>.

«Нетрадиционное» православие, в какой-то степени независимое от церковного руководства, распадалось на два течения. Первое напоминало своей мистической религиозностью сектантство и тоже коренилось в ксенофобии, свойственной культуре низших классов. Наиболее влиятельным его представителем был Фотий (Спасский), эмоционально неустойчивый полуграмотный монах, который возмущался проникновением в русскую культуру и религию иностранной мерзости и регулярно общался со сверхъестественными существами. Представляя разительный контраст с консервативными учеными епископами и митрополитами православной церкви, он напоминал небогатых и малообразованных деревенских священников, которые составляли большинство православного духовенства и редко

<sup>4</sup> См. также [Половцов 1896–1918, 18: 282–288; Дубровин 1895–1896, 1: 33–39].

появлялись в столичных салонах. Как и Распутин веком позже, он притягивал элиту Петербурга (и особенно императора) своей грубой фанатичной «русскостью», отвергавшей утонченную искусственность столичной жизни. Второе течение явилось попыткой западно-ориентированных мыслителей (светских и церковных) изменить роль православия в обществе. Одним из них был Александр Стурдза, о котором речь пойдет ниже. Другим — Филарет (Василий Михайлович Дроздов), молодой священник, благодаря своему таланту и рвению к тридцати годам ставший ректором Санкт-Петербургской духовной академии и членом могущественной Комиссии духовных училищ. Будущий митрополит Московский, Филарет был одной из самых динамичных фигур в церковной иерархии. Его красноречивые проповеди привлекали людей, склонных к мистицизму и другим аспектам западной теологии, — в частности князя Голицына, Лабзина, А. Тургенева, В. М. Попова, В. И. Туркестанову и А. Стурдзу, известных приверженцев «религиозного консерватизма». Он ратовал за перевод Библии на современный русский язык, чем возмущал лингвистических традиционалистов вроде Шишкова. Филарет хотел обновить церковь изнутри, и это отличало его от таких мистиков, как Лабзин и Голицын, которые задавались вопросом, имеет ли она вообще какой-либо смысл [Чистович 1894: 54, 117; Половцов 1896–1918, 21: 83–93; Миропольский 1878, 1: 20]<sup>5</sup>.

Популярность идей Филарета была отчасти связана с тем, что они перекликались с таким течением немецкого протестантизма, как мистический квиетизм, который глубоко проник в сознание многих лидеров русского общества. Подобно масонству, немецкое «Пробуждение» пыталось вдохнуть жизнь в религию, не делая церковь посредником между верующим и Богом и отвергая ее догматы и ритуалы. Его связь с масонством отчетливо проявилась в мистических ложах, процветавших при Александре I, самой

---

<sup>5</sup> См. также письмо Туркестановой к Кристину от 18 января 1814 года, Санкт-Петербург [Ferdinand Christin 1882: 88]. В. И. Туркестанова была фрейлиной императрицы Марии Федоровны.

заметной из которых была ложа Лабзина. Ведущие идеологи «Пробуждения» были убеждены, как и мистик Сен-Мартен, что развитие событий начиная с 1789 года свидетельствует о близком конце света, и эти хилястические идеи пустили корни и в среде «пробужденных» русских. Так, например, работы И. Г. Юнг-Штилинга снискали большую популярность во многом благодаря переводам Лабзина, а Игнатий Фесслер, католический монах, принявший лютеранство и руководивший собственной мasonicкой ложей, воспитывал петербургских семинаристов в мистическом религиозном духе, пока не был уволен по настоянию традиционалистов из числа православного духовенства [McConnell 1970: 190; Treadgold 1973: 113, 117]<sup>6</sup>.

Католики, и особенно иезуиты, также безуспешно пытались обратить русских аристократов в свою веру. Ордену иезуитов, запрещенному папой в 1773 году, удалось выжить в российской Польше, где этому способствовала Екатерина II, ценившая преданность иезуитов короне (что было важно в этой беспокойной земле) и их деятельность в области образования. Павел разрешил учредить иезуитские школы в российской столице; в них обучались мальчики из некоторых наиболее знатных семейств. Иезуиты и многие иммигранты, бежавшие от Французской революции (в том числе и такая заметная фигура, как Жозеф де Местр, сторонник абсолютного авторитета римского папы), энергично старались насадить в России католицизм. Среди новообращенных были жена и дочь графа Ростопчина, которого потрясло то, что члены его собственной семьи отказались от веры предков. Сам де Местр, будучи послом всего лишь маленького Сардинского королевства, поддерживал связи с императором и избранными представителями российской элиты, которых привлекали его яркая личность и обаяние. Он был завсегдатаем фешенебельных салонов, интриговал против Сперанского и высматривал потен-

---

<sup>6</sup> О Лабзине см. [Дубровин 1894–1895; Державин 1912; Половцов 1896–1918, 10: 2–12; Лабзина 1914; Аксаков 1955–1956, 2: 222–256; Benz 1949: 128–129; Чистович 1894: 50–53]. Взгляды Сен-Мартена изложены в отрывке из его сочинения в [Starobinski 1979: 160–161].

Рис. 7. А. Н. Голицын.  
Гравюра Томаса Райта  
с портрета Карла  
Брюллова. [ОВИРО  
1911–1912, 7: 211]



циальных неофитов католической веры, среди которых заметное место занимали аристократки<sup>7</sup>.

И все же более сильным влиянием, чем римский католицизм, пользовалось «Пробуждение». Оно не имело статуса церкви и скорее подразумевало индивидуальный духовный поиск, а потому оказалось совместимым с принадлежностью к православной церкви и не предполагало смены вероисповедания. Кроме того, католицизм долгое время ассоциировался с польскими врагами России, тогда как притягательность «Пробуждения» (как и масонства) увеличивалась благодаря престижу протестантской культуры Германии и Англии. В России оно укоренилось как интроверсивная вера, делавшая упор на личное общение с Богом и, в некоторых случаях, самостоятельное прочтение Священного Писания. При этом принадлежность к официальной церкви значила меньше, чем к неформальной общине «пробужденных»<sup>8</sup>.

---

<sup>7</sup> См. [Schlafly 1972: 85–94, *passim*; Schlafly 1970; Schlafly 1989; Степанов, Вермаль 1937: 606, *passim*; Edwards 1977; Latreille 1918; Bliard 1912]. Блиар в своем эссе защищает позицию иезуитов.

<sup>8</sup> Интересное изложение истории этого вопроса содержится в [Raeff 1967].



В высшем свете это направление возглавлял князь Александр Николаевич Голицын. Это был человек умный, честный, добрый и обаятельный, и невозможно было предположить, что имя его станет синонимом деспотического религиозного фанатизма. Его мировоззрение сформировалось при дворе Екатерины II; он был товарищем детских игр будущего императора Александра I, а в юности своей стал, согласно его биографу Уолтеру Савацкому, «эпикурейцем, а затем вольтерьянцем» [Sawatsky 1976: 45]. Однако, по словам Флоровского, он был «наиболее восприимчивым и эмоциональным» представителем своего времени, а «его впечатлительность была почти что болезненной» [Флоровский 1937: 132]. И когда Александр назначил его обер-прокурором Святейшего Синода (который он возглавлял 13 лет — дольше, чем кто-либо другой, за исключением К. П. Победоносцева, прослужившего обер-прокурором с 1880 по 1905 год), он прочел Новый Завет — «возможно, впервые в жизни», как предположил его друг Петер фон Гётце — и обрел веру. «Отдаваясь целиком миру и всем грехам, которые в нем можно найти, он был поистине их рабом, — писала в 1813 году княгиня Туркестанова (также дружившая с ним), — но два года назад он совершенно изменил свой образ жизни и сейчас он — образец благонравия» [Ferdinand Christin 1882: 70]<sup>9</sup>. Как пишет биограф Голицына, «сначала он был деистом, затем решил, что разумнее принять православие, но постепенно стал все больше склоняться к позиции личной ответственности перед Богом» [Sawatsky 1976: 73]. В то же самое время Сперанский, сын священника и в прошлом семинарист, также развивал личное мистическое христианство, к чему его, видимо, подтолкнул в 1803–1804 годах розенкрейцер Лопухин [Goetze 1882: 18, 25–29; Golovina 1910: 209–210]<sup>10</sup>. Таким образом, Александр I был окружен группой благочестивых советников, в которую входили Голицын, Сперанский и старый мистик и масон

<sup>9</sup> Письмо к Кристину от 14 декабря 1813 года, Санкт-Петербург.

<sup>10</sup> О пребывании Голицына на посту обер-прокурора см. [Sawatsky 1976: 57–68; Чистович 1894: 17, 19–28]. О его деятельности до 1803 года см. [Чистович 1894: 17–18]. О Сперанском см. [Чистович 1894: 39; Дубровин 1894–1895, 1: 156, 160–161].

Р. А. Кошелев, лично знавший знаменитого Сен-Мартена. Другие члены правящей династии (например, Мария Федоровна) сторонились этих религиозных течений, и поначалу император также уклонялся от участия в них<sup>11</sup>.

Разобраться в психологии Александра крайне трудно. Он умело скрывал свои мысли, и тех, кто принимал его кажущуюся задумчивую нерешительность за чистую монету, ждало удивление. Однако вполне возможно, что испытания, через которые он прошел начиная с 1801 года — его роль в убийстве отца, провал его реформаторских планов, поражения за границей и неудачи в личной жизни — оказались для него тяжелым духовным грузом, и это давление достигло апогея в трагические месяцы лета 1812 года. В Санкт-Петербурге Александр не мог найти необходимую поддержку: когда он уезжал в апреле 1812 года, народ приветствовал его, как это было и в Москве в июле, но по его возвращении настроение публики заметно помрачнело. Затем пала Москва. 15 сентября, в годовщину его коронации, возникли такие опасения за его безопасность, что он проследовал по Невскому проспекту не как обычно, красуясь верхом на коне, а в карете вместе с женой и матерью. Роксандра Стурдза, фрейлина его жены, впоследствии вспоминала «угрюмую тишину и недовольные лица» в толпе. «Можно было слышать наши шаги», когда царская семья поднималась по ступеням Казанского собора. «Одной искры было бы достаточно, чтобы вызвать взрыв общего возмущения» [Edling 1888: 79–80]. Казалось, что Александр потрясен. Н. И. Греч также отметил гнетущую атмосферу, хотя ему настроение толпы показалось скорее подавленным, чем угрожающим; царь «был бледен, задумчив, но не смущен; казался печален, но тверд» [Греч 1990: 184]<sup>12</sup>.

<sup>11</sup> О Кошелеве см. [Император Александр I-й 1915; Schaefer 1934: 52–53]; см. также письмо Кристины к Туркестановой от 31 марта 1819 года, Москва [Ferdinand Christin 1882: 778]. О Марии Федоровне см. [Чистович 1894: 222; Мельгунов, Сидоров 1914–1915, 2: 148]. Об Александре I см. [Флоровский 1937: 130–132].

<sup>12</sup> См. также письмо Головина Ростопчину от 11 апреля 1812 года, Санкт-Петербург [Rostopchine A. 1864: 438]; [Шильдер 1897, 3: 92, 376].



Рис. 8. Р. С. Стурдза.  
[ОВИРО 1911–1912,  
5: 20]

За те несколько недель после падения Москвы, когда Кутузов мало считался в своих действиях с желаниями императора, а публика была разгневана и трепетала перед Наполеоном, Александр, по-видимому, пережил духовное перерождение. Годы спустя, все еще под впечатлением того, как «великая армия» словно по волшебству сгнула на замерзших просторах Белоруссии, он вспоминал: «Пожар Москвы осветил мою душу, и суд Божий на ледяных полях наполнил мое сердце теплотой веры, какой я до тех пор не ощущал. <...> Тогда я познал Бога, как его описывает Св. Писание»<sup>13</sup>. Голицын, также «пробужденный» в 1812 году своим любимым проповедником Филаретом, направлял Александра в его новой религии, которая стала краеугольным камнем его мировоззрения [Дубровин 1894–1895, 4: 108–112; Sawatsky 1976: 73, 500; Sawatsky 1992: 6; Edling 1888: 77].

Мистическое хилиастическое «обращение» Александра I после 1812 года, судя по всему, углублялось со временем и поддерживалось некоторыми лицами из его окружения. Особое влияние на его духовную эволюцию и международную политику оказали

---

<sup>13</sup> Беседа Александра I с прусским епископом Эйлертом в Берлине 8/20 сентября 1818 года. Цит. по: [Дубровин 1894–1895, 4: 108].

в последующее десятилетие Роксандра Стурдза и ее брат Александр — два типичных представителя религиозного возрождения в образованной среде.

Наиболее яркой личностью среди религиозных консерваторов была Роксандра Стурдза; к тому же она, возможно, больше других связывала «Пробуждение» с «нетрадиционным» православием. Все написанное ею, а также письма и воспоминания современников свидетельствуют, что она обладала острым, хотя и сентиментальным умом, была человеком осмотрительным и чутким к эмоциональным потребностям других и пользовалась этим как для того, чтобы помочь им, так и для достижения собственных целей<sup>14</sup>. Она была неспособна делать карьеру любой ценой, но считала себя и свое окружение избранными орудиями божественного промысла. «Пробуждение» находило отклик в романтической чувствительности Роксандры и укрепляло ее тесные эмоциональные и интеллектуальные связи с де Местром, Софией Свечиной, Юлианой фон Крюденер, Юнг-Штиллином, Францем фон Баадером и другими западными христианами, также искавшими истинный путь к Богу. Она придавала большее значение личной ответственности перед Богом, нежели беспрекословному следованию догматам, но от православия не отказывалась и держалась в стороне от культовых крайностей, которым предавались в то время некоторые мистики.

Ее брат Александр был совсем другим человеком и расходился с ней в вопросах религии. Он обладал живым, но жестким характером и твердым пронизательным умом. Светская обходительность Роксандры была ему чужда, он легко мог обидеть человека. Углубляясь в напыщенный самоанализ, который ввела в моду современная литература, подросток Алеко писал Роксандр: «Не

---

<sup>14</sup> См. дневниковую запись А. И. Тургенева 26 июля / 7 августа 1840 года, Веймар [Тургенев 1964: 207]; воспоминания Каролины фон Фрейштедт [Николай Михайлович 1908–1909, 2: 486]; См. также [Маркович 1939: 383; Martin 1998]. В моей статье излагаются факты биографии Роксандры и Александра Стурдз и анализируется их роль в формировании идеологии Священного союза и российской внешней политики после 1815 года (в частности, в отношениях с Германией).



Рис. 9. А. С. Стурдза.  
[ОВИРО 1911–1912,  
7: 217]

будучи совершенно лишен чувствительности, я часто суров, угрюм и строг и, сверх того, совсем не общителен. <...> Мои взрывы, хотя и очень редкие, неистовы и самоубийственны по своим последствиям»<sup>15</sup>. Сентиментальность сестры не была ему свойственна, а его скорее догматический и аналитический ум меньше поддавался впечатлениям. Если она была искусна в общении с людьми, то его сила проявлялась в анализе и изложении сложных проблем в жестких рамках его теоретических построений. Ее карьера разворачивалась при дворе, он делал свою в качестве теоретика государственной стратегии. Его религиозные взгляды отражали его натуру: подобно Филарету, он был поборником сугубо интеллектуального православия, достойного своего греческого теологического наследия и не искаженного причудами русской традиции. В то же время он резко критиковал католицизм, протестантизм и все формы современного западного мистицизма.

Роксандра родилась в Константинополе в 1786 году, а Александр — в Яссах в 1791-м. Их мать, гречанка Султана Мурузи, была дочерью правителя (господаря) Молдавии, а отец, Скарлат

<sup>15</sup> РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 2. Л. 18 об.–19 об. «Ma Vie».

Стурдза, принадлежал к одному из самых могущественных родов страны. Он был набожным и меланхоличным человеком; получив образование в Германии, он после рождения Александра переехал в Россию, спасаясь от турок. Двое его братьев преуспели на турецкой службе, но были казнены в 1812 году в наказание за то, что один из них помог заключить невыгодный Бухарестский мирный договор. Под влиянием семейной истории у младшего поколения развились глубокая набожность, интерес к языкам, ненависть к Турции и исламу, горячее сочувствие борьбе греков за независимость и верность России как бастиону православия и справедливости<sup>16</sup>.

Детство брата и сестры проходило в Санкт-Петербурге и в Устье — родовом имении в Белоруссии. Там они пережили три болезненных духовных кризиса, сильно на них повлиявших. Во-первых, Роксандра почувствовала, подобно Лопухину и многим другим, что ее вера почти разрушена рационализмом [Edling 1888: 5–6; Лопухин 1990: 19–20]. Как и остальные, она вышла из этого испытания непримиримо враждебной ко всякому безбожию, однако рационализм, социальный критицизм и интроспективная сентиментальность Просвещения и романтизма оставили свой отпечаток на образе мыслей сестры и брата. Вторым ударом стала смерть их сестры Смарагды (1803), за которой последовало самоубийство их брата Константина (1806). Семейные драмы, финансовые и психологические трудности эмигрантской жизни и замкнутый характер, который Скарлат передал своим детям, склоняли их к меланхолической отрешенности. Роксандра сознавала свою ответственность за близких, в особенности за пожилого отца и за брата, к которому она испытывала почти материнские чувства [Edling 1888: 8–20]<sup>17</sup>. Эта рано развившаяся в ней заботливость научила ее чувствовать и облегчать чужие страдания — качество, оказавшееся полезным для нее в отношениях с Александром I. Она также поняла, что не может позволить

<sup>16</sup> РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 2. Л. 3. «L'Histoire de mon enfance et de ma première jeunesse, écrite pour ma soeur. 1809»; [Paunel 1944: 83–85; Edling 1888: 2].

<sup>17</sup> См. также РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 2. Л. 7–9. «L'Histoire...».

себе на жизненном пути ошибок. Результатом были верная и ревностная служба при дворе, привычка контролировать свои чувства и отсутствие в ее личности всякой фривольности.

В ходе третьего кризиса, во время войны 1805–1807 годов, Александр яростно проклял свое французское образование и стал горячим русским патриотом (как ранее Глинка), зайдя в этом так далеко, что в свои юные годы пробовал писать драмы из русской истории. Он принадлежал к поколению образованных русских (в том числе будущих декабристов), которые в суровую эпоху наполеоновских войн стали скептически расценивать традиционную аристократическую культуру и искать более тесных связей с народными массами и традициями<sup>18</sup>. Как большинство из тех, кто интересовался русской литературой, Стурдза следил за происходившими лингвистическими дебатами. «Рассуждение о старом и новом слоге» вызывало у него смешанные чувства, и позднее он писал, что «в этом сочинении Шишков является попеременно то суеверным поклонником старины, то умным знатоком и ценителем несметного богатства русской речи» [Стурдза 1851: 6]. Он соглашался с критиками необдуманных нововведений и начал учить церковнославянский язык, обнаружив при этом, что своеобразная этимология Шишкова выявляет его полное неведение о латинском и греческом происхождении многих русских слов. Восхищаясь его патриотизмом, хотя и чувствуя в нем интеллектуальную поверхностность, А. Стурдза, как и другие молодые петербургские литераторы, был втянут в окружение Шишкова, посещал его вечера и вступил бы в члены «Беседы», если бы этому не мешала его юность (18 ноября 1811 года ему исполнилось двадцать лет). Интерес к «Беседе», как и увлечение русским языком, были отчасти порождены его ненавистью к наполеоновской Франции. «Если земское всенародное ополчение 1807 года можно назвать смотром наших ратных

<sup>18</sup> РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 2. Л. 9 об.–10, 12 об.–13; [Стурдза 1851: 6; Эйдельман 1989: 209, 212]. Написанная Стурдзой в то время пьеса «Ржевский. Трагедия в пяти действиях и в стихах. Петроград 1807» превозносила героизм и рыцарский дух допетровской эпохи. Рукопись действий I–III см. в РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 13.

сил, — вспоминал он, — то в “Беседе” ополчались умственные силы образованного круга, затронутого и взволнованного огромностью происшествий» [Стурдза 1851: 9]<sup>19</sup>.

Александр встречался с поэтом Гнедичем, переводившим «Илиаду», и разделял его страсть к греческому языку. По-видимому, через него Стурдза представил Шишкову статью, в которой призывал русских изучать греческий язык, чтобы укрепить родственные связи между двумя православными народами. Адмирал одобрил эту идею, принял статью и представил отрывки из нее 23 марта 1812 года на собрании «Беседы» в присутствии трехсот слушателей. Спустя сорок лет Стурдза все еще вспоминал, какое чувство гордости он испытывал, сидя в этот вечер в зале [Стурдза 1851: 7–8, 11–22]<sup>20</sup>.

Единение с Шишковым оказалось преходящим (позже Стурдза находился в дружеских отношениях с Карамзиным и другими писателями этой школы), однако оно имело важные последствия, утвердив Стурдзу в его эволюции из космополита-франкофила в протославянофила. Продолжая писать в основном по-французски и пристально наблюдая за европейской интеллектуальной жизнью, он уверился в превосходстве православной греко-русской культуры над латинским Западом. В отличие от Павла I, стремившегося противопоставить идеологическому универсализму Французской революции универсальную рыцарскую теократическую концепцию, для которой различия между вероисповеданиями были несущественны [Эйдельман 1989: 181], Стурдза видел непреодолимую пропасть между восточным и западным христианством. Ядром восточной культуры, по его мнению, была православная религия; он также верил, что русский народ (в первую очередь крестьяне) обладает исключительными интеллектуальными и духовными достоинствами, которые возвышают его над другими народами. В этом смысле он становился связую-

<sup>19</sup> См. также [Аксаков 1955–1956, 2: 302].

<sup>20</sup> Статья была впоследствии опубликована [Стурдза 1817в]; см. [Десницкий 1958: 127–128], запись 23 марта 1812 года. Среди прочих литераторов знакомыми Стурдзы были Пушкин, Грибоедов и Тоголь.



щим звеном между романтико-националистическими идеями Шишкова и более поздними националистами. Подобно Любомудрам 1820-х годов и славянофилам 1840-х, взгляды которых Стурдза предвосхищал, он много публиковался в периодических изданиях историка Погодина, являвшегося, в свою очередь, жадным читателем «Русского вестника» Глинки. Мир русской консервативной мысли был малой вселенной, скрепленной отчасти родственными узами, и Стурдза — друг Шишкова, Карамзина и Гоголя, а позднее регулярный корреспондент Погодина — стал одним из ее самых активных обитателей.

В апреле 1809 года он поступил в Министерство иностранных дел и с сентября начал работать в канцелярии министра. Поскольку Стурдза был проницательным аналитиком, обладал хорошим слогом, свободно владел русским, французским, немецким, итальянским, греческим, латинским и церковнославянским языками, много читал и отличался широким кругозором, он произвел благоприятное впечатление на министра иностранных дел Румянцева. Однако в своих воспоминаниях об этом времени он предстает скучающим, разочарованным, утратившим вкус к жизни молодым человеком, который одинаково несчастен на службе и в обществе и бывает доволен, только оказавшись в одиночестве в библиотеке. Эта показная хандра и разочарованность, модная среди молодежи высших классов, была популярной темой у романистов и объединяла Александра с его русскими и европейскими современниками разных идейных направлений<sup>21</sup>. Примерно в это время Стурдза встретился с Иоанном Каподистрией, который покинул родные Ионические острова, захваченные Францией после Тильзитского мира. Он прибыл в Санкт-Петербург в январе 1809 года и поступил на службу в Министерство иностранных дел. Он подружился со Стурдзой и на службе, и дома, благодаря тому что Каподистрия часто там бывал (как и другие греческие эмигранты, включая Александра Ипсиланти,

---

<sup>21</sup> РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 2. Л. 16–17 об. «Ma Vie»; РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 2. Л. 33. «Précis des années de service du Conseiller d'Etat actuel Stourdza le. Mai 1823» (набросок); [Лотман 1994: 130].

будущего руководителя Греческой революции и родственника Стурдз). Тридцатитрехлетний Каподистрия стал наставником А. Стурдзы и помог ему добиться успеха в жизни, а для него самого оказались исключительно полезными контакты, налаженные через семью Стурдз. Александр до самой смерти безмерно восхищался Каподистрией. Их объединяло вероисповедание, мечта о независимости Греции, а также, что примечательно, глубокое уважение к русскому народу и надежды на его мессианскую роль в будущем. Каподистрия тесно общался с Роксандрой Стурдзой и впоследствии сделал ей предложение (что, похоже, чрезвычайно удивило ее; она ответила отказом, несмотря на настойчивые уговоры членов ее семьи и друзей)<sup>22</sup>.

В 1806 году родители Роксандры добились для нее места при дворе, и благодаря своим способностям ей удалось стать фрейлиной императрицы Елизаветы. Однако близость ее к Елизавете не стоит переоценивать, поскольку у двух императриц, Елизаветы и Марии Федоровны, было в общей сложности семьдесят фрейлин, и в большинстве своем они были выше по статусу, чем Стурдза [Месяцеслов 1807, 1: 20]. Она была частой гостьей в доме адмирала П. В. Чичагова (жена которого помогла представить Роксандру ко двору), и там она впервые встретила де Местра. Между молодой придворной дамой и пожилым дипломатом возникли взаимная симпатия и уважение, и пока де Местр оставался неформальным советником императора (вплоть до 1812 года), он был ценным союзником рассудительной и честолюбивой фрейлины. Как замечает исследователь А. Маркович, и де Местр, и Роксандра были изгнанниками и надеялись, что Россия поможет

<sup>22</sup> РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 2. Л. 20–21 об. «Ma Vie»; [Edling 1888: 39, 42–43; Арш 1976: 50–51; Prousis 1987]. О предложении, сделанном Каподистрией Роксандре Стурдзе, см. РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 125. Л. 79–81, 83 об.–84, 92 об.–93. Письма Роксандры Александру Стурдзе от 11 июня, 6 июля и 1 августа 1814 года (н. с.) — Карлсруэ, Брухзаль, Баден-Баден. См. также UBV. № 7, 8. Письма Роксандры к Юнг-Штилингу от 17 октября и 8 ноября 1814 года, Вена; РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 86. Л. 63–64. Письмо Александра Стурдзы Роксандре от 24/12 июня 1814 года, Вена; письма Свечиной Роксандре от 30 марта и 26 сентября 1814 года, Санкт-Петербург [Falloux 1901, 1: 120–121, 148, 178–179]. См. также [Lascaris 1918: 29; Стурдза 1864: 15–19].

их родине и их семьям. В отличие от Шишкова и Ростопчина, они рассматривали Французскую революцию как испытание, ниспосланное судьбой, и верили, что Александр I — тот человек, которому предназначено освободить Европу и которому они должны служить [Стурдза 1864: 18–24, 48–49; Маркович 1939: 383–388]. Единственным, в чем они расходились, была активная католическая позиция де Местра: Роксандра спорила с ним, защищая православие, и симпатизировала «Пробуждению», которое не делило веру на конфессии.

Кризис 1812 года способствовал тому, что она стала доверенным лицом императора. По возвращении из Москвы он поинтересовался появившимися при дворе и попросил чтобы ему представили Роксандру. При встрече Александр I говорил о войне и сетовал на собственное несоответствие своему предназначению, она же неколебимо верила в него и сумела его поддержать. Многие фрейлины при дворе были воспитаны в духе «“обожания” <...> членов царской семьи — это культивировалось» [Лотман 1994: 83], и Роксандра Стурдза оказалась восприимчива к этим чувствам. Ее благоговение перед самодержавием и личностью императора было безграничным, она верила, что в нем заложена способность творить добро, которая не реализовалась только из-за недостатка религиозного воспитания, и желала помочь ему преодолеть духовный кризис. Александр I, со своей стороны, глубоко чувствовал ее обаяние; он был подозрителен, но высоко ценил искреннюю преданность и симпатию, особенно в тот момент, когда неудачи вынуждали его прибегать к помощи Шишкова, Ростопчина, Кутузова и других людей, которых он не любил и кто, как он знал, был невысокого мнения о его способностях. То обстоятельство, что Роксандра дружила с Голицыным и Кошелевым, его новыми духовными наставниками, еще больше укрепляло его доверие к ней [Edling 1888: 29–32, 63–66, 134; Ley 1975: 45–62]<sup>23</sup>.

---

<sup>23</sup> См. также UVB. № 23. Письмо Роксандры к Юнг-Штиллину от 5 сентября 1915 года; РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 265. Л. 3. Письмо Голицына к Роксандре от 20 мая 1816 года. О том, как развивались ее отношения с Кошелевым, сведений не имеется.

Наиболее тесным их общение стало тогда, когда она помогала представить его деятелям немецкого «Пробуждения». Эта возможность возникла в конце 1813 года в связи с тем, что Елизавета Алексеевна решила посетить свою родную Германию и оказаться поближе к ставке Александра. Несмотря на то что и Роксандра, и императрица были набожны и их сближала преданность своей новой русской родине и ее императору, в их отношениях наряду с привязанностью присутствовала некоторая напряженность. Возможно, Стурдза, подобно Екатерине Павловне, вызывала у императрицы ревность, поскольку царь оказывал обеим внимание и доверие, которых ей не хватало. Во всяком случае, длинное путешествие через всю Европу в Баден было неприятным с самого начала. Елизавета, возвращаясь в места своего детства, испытывала мучительные противоречивые чувства, и празднества, на которых она должна была присутствовать по пути, только раздражали ее [Edling 1888: 106–117]<sup>24</sup>. Стурдза же всегда презирала вражду между фрейлинами, и такое же чувство вызывала в ней помпа, с какой встречали императрицу страны, освободившей Германию (к тому же рожденную в Бадене). Путешествие углубило ее отвращение к мирским делам и усилило желание удалиться от них. Наконец в феврале 1814 года они прибыли в Гейдельберг. Той зимой в Бадене Роксандра познакомилась с двумя значительными фигурами религиозного мира: Юлианой фон Крюденер и Иоанном Генрихом Юнг-Штиллингом.

Крюденер достаточно хорошо известна, так что можно ограничиться краткой биографической справкой о ней [Половцов

---

<sup>24</sup> О соперничестве между Роксандрой Стурдзой и фрейлиной Валуевой см. письма Елизаветы к матери от 25 ноября / 7 декабря 1815 года, Рига, 31 августа / 12 сентября 1820 года, Каменный остров, и 27 мая / 8 июня 1821 года, Царское Село [Николай Михайлович 1908–1909, 2: 608; 3: 151, 180]. О ссоре Роксандры с императрицей (впечатление о которой она постаралась сгладить в своих мемуарах) см. письма Свечиной к Роксандре от 15 января, 2 февраля, 7 апреля и 1 июня 1814 года, Санкт-Петербург [Falloux 1901: 108–109, 112–113, 126, 146–147]. Список лиц, состоявших в свите императрицы, и дневник путешествия см. в: [Иванов 1833].

1896–1918, 9: 435–441]. Она родилась в 1764 году в лютеранской семье в Ливонии и в девятнадцать лет вышла замуж за дипломата, который был старше ее на двадцать лет. После того как в 1790-е годы ее брак распался, она жила во Франции и хотела прославиться как писательница. В 1804 году она вернулась в Ливонию, где смерть знакомого человека потрясла ее и заставила искать опору в религии. Ее неудержимая чувствительность слилась с обретенной верой, и, как страстная последовательница гернгутерского пиетизма, она поверила в то, что обладает пророческим даром и может общаться с Богом. Она посетила общины гернгутеров под Дрезденом, познакомилась там с друзьями Юнг-Штиллинга и направилась прямо в Карлсруэ, где в конце 1807 или в начале 1808 года встретила с самим Юнг-Штиллингом.

Он, в отличие от Крюденер, был заметной фигурой в кругу «пробужденных». Юнг-Штилинг родился в 1740 году и, прежде чем «пробудиться», был деревенским учителем и затем репетитором, после чего долгие годы работал профессором экономики. Он хорошо знал литературу XVIII столетия, и расширение кругозора поколебало его религиозные убеждения. Однако, подобно Роксандре Стурдзе и Лопухину, он спас свою веру от разъедающей философской кислоты, и она лишь закалилась в испытаниях. Юнг-Штилинг полагал, что Французская революция продемонстрировала, к чему привели нападки Просвещения на Библию, и видел в наполеоновских войнах предвестие апокалипсиса. Чтобы выполнить свою миссию по сплочению истинно верующих, он стал писать религиозные трактаты. В 1803 году он поступил на службу к курфюрсту Баденскому, что позволяло ему посвящать все свое время сочинительству. Последние четырнадцать лет своей жизни «патриарх “Пробуждения”» провел в писательских трудах и путешествиях, проповедуя великим и малым, что Царство Божие приближается [Geiger 1963: 13–16, 266–267].

В России Юнг-Штилинг был хорошо известен. Его читали Н. И. Тургенев и С. Т. Аксаков, Лопухин состоял в переписке с ним, а Лабзин переводил его работы. Возможно, Елизавета Алексеевна, которая была внучкой баденского покровителя

Юнг-Штиллинга и все больше погружалась в религию (оставаясь преданной православию, как и России в целом), познакомила придворных, в том числе и императора, с книгой Юнг-Штиллинга «Тоска по отчизне». Содержащееся в ней предсказание о том, что спасение христианского мира придет с востока, очевидно, отвечало ее русскому патриотизму, хотя в последние годы жизни она выражала отвращение к мистическим писаниям<sup>25</sup>.

Юнг-Штиллинг был авторитетом для немецких мистиков-спиритуалистов, и Крюденер, которая нуждалась в религиозном руководстве, отчасти обрела его в баденском проповеднике. Однако даже его влияние не могло победить в ней непреодолимой тяги ко всему сверхъестественному и интереса к экстрасенсам. Она поддерживала отношения с самозванными пророками, которых Юнг-Штиллинг считал шарлатанами. Он не доверял ее поверхностным увлечениям, но она интересовала его как подданная русского царя, потому что «пробужденные» немцы надеялись (после 1789 года и захвата Францией их родины), что смогут найти убежище на востоке и ожидать апокалипсиса там<sup>26</sup>. Крюденер впервые давала ему возможность прямого контакта с Россией; к тому же она отчасти разделяла его взгляды.

Когда Роксандра Стурдза впервые встретила Крюденер, фрейлину привлекли ее вера и ее милосердие к беднякам, но при этом она увидела в Крюденер жертву ее собственных мистических

---

<sup>25</sup> См. письмо Елизаветы к матери от 16/28 декабря 1816 года [Николай Михайлович 1908–1909, 2: 637]. См. также дневниковую запись Н. И. Тургенева от 21 декабря 1812 года, Санкт-Петербург [Тарасов 1911–1921, 3: 210]. Тургенев познакомился с Юнг-Штиллингом в 1813 или 1814 году в Петербурге [Тарасов 1911–1921, 3: 447]. См. также [Аксаков 1955–1956, 2: 231; Лопухин 1990: 208; Kayser 1932: 165–166]. Актеру А. С. Яковлеву нравились предсказания Юнг-Штиллинга в «Тоске по отчизне» [Жихарев 1989, 2: 375–377]. О мистическом «духовном мире» Елизавета писала матери 16/28 декабря 1816 года из Петербурга: «Я знаю, что постигну его когда-нибудь, это неизбежно, а пока что я не хочу портить удовольствие от будущего откровения» [Николай Михайлович 1908–1909, 2: 637].

<sup>26</sup> Эти настроения привели к массовой миграции жителей Южной Германии на Кавказ в 1817 году, которую Юнг-Штиллинг не одобрил как преждевременную [Geiger 1963: 196–197, 268–279, 286–294].

«химер» [Edling 1888: 132–133]<sup>27</sup>. В начале марта Роксандра познакомилась с Юнг-Штиллингом, который оказался ей близок как в своем понимании благочестия, так и в идеализации простой жизни. Подобно де Местру, семидесятичетырехлетний Юнг-Штилинг стал играть роль духовного отца для неутомимой в своих поисках юной придворной дамы<sup>28</sup>. Она побуждала брата прочесть «Тоску по отчизне», но Александр вместо этого предостерегал ее против «немецких книг»: «Некоторые из них страшно вредные, их яд скрыт под внешней экзальтацией и псевдоглубиной»<sup>29</sup>. Она оправдывалась, говоря, что она «не мартинистка», что Крюденер для нее «интересное явление», а Юнг-Штилинг — «замечательный человек», и обещала, что их взгляды ни в коей мере не повлияют на ее православные убеждения<sup>30</sup>. Крюденер, которая была в то время духовным советником императора, привлекла к себе внимание его окружения, в том числе Каподис-

<sup>27</sup> См. также дневниковую запись Жюльетты фон Крюденер 16 февраля 1814 года [Ley 1961: 407]. Д-р Лей, потомок баронессы, в своих работах об этом историческом периоде основывается на данных семейного архива и часто цитирует его.

<sup>28</sup> См. UBВ. № 24. Письмо Роксандры к Юнг-Штилингу от 24 сентября 1815 года. Шишкову при встрече с Юнг-Штилингом не понравились ни «вид его», ни «странность в мыслях»; репутация Крюденер также его настораживала, но к молитве в ее доме он отнесся благосклонно [Шишков 1870, 1: 281–282]. Дочь Крюденер Жюльетта уверяла, что ее мать «обратила» великую княгиню Екатерину Павловну в новую веру, однако трезвомыслящая Екатерина, судя по всему, считала взгляды Крюденер опасными. См. дневниковую запись Жюльетты Крюденер 25 июня 1815 года [Ley 1961: 462]; см. также [Vries de Gunzburg 1941: 87; Geiger 1963: 303–306].

<sup>29</sup> РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 86. Л. 190. Письмо Александра Стурдзы к Роксандре (по всей вероятности, в 1814 году из Петербурга). Не вполне ясно, какие именно книги он имел в виду. Ранее он предупреждал ее по поводу немецкого «стремления вербовать приверженцев» или, как говорил Каподистрия, «религиозного макиавеллизма, фабрикующего политические системы из священных материалов». См. РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 86. Л. 9. Июнь 1812 года, Бухарест.

<sup>30</sup> РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 125. Л. 82. Письмо Роксандры к Александру от 11 июня 1814 года (н. с.). См. также ее письма к Свечиной от 22/10 мая 1814 года [?], (по-видимому, Брухзаль) и к Александру от 16 августа 1814 года (н. с.), а также в августе 1814 года (без даты) [Баден-Баден]: РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 125. Л. 117 об.–118 об., 100–100 об., 106.

трии и Александра Стурдзы, его помощника. Оба они вместе с Роксандрой навестили ее в Гейдельберге в июне 1815 года, а затем мужчины повторно встречались с ней в Париже в сентябре. Вначале Александр Стурдза был так же увлечен Крюденер, как и его сестра, но вскоре разочаровался в ней как в сплетнице и нашел, что ее пророчества невыносимо мрачны (сильное заявление для столь сурового человека, как Стурдза)<sup>31</sup>.

Заверение Роксандры в верности православию представляется несовместимым с ее восторженными отзывами о Юнг-Штиллинге, ее длинными письмами к нему, полными экспрессии, и ее намерением учредить экуменический монастырь. Однако, подобно другим «пробужденным» христианам, она считала, что все преданные Богу люди одинаковы, независимо от своей церковной принадлежности. Как де Местр, так и Юнг-Штилинг разделяли ее веру в то, что России предопределена свыше исключительная роль, а Александру I предназначено уничтожить зло, угрожающее христианскому миру. Роксандра стала мостом, связующим мистиков с «нетрадиционными» православными консерваторами (такими, как ее брат); ей была близка обращенная ко внутреннему миру экуменическая духовность мистиков, но она не принимала ни хилиазма, ни их пристрастия к культам. Она считала Крюденер слишком легковерной, а в отношении Голицына сожалела, что «его разум несоизмерим с его рвением»<sup>32</sup>. О себе она говорила Юнг-Штилингу: «Я предана сердцем и душой церкви, которая приняла меня в свои объятия при рождении»<sup>33</sup>.

Вскоре у нее появилась возможность представить своих новых друзей императору, которого она не видела с 1812 года и который

<sup>31</sup> РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 86. Л. 98, 108–108 об., 119–119 об. Письма Александра Роксандре от 7/19 июня 1815 года, Гейдельберг, от 13/25 июля и 12/24 сентября 1815 года, Париж. См. дневниковые записи Жюльетты фон Крюденер 16, 19 и 22 июня, 18 и 30 сентября и 9 октября 1815 года [Ley 1961: 456–458, 491, 504–505]; см. также [Ley 1975: 311–313].

<sup>32</sup> УВВ. № 31. Письмо без даты.

<sup>33</sup> УВВ. № 31, I. Письмо к Юнг-Штилингу от 4 января 1815 года, Вена (год ошибочно указан как 1814-й). О монастыре см. письмо Свечиной к Роксандре от 29 июня 1814 года [Falloux 1901: 157–158].



теперь стал проявлять к ней особый интерес. Они говорили о религии, он расспрашивал ее о Юнг-Штиллинге [Иванов 1833, 1: 90]<sup>34</sup>. Впоследствии Александр I разыскал его, и тот сказал, что он связан с Роксандрой христианскими «узами любви и милосердия» [Edling 1888: 151]. «Я просил его принять меня третьим членом вашего союза, — сообщил ей император, — и на этом мы пожали друг другу руки» [Leu 1975: 315]. Была разыграна слезно-чувствительная сцена в духе того времени, и Роксандра со слезами на глазах также дала свое согласие. В эпоху сентиментальных дружб и масонских лож подобные мистические «браки» между «пробужденными» были распространены в Германии. Они могли включать больше двух человек, так что не было ничего необычного в том, что Александр пожелал присоединиться к союзу Роксандры и Юнг-Штиллинга. С этого времени они молились за него и, по словам одного из историков, «стали играть роль своего рода “крестных родителей”, на которых возложена миссия представить его духовно Богу и Спасителю» [Leu 1975: 89]<sup>35</sup>. Стараясь утвердиться в новой для него и пока еще, возможно, неустойчивой вере, Александр мог положиться на двух своих союзников, восхищение которых им как освободителем Европы тоже, конечно, поддерживало его. К тому же у них находил поддержку свойственный ему эскапизм. Ведь в юности он мечтал о простой сельской жизни на берегах Рейна. Роксандра Стурдза испытывала такие же чувства и придавала им религиозное направление: «Ничто не удаляет меня так от Бога и истинного ве-

<sup>34</sup> Каролина фон Фрейштедт отмечала, что Александр «ни с кем не разговаривает так долго, как с фрейлиной Стурдзой. Очевидно, его привлекает ее умение вести интересную беседу, незаметно вплетая в нее льстивые пассажи». Цит. по: [Николай Михайлович 1908–1909, 2: 497]. Об отношениях Роксандры с императором и его супругой см. [Письма императора 1888; Письма императрицы 1888].

<sup>35</sup> См. также [Edling 1888: 140–151]; UVB. № 9. Письмо Роксандры к Юнг-Штиллингу от 15 декабря 1814 года, Вена; письмо Юнг-Штиллинга к К. Ф. Шпитлеру от 20 июля 1814 года, Баден-Баден [Leu 1975: 313–315]. Юнг-Штиллинг с удовлетворением отметил, что его «взгляды на прошлое, настоящее и будущее, и в особенности на наступление Царства Божьего, полностью совпадают со взглядами [Александра]» [Leu 1975: 314].

личия, — писала она, — как пустая придворная жизнь напоказ»; «я была бы счастливее в лачуге с нашим дорогим Спасителем, чем во дворцах с властью имущими»<sup>36</sup>. Это напоминало умонастроение Александра I после 1815-го, и особенно после 1820 года, когда он все более оставлял дела по управлению государством на Аракчева. На этом основании возникла легенда о том, что Александр не умер в 1825 году, а скрылся в глуши под именем старца Федора Кузьмича.

Роксандра Стурдза познакомила его также с Крюденер. Подобно Юнг-Штиллину, Крюденер играла роль старшей по отношению к Роксандре, в которой она нуждалась в основном как в слушателе, но также и как в посреднике для передачи своих пророчеств императору. Когда Стурдза находилась вместе со всей свитой императора на конгрессе в Вене, Крюденер послала ей письмо, полное туманных предсказаний о том, что Наполеон покинет Эльбу и вернется во Францию. Роксандра показала письмо императору, который был поражен, когда через несколько месяцев предсказание сбылось, и захотел сам встретиться с пророчицей [Geiger 1956: 399–400; Edling 1888: 217–218]. Во время Венского конгресса Александр уделял Роксандре много внимания. Она не без гордости сообщила Юнг-Штиллину, что «даже была с ним настолько откровенна, что это, возможно, было неосторожно, поскольку правда всегда вызывает негодование тех, кто к ней не привык»<sup>37</sup>. Она считала, что жертвует собой и, невзирая на свое отвращение к свету, ведет своего любимого монарха к правде. Одним из фундаментальных положений «Пробуждения» было требование к христианину искать внутреннее успокоение в общении с Богом и другими верующими, избегать света, подчиняться Его воле и не жалея сил делать Его дело.

<sup>36</sup> Частная коллекция д-ра Франсиса Лея. Копии писем Роксандры к Юлиане фон Крюденер от 14 августа 1815 года и от 16 октября 1814 года, Карлсруэ. Теперь эта коллекция хранится в швейцарском архиве — Archives de la Ville de Genève.

<sup>37</sup> UBВ. № 8. Письмо от 8 ноября 1814 года, Вена. См. также [Geiger 1963: 306–308].

Держась в тени, Стурдза неустанно способствовала карьере своего брата. Осенью 1812 года он состоял на дипломатической службе в армии адмирала Чичагова, который призвал его, будучи осведомлен о его знаниях и талантах. Когда Алеко сетовал на неблагодарного начальника и на государственную службу в целом, сестра убеждала его поговорить с адмиралом и объяснить ему свои проблемы<sup>38</sup>. В конце 1812 года Стурдза все же оставил армию и, хотя почти уже получил назначение в Министерство народного просвещения, возобновил службу в качестве младшего дипломатического сотрудника только в 1814 году, при подготовке Венского конгресса. Там он тоже страдал от скуки и разочарования. Роксандра опять стала побуждать брата к деятельности, написав ему письмо, которое показывает, как она связывала честолюбивые замыслы с идеологией и какую роль в ее мировоззрении играла идея власти небольшой группы избранных (свойственная как масонству, так и «Пробуждению»). «Не будь слишком скромным, — убеждала она Александра. — Люди должны понимать, что ты сознаешь свое превосходство, это единственный способ повести их за собой. Им нужно, чтобы кто-нибудь руководил ими, и с этого следует начать, если хочешь быть им полезным»<sup>39</sup>. Она заботилась о его карьере тактично, но настойчиво. Так, в 1814 году она как бы случайно упомянула о нем (и о его новом начальнике Каподистрии) императору с оговоркой, что она не просит о покровительстве, поскольку «в его продвижении можно положиться на его дарования» [Edling 1888: 145–146]. Возможно, надо было придать Алеко еще больше уверенности, поскольку он жаловался, что Крюденер (возможно, по наущению Роксандры) «не перестает осаждать» его разговорами о его «якобы призвании,

---

<sup>38</sup> РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 125. Л. 70 об.–71. Письмо Роксандры к Александру Стурдзе от 6 декабря [1812 года]. См. также [Chichagov 1909: 361]; РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 86. Л. 27 об.–28 об. Письмо Александра Стурдзы к Роксандре от 8 октября 1812 года, Брест-Литовск.

<sup>39</sup> РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 125. Л. 92–92 об. Письмо Роксандры к брату от 1 августа 1814 года (Баден-Баден). См. также РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 86. Л. 67–68, 75. Письма Александра к сестре от 8/20 июля и 1/13 августа 1814 года, Вена.

которое, как она считает, состоит в том, чтобы не покидать императора»<sup>40</sup>. Александр Стурдза, как и его сестра, неоднозначно относился к государственной службе. Она была для него скучна и унизительна, однако он проявлял инициативу в делах, затрагивавших его чувства. Например, будучи всего лишь помощником Каподистрии, он представил императору меморандум об угнетении греков, так как это волновало его долгие годы<sup>41</sup>.

25 февраля 1815 года императрица со свитой отправилась из Вены в Мюнхен. В то время как разворачивалась последняя кампания Наполеона, Роксандра встретила третьего из немецких религиозных деятелей, глубоко повлиявших на нее. Франц фон Баадер, в отличие от Крюденер и Юнг-Штиллинга, был католиком. Чтение Сен-Мартена и Бёме углубило его мистицизм и еще больше сблизило его с «Пробуждением». Роксандра нашла в нем, как и в Крюденер и Юнг-Штиллинге, родственную душу и организовала его контакт со своим правительством. Она отослала Голицыну меморандум Баадера, где он изложил идеи, которые позже легли в основу Священного союза и в целом сводились к тому, что в обществе должны сочетаться свобода и любовь, как этому учит христианская вера. Подобно императору, брату и сестре Стурдза и другим «пробужденным» русским, Баадер полагал, что революции происходят тогда, когда деспотизм злоупотребляет религией для угнетения народа, но и сама революция становится деспотической, если ею не движет христианская любовь. По его мнению, деспотизм и безбожие являются синонимами, а истинную свободу, равенство и братство можно найти только в христианстве. Таков же был образ мыслей Роксандры и императора, которые относились к республиканским идеалам с симпатией, но во главу угла ставили духовное совершенствование, а не государственные реформы. В связи с этим они отвергали

<sup>40</sup> РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 86. Л. 116. Письмо Александра Роксандре от 15/27 августа 1815 года, Париж.

<sup>41</sup> О меморандуме см. дневник Жюльетты фон Крюденер, запись 19 июня 1815 года [Leu 1975: 457]. Его оригинал хранится в: АВПРИ. Ф. 133. Оп. 468. Д. 7812. Л. 2–12 об.

и старый режим, и революцию как отклонения от истинного евангельского пути. Как писал Макс Гейгер, «Пробуждение» породило своеобразную идеологию, в которой идеи христианской теократии совмещались с либерализмом, идеализмом и романтизмом [Geiger 1956: 403–404, 408]<sup>42</sup>.

Неудивительно поэтому, что Баадер и его идеи встретили теплый прием. Александр Стурдза писал, что «его религиозный гений и его познания поразительны»<sup>43</sup>. Каподистрия находил в его присутствии духовное успокоение, а Голицын (обещавший передать меморандум Александру I) уговорил его регулярно сообщать в Санкт-Петербург об интеллектуальной и религиозной жизни в Германии<sup>44</sup>. Важно было то, что Баадер и русские «пробужденные» имели общее желание свести воедино католицизм, протестантство и православие. При этом он утверждал, что православию в большей степени, чем западным церквям, удалось сохранить исходную суть христианства, уберечь ее от папского деспотизма и протестантского рационализма. Этот тезис, с которым православный Стурдза был почти целиком согласен, отражал позицию многих русских<sup>45</sup>, хотевших восстановить универсальную церковь в качестве основы европейского сообщества, но слишком глубоко усвоивших православную традицию.

Роксандра Стурдза была важнейшим связующим звеном между русским двором и немецкими религиозными мыслителями-

<sup>42</sup> См. также [Иванов 1833, 2: 49–71; Hein 1972: 31–36]; письмо Роксандры Баадеру от 11 июля 1815 года и комментарии к нему [Susini 1942–1967, 1: 289–290; 2: 485–499].

<sup>43</sup> РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 86. Л. 122. Письмо Александра к Роксандре от 13/25 [окт.] 1815 года, Вена. См. также его письма к сестре: РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 86. Л. 31 (от 4 ноября 1815 года, Вена), РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 86. Л. 23 об., 91 об.–92 (30 сентября 1815 года, Париж и 31 марта / 12 апреля 1815 года, Вена).

<sup>44</sup> См. письмо Каподистрии Штейну от 16/28 декабря 1815 года, Вена [Kapodistrias 1976–1983, E: 108], и письмо Голицына Роксандре от 29 июля 1815 года, Санкт-Петербург: РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 265. Л. 2.

<sup>45</sup> В том числе и позицию императрицы: см. письмо Елизаветы к матери от 5/17 ноября 1821 года, Санкт-Петербург [Николай Михайлович 1908–1909, 3: 197]. См. также [Hein 1972: 53–59; Чижевский 1953].

русософилами<sup>46</sup>. Крюденер и Юнг-Штиллинг видели в Александре I освободителя, а в его империи пристанище, где можно ожидать Судного дня; Баадер пришел к выводу, что православие — панацея от недугов западного христианства. Он сформулировал некоторые идеи Священного союза, в то время как Юнг-Штиллинг и Крюденер, руководствуясь своей особой формой благочестия, настроили его общий тон. Гейгер указывает, что эти немецкие влияния способствовали формированию четырех важных элементов союза.

Первым из них был экуменизм, который не могли принять де Местр и другие католики, видевшие в религии столп общественного порядка. Однако правители крупнейшего в Европе православного, крупнейшего протестантского и крупнейшего католического государств (Александр I, Фридрих Вильгельм III Прусский и Франц I Австрийский) подчеркнуто символическим жестом заключили союз (подобная мечта вдохновляла Роксандру на создание межконфессионального монастыря). Вторым элементом было утверждение, что и старому режиму, и революции необходимо искупать свои грехи; виноваты во всех бедах человечества были и реакционеры, и радикалы, тогда как Шишков и Ростопчин винили лишь последних. В отличие от романтического идеализма Шишкова и Глинки, деятели «Пробуждения» не считали прошлое моделью для будущего. Напротив, они с волнением ожидали полного преобразования мира после того, как он наконец покается в своих грехах. В-третьих, воссоздавая лозунги 1789 года, дух масонских лож и обществ «пробужденных», союз требовал солидарности между разными социальными слоями. Перед лицом Божьего суда нет места сословным предрассудкам. Эта идея отразилась как в заботах Крюденер о неимущих, так и в поддержке Александром I конституций во Франции и Польше

---

<sup>46</sup> Голицын даже договорился с Роксандрой, когда она переезжала в Германию в 1816 году, что она будет официально снабжать его информацией по вопросам религии, и в первую очередь писать о Юнг-Штиллинге. См. письма Голицына к ней от 25 августа и 16 декабря 1816 года, Санкт-Петербург: РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 265. Л. 9 об.-10 об., 11–12.

и в его планах реформы крепостного строя<sup>47</sup>. И наконец, в задачи союза входило закрепить законодательным путем братские отношения между странами. Отказ России от мести Франции был проявлением этой философии в духе Нагорной проповеди.

Были ли эти люди консерваторами? В определенной степени да. Баадер считал Французскую революцию диалектической реакцией на деспотизм. Крюденер осуждала общество, сложившееся после 1815 года, как «паутину беззакония, сеть лжи» и спрашивала руководителей Германии, которые препятствовали ее работе: «Какая нам польза от так называемого просвещения и либеральных идей, если никто более не смеет накормить бедного, или одеть его, или приютить его, или защитить его права, или утешить его с Евангелием в руках?»<sup>48</sup> Однако ее социальная критика была направлена на укрепление хилиастического сообщества «пробужденных» перед лицом развращенного мира, а не на изменение общественного устройства.

Роксандре Стурдзе также была свойственна противоречивость. «В глубине души я республиканка», — говорила она императору [Edling 1888: 144], потому что ненавидела высокомерие аристократов по отношению к простым людям и любые проявления сословной разобщенности. Она была против крепостного права (еретическая идея, согласно Шишкову или Ростопчину) и превозносила Александра I за то, что он отменил его в Ливонии. Если бы не он, в 1814–1815 годы «реакция была бы губительной» повсюду, но он «доказал народам, что их ненависть и мстительность имеют пределы» [Edling 1888: 167]. Ее подруга Свечина говорила ей: «Вы, мой друг, были полны надежд на возрождение Европы и верили в победу идей свободы, справедливости и великодушия» [Falloux 1901: 153]<sup>49</sup>. В этом контексте слова «свобода», «возрождение», «справедливость» и «вели-

<sup>47</sup> См. главу «Самодержавие и крестьянский вопрос» в [Мироненко 1989].

<sup>48</sup> Письмо Крюденер к зятю от 14 февраля 1817 года, цит. по: [Geiger 1963: 397]. См. также [Geiger 1963: 384–408]. Меттерних считал ее опасной революционеркой (Там же).

<sup>49</sup> Письмо Свечиной к Роксандре от 9 июня 1814 года.

кодушие» означали душевные устремления, а не программу реформ, потому что Стурдза не придавала большого значения конституционному устройству. Так, реформаторы Новосильцев и Чарторыйский (из Негласного комитета) казались ей претенциозными ничтожествами, чьи идеи император, увлеченный «философскими химерами своего века», разделял «со всем жаром юной и пылкой души», но не с мудростью христианского государства [Edling 1888: 31, 13–14]. С другой стороны, с архиконсервативным де Местром она «соглашалась во всем», кроме вопросов религии [Edling 1888: 24]. Наполеоновским войнам Роксандра придавала прежде всего метафизический смысл, и сражение при Ватерлоо воспринимала как «страшную и решающую схватку добра и зла»<sup>50</sup>. Она верила, в духе элитарного сознания романтической эпохи, что в мире слабого большинства правит сильная личность. Соответственно, перекликаясь с Глинкой, она называла Наполеона «образцом древнего величия», а Александра — «образцом христианских добродетелей» [Edling 1888: 219] и противопоставляла их жалким циникам дореформенного старого режима, особо выделяя Меттерниха и Талейрана из-за их происков против миротворческих усилий российского императора после 1814 года. Во вселенской борьбе добра и зла добро демонстрирует некоторые «либеральные» черты, и, в первую очередь, стремление изжить крепостное право, деспотизм и сословный снобизм. Однако все это является лишь проявлением христианского смирения и солидарности, которые, как надеялись Роксандра и ее друзья, восторжествуют после падения Наполеона. Что касается экономического принципа невмешательства, хартии гражданских прав или других либеральных преобразований, то это казалось банальным по сравнению с движением мира к новой нравственности и новому договору с Богом [Edling 1888: 203–205, 219]<sup>51</sup>.

<sup>50</sup> UBВ. № 12. Письмо Роксандры к Юнг-Штилингу от 5 апреля 1815 года, Мюнхен.

<sup>51</sup> Ее мнение о необходимости изменения общей социально-политической обстановки в России после 1815 года см. в [Edling 1888: 252–253].



В то время как в Европе император обдумывал планы Священного союза, в Петербурге велась работа по подготовке к серьезным преобразованиям во внутренней политике. Религией Роксандры Стурдзы и ее друзей стала квиетистская немецкая духовность «Пробуждения», но и деятельность английских нонконформистов также повлияла на русских. Если в эпоху секуляризации большинство европейских государственных церквей подвергалось нападкам, то в англосаксонском мире быстро распространились церкви нонконформистов. Одним из проявлений этого движения был рост протестантских миссионерских организаций, в частности Британского и иностранного библейского общества. Основанное в 1804 году, оно через 15 лет уже имело свои отделения во Франции, Нидерландах, США, Венгрии, в разных немецких и скандинавских государствах, хотя Меттерних (что неудивительно) запретил его в Австрии как подрывающее истинную веру [Artz 1950: 20; Hobsbawm 1962: 223]. Целью внеконфессионального Библейского общества было распространение Библии на разных языках без комментариев, что позволяло избежать противоречий между различными вероучениями. Вскоре общество уже действовало на Кавказе, в Финляндии и в российских прибалтийских провинциях, но только в сентябре 1812 года, когда Наполеон захватил Москву, отделение Библейского общества появилось в Санкт-Петербурге.

Оно было тепло принято протестантским духовенством и некоторыми официальными лицами, в частности В. П. Кочубеем (из Негласного комитета) и министром внутренних дел О. П. Козодавлевым. Император в декабре одобрил идею Российского библейского общества, и оно впервые собралось в доме Голицына 11 января 1813 года. Его деятельность должна была распространяться только на неправославное население России; монополия издания Библии для православных на церковнославянском языке сохранялась за Святейшим Синодом. Вскоре, однако, из-за объема и недоступно высокой цены каждого экземпляра этой Библии Голицын (который председательствовал как в Российском библейском обществе, так и в Синоде) организовал выпуск Российским библейским обществом дешевого издания Библии на церковно-

славянском языке, а Синод начал активно участвовать в работе общества. В 1816 году Александр I поручил Библейскому обществу напечатать Новый Завет на русском языке. Этот проект, возложенный на Святейший Синод под руководством архимандрита Филарета (Дроздова), исходил из тех же идей, на которых строилась вера самого Александра и международная политика Священного союза. Целью Александра было возрождение российского общества на основе духовности, — идея на первый взгляд внеконфессиональная, но близкая к протестантизму в приумениении роли церковных обрядов и акценте на личном общении читающих Библию христиан с Богом. Православная церковь, жизненно важная опора национальной исторической идентичности русского народа, была законодательно низведена до уровня первой церкви среди равных, и государство начало всячески поддерживать религиозную терпимость по отношению к неправославным [Tompkins 1948: 251–258; Zacek 1966: 411–417].

Во главе Российского библейского общества стояли Кочубей, Козодавлев, Кошелев, министр народного просвещения Разумовский, брат баронессы Крюденер, ведущие представители российского духовенства (православного, католического и протестантского), а также Лабзин — главный российский мистик [Брокгауз, Ефрон 1890–1907, 6: 696–708]. Как и в случае «Беседы» Шишкова, Российское библейское общество включало элиту церкви и государства, привлеченную идеологией общества, известностью его лидеров и, вдобавок ко всему, покровительством императора. Но если принадлежность к «Беседе» требовала определенной политической отваги из-за ее слегка оппозиционного тона, то вступление в члены Российского библейского общества, благодаря его близости ко двору, считалось удачным шагом в построении карьеры даже для тех, чья вера была не слишком горячей. Коллектив Российского библейского общества был разношерстным, в него входили и оптимистичные прогрессисты, и мрачные реакционеры, и лицемерные оппортунисты. Последних наилучшим образом характеризует карьера Магницкого, о котором речь пойдет ниже. Типичными же представителями первых двух групп были О. П. Козодавлев и Д. П. Рунич.

Козодавлев родился 29 марта 1754 года (на три недели позже Шишкова) и в 1769–1774 годах учился в Лейпцигском университете вместе с Радищевым и Скарлатом Стурдзой. Затем он служил в Сенате, в Академии наук и в Комиссии об учреждении народных училищ, в которой оставался до 1797 года. На этих постах он проявлял большую заботу об образовании; он ратовал за создание университетов, доступных для всех сословий (радикальная мысль в обществе, где доминировали дворяне), и настаивал, чтобы преподавание велось на русском языке, несмотря на то, что среди преподавателей преобладали немцы (идея в русле культурного национализма Шишкова и Карамзина). Кроме того, предвосхищая Сперанского, он полагал, что продвижение по службе должно определяться образованием и способностями человека, а не составлять исключительную привилегию дворянства [Сухомлинов 1874–1888, 6: 6, 14, 26–77].

С 1797 года Козодавлев — влиятельный член Сената, известный как человек изощренного ума. Он стремился обеспечить непреложность закона, разделял ненависть Радищева к рабству, поддерживал свободу печати и борьбу против суеверия и невежества. Возможно, благодаря своим прогрессивным, хотя и националистическим взглядам он был в Комитете министров единственным другом министра юстиции И. И. Дмитриева, дружившего также с Карамзиным. Козодавлев стал товарищем министра внутренних дел в 1808 году и министром — в 1810-ом. Его экономическая политика вплоть до его кончины в 1819 году была нацелена на развитие промышленности, устранение препятствий этому и на поощрение публики «покупать русское». Он полагал, что основные сложности связаны с управленческим аппаратом. Когда его спросили, отчего чужеземные растения отлично растут в российских оранжереях, а русским промышленникам трудно успешно производить товары, аналогичные иностранным, он ответил: «Оттого, что в устройство оранжерей не вмешивается администрация» [Сухомлинов 1874–1888, 6: 260]<sup>52</sup>.

<sup>52</sup> См. также: [Сухомлинов 1874–1888, 6: 123–159, 191–204, 221–231, 280; Дмитриев 1895: 116].

Козодавлева привлекало Библейское общество. Подобно Стурдзе и немецким мистикам, он считал, что французский король сам способствовал революции и что нельзя строить будущее на основе старого режима. По-видимому, он одобрял и обращение Российского библейского общества к личности (каждый верующий должен самостоятельно читать Библию), и поддержку массовой грамотности (необходимой для чтения Библии), и культурный национализм (издание Библии на русском языке). Российское библейское общество было совместным частно-государственным предприятием, и о подобной же кооперации он мечтал между государством и производством. И наконец, он не терпел диктата ни в экономике, ни в религии, — возможно, по этой причине его и привлекал экуменизм Библейского общества (хотя позднее он восставал против авторитарности в теоретических вопросах и нетерпимости, которые начали в обществе проявляться)<sup>53</sup>.

Помимо прочих обязанностей, Козодавлев издавал газету своего министерства «Северная почта», выходившую дважды в неделю. Она содержала российские и иностранные новости, но одной из ее главных задач была пропаганда: газета неустанно восхваляла на своих страницах русский язык, литературу и промышленность. Значительная часть информации для печати поступала от почтовых чиновников, подчиненных его министерству [Сухомлинов 1874–1888, 6: 231–264]. Благодаря этой системе он познакомился с человеком, чья репутация была хуже, чем у кого-либо другого из русских консерваторов, — Дмитрием Руничем.

Рунич родился в 1778 году в Москве, где и получил образование, прежде чем приступить к службе при посольстве в Вене. Там, по слухам, дошедшим до Лабзина, «вся жизнь [его] проходила в весельях, <...> целью [его были] удовольствия и забавы»<sup>54</sup>. В 1805 году он был назначен заместителем московского почт-

<sup>53</sup> ОР РНБ. Ф. 656. Д. 21. Л. 56 об. Письмо Козодавлева к Руничу от 6 апреля 1815 года, Санкт-Петербург. О его поддержке религиозной терпимости см. [Сухомлинов 1874–1888, 6: 204–205, 261–262]. Биографические сведения о Козодавлеве см.: [Половцов 1896–1918, 9: 55–60; Гаршин 1890].

<sup>54</sup> РО ИРЛИ. Ф. 263. Оп. 2. Д. 216. Л. 5–6 об. Письмо Лабзина к Руничу от 23 февраля / 6 марта 1798 года, Санкт-Петербург.

директора Ключарева, масона со стажем и друга Новикова, с кружком которого Рунич и его отец также были связаны. Однако он чувствовал себя потерянно без руководства своего друга, харизматичного и властного Лабзина, жившего в Санкт-Петербурге, и писал тому, что отчаянно хочет отдохнуть у него «от рассеянности московской жизни и насладиться в братском союзе, любовью и единодушием»<sup>55</sup>. «Простите, — молил он слезно, — браните, бейте меня, только не переставайте любить меня и подкрепить слабого советами вашими»<sup>56</sup>.

Рунича, как и многих его современников, мучило «вольтерьянство», с которым он не мог ни распрощаться, ни ужиться. Полвека спустя он еще будет внезапно просыпаться по ночам, с ужасом вспоминая «богохульные песни» своей юности [Дмитрий Павлович Рунич 1898: 390]. Когда он тщетно пытался изгнать из своего сознания темные силы, ему приходило на ум, какие муки ожидают грешников после смерти: его заставят вечно созерцать отвратительные подробности своих преступлений. Вплоть до 1806 года, если не дольше, «вольтерьянство» боролось в нем с мистической верой, к которой его приобщали Лабзин, Новиков, Лопухин и, возможно, другие. В конце концов его мистические тревоги в совокупности с неудачами на службе заставили его искать утешения в сумрачной мистической религиозности [Дмитрий Павлович Рунич 1898: 390]<sup>57</sup>.

---

<sup>55</sup> РО ИРЛИ. Ф. 263. Оп. 2. Д. 562. Л. 1. Письмо Рунича к Лабзину от 24 июля 1805 года, Москва.

<sup>56</sup> РО ИРЛИ. Ф. 263. Оп. 2. Д. 562. Л. 5–6 об. Письмо Рунича к Лабзину от 15 февраля 1806 года, Москва. См. также [Половцов 1896–1918, 17: 592–601; 8: 755–756; Письма Новикова 1871; Письма Лопухина 1870]. О Лабзине см. [Аксаков 1955–1956, 2: 245]. Лабзин пытался использовать связи Рунича в карьерных целях. См. письмо Лабзина к Руничу (без даты): РО ИРЛИ. Ф. 263. Оп. 2. Д. 217. Л. 5.

<sup>57</sup> В письме к Лабзину от 22 января 1806 года, Москва, Рунич жалуется на «здешнюю жизнь»: РО ИРЛИ. Ф. 263. Оп. 2. Д. 562. Л. 4 об. В письме к Лабзину от 24 июля 1805 года, Москва, он пишет, что Ключарев не может заменить ему Лабзина — по крайней мере поначалу: РО ИРЛИ. Ф. 263. Оп. 2. Д. 562. Л. 2. В письме к Балашову от 16 февраля 1811 года, Москва, он сетует на то, что в почтовом ведомстве у него нет никаких шансов на продвижение, а с переходом в Министерство полиции у него ничего не вышло: РО ИРЛИ. Ф. 263. Оп. 2. Д. 599. Л. 14–15.

Рис. 10. Д. П. Рунич.  
[ОВИРО 1911–1912, 7: 223]



Судьба Рунича изменилась в одночасье 10 августа 1812 года, когда Ростопчин, сам того не желая, оказал ему услугу, отправив в ссылку Ключарева и возложив на Рунича ответственность за почтовое ведомство. С этого момента он докладывал о делах непосредственно Козодавлеву, и это стало реальным началом его карьеры. Теперь он присоединился к кругу набожных христиан, связанных с Библейским обществом и читавших «Русский вестник» Глинки, — впрочем, не всегда разделяя его светлую веру в человека и русский народ<sup>58</sup>. Одним из них был Козодавлев, входивший в правление Российского библейского общества, другим — Попов, с 1809 года помощник Козодавлева по почтовому ведомству, директор его канцелярии с июня 1811 года, а с 1813 года один из двух секретарей Российского библейского общества (вторым был А. И. Тургенев). Одиноким вдовец с тремя дочерьми, обладавший ограниченным умом и мистической верой, Попов впоследствии сыграл заметную роль в нескольких страннейших эпизодах из истории мистицизма Александровской

---

<sup>58</sup> В числе подписчиков журнала за 1813 год были Рунич, Козодавлев, Лабзин, Попов и Лопухин.

эпохи. Петер фон Гётце, работавший с ним, был невысокого мнения о нем и описывал его как «маленького узкоплечего человека с простодушным и набожным выражением лица», который завершал прозаические рутинные совещания РБО по вопросу распределения Библий, обращая взор в потолок и вздыхая: «Чудны дела твои, Господи!» [Goetze 1882: 97]. Возможно, Рунич был и ранее знаком с Козодавлевым и Поповым, но только благодаря их переписке; после удаления Ключарева между ними установились более тесные отношения [Половцов 1896–1918, 14: 531–534; Sawatsky 1976: 248].

На почт-директора были возложены важные обязанности. Во-первых, Рунич отвечал за перлюстрацию частных писем, проходивших через его отдел. Это был существенный источник информации для властей, поэтому Козодавлев мягко выговаривал ему в 1815 году: «Удивляюсь, что выписки от вас доставляемые так сухи и так их мало. Я надеюсь, что теперь вы усугубите ваше на сие внимание и проникнете во многие вести из Петербурга в Москву писанные»<sup>59</sup>. Кроме того, Рунич был глазами и ушами министра. Козодавлев требовал, чтобы тот собирал сообщения всех почтмейстеров и писал отчеты, объясняя, что сам он составляет на их основе доклады государю об обстановке в Москве и вокруг нее. От Рунича ожидали увеличения продаж «Северной почты» и организации связи с промышленниками, — он должен был передавать руководству их мнения, рассылать образцы их товаров, информировать их о мнении министра, способствовать росту производства на местах, и т. д. В целом Козодавлев, по-видимому, был доволен его работой<sup>60</sup>.

<sup>59</sup> ОР РНБ. Ф. 656. Д. 21. Л. 75 об. Письмо Козодавлева к Руничу от 7 декабря 1815 года, Санкт-Петербург.

<sup>60</sup> О проверке Руничем частной корреспонденции, возникавших у него в первое время сомнениях по поводу этой работы и отсутствии энтузиазма см. ОР РНБ. Ф. 656. Д. 21. Л. 15–16, 64, 66–66 об., 77 (письма Козодавлева к Руничу от 23 сентября 1813 года, 21 июня и 22 июля 1815 года и 4 января 1816 года, Санкт-Петербург). О желании Козодавлева узнать обстановку в Москве см. его письмо к Руничу от 18 декабря 1814 года, Санкт-Петербург: ОР РНБ. Ф. 656. Д. 21. Л. 43. О промышленниках см. его письма к Руничу от

14 апреля 1813 года, всего через три месяца после первого организационного собрания Библейского общества, Рунич послал Козодавлеву письмо с просьбой принять его. Его просьба была удовлетворена, и с тех пор его официальная переписка, особенно с Поповым, включала также обсуждение дел РБО и метафизические размышления. Они и раньше переписывались по религиозным вопросам и посылали друг другу религиозную литературу, но принадлежность к РБО скрепила дружбу Рунича с Поповым (и, очевидно, с Козодавлевым); она, по-видимому, являлась мистическим союзом, подобным тому, какой существовал между Роксандрой Стурдзой, Юнг-Штиллингом и Александром I<sup>61</sup>. Попов писал ему: «Я рад, что попал еще на человека, с коим могу говорить открыто о чувствуемых мною истинах Религии. Другим конечно показалось бы сие ханжеством, или безумием; да и боишься еще, чтоб не обратить на Слово Божие какого-либо нареkania»<sup>62</sup>. Здесь хорошо виден образ мыслей «пробужденных» членов Библейского общества: их страх преследования, их стремление к некоей святой цели, квазимасонское чувство братства, объединяющее немногих избранных, которые увидели свет и стоят в стороне от находящихся во мраке собратьев.

Вера Попова подпитывалась его непрерывными размышлениями о грехе. Он говорил Руничу: «*Уверенность* в падении человека и совершенном развращении нравственной нашей природы, и *неуверенность* в собственных силах своих к добру, составляют

---

10 и 22 апреля, без даты в октябре и от 18 декабря 1814 года, от 20 марта, 5 июля, 26 августа и 18 сентября 1815 года, Санкт-Петербург: ОР РНБ. Ф. 656. Д. 21. Л. 28, 31–31 об., 35–36, 44, 53–53 об., 65, 69, 71 об. См. также ОР РНБ. Ф. 656. Д. 37. Л. 108 об.–109, 137 (письма Попова к Руничу от 2 сентября и 8 декабря 1814 года, Санкт-Петербург). См. также РО ИРЛИ. Ф. 263. Оп. 2. Д. 190, *passim*.

<sup>61</sup> См. ОР РНБ. Ф. 656. Д. 37. Л. 21–21 об. Письмо Попова к Руничу от 22 апреля 1813 года, Санкт-Петербург; ОР РНБ. Ф. 656. Д. 21. Л. 11–11 об. Письмо Козодавлева к Руничу от 17 мая 1813 года, Санкт-Петербург; ОР РНБ. Ф. 656. Д. 37. Л. 19. Письмо Попова к Руничу от 8 апреля 1813 года, Санкт-Петербург; РО ИРЛИ. Ф. 263. Оп. 2. Д. 577. Л. 13 об. Письмо Рунича к Попову от 28 мая 1817 года, Покоево.

<sup>62</sup> ОР РНБ. Ф. 656. Д. 37. Л. 29 об. Письмо от 4 июля 1813 года.



основание Христианского учения»<sup>63</sup>. Однако, как учило Библейское общество, Священное Писание может само по себе, без дальнейших толкований, принести искупление тем, кто его читает. Попов не видел необходимости в переводе Библии на современный русский язык, потому что, как и Шишков, считал церковнославянский язык формой русского и верил, что даже на архаичном языке Библия воздействует эффективно<sup>64</sup>. Он выступал за самое широкое ее распространение с целью утвердить добродетель и укрепить общественный порядок. Так, он говорил Руничу о ливонских крестьянах, бывших «невеждами» и смутьянами и ставших после прослушивания проповедников «трудолюбивыми, порядочными в своем житии, покорными помещикам и всякому Начальству», — одним словом, «похожими во многом на первых Христиан Апостольского времени». Даже помещики, которые «не чувствуют важности и силы сего», могли «увидеть пользу собственную», которую принесла им вера их крестьян. «Разве нет и ныне явных чудес?» — восклицал он<sup>65</sup>. Это отражает консервативную социальную основу веры Попова, в завуалированной форме выраженную уже в его акценте на грехе и смирении, и показывает, что он был более типичным консерватором, чем Стурдзы. Роксандре и Александру не позволяли примириться с крепостным правом их религиозные убеждения, и они требовали его отмены. Даже Глинка считал, что надо по меньшей мере гуманно обращаться с крепостными. Попов же не делал из своей веры никаких социально-политических выводов. Тот факт, что Козодавлев назначил его одним из ближайших помощников, говорит о приоритете для того единой веры над идеологическими разногласиями.

Рунич не разделял преданности Попова Библейскому обществу и был подавлен политиканством, которое ему пришлось на-

---

<sup>63</sup> СПбФ АРАН. Ф. 100. Оп. 1. Д. 197–18. Л. 225. Письмо Попова к Руничу от 21 июля 1815 года, Санкт-Петербург.

<sup>64</sup> Высказывания Попова о важности Библии см. в его письме к Руничу от 30 ноября 1814 года, Санкт-Петербург: ОР РНБ. Ф. 656. Д. 37. Л. 94.

<sup>65</sup> ОР РНБ. Ф. 656. Д. 37. Л. 29 об.–30 об. Письмо Попова к Руничу от 4 июля 1813 года.

блюдать в качестве главы московского отделения. Его убеждения расходились со взглядами его друга. Он встревожил Попова, заявив, что современные религиозные труды важнее для спасения, чем Библия; Попов с Козодавлевым упрекали его за речь на собрании московского отделения Российского библейского общества, в которой он недостаточно ясно дал понять, что целью общества является распространение Библии без каких-либо комментариев. Когда Попов присылал Руничу иностранные религиозные трактаты, тот их сразу переводил и организовывал их публикацию. Попов опасался, что трактаты примут за сочинения Библейского общества, и предупреждал его, что противники Российского библейского общества и так называли их «Мартинистами и тому подобными»<sup>66</sup>. Он также в принципе возражал против самоуверенности в религиозных вопросах: «Почему знаем мы, кто из верных последователей учения Христова лучше другого мыслит?»<sup>67</sup> Попов придерживался мнения, что вся религиозная истина заключена в одной только Библии, а Рунич как человек, близкий к «мартинизму», придавал большее значение трудам современников. Его библиотека насчитывала не менее семнадцати томов сочинений различных мистиков, а также такие издания, как «Таинство креста», «Ключ к таинствам природы», «Герметическая Полярная звезда», «Краткая история франкмасонства» и журнал Лабзина «Сионский вестник»<sup>68</sup>. Рунич и Попова объединяло то, что их религиозные убеждения отличались от принятых православной церковью, которая исторически сформировала христианство в России. При общей социально-политической направленности их консерватизма вдохновение их находило выражение прежде всего в религиозных взглядах, бросавших решительный вызов столетиям русской традиции.

<sup>66</sup> ОР РНБ. Ф. 656. Д. 37. Л. 42 об. Письмо Попова к Руничу от 10 октября 1813 года, Санкт-Петербург.

<sup>67</sup> ОР РНБ. Ф. 656. Д. 37. Л. 128 об. Письмо Попова к Руничу от 14 ноября 1814 года, Санкт-Петербург. См. также его письма от 30 ноября и 18 декабря 1813 года и от 1 и 28 апреля 1814 года, Санкт-Петербург: ОР РНБ. Ф. 656. Д. 37. Л. 131 об., 140, 71 об., 78 об., 42.

<sup>68</sup> РО ИРЛИ. Ф. 263. Оп. 1. Д. 178, 181. Библиотечные каталоги 1826 года.

В отличие от других, для Рунича вера не означала освобождения от страдания. Попов был полностью предан Библейскому обществу, деятельность которого он считал ключом к счастью человечества. Александр и Роксандра Стурдзы, отличавшиеся, по сравнению с Поповым, большей человечностью, более глубоким образованием и более развитым интеллектом, видели зачатки лучшего будущего в добродетели русского народа, в истине православия и «пробужденного» религиозного сознания, а также в божественной миссии Александра I. Рунич, напротив, смотрел на мир с безысходностью закоренелого пессимиста. «Человек родится злым, — мрачно констатировал он. — Любовь к человечеству не более, как великолепное платье, расшитое золотом и серебром, но прикрывающее скелет, изъеденный червями» [Рунич 1901, 3: 611]. Он чувствовал (вместе со Стурдзами, Глинкой и Шишковым), что в 1812 году Россия понесла наказание за грехи, и рассматривал побег Наполеона с Эльбы как еще одно предупреждение [Дмитрий Павлович Рунич 1898: 392]<sup>69</sup>. Так же как Глинка, Стурдзы, Шишков и другие протославянофилы, он скептически относился к высшим классам общества. Но, в отличие от других, он также обличал «крайнюю безнравственность наших простолюдинов»<sup>70</sup>. Примитивность крестьянских масс была темой, к которой он возвращался снова и снова в своих мемуарах. Русский крестьянин «живет только для удовлетворения своих физических потребностей и для того, чтобы пользоваться свободой, которую он ищет в растительной жизни» [Рунич 1901, 3: 611]. Это презрительное отношение, сложившееся, возможно, под впечатлением Пугачевского восстания, в подавлении которого участвовал его отец, определило и его взгляды на «народную войну» 1812 года. Крестьяне, считал Рунич, — прирожденные ксенофобы, и, когда французы покуша-

<sup>69</sup> Письмо Рунича к Попову от 29 марта 1815 года, Москва. Попов был согласен с ним в этом. См. его письма к Руничу от 19 и 23 марта 1815 года, Санкт-Петербург: СПбФ АРАН. Ф. 100. Оп. 1. Д. 197–18. Л. 207–209.

<sup>70</sup> РО ИРЛИ. Ф. 263. Оп. 2. Д. 577. Л. 15–15 об. Письмо Рунича к Попову от 28 мая 1817 года, Покоево.

лись на их собственность, они мстили с варварской жестокостью. «Патриотизм был тут ни при чем» [Рунич 1901, 3: 614]. Наполеона сразило Провидение, не природа и не люди<sup>71</sup>. Однако неразвитость России составляла и ее силу, потому что необъятные просторы, невежество народа и этническая разобщенность веками задерживали революцию. В отличие от Глинки и Шишкова, он считал старую Русь «варварской». Петр I оставил Россию «страною не цивилизованной на европейский лад, но дикой; но это была страна девственная, которую ее правители могли направить в ту или другую сторону» [Рунич 1901, 5: 388]. Однако монархия подорвала религиозные основы, и весь народ претерпел нравственный упадок. Русские, заключал Рунич, никак не готовы к самоуправлению, потому что крестьяне слишком невежественны, европеизированное дворянство развращено и политически ненадежно, и в целом «русский народ еще не вышел из детства. С ним еще нельзя говорить о свободе» [Рунич 1901, 3: 626].

Рунич, таким образом, отрицал позитивные начинания как современных ему консерваторов, так и реформаторов и занимал некомфортное промежуточное положение между этими группами. Шишков, которого он считал претенциозной и невежественной посредственностью, и его последователи отдавали должное достоинству народа, а Рунич испытывал к нему лишь презрение. Реформаторы стремились установить гражданское равенство и власть закона, а Рунич не видел необходимости в коренных переменах и считал их невозможными и даже нежелательными. Следуя логике историзма, принятой большинством западных консерваторов и свойственной также Александру Стурдзе, он писал: «Конституции не даются и не берутся силою; они должны созреть и появиться на свет своевременно» [Рунич 1901, 2: 350]. А это время, полагал Рунич, хотя и писал это около 1850 года, в России еще не пришло.

Он выступал за политику пассивного сдерживания как проявлений дикости бедняков, так и морального разложения

<sup>71</sup> См. [Рунич 1901, 3: 611–614; Половцов 1896–1918, 17: 601–605].

элиты. Эта задача падала на религию — сферу, в которой Рунич не разделял ни убеждения традиционалистов в истинности православия, ни веры Попова во всемогущество Евангелия. К тому же, в отличие от Стурдз, он не был и большим почитателем Александра I. Даже масонство в той форме, в какой оно возродилось после 1801 года, не находило у него одобрения: ему казалось, что лидеры движения несведущи в масонском учении, а во время собраний «братья-масоны <...> внимательны только к тому, чтобы их стаканы не пустели» [Рунич 1901, 4: 158]. Редким исключением была ложа Лабзина, вспоминал он, продолжая преклоняться перед идеалами масонства — в отличие от их реального воплощения. Одним словом, мировосприятие Рунича было пессимистичным, а настроение подавленным. Испытывая одновременно и свойственное европейцам презрение к русским народным массам и наследию допетровской Руси, и присущее российским консерваторам недоверие к европеизированным аристократам, он не мог найти ни общественного класса, ни идеологии, которые давали бы надежду на будущее. Единственным местом, где он чувствовал себя в своей тарелке, было мистическое крыло масонства, в котором культивировались европейская культура, аристократические манеры и дух христианского братства. Однако это окружение не могло подготовить его к активному участию в русской жизни с ее вековыми проблемами. Пока он занимал пост московского почт-директора, его стерильная реакционность оставалась незаметной. Но когда его назначили попечителем Санкт-Петербургского учебного округа, его убеждения стали играть важную роль<sup>72</sup>.

---

<sup>72</sup> См. [Рунич 1901, 1: 52–53, 55–56; 2: 349–355; 3: 606–607, 626; 4: 157–161, 165; 5: 383–384, 388–389]. Любопытно, что, в противоположность господствовавшему в обществе мнению, Рунич утверждал, будто Москва должна была сорвать в 1812 году потому, что офрануженное *дворянство* могло перейти на сторону Наполеона [Рунич 1901, 3: 606]. Подобно А. Стурдзе, он усматривал причину широкого распространения религиозных сект и еретических учений в невежестве и моральном разложении церковников [Рунич 1901, 2: 337].

Противники масонов и религиозных реформ отнеслись к Библейскому обществу с недоверием с самого начала. Их война против него составляла суть взаимоотношений между различными направлениями консерватизма после 1815 года. В первый же год по вступлении в общество Рунич непреднамеренно подтолкнул их к этим сражениям, потому что распространение неправославных религиозных трудов давало в руки противников Российского библейского общества оружие против него, — ведь многие, как предупреждал Попов, подозревали общество в «мартинизме». Первым врагом на пути Рунича оказался Ростопчин, чей консерватизм выражался в идеализации «регулярного государства». Он был нетерпим к объединениям доброхотов, вдохновленных западными идеями и представлением о собственной значительности, и уже продемонстрировал свою власть и крутой характер, незаконно выслав из Москвы Ключарева — начальника Рунича.

Ростопчин предупреждал, даже после поражения Франции, об опасности «слишком сильного впечатления от прошлых успехов» Наполеона, которое «поддерживается энтузиастами, т. е. иллюминатами, мартинистами и раскольниками» [Переписка императора 1893: 208]<sup>73</sup>. Библейское общество представлялось ему одной из таких организаций, и он писал министру полиции: «В сем заведении я пользы никакой не предвижу», поясняя, что обеспеченные люди уже имеют Библию, а неграмотным она бесполезна [Дубровин 1882: 498–499]<sup>74</sup>. Рунич обратил на себя его внимание, потому что возглавлял московскую ветвь Российского библейского общества, а может быть, и потому, что любой почт-директор, не находящийся у него под каблуком, казался генерал-губернатору потенциальной угрозой. Той осенью Ростопчин писал царю, что в Москве есть «недоброжелатели правительства, люди во всем сомневающиеся», к которым он причислил и Рунича. «Они охотно выслушивают всякие нелепости, прибавляют к ним свои измышления и приплетают свои собственные

<sup>73</sup> Письмо Ростопчина к Александру I от 22 июня 1814 года, Москва.

<sup>74</sup> Письмо к Александру I от 3 июля 1813 года, Москва.

сомнения к глупым рассказам других». Одному из них Ростопчин «намылил голову», а Рунич, по его словам, был при этом «встревожен несколько за себя» [Переписка императора 1893: 200]<sup>75</sup>. Когда в сентябре 1813 года Рунич получил разрешение на публикацию перевода религиозного сочинения, выпущенного Лондонским обществом по распространению религиозной литературы, Ростопчин отреагировал в марте следующего года, приказав конфисковать все непроданные экземпляры, чем он вновь нарушил закон, поскольку цензура относилась к компетенции Министерства народного просвещения. Он утверждал, что книга противоречит догмату православия, касающемуся таинства крещения, и вызвала опасные волнения среди старообрядцев. Учитывая, что Рунич и его отец проявляли к ним симпатию, связь Рунича со старообрядцами не казалась невероятной<sup>76</sup>.

Действия Ростопчина вызвали бурю протеста, обнаружившую как силу Библейского общества, так и пределы его возможностей. Рунич обратился к Голицыну, своему начальнику по Российскому библейскому обществу, а попечитель Московского учебного округа (главный цензор), фанатичный розенкрейцер, подал жалобу своему начальнику — министру народного просвещения. Митрополит московский информировал Голицына (как обер-прокурора Святейшего Синода), что находит содержание книги Рунича соответствующим учению церкви. Возглавлял список официальных лиц, защищавших Рунича, влиятельный Козодавлев, который также встал на сторону своего сотрудника

<sup>75</sup> Письмо к Александру I от 24 сентября 1813 года, Москва. Ростопчин испытывал также неприязнь к Роксандре Стурдзе. «Два человека, в особенности постаравшиеся испортить натуру императора, — это [его французский учитель] Лагарп и девица Стурдза, — писал он. — Она принадлежала к немецкому мистическому обществу и именно она обеспечила успех мадам Крюденер в обществе, а также подыскала у нас место для господина Штилинга, сына того самого знаменитого мистика, который был апостолом мартинизма» (письмо к С. Р. Воронцову от 4/16 октября 1820 года, Париж [Архив Воронцова 1870–1895, 8: 409–410]).

<sup>76</sup> РО ИРЛИ. Ф. 263. Оп. 2. Д. 599. Л. 5. Письмо Рунича к Павлу Михайловичу от 5 октября 1809 года. См. также [Рунич 1901, 1: 70–71].

[Мельгунов, Сидоров 1914–1915, 2: 155–158, 202]<sup>77</sup>. Однако Голицын, хотя и подтвердивший Руничу, что трактат не вызывает возражений со стороны церкви, не стал делать на этом упор, излагая дело императору. Вместо этого, солидаризируясь с предостерегавшими Рунича Козодавлевым и Поповым, он подчеркнул, что Российское библейское общество никоим образом не связано с Лондонским обществом по распространению религиозной литературы (Ростопчин пытался их связать) и публикует только священные книги<sup>78</sup>. Очевидно, Голицын опасался влияния консервативных православных кругов и надеялся уберечь Российское библейское общество от их нападков. Рассмотрение дела затянулось, так как Александр находился в Европе и занимался вопросами внешней политики. В сентябре 1814 года Ростопчин был снят с должности, и Рунич мог радоваться тому, что наконец «страх ссылок, кнутов и виселиц исчез!»<sup>79</sup> Через несколько недель запрет на его книгу также был снят.

Активное воздействие «Пробуждения» на русских людей объяснялись отчасти культурными веяниями, внесенными в литературу сентименталистами и проникшими также в среду молодых аристократов, которые считали эмоциональную утонченность признаком элитной культуры и находили удовлетво-

<sup>77</sup> См. также СПбФ АРАН. Ф. 100. Оп. 1. Д. 197–17. Л. 16–21 об. Письма от 16 марта 1814 года: Рунича к Голицыну, И. А. Гейма к П. И. Голенищеву-Кутузову, Голенищева-Кутузова к «сиятельному графу» (А. К. Разумовскому), епископа Августина к «сиятельному князю» (Голицыну), Ростопчина к Вязьмитинову); ОР РНБ. Ф. 656. Д. 21. Л. 24 об. Письмо Козодавлева к Руничу от 30 марта 1814 года, Санкт-Петербург; письма Лопухина к Руничу от 26 апреля, 10 мая, 21 июня и 26 ноября 1814 года, Воскресенское [Письма Лопухина 1870: 1223, 1227–1228, 1230].

<sup>78</sup> ОР РНБ. Ф. 656. Д. 37. Л. 63 об.–66, 71 об., 78 об. Письма Попова к Руничу от 20 марта, 1 и 28 апреля 1814 года, С-Петербург; СПбФ АРАН. Ф. 100. Оп. 1. Д. 197–17. Л. 22–22 об., 26–26 об. Письма Голицына к Александру I от 25 марта 1814 года и к Вязьмитинову и Руничу от 30 марта 1814 года, Санкт-Петербург.

<sup>79</sup> РО ИРЛИ. Ф. 263. Оп. 2. Д. 599. Л. 71 об.–72. Письмо Рунича к П. И. Голенищеву-Кутузову от 14 сентября 1814 года, Москва. См. также ОР РНБ. Ф. 656. Д. 37. Л. 112. Письмо Попова к Руничу от 25 сентября 1814 года, Санкт-Петербург.



ние в поэзии и культивировании высоких чувств, а не в службе<sup>80</sup>. Это было характерно и для многих религиозных консерваторов. В переписке Александра I с его сестрой Екатериной, Роксандры Стурдзы с братом и Юнг-Штиллингом, Рунича с Поповым используется до странности интимный, почти любовный язык. Неудивительно, что эта черта отсутствует в письмах Шишкова и Ростопчина — людей предыдущего поколения, которым сентиментализм был чужд.

Сентиментализм способствовал образованию эмоциональных отношений, контрастировавших со сложившимся в обществе официальным иерархическим этикетом; завязывалась тесная дружба между мужчинами и женщинами (как, например, союз Роксандры Стурдзы с де Местром, Каподистрией, Александром I и Юнг-Штиллингом, или Крюденер — с императором), в которой благопристойность гарантировалась религиозностью и высокой нравственностью сторон. Этим объяснялась и популярность масонских лож, в которых между мужчинами возникали дружеские связи, позволяющие преодолеть барьеры, создаваемые обычно служебным положением. Библейское общество было в эмоциональном отношении сродни ложе, и дружба Рунича с его начальниками, Поповым и Козодавлевым, иллюстрирует эту солидарность между «братьями», не зависящую от должности и чина. С этим явлением был психологически связан и сознательно иррационалистический поиск религии, основанной на личном чувстве, а не на схоластической теологии или исторически сложившейся традиции. Эффективность этого импульса подтверждается и верой Попова во всемогущество Библии, и мистицизмом Рунича и Лабзина, и даже реформизмом Филарета. В нем выражался в некоторой степени дух поколения, чем и объясняется враждебность к нему Шишкова и Ростопчина.

---

<sup>80</sup> См., например, [Wortman 1976: 93]. Шишков выражал традиционный взгляд, когда наставлял племянника: «Единственный способ приобрести, помимо статуса дворянина, также достоинство и благородство своих предков — служить отечеству верно и усердно». Честная служба, христианское благочестие и добродетель — вот путь к тому, чтобы стать хорошим офицером и дворянином, утверждал адмирал [Шишков 1837: 18–19, *passim*].

Причиной популярности «Пробуждения» была также интеллектуальная поверхностность русского дворянства. Подобно «вольтерьянству», это течение стало модным отчасти потому, что к нему было легко присоединиться. Традиционное богословие требовало разносторонней подготовки, но в России даже у дворян имелось мало возможностей получить формальное образование в области религии и философии, а чтобы стать «пробужденными», достаточно было всерьез этого захотеть. Вместе с тем «Пробуждение» отражало сумятицу эпохи, когда рушились старые представления об общественном порядке. Ужасы революционного и наполеоновского режимов, которые посторонние наблюдатели связывали с антиклерикализмом, порождали глубокий кризис доверия к рационализму. Эта потеря иллюзий (предсказанная ложами розенкрейцеров еще до 1789 года) особенно ярко проявлялась у тех, кто достиг совершеннолетия во время падения Бастилии или вскоре после этого.

Лидеры «Пробуждения» принадлежали к дореволюционному поколению: Юнг-Штилинг родился в 1740 году, Кошелев — в 1769-м, Лабзин — в 1766-м. Однако самые ревностные последователи этого движения (Александр I, Стурдзы, Рунич) были моложе и искали руководства старших, для которых христианство вполне сочеталось с Просвещением и романтическим духом, подразумевавшим индивидуалистическую интроспекцию и веру в то, что Царство Божие — религиозный аналог яacobинской «республиканской добродетели» — уже близко [Флоровский 1937: 130]. Убеждение в превосходстве индивидуального пути над подчинением официальной традиции и в том, что эмоция, а не формальное знание является ключом к истине, как и надежда увидеть торжество вечных ценностей в ближайшем будущем, были характерными психологическими чертами века, которые отразились в «Пробуждении».

В дальней перспективе, однако, эти факторы не привели к системному переустройству общества или даже форм самой религии. В России по-разному откликнулись на «Пробуждение». Некоторые, подобно Стурдзе, остались верны православной вере и желали только обогатить ее энергией западных идей.

Другие свернули, как Попов, на путь протестантства, принимая за истину одну лишь Библию. Рунич склонился к вере, в которой большое значение придавалось трудам, не относящимся к Священному Писанию. Под широкой крышей «Пробуждения» находилось место почти для любых политических взглядов. Стурдзы были противниками крепостного строя, Рунич — нет. Первые выступали за репрезентативное правительство, последний был против него. Козодавлев поощрял промышленность и свободу печати, А. Стурдза относился к этим начинаниям с большим сомнением. Стурдза верил в земледельцев, Рунич их презирал. Стурдза восхищался религиозной культурой допетровской Руси, Рунич считал эту эпоху варварской. Козодавлев проповедовал свободу слова, веротерпимость, народное образование — Рунич ничего этого не поддерживал.

Эти расхождения во мнениях по фундаментальным вопросам надо иметь в виду, если мы хотим понять десятилетие после 1815 года. Хотя религиозные консерваторы затратили много сил на борьбу с консерваторами-традиционалистами, они не сумели примирить конфликтующие взгляды внутри самого течения и не смогли выдвинуть жизнеспособную программу духовного обновления, к которому они стремились.

# Глава 7

## Реальность Священного союза

До недавнего времени существовало шаблонное представление о том, что после 1815 года Александр I целенаправленно противостоял любым изменениям за границей и попыткам реформ в России и что проявления его религиозности были либо тактикой политического манипулирования, либо свидетельством неуравновешенного характера. В связи с этим на консерваторов смотрели как на льстивых царедворцев, если не закоренелых мракобесов, и не случайно многие историки считали, что изучения скорее заслуживают Аракчеев, Магницкий и Крюденер, чем люди более высокого интеллекта и более просвещенные<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> В индексе к первому тому работы великого князя Николая Михайловича «Император Александр I» [Николай Михайлович 1912] (во втором томе собраны источники) имя Крюденер упоминается 24 раза, а Роксандры Стурдзы — всего один. Ключевский также отмечает влияние первой из них, а о Стурдзе умалчивает [Ключевский 1987–1990, 4: 415]. Эта тенденция сохраняется и в исследованиях, опубликованных после 1917 года: см., например, [Strakhovsky 1947: 174–178; Mazour 1937: 32; Pares 1965: 322; Kornilov 1966: 93–94, 115; Riasanovsky 1977: 349; Walicki 1979: 72]. Мазур заявляет, что «наилучшим примером подобострастия, проявлявшегося литераторами по отношению к государству, служит адмирал Шишков» [Mazour 1937: 31]; см. также [Mazour 1937: 31–37]. Но исследователь принимает приверженность традиции за раболепие перед европеизированной, а позже и впавшей в мистицизм монархией. Более свежим примером подобного вводящего в заблуждение подхода по принципу разделения всех и вся на прогрессивное и реакционное является работа Г. Е. Павловой [Павлова 1990: 63–77, 116, 120, passim].

На самом деле период 1815–1825 годов начинался как время экспериментирования, когда император и его советники стремились подавить силы революции, не прибегая к бесплодной политике насилия. В этой обстановке религия не была ни фиговым листком для реакции, ни теорией пассивно-созерцательного отношения к жизни, — напротив, она часто служила направляющей силой для реформистской активности. Это был удивительный момент в истории русской консервативной мысли и политики, потому что имперское правительство делало то, о чем Шишков и другие могли только мечтать: оно использовало государственную мощь, чтобы формировать сознание как русских, так и европейцев<sup>2</sup>. В конце концов эти усилия ни к чему не привели — из-за их внутренних противоречий, несовместимости с ключевыми государственными интересами и нехватки движущих сил, представленных только императором и отдельными должностными лицами и интеллектуалами — и это вызвало ту самую реакцию доминирования государственников, которой старались избежать.

В предыдущей главе в основном описывалось, как эти религиозные взгляды формировались и как они проникали в среду российской элиты благодаря взаимному влиянию идей и событий в России и Европе. В данной главе будет рассмотрена программа российской внешней и внутренней политики, предложенная А. Стурдзой — одним из наиболее интересных и наименее известных советников Александра I — и другими, исходя из этих идей, а также в ней пойдет речь о политических разногласиях, возникших по поводу этой программы между различными группами российских консерваторов.

Социально-политические взгляды Стурдзы легче всего понять в контексте общего воздействия Просвещения на Россию. Как утверждал Марк Раев, около 1800 года немецкое Просвещение в гораздо большей степени, чем французское или английское, влияло на русскую культуру, и несколько важных импульсов развитию российской мысли дал немецкий пиетизм. Это выражалось в пропаганде активного, индивидуального, интроспек-

---

<sup>2</sup> См. [Hartley 1992].

тивного подхода к религии (по контрасту с деизмом и скептицизмом многих французских просветителей). Внимание при этом обращалось в первую очередь на этику и на человека в его социальном контексте, а не на освобождение личности, как это часто имело место в Англии или во Франции; подчеркивалась важность нравственного, христианского воспитания, ориентированного не столько на эмансипацию индивидуума, сколько на нужды общества; реализовать же эту программу должно было государство [Raeff 1967: 546–548]. Все эти идеи были близки А. Стурдзе, чья внешнеполитическая деятельность (как и деятельность Голицына, Магницкого, самого Стурдзы и других в области религии и образования) демонстрирует желание императора строить свою политику после 1814 года на основе религиозных убеждений. Выражением этой стратегии в сфере международных отношений стал проект Священного союза, главным идеологом которого являлся Стурдза. Обладая глубоким и острым аналитическим умом, он исходил в своих рассуждениях из общих положений и мог, основываясь на идеях Священного союза, предложить монарху интерпретацию тех или иных ситуаций и решение возникающих проблем. Александр I любил окружать себя советниками разных идейных направлений, в том числе и в делах, касающихся внешней политики. Самыми значительными фигурами в этой области были после 1814 года К. В. Нессельроде, поддерживавший Меттерниха и французскую Реставрацию, и Каподистрия, симпатизировавший либеральным устремлениям [Grimsted 1969: 226]. Таким образом, император мог слышать разнообразные мнения и всегда обладал по вопросам текущей политики набором альтернативных решений.

Каподистрия и Стурдза воплощают типичную для начала XIX столетия размытость понятий *либерального* и *консервативного*. Как и Александр I, они полагали, что люди доброй воли должны найти средний путь между революционным переворотом и реакционным застоем. Каподистрия был сторонником конституционализма как строя, устойчивого к революциям, и верил в право наций на политическое самоопределение. Он также поддерживал высокую цель Священного союза внедрить нравст-

венные принципы в международные отношения. В целом взгляды Каподистрии и Стурдзы по этим вопросам были близки, но у них были существенные расхождения в расстановке акцентов. Каподистрия подчеркивал значение этих идей для развития государства и общества: так, он настаивал на желательности установления конституционного правления в странах Европы и критиковал Меттерниха и других за невнимание к социальной напряженности, приводящей к революционным кризисам [Grimsted 1969: 236–238, 240–242]. Стурдза, со своей стороны, делал акцент на необходимости упрочения религии как средства борьбы с моральной неустойчивостью общества, и это придавало его взглядам сугубо консервативный оттенок. Он утверждал, что человек Запада должен укротить свой мятежный дух, вернуться к смиренному послушанию Божьей воле и отринуть новшества XVIII века. В Священном союзе ему виделся образец идеального общества: лига христианских государств, сохраняющих национальные традиции и объединенных общей верой. Большая часть его деятельности в области российской внешней политики в период 1815–1821 годов была посвящена воплощению в жизнь этого взгляда на будущее Европы и России.

Стурдза в большей степени, чем другие герои данной книги, посвятил свою жизнь осуществлению комплексной и во многих отношениях глубокой идеологической программы. Его действия обретают смысл только в этом контексте. Взгляды его оставались неизменными всю его зрелую жизнь, и их можно восстановить по фрагментам, сохранившимся в разных источниках: в частных письмах, служебных бумагах, государственных пропагандистских трактатах, трудах, опубликованных под его именем или сохранных в личном архиве, и в других документах, составленных им как на государственной службе в период правления Александра I и Николая I, так и в отставке.

Стурдза считал религию ядром национальной идентичности (в отличие от концепций Шишкова, ставившего во главу угла язык, и Карамзина, полагавшего на самодержавие)<sup>3</sup>. Он испытывал

<sup>3</sup> РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 5. Л. 135 об.–136. «Revue de l'année 1819».

глубокую теологическую враждебность к исламу, усугубившуюся из-за ненависти к Османской империи, притеснявшей балканских христиан, и выразившуюся в его воинственной политической позиции. Но при этом он неоднозначно относился и к Западу. Европа представлялась ему единым сообществом, с которым он был связан благодаря знанию языков, интересу к европейской интеллектуальной и политической жизни и частым путешествиям. Однако он категорически не принимал западное христианство, и эта проблематика занимала центральное место в его мировоззрении. Для Стурдзы само величие латинской цивилизации было отклонением от простых истин раннего христианства, которым православная церковь, с ее менее развитой внецерковной культурной деятельностью, осталась верна. В течение всей своей жизни он пытался в полемических сочинениях объяснить Западу истинную природу православия<sup>4</sup>.

Спокойствие страны, полагал Стурдза, зависит от усвоенного обществом нравственного чувства, от неправительственных организаций и исторических традиций, а не от принудительных мер со стороны государства; в этом он сходиллся с такими консерваторами той эпохи, как Франц фон Баадер, Адам Мюллер и Эдмунд Бёрк [Schaefer 1934: 47–48, 65]. В отличие от Шишкова и Ростопчина, он считал «регулярное государство» XVIII века ненадежным, винил его во Французской революции и опасался, что оно возродится при реставрации Бурбонов. Основной чертой этого государства, как он полагал, было отсутствие нравственной основы, которая одна только и может легитимировать власть, а репрессии, к которым оно прибегало, лишь усугубляли духовную болезнь общества.

Первоначальная христианская церковь, утверждал Стурдза, умела найти правильный баланс между свободой и подчинением,

<sup>4</sup> РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 5. Л. 53 об.; [Sturdza 1858–1861, 3: 287]. (Поскольку тома издания «*Ceuvres posthumes...*» не пронумерованы, я использую следующую систему: «*Etudes morales et religieuses...*» — V. 1; «*Notions sur la Russie...*» — V. 2; «*Souvenirs et portraits*» — V. 3; «*La science des antiquités...*» — V. 4.) См. также РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 4. Л. 90 об. «*Souvenirs du règne de l'Empereur Alexandre*»; [Sturdza 1816: 169–170, *passim*].



демократией и единоначалием. Собираясь на соборы, патриархи правили мудро, не прибегая к тирании, и в результате христиане усвоили учение церкви и были способны править без принуждения и насилия. Эта традиция сохранилась в православной церкви и в обществах, которыми она руководила. Католики, однако, порвали связь с Богом из-за того, что папы рвались к власти, и это послужило началом моральной деградации Запада. Высокомерный деспотизм Рима сформировал и характер западных государств; тирания пап породила духовную анархию протестантизма, а тирания королевской власти привела к революции. Вслед за де Местром и Бональдом, придав их идеям дополнительную антипапскую направленность, Стурдза доказывал, что власть и свобода, церковь и государство на Западе вступили в конфликт между собой, и потому — тут Стурдза был согласен с Глинкой, хотя его аргументация была гораздо сложнее — Бог наслал на Запад Французскую революцию в наказание за его грехи [Sturdza 1816: 169–170, 212–213; Sturdza 1858–1861, 1: 33–34]<sup>5</sup>.

Россия, по мнению Стурдзы, была свободна от этих грехов благодаря православию (в этом он соглашался с романтическими националистами, а не с государственным Карамзиным). Однако эта духовная гармония нарушалась из-за двух особенностей российской жизни. Первой из них была проблема, которую не желали замечать патриотически настроенные монархисты Шишков и Глинка: реформы Петра Великого нарушили цельность русской жизни, расщепили общество, сделали его подражательным и способствовали развитию деспотических тенденций. Аргументы Стурдзы и страстность, с какой он обличал европеизацию России, предвосхищали Чаадаева (если не учитывать прокатолических симпатий последнего) [Чаадаев 1991, 1: 88–96, *passim*] и славянофилов. Отсюда следует, что эти мыслители были не просто подхвачены романтическим течением, распространившимся по всей Европе в 1820-е, 1830-е и 1840-е годы, но и продолжали независимую и четко сформулированную русскую

---

<sup>5</sup> См. также: РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 4. Л. 82–83. «Souvenirs du régime»; [Boffa 1989: 104].

традицию. Другой проблемой, писал Стурдза, было то, что нравственное и духовное развитие русских оказалось в тупике из-за крепостничества, которое, подобно деспотизму, развратило и хозяев, и рабов и с которым надо покончить. И наконец, он прямо обращался к монарху, доказывая, что адекватной структурой современного государства является конституционная монархия с постоянными «основополагающими» законами и парламентом, выполняющим консультативную функцию [Sturdza 1858–1861, 3: 79–81]<sup>6</sup>.

Таким образом, Стурдза не был реакционером, вздыхавшим о талейрановской «сладкой жизни» при старом режиме, и не испытывал ничего кроме презрения к Меттерниху и всем прочим, кто, по-видимому, желал его восстановить. Напротив, он вместе с Глинкой и французскими радикалами конца XVIII столетия тревожился о порочном, с точки зрения морали, общественном устройстве и питал надежду на духовное возрождение общества и излечение человечества от исторических недугов. Он надеялся, что этой цели можно достичь путем разумного сочетания свободы, принуждения и просвещения — причем все это должно было осуществить государство, действующее от лица народа и во имя того, что Робеспьер назвал бы «добродетелью». Эта высокая миссия возлагалась на Александра I, а хартия, закрепляющая это положение, — Священный союз, — обязывала подписавших ее (то есть крупнейших европейских монархов) действовать во внутренних и международных делах согласно евангельским принципам.

По мнению Стурдзы, некоторые страны были подготовлены к тому, чтобы справиться с этой задачей лучше других. Он полагал, что аграрные общества по своей природе превосходят индустриализованные в нравственном отношении и что менее «развитые» общества здоровее, гармоничнее и политически стабильнее. Помимо России Стурдза видел убедительное свидетельство

---

<sup>6</sup> См. также [Sturdza 1858–1861, 2: 37–40, 70, 83–85, 91, 93–97, 108, 113–117, 148]; РГАДА. Ф. 3. Оп. 1. Д. 78. Л. 106–127; РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 266. Л. 289–300.

этому на примерах Испании и Греции. Он не мог не отметить черты сходства между католической Испанией, любимой им Грецией и Россией: славное прошлое, экономическую отсталость, высокомерную снисходительность со стороны прочих европейцев и горячий патриотизм с оттенком религиозности, исторически сформированный положением стран как аванпостов христианства на границе с мусульманским миром. Не было случайным совпадением и то, что Россия и Греция не поддались революционной лихорадке до 1815 года, и что Россия и Испания — «два религиозных народа» — нанесли поражение Наполеону [Sturdza 1858–1861, 4: 162–209; Стурдза 1834: 156, 168–170]<sup>7</sup>.

К Великобритании Стурдза, подобно многим европейцам, относился одновременно с холодным восхищением и глубинной неприязнью<sup>8</sup>. Его отталкивала внешняя политика этой страны. В своих воспоминаниях Стурдза обвинял Лондон в том, что он стремится в первую очередь к своему главенству на море, а не к сотрудничеству с другими великими державами, он осуждал английские коммерческие круги за поддержку мятежников в Испанской Америке и обличал Британию (и Францию) как центры подпольной революционной деятельности, расшатывающей порядок в Европе. Самый яростный его упрек был вызван тем фактом, что после 1821 года Лондон использовал для осуществления своих циничных планов греков. Он хвалил британскую систему правления за то, что она обеспечивала стабильность и свободу, но приписывал этот успех консервативным ценностям, сохранившимся в английском обществе, а также выгодному географическому положению страны, и подчеркивал, что ее система не может служить моделью для других обществ, потому что развивалась в течение столетий и в уникальных условиях. На него производила впечатление религиозность британцев, но он с подозрением относился к их протестантизму, тогда как его

---

<sup>7</sup> См. также: РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 5. Л. 24. «Revue de l'année 1819»; РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 4. Л. 66. «Souvenirs du règne»; [Sturdza 1818: 21].

<sup>8</sup> Отношение Стурдзы было характерным для распространенной на континенте англофобии, которую описывает А. Харви [Harvey 1978, *passim*].

восхищение их торговыми отношениями меркло перед негативной моральной оценкой общества с преимущественно городским населением. За фасадом благочестивого и разумного правления в Британии Стурдза чувствовал социальную напряженность, политический разброд, ересь и склонность манипулировать другими странами [Sturdza 1858–1861, 4: 83]<sup>9</sup>.

Понятно, что к Франции Стурдза относился с неизменной враждебностью. Но даже при этом он все-таки предпочитал родину революции и Наполеона бывшим британским союзникам России. Этот парадокс можно объяснить несколькими причинами. Стурдза принадлежал к общеевропейской аристократической культуре, Меккой которой был Париж. Почти все официальные бумаги и собственные сочинения написаны им по-французски; его воспитателем в детстве был француз, и английского языка он не знал. Он бывал во Франции, но никогда — в Англии, в кругу его общения были французы и не было англичан, он был гораздо лучше знаком с французской литературой, чем с английской. Католичество было ближе к православию (и меньше ассоциировалось с рационализмом), чем протестантизм, особенно «Пробуждение» начала XIX столетия. Как и российское правительство, Стурдза полностью поддерживал режим Бурбонов и чувствовал интеллектуальное родство с такими французскими мыслителями, как Шатобриан<sup>10</sup>. В сравнении с этим британская политика и образ мыслей были для него *terra incognita*. Наконец, Франция была более открыта для дипломатического влияния России, чем Англия. Английское правительство вызывало антипатию у Александра I, Каподистрия тоже отдавал предпочтение более тесным связям России с Францией. Возможно, поэтому Стурдза охотнее прощал грехи французам, чем англичанам.

Ни с одной из неправославных стран Стурдза не чувствовал такого родства, как с Германией. Большая часть путешествий приводила его туда; его вторая жена была немкой; Роксандра

<sup>9</sup> См. также [Sturdza 1858–1861, 3: 220, 337, 383–384, 419, 466; 4: 110, 206, 186, 197–198; Стурдза 1818а: 20]; АВПРИ. Ф. 133. Оп. 468. Д. 7713. Л. 3–6 об.

<sup>10</sup> РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 4. Л. 71–71 об. «Souvenirs de règne».

(фрейлина русской императрицы немецкого происхождения) вышла замуж за немца и некоторое время жила в Германии; Карл фон Штейн и Франц Баадер были его друзьями. В Германии еще держался старый режим, и консервативная интроспективная набожность, свойственная Александру I и Стурдзе, была распространена там больше, чем где-либо еще в Европе. Даже политическая раздробленность Германии ему нравилась, потому что она позволяла полнее проявиться духовному разнообразию народа, чем в централизованных Англии и Франции [Стурдза 1847: 38; Sturdza 1858–1861, 3: 249, 228]<sup>11</sup>. Эта романтическая идеализация природной непосредственности немцев в некоторых отношениях показательна для мышления Стурдзы. Как российский и греческий патриот он полагал, что народы должны утверждать свою культурную идентичность, не допуская диктата иностранцев, и что «народ», особенно крестьяне, ближе к природе, Богу и истине, чем более развращенные жители городов. Он критиковал как единовластие пап, так и реформы Петра [Sturdza 1858–1861, 2: 174–182], потому что любая «железная рука» — царская, папская или революционная — грубо вмешивается в устройство мира, каким его создал Бог. Уважать естественное разнообразие общественных структур и классов, местных культур и традиций означало для него уважать труд Господа.

После 1815 года он писал статьи и памфлеты в защиту Священного союза как участник развернутой Каподистрией пропагандистской кампании (Нессельроде сомневался в пользе этих методов), организаторы которой платили неофициальным заграничным «литературным агентам» для благоприятного освещения в прессе российской политики. Эта деятельность выявила полемическое искусство Стурдзы; он очень убедительно излагал позицию правительства, так как сам разделял ее [Сироткин 1981б: 47–51]<sup>12</sup>. Кроме того, работая в правительстве, он помогал интег-

<sup>11</sup> См. также: РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 4. Л. 58 об. «Souvenirs du règne».

<sup>12</sup> Примером подобных публикаций может служить статья о Священном союзе, предположительно принадлежащая Стурдзе и опубликованная в правительственной газете «Le Conservateur Impartial», № 36 от 4 мая 1817 года, с. 188–190.

ризовать в Российскую империю его родную Бессарабию, недавно присоединенную к России. Однако основной сферой его деятельности была российская дипломатия. Начиная с 1816 года он составлял, в качестве начальника канцелярии Каподистрии, черновики писем к русским посланникам и иностранным кабинетам, проекты меморандумов российской политики в отношении Франции и другие важные документы. Он пользовался уважением как специалист по европейским делам и теоретик международной политики. К примеру, в феврале 1818 года, когда великий князь Михаил собирался в поездку по Европе, Стурдза предложили проинформировать князя о состоянии дел в Пруссии, что свидетельствует о признании его авторитета в понимании обстановки в Германии<sup>13</sup>.

Именно деятельность в качестве аналитика немецкой политики привела к крупнейшему кризису в карьере Стурдзы, международному скандалу и реальной угрозе его жизни. В конце 1818 года он присутствовал на международном конгрессе в Аахене и, с одобрения императора, составил конфиденциальный меморандум о положении дел в Германии, который циркулировал среди союзнических делегаций, в конце концов просочился в прессу и вызвал большой шум среди немецких либералов и националистов<sup>14</sup>. В этой «Записке о нынешнем положении Германии» Стурдза доказывал, что Германия будет не в состоянии избавиться от политических неурядиц и духовных недугов до тех пор, пока университеты остаются рассадниками радикализма, и поэтому государству следует покончить с их автономией. Подобным же образом, утверждал он, прискорбное состояние прессы в Германии есть результат неспособности прежних правительств обуздать атеистические и рационалистические выступления. Реформа образования в конце концов приведет к перевоспитанию людей и устранению злоупотреблений в прессе, однако в настоящее время требуется строгая цензура, единообразия которой во всех немецких землях должен обеспечить Германский союз.

<sup>13</sup> РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 2. Л. 33 об.–36. «Précis».

<sup>14</sup> Этот инцидент описан в общих чертах в [Мартин 1994: 147].

Проникнув в печать, эти предложения вызвали бурю протеста, что глубоко обеспокоило Александра I и его немецких союзников. Немецкие националисты из числа интеллектуалов и студентов и без того уже опасались, что патриотические и либеральные надежды, порожденные антинаполеоновской войной 1813 года, похоронены Германским союзом Меттерниха, а «Записка» Стурдзы была воспринята как совсем уж недопустимое вмешательство реакционного иностранного государства во внутренние дела Германии<sup>15</sup>. В России «Записка» также была непопулярна по причинам как политического, так и идеологического порядка. Говорили, что нанесен ущерб репутации России за рубежом; друзья Стурдзы А. И. Тургенев и Вяземский обвиняли его в фанатизме и потере чувства реальности, а Н. И. Тургенев заметил по поводу репрессивных Карлсбадских указов 1819 года, что немцы решили «устурдзить» свои университеты [Тарасов 1911–1921, 5: 212–213]<sup>16</sup>. Подобная критика была типична для распространенной, но ошибочной тенденции связывать Стурдзу (и саму идею Священного союза) с Меттернихом и режимом Реставрации. В действительности в записке, подготовленной для Каподистрии, Стурдза решительно осудил Карлсбадские указы, подчеркивая, что, вводя цензуру только против политического инакомыслия (но не против безнравственности и неверия) и требуя лишь политической ортодоксальности в университетах, Германский союз стремился к усилению анахроничного деспотизма, а не к осуществлению политических реформ, которых требовало время, и перевоспитанию общества в христианском духе<sup>17</sup>.

---

<sup>15</sup> Два возмущенных студента даже вызвали Стурдзу на дуэль, но власти убедили их отказаться от этого намерения. См. РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 58. Л. 135–135 об. Письмо Конопака к Войгту от 26 февраля 1819 года, Йена.

<sup>16</sup> Дневниковая запись 9 октября 1819 года.

<sup>17</sup> Письмо Землера в прусское Министерство иностранных дел от 19/31 января 1819 года, Санкт-Петербург [Brinkmann 1919: 99]; письмо А. Тургенева к А. Булгакову от 13 декабря 1818 года [Письма Тургенева 1939: 167]; письмо А. Тургенева к Вяземскому от 11 декабря 1818 года [Сайтов 1899–1913, 1: 169–170]; письмо Вяземского к А. Тургеневу от 12 апреля 1819 года, Варшава [Сайтов 1899–1913, 1: 216]; РГАДА. Ф. 3. Оп. 1. Д. 78. Л. 106–127.

После того как российский «литературный агент» Август фон Коцебу был убит немецким студентом-радикалом в марте 1819 года, Стурдза, все еще находившийся в Германии, понял, что следующим будет он, и вернулся в Россию. Он чувствовал себя покинутым и преданным своим правительством, которое позволило сложиться впечатлению, что «Записка» выражала лишь его личную точку зрения. Кроме того, ему вовсе не хотелось носить ярлык реакционера, и он считал, что убийство Коцебу подтвердило его опасения относительно радикализма немецких студентов<sup>18</sup>. В конце весны он получил разрешение вернуться в свое родовое поместье Устье и заняться своим здоровьем, в особенности большими глазами. Нессельроде ожидал его возвращения в столицу поздней осенью, но Стурдза говорил Вяземскому о своем намерении оставаться в Устье «как можно долее» и планировал провести там зиму [Сайтов 1899–1913, 1: 216]<sup>19</sup>. Очевидно, он был обижен тем, как с ним обращались после Аахена Нессельроде и император, и ему нравилось думать о своей печальной полуотставке как об уходе от грешного мира. Однако Роксандра, всегда заботившаяся о карьере брата и верившая в скрытый божественный промысел, не одобряла его планов. Она заявляла, что зима в белорусской деревне вряд ли благоприятна для восстановления его здоровья, и заключала: «Мы живем в такое время, когда не должно уходить от дел, если служишь христианскому государю и сам христианин. <...> Зло так быстро распространяется в мире, что никто не должен покидать свой пост, пока его совесть не повелит ему оставить его»<sup>20</sup>. Роксандра считала, что Германия —

<sup>18</sup> См. РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 124. Л. 40–41 об. Письма Роксандры Стурдзы к брату от 21 и 23 апреля 1819 года, [Веймар]; АВПРИ. Ф. 133. Оп. 468. Д. 10083. Л. 26–26 об. «Отрывок из частного письма» от 15 апреля 1819 года, Дрезден; АВПРИ. Ф. 133. Оп. 468. Д. 7991. Л. 1–4; РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 58. Л. 143–146. Письмо Стурдзы к Нессельроде от 11/23 апреля 1819 года, Варшава. См. также: РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 4. Л. 60 об. «Souvenirs du règne»; [Petri 1963: 433].

<sup>19</sup> Письмо Вяземского к А. Тургеневу от 12 апреля 1819 года.

<sup>20</sup> РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 124. Л. 53. Письмо Роксандры к матери и брату от 22 июля 1819 года, Лукка.



это вулкан, готовый к страшному извержению, и была уверена, что «Записка» помогла предупредить правительства об опасности. Алеко, писала она, должен проглотить свою обиду и вернуться к своим обязанностям<sup>21</sup>. Европейский революционный кризис и последующая реакция были далеки от завершения: события в период с августа 1819 года по февраль 1820-го включали принятие Карлсбадских указов, убийство наследника французского престола, подписание «Шести актов» в Англии и заговор на Кейто-стрит. А на горизонте маячили полномасштабные революции в Испании и Италии.

В итоге Стурдза написал в Петербург, что состояние здоровья удерживает его в Устье, но он был бы рад служить, и ему дали поручение составить проект пропагандистской брошюры (заказанной императором), содержащей обзор международных событий после Аахена. Она предназначалась для публикации за границей, анонимно или под псевдонимом, и не должна была вызывать подозрений в какой-либо связи ее с русским правительством. Очевидно, несмотря на скандал с «Запиской», Александр I по-прежнему ему доверял<sup>22</sup>. В письме, сопровождавшем официальные инструкции, Каподистрия дал понять, что полагается на здравый смысл Стурдзы: «Что касается плана, чувствуйте себя свободным. Вы хозяин положения. Пишите так, как считаете нужным. И все будет отлично». Каподистрия добавил, что император, Стурдза и он сам ищут в политике среднего пути между революцией и реакцией и что Стурдзе будет нетрудно развеять ложные представления об образе мыслей Александра, который некоторые ошибочно принимают за «источник либеральных идей», а другие считают «абсолютно-монархическим». Каподистрия объяснял Стурдзе, что мысли Александра «ни то, и ни

<sup>21</sup> См. также РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 124. Л. 56 об.-57, 58–58 об. Письма Роксандры к матери и брату от 6 и 10 августа 1819 года, Ливорно; РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 58. Л. 218 об. Письмо Бруннова к Стурдзе от 22 мая 1819 года.

<sup>22</sup> К несчастью для историков, Александр I, как правило, отдавал свои распоряжения по внешней политике устно и неформально и не оставил письменных свидетельств своего отношения к работе Стурдзы на международной арене.

другое. <...> Они пропитаны благочестивыми и религиозными чувствами и обогащены опытом всех времен и, прежде всего, нашего века»<sup>23</sup>. Стурдзе было предложено разделить брошюру на две части. В первой следовало проанализировать волнения в Европе и Латинской Америке, возлагая вину как на правительства, так и на народы. Во второй — исследовать идейный раскол Европы на два лагеря: либеральный и абсолютистский, отметить позитивные и негативные моменты в обеих концепциях и обосновать необходимость их синтеза<sup>24</sup>.

Первая часть «Обзора событий 1819 года» (рабочий заголовок записки) была закончена к середине декабря 1819 года<sup>25</sup>. В ней была четко сформулирована позиция Стурдзы, который утверждал, что крупные государства Европы (за исключением России) демонстрируют опасную нестабильность, и возлагал вину за это в равной степени на не справлявшихся со своей задачей монархов и их догматичных критиков. Александр был в целом доволен, но некоторые моменты требовали пересмотра. Каподистрия заверил Стурдзу, что это касалось «не идей, а нескольких словесных оборотов»<sup>26</sup>.

Изменения, которые следовало внести, были, действительно, не фундаментальными, но и не просто «несколькими словесными оборотами». Стурдзе рекомендовали смягчить критику Венского конгресса. Не получив заранее указаний по этому вопросу, он судил конгресс сурово, заявляя, что государственные деятели были недостаточно энергичны в «создании нового мира»<sup>27</sup> и слишком много торговались, пытаясь извлечь выгоду для своих стран.

<sup>23</sup> РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 186. Л. 15 об. Письмо Каподистрии к Стурдзе от 11 ноября 1819 года.

<sup>24</sup> РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 186. Л. 15, 4–10. Письмо Каподистрии к Стурдзе от 11 ноября 1819 года и проект «Canevas approuvé par Sa Majesté l'Empereur à St. Petersbourg, le 5 Novembre 1819».

<sup>25</sup> РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 27. Л. 110–111. Письмо Стурдзы к Каподистрии от 12 декабря 1819 года.

<sup>26</sup> РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 186. Л. 36. Письмо Каподистрии к Стурдзе от 11 января 1820 года.

<sup>27</sup> РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 5. Л. 12. «Revue de l'année 1819».

Император и Каподистрия нашли, что это звучит чересчур резко и что надо учитывать препятствия, перед лицом которых оказались участники мирных переговоров в 1815 году. Кроме того, Стурдза было указано, что он не вполне оценил сложность ситуации в Германии. Как ему казалось, правительства германских государств ответили на революционный вызов нерешительно и безынициативно, что усугублялось раздробленностью страны. Недавние события, писал он, сделали необходимым принятие Карлсбадских указов (которые он же осуждал в своей предшествующей «Записке»), и они являются хорошим испытанием федеральной системы<sup>28</sup>. Каподистрия возражал, что кажущееся согласие между немецкими землями — опасная иллюзия: недавние меры, принятые Германским союзом, служат только интересам Австрии и Пруссии. Российское правительство это понимало, и недостаток проявляемого им энтузиазма в отношении принятых мер «вызвал большое беспокойство канцлера Пруссии и князя Меттерниха, совесть которых была нечиста»<sup>29</sup>. Каподистрия, казалось, был озабочен тем, что «Обзор» может представить в выгодном свете его главного соперника Меттерниха. По-видимому, он отвергал метафизический догматизм Стурдзы, как и его настояния ввести в ответ на политические волнения цензуру и контроль над образованием. Он опасался, что документом Стурдзы злоупотребят интриганы типа Меттерниха, которые могут воспользоваться его красноречием и практическими предложениями, не разделяя его христианских идеалов. Кроме того, в данных Стурдза первоначальных инструкциях упоминалась «свобода печати как необходимое условие политической и гражданской свободы народов»<sup>30</sup> — взгляд, вряд ли совместимый с духом Карлсбадских указов.

Во втором разделе «Обзора» исследовался конфликт между левыми и правыми в современной Европе. Следуя инструкциям и одновременно своим убеждениям, Стурдза осуждал жесто-

<sup>28</sup> РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 5. Л. 10–12 об., 29 об.–31 об.

<sup>29</sup> РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 186. Л. 93 об.

<sup>30</sup> РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 186. Л. 9 об.–10.

ченную полемику между европейскими комментаторами событий, принадлежащими к разным партиям: он утверждал, что люди нашли бы гораздо больше общего, если бы отбросили самоуверенность и предрассудки. Наблюдающееся разделение — следствие религиозного раскола XVI века, писал он, тем самым подтверждая, что связывает Реформацию с либерализмом, а католицизм — с абсолютизмом. Однако прежние религиозные конфликты смягчались, по крайней мере, уважением к воле Божьей; теперь же мирская ненависть ничем не ограничена.

Нам ненавистны все виды фанатизма, — писал он, — но мы полагаем, что более всего надо бояться того, у которого нет никакого тормоза, никакого цензора и который хочет иметь все или ничего, потому что он не стремится ни к чему за пределами материального производства, удовлетворения своей гордости и жажды благ мира сего<sup>31</sup>.

Стурдза проанализировал два современных типа идеологии: теорию «абсолютистской власти» и «либеральные идеи»<sup>32</sup>. Общество будущего, писал он, должно включать элементы и того и другого. Безоговорочные монархисты обречены на неудачу, но сторонники конституционализма также должны понять, что реформы общественного устройства могут исходить только от правительства. Реальное различие между ограниченной и абсолютной властью заключается не в степени свободы, которую они поощряют, потому что монархии (например, Великобритания) могут допускать свободу, а республики (например, Венеция) — тиранию. Разница в том, что в республике должны быть добродетельны граждане, а в монархии — правитель. В это беспокойное время и первое, и второе встречается редко. В критические моменты нужна абсолютная власть; представительное правление может достичь успеха только в мирные времена. Исходя из этого, Стурдза заключал, что, при всем бесспорном превосходстве аб-

<sup>31</sup> РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 5. Л. 73–73 об.

<sup>32</sup> РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 5. Л. 73 об., 74 об.

солютизма, он может и должен включать некоторые полезные элементы представительной системы. Но при этом необходимо соблюдать правильную пропорцию, поскольку права личности часто приходят в конфликт с правами разных сословий; суд присяжных над людьми того же сословия требует от них необыкновенной добродетели и «просвещенности»; законодательный контроль налогообложения ограничен контролем исполнительных органов над стратегией формирования правительственного бюджета; полная свобода печати невозможна в принципе.

Истинная свобода, свобода от страстей и от греха, приходит при добровольном подчинении человека Богу, и тогда форма правления не имеет значения. Это была центральная мысль философии Стурдзы. Однако злоупотреблениям властей легче противостоять путем выдвижения корпоративных требований в традиционных монархиях, нежели в конституционном государстве, где господствует индивидуализм и слепое доверие к конституции разрушает корпоративную солидарность. Формальные гарантии, которые могут предложить законодатели, ничтожны по сравнению с исторически сложившейся надежностью традиционных обществ, — примером могут служить старинные государственные и общественные институты Великобритании.

Свобода печати недопустима, потому что выступление в печати — это не просто высказывание, а действие, и оно должно соответствующим образом регулироваться, считал Стурдза. Он рассмотрел два способа сдерживания прессы. Первый — предварительная цензура. К сожалению, при этом полнота власти попадает в руки цензоров, которые могут ею злоупотребить или оказаться некомпетентными, а принятая система цензуры может отставать от развивающихся потребностей общества. Однако цензура представляет собой не «просто запрещение» и может быть усовершенствована<sup>33</sup>. Вторая возможная система, практикуемая в Великобритании, ограничивает чрезмерную свободу печати с помощью исков о клевете, которые могут подаваться

<sup>33</sup> РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 5. Л. 115–115 об.

после того, как произведение напечатано. Эта система перегружает суды, а вынесенные произвольно приговоры варьируют от слишком снисходительных, что чаще всего и наблюдается на практике, до более редких излишне строгих. «Слишком большие права, — писал Стурдза, — рано или поздно приводят к необходимости деспотичного подавления»<sup>34</sup>. В этой системе пресса могла бы осуществлять контроль над злоупотреблениями властью со стороны государства. Следовательно, при представительном правлении свобода *политических* высказываний, возможно, желательна, но цензура все же необходима для религиозных, нравственных, научных и литературных трудов, и обе системы контроля над прессой могли бы сосуществовать. Те же нормы, которые регулируют право голоса, должны быть применены и для выяснения вопроса, кто выигрывает от свободы политической речи, а анонимные публикации следует запретить. (К последнему замечанию невозможно отнестись без иронии, так как подлинный автор «Обзора» должен был остаться неизвестным.)

В конце своего труда Стурдза обратился к роли религии. Только христианство с его учением о моральных обязательствах может обуздать как тиранов, так и мятежников. Только вернувшись к Христу и отбросив идеологический догматизм, Европа сможет найти выход из лабиринта, в который она забрела. Для этого возвращения необходимо восстановить христианскую основу системы просвещения и стремиться воспитать каждое сословие соответственно его положению, а не лишать бедняков религиозного утешения ради того, чтобы дать им третьесортное светское образование. Подобный подход к просвещению масс породил «духовную нищету, которая низводит бедняка до состояния животного, зачастую испытывающего приступы животной ярости». Идеалом Стурдзы было христианское государство, чья политика основывается на религии, а формальные механизмы могут развиваться, но в конечном счете вторичны по своему значению. Законы и институты такого государства «сообразны и слабости человека, и его достоинству, по возможности избега-

<sup>34</sup> РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 5. Л. 119 об.

ют конфликта между естественными потребностями и обязанностями человека и, наконец, не поощряют талантов, развращающих его». Внешняя политика ориентирована на достижение братства христианских народов. Сословия уважают сложившееся социальное расслоение, и, хотя в этом обществе «честная заслуга может добиться всего», люди не стремятся ко «всему», «желая сохранить общественное спокойствие». Правительство свободно от вмешательства чьих-то денежных интересов и церкви, а церковь, в свою очередь, независима от государства; ею управляет «священное собрание ее пастырей» (одна из традиционных особенностей православия). «Обрисовывая нашу позицию одним штрихом, — писал Стурдза, — можно сказать, что в христианском государстве (которое есть верх совершенства общественной жизни) «*вера, ведение и власть*» вовсе не исключают друг друга и стремятся установить и сохранить между собой постоянное и спасительное согласие»<sup>35</sup>. В этой заключительной сентенции «Обзора» Стурдза использовал фразу, которую он сформулировал в 1818 году в опубликованной инструкции, подготовленной им для Ученого комитета Главного правления училищ. Это заимствование доказывает, что «Обзор» целиком отражал его собственный образ мыслей и что он смотрел на внутреннюю и внешнюю политику сквозь одну и ту же идейную призму. Стурдза рискнул раскрыть если не имя, то по крайней мере подданство автора (его имя не было названо в опубликованной версии инструкции), прежде всего в связи с тем, что инструкция, как он выразился, «была переведена и злобно раскритикована тлетворными газетами Европы»<sup>36</sup>.

Каподистрия написал ему, что второй раздел «Обзора» «совершенен». В первоначальных инструкциях Каподистрия задал

<sup>35</sup> РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 5. Л. 141–142 об.

<sup>36</sup> Как Стурдза писал в инструкции, целью образования является общество «постоянного и спасительного согласия между *верою, ведением и властью*, или, другими словами, между христианским благочестием, просвещением умов и существованием гражданским» [Стурдза 1818б: 2]. Он раскрыл свое авторство и описал реакцию на это за границей: РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 2. Л. 35 об. «Précis».

Стурдзе общую схему раздела и указал, в каком духе следует его писать<sup>37</sup>, однако содержание раздела принадлежит самому Стурдзе. Все выраженные в нем взгляды — на печать, религию, образование и христианское государство — встречаются и в других его трудах. В отношении образования, в частности, здесь высказаны те же идеи, которые Стурдза выдвигал в России. Это показывает, что он мыслил идеологическими и универсальными категориями, а не эмпирическими и национальными. К тому же в «Обзоре» раскрывается его двойственное отношение к борьбе консерваторов с либералами. Почти по всем конкретным вопросам он был на стороне консерваторов. Однако декларируемый им нейтралитет был не просто пропагандистским приемом — он искренне осуждал высшие сословия Европы, которые, по его мнению, забыли о высоких нравственных принципах в недостойной погоне за богатством и властью; поощряя безбожие и рационализм, они пилили сук, на котором сидели.

Из-за быстрого развития событий той зимой выпуск «Обзора» оказался под вопросом. 20 января 1820 года Каподистрия писал, что запланированная в Швейцарии публикация задерживается, так как Александр I слишком медленно просматривает текст. К 6 февраля Каподистрия одобрил переработку первой части, выполненную Стурдзой, и ждал, когда царь прочтет вторую часть. 28 февраля Александр еще не завершил чтение; не закончил он его и к 19 марта. Но произошедшие к тому времени события уже сделали публикацию «Обзора» нецелесообразной. Стурдзу известили, что Александр удовлетворен «Обзором», но он передан в архив<sup>38</sup>.

Когда на юге Европы разразилась революция, правительство обратилось к Стурдзе за советом. В начале апреля 1820 года Ка-

<sup>37</sup> РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 186. Л. 129. Письмо Каподистрии к Стурдзе от 21 января 1820 года; РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 186. Л. 8–10. «Canevas approuvé par Sa Majesté».

<sup>38</sup> РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 186. Л. 93, 131, 151. Письма Каподистрии к Стурдзе от 20 января, 6 февраля и 19 марта 1820 года; РО ИРЛИ. 288. Оп. 1. Д. 26в. Л. 416–416 об. «Compte-rendu de la correspondance d'Oustié».



подистрия спросил его, что он думает о революции в Испании и общей нестабильности в Европе: «Что следует делать и чего не следует делать этим правительствам?»<sup>39</sup> Как и можно было ожидать, Стурдза указал на вину короля Фердинанда VII в том, что после 1815 года он не смог вместе со всем народом оздоровить старинные испанские органы управления. Недавние либеральные реформы в его государстве были, конечно, абсурдны и обречены на провал, но каково будет влияние Испании на другие страны? В данный момент, полагал Стурдза, всем европейским державам следует твердо противостоять распространению этой болезни. Прежде всего это означало, что монархи должны сохранять полноту власти. Он с пессимизмом оценивал шансы сдерживания угрозы, но предлагал следующее: государствам, чьи традиционные формы управления разрушены (как в Испании), необходимо проводить реформы, основанные на привычной триаде «веры, ведения и власти». Прочим же, избежавшим этой катастрофы (как Россия), нужно уклоняться от реформ и сосредоточиться вместо этого на мудром управлении судопроизводством и финансами, а также глубже внедрить религию в народное образование, потому что провалы в этих областях и ведут к революциям. «Все остальное второстепенно»<sup>40</sup>.

Что касается международной обстановки, то Стурдза сомневался, что традиционная дипломатия сможет сдержать распространение революции, и предостерегал против вмешательства в отношения между королем и народом, которое задело бы национальную гордость. Он заключал, что ввиду глубоких различий между великими державами невозможно создать унифицированную систему их совместных действий по предупреждению революций; в лучшем случае они могут предложить друг другу помощь оружием. Этот меморандум был представлен Александру I, который выразил согласие с его идеями и рекомен-

<sup>39</sup> РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 186. Л. 165 об. Письмо Каподистрии к Стурдзе от 6 апреля 1820 года.

<sup>40</sup> РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 26. Л. 12–12 об. «Projet de rapport au Secrétaire d'Etat Comte Capodistrias. № 30» от 24 апреля 1820 года, Устье.

довал Стурдзе развивать их в отношении российской внутренней политики<sup>41</sup>.

Неделей позже Стурдза отправил из Устья второй меморандум, где намечались практические шаги, которые могла бы сделать Россия. В данное время он видел проблему в том, что европейские государства пойманы между Сциллой — унижением слишком придирчивой критикой испанского короля, занявшего оборонительную позицию, и Харибдой грубого устрашения (которое уже потерпело впечатляющий провал во Франции в 1790-е годы). Вместо этого им следует настаивать лишь на том, чтобы испанцы убрали из своей конституции положения, предоставляющие кортесам (испанскому парламенту) право участвовать в заключении международных договоров, поскольку это грозит подорвать юридическую силу всех международных соглашений, заключенных испанской короной в прошлом. Если испанцы откажутся удовлетворить это требование (которое имело еще и то преимущество, что не позволяло поставить короля в неловкое положение), то другим державам останется только разорвать отношения с ними. Совет Стурдзы относительно Испании получил одобрение императора, и Александр I распорядился, чтобы оба меморандума были переданы его послу в Испании в качестве дополнительных инструкций<sup>42</sup>.

Опасения Стурдзы подтвердились: революция распространилась на Италию. Только теперь, когда восстание в Неаполе стало непосредственно угрожать ее интересам, Вена начала действовать. Русское правительство приняло решение участвовать в конгрессе в Троппау и обратилось к Стурдзе за советом<sup>43</sup>. Тон высказы-

<sup>41</sup> РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 26. Л. 5–15. «Projet... № 30»; РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 186. Л. 209. Письмо Каподистрии Стурдзе от 11 мая 1820 года.

<sup>42</sup> РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 26. Л. 18–27. «Projet... № 48» от 2/14 октября 1820 года, Устье. Все последующие ссылки на «Проект» Стурдзы («Отчет государственному секретарю графу Каподистрии») относятся к архивному документу с тем же шифром. См. также: РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 26. Л. 377 об.–378. «Compte-rendu».

<sup>43</sup> РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 26. Л. 265–266. «Projet... № 47» от 19 сентября / 1 октября 1820 года, Устье; РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 26. Л. 380. «Compte-rendu».

вания Стурдзы по этому поводу носил, как обычно, мрачно-религиозный оттенок (свойственный, судя по всему, и настроению Александра I):

Все складывается так, что заставляет трепетать самого бесстрашного наблюдателя, поскольку совокупность такого количества бедствий, вызванных не иначе как неистовством адских сил, является в то же время, следует признать, наказанием свыше<sup>44</sup>.

Стурдза сомневался, можно ли будет в Троппау остановить повсеместное распространение «беспорядка» без божественного вмешательства. Он обвинял союзников в вялой реакции на Испанскую революцию, свидетельствующей об их равнодушии, и считал, что Александр должен либо возглавить все действия в отношении Неаполя, либо отказаться от прямого участия России в интервенции. Наиболее вероятным сценарием Стурдза считал вооруженное вторжение в Королевство обеих Сицилий. Он побуждал императора рассмотреть возможность установления там эффективного механизма правления, пусть даже с участием парламента, но не допускать восстановления прежней неустойчивой власти, которая быстро подчинится Австрии. Такая политика обуздает бунтовщиков, предотвратит будущие революции и продемонстрирует единство членов альянса<sup>45</sup>.

Еще до того, как к нему прибыл этот меморандум, Каподистрия отправил Стурдзе запрос, дошедший до адресата в ночь с 9 на 10 октября 1820 года. В нем император затрагивал серьезные политические и нравственные проблемы, порожденные возникшим европейским кризисом, и задавал вопрос, как можно было бы применить для их решения идеи договора о Священном союзе. Впоследствии Стурдза вспоминал, каких усилий ему стоило, сочиняя ответ, сделать свои предложения как можно более конкретными и практическими. Его целью было, писал он, доказать, что

<sup>44</sup> РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 26. Л. 267–268.

<sup>45</sup> РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 26. Л. 267–277 об. «Projet... № 48» от 2/14 октября 1820 года, Устье.

союз не оторван от реальности и может действовать в настоящем, «не привнося, как нас в том обвиняют, поэзию в область политики»<sup>46</sup>. Все его предложения совершенно реалистичны, утверждал Стурдза, — лишь бы правительства добросовестно постарались им следовать. В своем меморандуме он отметил, что неспособность держав даже занять рекомендованную им твердую позицию по отношению к Королевству обеих Сицилий заставляет сомневаться в их намерении согласованно действовать для «общей реорганизации общественных и политических структур в соответствии с Божьим законом»<sup>47</sup>. Тем не менее он набросал проект будущей Европы, управляемой согласно принципам Священного союза. Но для осуществления проекта необходимо было выполнить предварительные условия: во-первых, монархам, подписавшим договор Священного союза ради политической выгоды, волей-неволей пришлось бы теперь поддержать его даже без искренней убежденности, и во-вторых, предложенные им меры должны были вступить в силу одновременно по всей Европе.

Для начала Стурдза остановился на внутренних преобразованиях. Всякая критика официальной церкви должна быть запрещена, и государству следует прекратить вмешательство в дела церкви, которая станет посредником между властью и народом, так что единство общества будет поддерживаться священником, а не полицейским. Как только будет обеспечена квазитеократическая монополия церкви в *духовных* вопросах, *политику* можно будет реорганизовать в соответствии с конституционными принципами, хотя таких терминов, как народовластие, Стурдза избегал. При этом политические высказывания будут регулироваться только законом, предусматривающим последующее судебное преследование авторов, тогда как контроль над высказываниями религиозными будет гораздо строже, они будут подвергаться предварительной цензуре. (Эту комбинацию двух систем он предлагал ранее в «Обзоре событий 1819 года».) Поскольку

<sup>46</sup> РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 4. Л. 39. «Souvenirs du règne». См. также РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 4. Л. 381–382. «Compte-rendu».

<sup>47</sup> РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 26. Л. 291. «Projet... № 49» от 12/24 октября 1820 года, Селище.

законность монархии и законность собственности имеют под собой одни и те же основания, остается незыблемым «принцип свободного и регулярного совместного обсуждения дел монархами и доверительными собственниками, представляющими не народную власть, которой не существует, а народное достояние»<sup>48</sup>. Правителям следует созывать такие собрания согласно национальным традициям и не изменять фундаментальных законов общества без обсуждения. Законы эти, поспешил добавить Стурдза, установлены не людьми, а Богом. При этом он ставил «просвещенный абсолютизм» с ног на голову: вместо того чтобы предоставить религиозную и интеллектуальную свободу обществу, чья жизнь регламентирована «регулярным» государством, он предпочел предоставить обществу право управлять своей жизнью, если оно подчиняется регламенту церкви.

На международной арене Священный союз должен был «заменить “естественное состояние” народов “семейным состоянием»<sup>49</sup>; эта идея отражала все ту же концепцию добровольного сотрудничества и христианского самоограничения, которую он надеялся увидеть воплощенной в обществе. «Семейное состояние» предполагало прежде всего обязательное посредничество в международных конфликтах, и только в случае его неудачи война могла считаться законной. Все государства должны были гарантировать территориальную целостность друг друга, и точно так же гарантировать независимость друг от друга были обязаны монархи и парламенты. Такие развращающие людей практики, как тайные общества, шпионаж и постоянные лотереи, должны быть запрещены, а на море европейцам надо предпринять совместные действия против пиратства и добиться того, чтобы все исследовательские экспедиции использовались для распространения христианства. Наконец, надо ввести специальные суды под председательством духовных лиц, которые дадут христианам возможность разрешать споры согласно религиозным нормам, не возлагая это бремя на обычные суды.

<sup>48</sup> РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 26. Л. 293 об–294.

<sup>49</sup> РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 26. Л. 294 об.

Однако даже если властители пяти великих держав полностью согласились бы с этими предложениями, оставалась бы «злонамеренная деятельность бесчисленных масс, жаждущих все изменить или умереть»<sup>50</sup>. Стурдза предлагал четыре варианта действий по отношению к неисправимым мятежникам. Первый — развивать заморские колонии, куда их можно было бы вывозить. Второй — война, на которой горячие головы выпускали бы пар; для этого как раз представлялся удобный случай в виде кампании против берберийских пиратов. Это привнесло бы христианство в Северную Африку и отвлекло бы внутриевропейскую разрушительную энергию, хотя, возможно, и ценой больших потерь. Третий вариант заключался в создании «партии защиты религии, нравственности и закона»<sup>51</sup>, которая нужна потому, что мятежники, в отличие от друзей мира и порядка, действуют настолько организовано, что это просто устрашает. И четвертое: такая партия образовалась бы почти спонтанно, если бы идеи Священного союза были реализованы. Ее ячейки, отражая особенности каждой страны, были бы в то же время универсальны, поскольку универсальны принципы союза, и контролировали бы возможные нарушения нового христианского общественного договора, допускаемые монархами. Эта идея была противоположна концепции Карамзина, полагавшего, что России необходимо самодержавие, и ясно выражала то, на что Шишков и Глинка только намекали: гражданское общество должно взять на себя обеспечение соблюдения законов, что в Европе, и особенно в России, считалось прерогативой абсолютистской бюрократии<sup>52</sup>.

Доклад произвел такое впечатление на Александра I, что он предложил Стурдзе лично явиться в Троппау. Стурдза уклонился, ссылаясь на состояние здоровья, но продолжал посылать письменные рекомендации. Он убеждал императора и Каподистрию не увязать в деталях итальянского вопроса, а воспользоваться возможностью поспособствовать общему духовному и полити-

<sup>50</sup> РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 26. Л. 297.

<sup>51</sup> РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 26. Л. 298 об.

<sup>52</sup> РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 26. Л. 289–300.

ческому обновлению Европы<sup>53</sup>. Сам он скептически оценивал союзников России. Франция, Австрия и Пруссия восприняли Испанскую революцию «с необъяснимым безразличием», которое могло только поощрить революционеров в других странах, особенно в Королевстве обеих Сицилий. Стурдза не сомневался, что своевременные жесткие меры со стороны великих держав вынудили бы испанских революционеров отступить и предотвратили бы беспорядки в Италии. Однако из-за «равнодушия» и «недобросовестности» союзников Россия в одиночестве противостоит тайным обществам Лондона и Парижа (предполагаемым спонсорам бунтовщиков) и может положиться только на себя<sup>54</sup>. Стурдза доказывал, что предложенный Австрией договор великих держав о подавлении революций лишь превратит другие страны в инструменты австрийской политики. Не доверял он также планам Вены восстановить «порядок» в Обеих Сицилиях без проведения там реформ: Россия могла бы позволить Австрии действовать по своему усмотрению, но не должна участвовать в столь откровенной и циничной поддержке правителей, попирающих интересы управляемых. Ему казалось предпочтительным неформальное соглашение, согласно которому правительства и народы были бы союзниками в защите порядка, тогда как австрийская идея, напротив, «обострила бы конфронтацию» между ними<sup>55</sup> и сплотила бы в единый фронт всех мятежников Европы и Латинской Америки. Его альтернативным предложением было соглашение о гарантии неприкосновенности существующих в Европе границ и политических институтов, а также действующих законов в области международного права (которые, кстати, испанская конституция нарушала), об обеспечении выполнения этих условий

<sup>53</sup> РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 26. Л. 383 об.–387 об. «Compte-rendu»; письма Каподистрии к Стурдзе: РГАДА. Ф. 3. Оп. 1. Д. 78. Л. 55 (от 21 ноября / 2 октября [sic] 1820 года, Троппау) и АВПРИ. Ф. 13. Оп. 468. Д. 10159. Л. 52–52 об. (от 20 октября / 1 ноября 1820 года, Троппау).

<sup>54</sup> РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 4. Л. 66–68. «Souvenirs du règne».

<sup>55</sup> РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 26. Л. 348 об. «Projet... № 54» от 7/19 ноября 1820 года.

с помощью вооруженных сил и о созыве конференции с целью усовершенствования европейской системы на основе принципов Священного союза. Однако, повторял он, только фактическое нарушение международного права может служить основанием для вмешательства во внутренние дела других государств. Внутренне возмущенный союзниками, особенно Австрией, он чувствовал, что Россия жертвует своим достоинством и интересами всего человечества ради фантома союзнического единства. Вместо того чтобы дискутировать с Веной, России следует предложить план коллективных действий или, в случае необходимости, действовать в одиночку<sup>56</sup>.

Когда в конце 1820 года конгресс переместился в Лейбах, Каподистрия вновь попросил Стурдзу сделать общий обзор для переговоров. Прогноз его был мрачен. Он сомневался в способности крупных конференций решать проблемы, отмечая, что собравшимся монархам лучше было бы вернуться по домам, и жаловался на неравенство сил между «старой и новой системами». Стойкими приверженцами старой системы были Россия, Пруссия (находившаяся, однако, в опасной близости к конституционализму) и Австрия, а также, если «поискать союзников в микроскоп»<sup>57</sup> — Дания, Ганновер, Саксония, Гессен, Сардиния и Папская область. Против них выстроились Британия, Франция, Швеция, Испания, Португалия, Бавария, Вюртемберг, Баден, Нидерланды, Королевство обеих Сицилий и страны Америки. Помимо столь внушительного количества поддерживающих ее стран, «партия конституции» популярна во всем мире среди тех, кто говорит на *лингва франка*, она доминирует в области финансов, торговли, на флоте и в науке. Религия — слабое сдерживающее начало для «безудержного стремления к всеобщей эмансипации», особенно с тех пор, как новые революционеры, в отличие от своих якобинских предшественников, научились использовать

<sup>56</sup> РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 26. Л. 348–352 об.; см. также РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 84. Письмо Стурдзы к Северину от 6/18 ноября 1820 года.

<sup>57</sup> РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 26. Л. 429. «Projet... № 59» от 31 декабря 1820 года / 12 января 1821 года, Устье.



язык веры. Ввиду этого угрожающего наступления сил зла Стурдза считал мирное соглашение с Неаполем краткой, но жизненно необходимой передышкой в сражении с революционными силами, больше похожем на цепь поражений<sup>58</sup>.

В какой степени Александр I разделял идеологию Стурдзы, и как император воспринимал его советы? Оба были религиозны, убеждены в мессианской роли России и обеспокоены европейской политикой после 1815 года, поскольку оба были категорически против революций, но склонялись к конституционализму. Однако Александр I рассматривал конституционализм как альтернативу старому режиму и пытался установить его во Франции, Польше и Финляндии, в то время как Стурдза отвергал современный либерализм и ностальгически обращался к более ранним вариантам представительной власти. Их взгляды на внешнюю политику также были различны, так как Стурдза, будучи российским и греческим националистом, относился к Западу с большим недоверием. Он поддерживал Священный союз, но в 1820 году противился превращению России в орудие реализации планов Меттерниха. Стремясь использовать мощь России для очищения Запада, он заботился о том, чтобы оградить ее от западных религиозных и политических идей.

В Александре I жили рационалист и мистик, которые постоянно друг с другом конфликтовали; для Стурдзы и рационализм, и мистицизм были признаками современной дисгармонии между Богом, обществом и человеком. Его старомодные убеждения требовали от человека принятия традиции и судьбы. Сами по себе парламентаризм и свобода слова не вызывали у него возражений (представительные органы существуют и в традиционных государствах, а свободные политические высказывания опасны тогда, когда граждане получают атеистическое воспитание), но только до той поры, пока они не препятствовали восстановлению благочестивого общества и не проявляли разрушительного рационализма. Стурдза постоянно стремился выделить из своих

---

<sup>58</sup> РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 26. Л. 425–432; РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 26. Л. 421 об.–422. «Compte-rendu».

идей всеобъемлющие универсальные истины. Так, отстаивая необходимость одинаковых подходов к образованию и цензуре в России и Германии, он видел в Священном союзе средство от всех болезней современного общества. Однако при рассмотрении этих вопросов, как отмечает историк Карл Бринкман, ему не хватало гибкости и воображения, а его практические предложения были тщательно продуманы в отношении цензуры, но недальновидны почти во всем остальном [Brinkmann 1919: 89–90].

В идеологии Стурдзы, в отличие от Александра, не было противоречий, ее различные компоненты соединялись в единое целое. Такая цельность убеждений привлекала интеллектуально и эмоционально изменчивую натуру Александра (особенно когда эти убеждения совпадали с его собственными). К тому же взгляды Стурдзы служили альтернативой умеренному прагматизму Каподистрии и реалистичной политике Меттерниха, которой придерживался Нессельроде. Вследствие этого Александр продолжал ему благоволить даже после скандала с «Запиской» и, как уже говорилось, приглашал его в Троппау. Возможно, свою роль сыграло и то, что Стурдза не был ни карьеристом, ни членом какой-либо фракции, и потому излагал свои взгляды без задних мыслей. Тот факт, что 1819–1821 годы он просидел, замкнувшись в себе, в белорусском поместье, как и его отсутствие на конгрессе в Троппау, подтверждают, что он был человеком искренних убеждений.

Данные Стурдзой советы не принесли немедленных ощутимых результатов. Его предложения о Священном союзе были благосклонно восприняты монархом, но позже затерялись среди более конкретных вопросов, обсуждавшихся в Троппау<sup>59</sup>. В конце концов, он предлагал политические изменения внутри страны — шаг, на который сам Александр никак не решался, — и такую внешнюю политику, в основных положениях которой союзники России не видели смысла. Его значение в качестве советника

<sup>59</sup> РО ИРЛИ Ф. 288. Оп. 1. Д. 4. Л. 39. «Souvenirs du règne». После конгресса основным объектом внимания Стурдзы за рубежом было восстание греков против османского ига. См. [Prousis 1992].

заклучалось не в предложении конкретных действий, а в пронизательном анализе и идеологической уверенности, которая привлекала императора, оказавшегося в замешательстве перед лицом политических проблем и снедаемого метафизическими сомнениями. Как писал об этом в письме к Стурдза Каподистрия, «Его Величество <...> находит [в вашем меморандуме] мысли, или скорее, *вдохновляющие идеи, которые исходят из его сердца* и занимают его ум» (курсив мой — А. М.)<sup>60</sup>. Подобно Сперанскому и Негласному комитету, Стурдза обращался к Александру-идеалисту; как и они, он понял, что интерес императора к его идеям не означает готовности идти на риск ради их осуществления.

Во внутренней политике последняя декада царствования Александра представляла собой маловразумительную смесь реформистских порывов и деспотизма, которые не позволяют толком понять, как развивался консерватизм. «Либеральная» подоснова попыток реформ была ностальгической данью более счастливым дням начала его правления, а репрессии — капитуляцией перед кажущейся необходимостью. Идеологическую невыразительность этого периода демонстрирует хотя бы тот факт, что Аракчеев, слепо подчинявшийся приказам, был в одно и то же время комендантом военных поселений (в которых унижения крепостной зависимости сочетались с жесткой военной дисциплиной) и автором проекта отмены крепостного права. Консерватизм был созидателен в основном в сферах религии и образования. Голицын, Рунич, Попов, Стурдза, Филарет и другие идеологи, стремившиеся воплотить идеи Священного союза в России, отнюдь не собирались вводить в обществе военную дисциплину и создавать нацию автоматов; они надеялись вырастить поколение, которое по собственному желанию приняло бы слегка модифицированную версию старого режима.

Такова была миссия двух симбиотических организаций, давших широкие полномочия в культурной жизни России Голицыну: Российского библейского общества и «двойного министерства».

---

<sup>60</sup> РГАДА. Ф. 3. Оп. 1. Д. 78. Л. 55. Письмо Каподистрии к Стурдза от 21 ноября / 2 октября [sic] 1820 года, Троппау.

Еще 10 августа 1816 года он был назначен исполняющим должность министра народного просвещения, а 24 октября 1817 года было образовано «двойное министерство» (Министерство духовных дел и народного просвещения). Оно вобрало в себя Министерство народного просвещения и Главное управление религиозных дел иностранных исповеданий (которыми уже руководил Голицын), а также Святейший Синод. Обязанности обер-прокурора перешли при этом от Голицына к князю П. С. Мещерскому. Цель создания министерства — сделать основой жизни в России религию — совпадала с целями Библейского общества; у них было единое руководство: во главе обеих структур стоял Голицын, а секретари РБО Попов и А. И. Тургенев стали директорами департаментов министерства — народного просвещения (Попов) и духовных дел (Тургенев). Попов уже служил под началом Голицына в Синоде в 1804 году, так что у них был опыт совместной работы. В соответствии с присущим Библейскому обществу духом экуменизма статус православной церкви был низведен до равноправного с другими церквями, и Святейший синод был связан с императором только через Тургенева и Голицына [Шильдер 1897, 4: 10–11; Sawatsky 1976: 209, 236–241, 249].

«Двойное министерство», как и Библейское общество, страдало от глубоких внутренних противоречий, которые не сразу обнаружились, но в итоге привели к упразднению обоих. В широком смысле можно говорить о трех течениях в комплексе «двойное министерство» — РБО: прагматическом, православном и мистическом. Сначала прагматизм, а затем и православие были вытеснены мистицизмом. Но оказавшиеся у власти мистики не имели надежной опоры в обществе, и их положение в меняющейся политической обстановке было шатким.

Глава этой структуры князь Голицын был старым другом Александра I. В отличие от послушного исполнителя Аракчеева, он был человеком твердых убеждений, к которым иногда прислушивался император. Такт, обаяние и согласие во взглядах с Александром обеспечило его политическое долголетие. То, что оба они были «пробужденными», укрепило связь между ними, и Голицын,

как и Стурдза в своих меморандумах, мог говорить открыто, потому что он сам думал так же, как и монарх. Поверхностное образование привило Голицыну, как и многим его сверстникам, приятные манеры, но не дало достаточных систематических знаний. Печальные последствия этого обнаружили в его официальной деятельности, поскольку руководство духовным ведомством и образованием, включая контроль над цензурой, требовало развитого соответствующим образом интеллекта, которого князю не доставало. В сочетании с религиозным рвением, появившимся у Голицына после его назначения в Синод (не только его табакерка, но и миска, из которой ела его собака, были украшены изображениями на религиозную тему), этот недостаток образования сыграл роковую роль в его карьере, так как свойственный мистикам туманный образ мышления сочетался в князе с законченным конформизмом российского чиновника. Голицын не был искушен в теологии, и его легко увлекали идеи пламенных богоискателей и мистиков вроде Юнг-Штиллинга, Баадера, Лабзина и Е. Татариновой. Его религиозные суждения не внушали доверия Р. Стурдзе, которая была тем не менее его другом; ее брат тоже был обеспокоен влиянием мистиков на князя [Мельгунов 1923: 246]<sup>61</sup>. В области образования у него возникала та же проблема: он никогда не посещал университет и из-за недостатка светского образования поддавался воздействию обскурантистов.

Оставаясь православным христианином, Голицын вместе с тем разделял типичный для «пробужденных» взгляд на конфессиональные различия как на несущественные и стремился утвердить терпимость между церквями. На практике это приводило к тому, что правительство поощряло распространение литературы мистиков и «пробужденных» для поддержания универсального христианского духа, но запрещало прозелитизм и церковную полемику. При этом православие оказывалось в самом невыгодном положении, учитывая его традиционную роль государственной религии, но эта политика наносила также удар и по иезуитам.

---

<sup>61</sup> См. также РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 86. Л. 144–145 об. Письмо Александра Стурдзы к Роксандре от 24 января 1817 года, Санкт-Петербург.

В светских делах цензура тоже должна была не только предотвращать подрывную деятельность, но и формировать особое отношение к жизни. Писать на темы конституционализма или крепостного права было запрещено, независимо от позиции автора по этим вопросам, поскольку, как указывает один из биографов Голицына, «литература должна была служить правительству в соответствии с преобладающим у него в данный момент настроением, быть частью вразумляющей десницы правительства и средством пропаганды» [Sawatsky 1976: 296–297]<sup>62</sup>. Голицын деятельно старался формировать духовную жизнь страны, не ограничиваясь защитой трона и алтаря от критики. Поскольку вера сторонников «Пробуждения» основывалась на глубоко личном опыте, он искал дружбы этих людей (Александра и Роксандры Стурдз, Сперанского, Лабзина, Филарета и других) и с огромным доверием относился к компетентности тех, кто искренне разделял — или по крайней мере демонстрировал — эту веру [Sawatsky 1992: 7]. Тот факт, что внимание им оказывалось в первую очередь набожности, а не профессионализму и идеологии, был причиной конфликтов среди руководства «двойного министерства».

Из приближенных Голицына к числу умеренных прагматиков относились А. И. Тургенев и С. С. Уваров. Тургенев получил основательное образование в университетах Москвы и Геттингена, что по тем временам было необычно. По возвращении в Россию в 1805 году он занимал различные официальные должности и с 1810 года помогал Голицыну руководить Главным управлением духовных дел иностранных исповеданий. Работа Тургенева в качестве секретаря Библейского общества укрепила их связи, и следующим логичным шагом было назначение его главой Департамента духовных дел. Религиозные верования Тургенева были умеренными и экуменистическими; обществу священнослужителей он предпочитал компанию писателей «нового слога». Его можно было заподозрить в оппортунизме: когда его друг Вяземский усомнился во внешней преданности

---

<sup>62</sup> См. также [Sawatsky 1976: 296–310].

Тургенева религии (карьеры тогда делались большей частью на военной или гражданской службе), Тургенев отвечал, что «монастырское шампанское не хуже военного» [Мельгунов 1923: 244]. Будучи способным администратором, он не обладал достаточной властью, чтобы воздействовать на Голицына как либеральная сдерживающая сила<sup>63</sup>. Уваров, служивший с 1810 года попечителем Санкт-Петербургского учебного округа, был одним из немногих высших должностных лиц, которых Голицын унаследовал от предыдущей администрации. Он был умен, высокомерен, честолюбив и непопулярен, но в мистицизме замечен не был. По духу своему скорее бонапартист, чем «пробужденный», он стремился создать дееспособную систему образования, чтобы взрастить великую культуру и тем самым обеспечить стабильность общества, в то же время подготавливая Россию к конституционному будущему без крепостного права. Как и Стурдза, он ощущал себя человеком «золотой середины», одинаково чуждым любым крайностям. Хотя его стратегия постепенности, предоставлявшая истории идти своим путем, не характеризует его как либерала, он надеялся, что в долгосрочной перспективе Россия последует примеру Британии и других стран Запада<sup>64</sup>.

Как и Тургенев, Уваров принадлежал к «Арзамасскому обществу безвестных людей» (использование названия Арзамаса, города в Нижегородской губернии, было частью литературной шутки). Общество «Арзамас» было чем-то вроде «анти-Беседы». Его молодые и блестящие деятели (Вяземский, Жуковский, Вигель, братья Тургеневы, а также, среди прочих, Василий и Александр Пушкины) разительно отличались от замшелых стариков, руководивших шишковской «Беседой». Само его название иронически противопоставлялось самомнению «Беседы», а его демократический дух и остроумные шутки (например, шуточные панегирики интеллектуально «почившим» членам «Беседы»)

---

<sup>63</sup> См. [Чистович 1894: 176–182; Sawatsky 1976: 242–247; Goetze 1882: 71–72; Саитов 1899–1913, 1: 499].

<sup>64</sup> См. [Whittaker 1984: 1–55; Whittaker 1978a; Whittaker 1978b; Изабаева 1990; Flynn 1972].

контрастировали с чинной церемонностью соперничающей группы и ее квазидюрократическими формальностями. Если атмосфера собраний «Беседы» напоминала о симбиозе аристократии с государственной службой, характерном для XVIII века, то «Арзамас» уже предвосхищал культуру интеллигенции XIX столетия [Hollingsworth 1966a]. «Арзамасцы» не придерживались какой-либо единой политической философии, среди них были как будущие декабристы (например, М. Ф. Орлов), так и будущие высшие должностные лица империи (Д. В. Дашков, Д. Н. Блудов, С. С. Уваров, А. И. Тургенев). В преддекабристской русской культуре наблюдался раскол между мыслителями, которые, подобно Шишкову и Ростопчину, обращали взгляд в прошлое (в первую очередь русское) и считали всякое политическое теоретизирование по существу подрывным, и теми, кого, как Сперанского и Карамзина, привлекало творчество в области политики и общественного устройства. «Арзамас» был цитаделью последних. Их широкая платформа предоставляла место для споров по поводу республики и конституционной монархии, а также способов и возможностей преобразования России либо путем решительного удара (как предлагали многие будущие декабристы), либо посредством приспособления к постепенному развитию исторических сил (за что выступали Уваров и другие). А. Стурдза был в дружеских отношениях со многими членами общества; этим связям способствовали его молодость, ум и широта интересов, охватывающих литературу, общественную жизнь и политику, однако по своим религиозным убеждениям он стоял особняком. Культура и эрудиция Уварова и Тургенева, их связи с талантливыми членами «Арзамаса» явно выделяли их среди чиновников, подобных Попову и Голицыну, подготавливая внутри «двойного министерства» почву для решительной конфронтации с Руничем и Магницким.

Идеологически умеренные члены «двойного министерства» типа Уварова и Тургенева становились там «редким видом», по мере того как усиливалось влияние мистиков и обскурантистов. К последним принадлежал Рунич. Еще в январе 1816 года Козодавлев высоко оценил его работу в качестве почтового директо-



ра, а уже через месяц, 11 февраля, по неясным причинам Рунич был уволен и потерял также свой пост главы московского отделения Библейского общества. Это были сокрушительные удары, хотя бы ввиду финансовых последствий для его большого семейства. Единственной надеждой на спасение оставался его друг Попов, перешедший к этому времени в «двойное министерство»<sup>65</sup>. Вскоре Рунич уже вел переговоры с Голицыным, который рассматривал его кандидатуру на должность «директора одного из департаментов [“двойного министерства”]». Только Попов и Тургенев имели такое звание, и, по-видимому, он был кандидатом на место Тургенева. Как объяснял Руничу Попов, интерес Голицына был «знаком конечно особенного доверия не только к способностям вашим, но еще более к Христианским правилам, каковые видны были в ваших словах и поступках доселе»<sup>66</sup>. Решающим фактором оказывалась не компетентность, а идеологическое соответствие, которого, надо полагать, у Тургенева не наблюдалось.

У Тургенева действительно были враги. Как позже писал его преданный помощник Петер фон Гётце, он был мишенью для «фанатиков, которые превратили набожность в промысел, использовали ее к своей выгоде и считали, что все средства позволительны для достижения их целей» [Goetze 1882: 128–129]. Эти «фанатики» находили, что Тургенев медлит в преследовании священнослужителей, которые им не нравились, и в целом видели в нем препятствие своему влиянию. Вполне возможно, что Попов и другие поддерживали кандидатуру Рунича с целью удалить Тургенева и усилить свой контроль. Этот замысел (если он был таков) не удался, и той же весной Попов уже сообщал Руничу: «Обстоятельства несколько переменялись <...> в рассу-

---

<sup>65</sup> ОР РНБ. Ф. 656. Д. 21. Л. 76–77 об. Письмо Козодавлева к Руничу от 4 января 1816 года, Санкт-Петербург. См. также [Половцов 1896–1918, 17: 592–601]; РО ИРЛИ. Ф. 263. Оп. 2. Д. 577. Л. 13–15 об., 21–21 об. Письма Рунича к Попову от 20 и 28 мая 1817 года, Покоево.

<sup>66</sup> ОР РНБ. Ф. 656. Д. 38. Л. 85–85 об. Письмо Попова к Руничу от 22 июля 1818 года, Санкт-Петербург.

ждении вашего помещения»<sup>67</sup>. Вместо получения директорства он был назначен в Главное правление училищ (состоявшее из десятка членов, которым Департамент народного просвещения подчинялся) и его Ученый комитет, контролировавший выпуск всех учебников и прочих учебных материалов<sup>68</sup>.

Вступив в новую должность, Рунич нашел поддержку своему обскурантизму в лице М. Л. Магницкого, который приобрел широкую известность в ученых кругах<sup>69</sup>. Человек блестящего ума, добродушный и прекрасно воспитанный<sup>70</sup>, он получил образование в Московском университете, был хорошо знаком с идеями Просвещения и работал главным помощником Сперанского, отнюдь не разделяя при этом его реформистских убеждений. Он был отправлен в 1812 году в ссылку вместе со своим начальником, но к 1817 году сумел получить пост губернатора Симбирска. Тонко чувствуя меняющееся направление политических ветров, он организовал отделения Библейского общества в своей губернии и позаботился о том, чтобы Голицын — который всегда искал подобных себе кающихся грешников — был в курсе духовного обновления экс-вольнодумца Магницкого. Чтобы подготовить свое возвращение, он вызвался проинспектировать подверженный волнениям Казанский университет, один из пяти основанных в начале царствования Александра и единственный действовавший в суровых условиях восточной России. Проверка представлялась целесообразной в связи с административными и академическими проблемами в университете, и рвение симбирского губернатора произвело впечатление на Голицына. Он дал Магницкому добро, и в начале марта 1819 года «инспектор» прибыл в Казань.

За этим последовала хорошо известная печальная история. После ураганного налета на Казань Магницкий в начале апреля

<sup>67</sup> ОР РНБ. Ф. 656. Д. 38. Л. 92–92 об. Письмо Попова к Руничу от 11 марта 1819 года, Санкт-Петербург.

<sup>68</sup> См. также [Flynn 1988: 20, 81].

<sup>69</sup> См. [Flynn 1988: 84–103; Flynn 1971; Коурé 1929: 91–100; Коурé 1926; Кизевет-тер 1912: 168–179; Сухомлинов 1889, 1: 216–233; Феоктистов 1865].

<sup>70</sup> См., например, [Вяземский 1878–1896, 8: 191].

явился в Петербург и доложил: попытки Казанского университета воспитывать молодежь в нравственном и религиозном духе настолько безнадежны, что его следует закрыть совсем (инструкции Голицына допускали такое решение). Однако Главное правление училищ не проявило желаний делать это; Уваров даже набросал проект решительного возражения. Император также отверг совет инспектора и неохотно согласился вместо этого на альтернативное предложение Голицына назначить Магницкого попечителем Казанского учебного округа (что давало ему место в Главном правлении училищ) и поручить ему «реформировать» университет. С характерной для него целеустремленностью Магницкий начал насаждать в Казани «нравственность», вынудив многих способных иностранных преподавателей подать в отставку и существенно ограничив оставшихся в возможностях преподавания в связи с введенными им нелепыми нормами религиозной и идеологической «благопристойности». В Петербурге, как и в Казани, Магницкий стал безжалостным врагом «вольномудства» и всех прочих проявлений «духа времени». Умный и агрессивный, он вскоре занял ведущее положение в правлении, где он и взял себе в союзники Рунича, выглядевшего рядом с ним тусклым и бесцветным. Их религиозность была того же склада, что и у Голицына, и это усиливало их влияние. Общими усилиями они смогли в 1821 году сместить Уварова с поста попечителя Санкт-Петербургского учебного округа и заменить его Руничем, который разделался с Петербургским университетом так же, как Магницкий с Казанским<sup>71</sup>.

Такое развитие событий отражает трудности, с которыми столкнулось правительство Александра I, стараясь установить религиозный контроль над обществом, чьи древние традиции были искажены в век вестернизации. Россия была не единственной страной, стремившейся властным путем подчинить общество религиозным нормам. Так, в Пруссии в 1790-е годы король Фридрих Вильгельм II и его министр И. К. фон Вёльнер тоже пытались

---

<sup>71</sup> См. [Sawatsky 1976: 274–275; Flynn 1988: 104–112; Сухомлинов 1889, 1: 239–397; Коурé 1929: 102–112; Рунич 1901, 5: 380–381].

бороться с современным мятежным духом, усиливая влияние религии в обществе, что вызвало повсеместное недовольство и грубый произвол чиновников-обскурантов [Erstein 1966: 360–368]. Но Вельнер по крайней мере укрепил протестантскую церковь, — очевидно, не без поддержки церковных иерархов. В России, где культура элиты гораздо меньше идентифицировалась с национальной церковью, чем в Пруссии, «двойное министерство» и Библейское общество — в глазах публики уже далекие от прогрессивных тенденций — стали отождествляться с неправославной религиозностью и вызывать неприятие у церковных традиционалистов. Старообрядцы и сектанты вступили в официальные связи с РБО. Произведения мистиков публиковались иногда с посвящением Александру за счет короны, в обход церковной цензуры (около 60 таких изданий вышло между 1813 и 1823 годами). Лабзин со своим журналом «Сионский вестник» представлял мистическое течение в Библейском обществе, но, в конце концов, под давлением православной церкви, в 1818 году журнал был запрещен [Дубровин 1894–1895, 4: 117–118, *passim*; Zacek 1966: 420].

Еще одним влиятельным мистиком была Екатерина Татаринова. Подобно Крюденер, она вышла из прибалтийских немцев-лютеран. После того как ее брак распался (как и у Крюденер) и умер ее единственный ребенок, она посвятила себя (как и Крюденер) чтению Библии, молитвам и, несмотря на свои скромные средства, благотворительности. Царь пожаловал Татариновой резиденцию в Михайловском замке, где она начала устраивать молитвенные собрания, которые посещали крупные чиновники, офицеры гвардии и другие представители элиты, привлеченные ее харизмой. Среди них были сам Александр I, Голицын, Кошелев и ее фанатичный последователь Попов. На этих собраниях исполнялись песни и танцы в духе скопческих обществ; присутствующие, как правило, погружались в своего рода гипнотический транс, во время которого «прорицатели» вещали свои предсказания, — один из них, по слухам, по тридцать шесть часов кряду. Эти собрания еще больше компрометировали «двойное министерство» и Библейское общество, подтверждая их приверженность мистцизму [Дубровин 1895–1896, *passim*].

Однако значение этих мистиков и обскурантов, несмотря на свойственные им странные и отталкивающие крайности, не стоит преувеличивать. Роксандра Стурдза, например, была гораздо рациональнее Крюденер и, благодаря своим связям с немецкими религиозными мыслителями и российским двором и администрацией, играла более важную роль в жизни общества, чем баронесса со всей ее колоритностью. Чистки в среде ученых, организованные Магницким и Руничем в университетах Казани и Петербурга, не повторились в Москве и Дерпте, и, следовательно, политические методы «двойного министерства» к этому не сводились<sup>72</sup>. РБО также не было исключительно орудием реакционных мистиков-обскурантистов, потому что общество занималось переводом Библии на русский язык и ее распространением среди населения — проектом, заслужившим одобрение многих православных иерархов. К тому же помимо Библейского общества Россия переняла у Британии протестантские формы общественной деятельности: были основаны Императорское человеколюбивое общество и Попечительное о тюрьмах общество, и во главе обоих стоял не кто иной, как Голицын. Чтобы распространить грамотность, о которой пеклось Библейское общество, Александр I и Голицын поощряли ланкастерскую систему обучения, где нехватка учителей компенсировалась тем, что старшие ученики обучали младших. Эти общества, включая и РБО, были организованы частным порядком, но пользовались значительной поддержкой государства; многие их члены работали одновременно в нескольких обществах, в основе которых лежала забота о физическом и духовном здоровье населения<sup>73</sup>. Поэтому отвергать всю эту деятельность как обскурантизм — значит исказить сложное историческое явление.

Помимо мистиков вроде Попова и людей вроде Уварова, мало интересовавшихся религией, в «двойном министерстве» были сотрудники, связанные с православной церковью, — такие как

<sup>72</sup> См., например, [O'Connor 1987].

<sup>73</sup> См. работы Ю. Зачек и Б. Холлингворта, указанные в библиографии к данной книге. Ф. Уокер считает, что «пиетистская реакция» вовсе не означала разрыва с прошлым [Walker 1992]. Наиболее полно вопрос о высшем образовании эпохи рассмотрен в работе [Flynn 1988]; см. также [Mayer 1978].

Александр Стурдза. Работая одновременно с Каподистрией и Голицыным, он являлся персонификацией идеологии, преобладавшей в российской внешней и внутренней политике после 1815 года, но направление деятельности «двойного министерства» принимал с серьезными оговорками. Еще в январе 1817 года он писал Роксандре, что Голицын находится «в самом печальном подчинении у человека», который всегда внушал ей «вполне обоснованное отвращение» (вероятно, он имел в виду Лабзина, которого терпеть не мог)<sup>74</sup>. Стурдза надеялся, что царь «не поддастся чарам ложного учения», которое представляет собой «деспотизм иного рода, чем папство, но имеет ту же цель — завладеть ключом от святилища и подчинить скипетр его диктату»<sup>75</sup>. О мистицизме в целом он отозвался недвусмысленно: «...да сохранит нас Господь от того, чтобы принимать обманы чувств за откровения»<sup>76</sup>. Тем не менее он все глубже вовлекался в дела «двойного министерства». В 1817 году он начал работать в Главном правлении училищ и в начале 1818 года был назначен против своего желания одним из трех членов Ученого комитета. Он составлял инструкции для этого комитета и руководил его первыми заседаниями, посетил несколько собраний Главного правления училищ в период между мартом и августом 1818 года, но после скандала в Германии поселился в Устье и вернулся в столицу только осенью 1821 года. Поэтому он отсутствовал, когда в правлении взяли верх Магницкий и Рунич, и, в частности, пропустил обсуждение доклада первого из них о Казани, а также чистку, которую второй устроил в Санкт-Петербургском университете<sup>77</sup>.

В связи с пребыванием в Устье и выполнением разнообразных обязанностей, основным вкладом Стурдзы в образовательную политику осталось составление инструкции для Ученого коми-

<sup>74</sup> РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 86. Л. 144 об. Письмо А. Стурдзы к сестре от 24 января 1817 года, Санкт-Петербург. См. также [Стурдза 1876: 273].

<sup>75</sup> РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 86. Л. 145.

<sup>76</sup> РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 86. Л. 145 об.

<sup>77</sup> РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 2. Л. 35 об., 36 об. «Précis»; [Flynn 1988: 82–83]; РГИА. Ф. 732. Оп. 1. Д. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 (выпуски 1818–1824 годов).

тета. Инструкция требовала, чтобы религиозные тексты строго соответствовали православному учению, чтобы божественное происхождение власти не подвергалось сомнению и чтобы естественный закон был заменен нравственным, основанным на религии. История и метафизика должны были подкреплять христианское учение, а естественные науки следовало преподавать как практические предметы, не поощряя философских рассуждений, которые могли бы противоречить Священному Писанию. Руководящий принцип состоял в том, чтобы светское образование не подорвало ненароком религиозную веру [Стурдза 18186; Стурдза 1833]. Как отмечает Джеймс Флинн, Стурдза наметил общие принципы образования, оставив разработку конкретных деталей на Магницкого, Рунича и их коллег [Flynn 1988: 83–84; Sawatsky 1976: 259–262]. Эти общие рекомендации Стурдзы, подобно его предложениям, высказанным в том же году в «Записке о нынешнем положении Германии», никак не препятствовали откровенному обскурантизму. Его идеи относительно Германии были частично реализованы в Карлсбадских указах, а относительно России — в Казани, стараниями Магницкого. Нет сомнений, что сам Стурдза не стал бы прибегать к таким примитивным мерам принуждения, как Меттерних или тем более Магницкий, но тем не менее он не спешил отмежеваться от их политики в области образования.

Лично к Магницкому и Александру, и Роксандра Стурдзы испытывали симпатию, хотя близко познакомились с ним, по-видимому, только после 1834 года в Одессе. Александр принял за чистую монету резкие и своевременные переломы в идеологии Магницкого в 1817–1819 годы (когда он обрел религию) и 1824 году (когда он предал Голицына) и пришел к заключению, что «Магницкий никогда не был человекоугодником, и более всего дорожил сокровищем совести и веры, которую стяжал и усвоил себе после сильной внутренней борьбы со страстями и заблуждениями юношеских лет» [Стурдза 1868: 932]<sup>78</sup>. Однако он не всегда соглашался с репрессивными действиями Магницкого и ему подобных.

<sup>78</sup> См. также [Магницкий 1844].

Одним из примеров может служить эпизод с И. Б. Шадам, немецким профессором Харьковского университета, которого выслали из России, признав его учение безнравственным и антихристианским. Стурдза писал Голицыну, что Шад стал жертвой университетской интриги, но его заступничество было безрезультатным. Он также не одобрял того, как Рунич обошелся с петербургскими профессорами в 1821 году, хотя и соглашался, что их взгляды заслуживали порицания. Когда Голицын послал ему документы по этому делу, Стурдза пришел к заключению, что «обе стороны были неправы», высказал «несколько замечаний», но отказался каким-либо образом участвовать в этих разборках [Стурдза 1876: 280]<sup>79</sup>.

Другой случай особенно ярко выявил несостоятельность идейной линии Главного правления училищ. Профессор А. П. Куницын, противник абсолютизма и крепостничества, опубликовал книгу по естественному праву. Она содержала устаревшее изложение теории общественного договора, основанное на лекциях, прочитанных им в Царскосельском лицее<sup>80</sup>. Неприятности начались, когда директор лицея, которому книга чрезвычайно понравилась, попросил представить ее вниманию императора. По прочтении этой книги Ученый комитет и Главное правление училищ пришли в ужас от того, что невинных юношей знакомят с подобными материями, и разработали собственный учебный курс. Как выразился скептически настроенный Стурдза, они пожелали преобразовать естественное право в «практическое богословие»<sup>81</sup>. Поскольку Стурдза оставался в Устье, Голицын в сентябре 1820 года послал

<sup>79</sup> См. также [Flynn 1988: 130–132; Walther 1992]; РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 58. Л. 9–10 об. Письмо Стурдзы к Голицыну от 8/20 декабря 1818 года, Веймар; РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 58. Л. 13, 17–19. Письма Голицына к Стурдзе от 19 и 24 февраля 1819 года.

<sup>80</sup> См. [Hollingsworth 1964]. Основные тезисы книги Куницына рассматриваются на с. 126–128.

<sup>81</sup> РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 8. Л. 2–2 об. Проект отношения к... Голицыну. Село Устье, октября 6 дня, 1820 года. См. также РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 8. Л. 5–16 об. Начертание методы для преподавания естественного права; РГИА. Ф. 732. Оп. 1. Д. 20. Л. 18–36. Запись о совещании 10 февраля 1821 года и мнения Магницкого (13 февраля 1821 года), Рунича (16 февраля 1821 года) и Уварова (23 февраля 1821 года).



ему соответствующие бумаги. Стурдза согласился с запретом, который наложили на книгу его коллеги (проект запрета был, вероятно, составлен Руничем)<sup>82</sup>, но доказывал, что их собственные предложения не соответствуют назначению дисциплины, а именно изучению общества независимо от религии. Он предложил сохранить автономность курса естественного права даже после перестройки его в соответствии с религиозными постулатами.

Целью преподавания естественного права было «привести учащихся к сознанию в бессилии нашего разума, не только устроить общества, но даже и познавать без содействия откровения коренные начала гражданского существования в роде человеческого». Разум, сознание, воля были заражены грехом и не годились в качестве основы общественного порядка, поэтому язычники и те, чья религия не была христианской, пытались взять за основу догматы своих ложных верований, а философы придумали с той же целью некое исходное «естественное состояние»<sup>83</sup>. Между тем в основе общества может находиться только религия или ее функциональный эквивалент. Курс естественного права должен был состоять из двух частей. В первой надлежало опровергнуть существующие теории и доказать, что никакого «естественного состояния», за которым будто бы последовала добровольная передача власти индивидуума правительству (или узурпировавшим власть деспотам), никогда не было. На самом деле всегда превалировала монархия как установленное Богом продолжение его патерналистского авторитета. Вторая часть курса должна была дать правильную интерпретацию естественного права и доказать, что системы правления, не являющиеся монархией, являются искажением исторически сложившейся нормы и только подчинение Божьему закону защищает общество от порочных и деструктивных побуждений человека<sup>84</sup>.

Стурдза изложил свои соображения в письме, посланном в Главное правление училищ. На собрании правления 10 февраля

<sup>82</sup> РГИА. Ф. 732. Оп. 1. Д. 20. Л. 21 об.

<sup>83</sup> РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 8. Л. 5–5 об.

<sup>84</sup> См. РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 8. Л. 1–3 об., 5–16 об.

1821 года книга Куницына и вопрос о естественном праве в целом обсуждались в течение пяти часов. Было рассмотрено высказанное Руничем мнение, что книга «есть не что иное, как сбор пагубных лжеумствований, которые, к несчастью, довольно известный Руссо ввел в моду и кои взволновали и еще волнуют горячих голов поборников Прав человека и гражданина минувшего и настоящего столетий»<sup>85</sup>. Книга оскорбляет Библию и основанные Господом институты — монархию, брак и родительский авторитет — и потому использование ее в качестве учебника несовместимо с задачами «двойного министерства». В связи со всем этим, вопрошал Рунич, «на чем основана существенная необходимость вводить преподавание сей науки вообще?»<sup>86</sup> В итоге собрание постановило запретить книгу Куницына в качестве учебного пособия, отправить все имеющиеся на данный момент книги по естественному праву в Петербург на проверку и разработать новую учебную программу в соответствии с предложениями Стурдзы. Голицын пообещал изъять все экземпляры книги Куницына из школьных библиотек. За это решение проголосовали все члены правления за исключением Магницкого и Рунича, настаивавших на формулировке, которая показала бы «совершенную ничтожность мнимой науки Естественного Права, не говоря уже о вреде», который она приносит<sup>87</sup>. Они требовали немедленно запретить преподавание этого предмета по всей стране. Спустя несколько дней они представили свои предложения в письменном виде<sup>88</sup>.

Решения, принятые по делу Куницына, вскрывают разногласия, существовавшие внутри руководства правления. Рунич и Магницкий требовали совсем отменить эту якобы вредоносную дисциплину. Уваров, влияние которого падало, пропустил собрание, но призывал отнестись к Куницыну помягче как к талантливому ученому и педагогу; он не стал комментировать книгу, сказав

<sup>85</sup> РГИА. Ф. 732. Оп. 1. Д. 20. Л. 19 об.

<sup>86</sup> РГИА. Ф. 732. Оп. 1. Д. 20. Л. 21.

<sup>87</sup> РГИА. Ф. 732. Оп. 1. Д. 20. Л. 28.

<sup>88</sup> Мнение Магницкого по этому вопросу и его речь в Казанском университете см. в работе: [Магницкий 1861].

только, что вредные идеи, разумеется, нетерпимы. Стурдза разделял критическое отношение Магницкого и Рунича к современной философии, но, с другой стороны, поддерживал и стремление Уварова оградить науку от обскурантистских нападок. А. И. Тургенев точно выразил разницу между Стурдзой и Магницким, сказав, что Магницкий «просится в Стурдзы, не имея ни таланта, ни добросовестности его» [Саитов 1899–1913, 1: 228]<sup>89</sup>.

Еще больше сомнений Стурдза испытывал относительно состояния религиозных дел. Он считал, что православная церковь подвергается угрозе с двух сторон: мистических обществ и католиков. Из мистиков особую опасность, по его мнению, представлял Лабзин, чей «Сионский вестник» напал на официальную церковь, ориентированную на «внешнее» (противоположное «внутренней церкви» души). «Сионский вестник» пользовался популярностью в официальных кругах и, согласно инструкции Главного правления училищ, распространялся по школам и университетам. Ректор Санкт-Петербургской духовной семинарии подал Голицыну жалобу на Лабзина, но никакого действия она не возымела. Тогда в 1818 году было затеяно нечто вроде заговора. Некий Степан Смирнов написал полемическую статью в защиту православия, направленную против Лабзина. Сергей Шихматов (всецело преданный православию молодой морской офицер, который сочинял стихи, восхищавшие Шишкова) передал статью Стурдзе, а тот показал ее Голицыну. Министр был шокирован теологическими aberrациями своего протеже и согласился не предоставлять больше «Сионскому вестнику» освобождения от церковной цензуры. Лабзин же понимал, что православные цензоры ни за что не пропустят ни одного номера журнала в печать, и был вынужден прекратить его выпуск<sup>90</sup>. Стурдза обвинял «ма-

<sup>89</sup> Письмо А. Тургенева к Вяземскому от 7 мая 1819 года, Санкт-Петербург. См. также РО ИРЛИ. Ф. 263. Оп. 2. Д. 542. Л. 11. Письмо Рунича к Голицыну от 4 декабря 1820 года.

<sup>90</sup> См. письма Роксандры Стурдзы к матери: РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 124. Л. 117 (от 22 декабря 1820 года, н. с.); РГИА. Ф. 7321. Д. 16. Л. 34–34 об. (от 2 января 1817 года [Вена]). См. также [Чистович 1894: 189–193, 224; Стурдза 1876: 274–276; Дубровин 1894–1895, 5: 64–91].

сонские ложи, мартинистов и лжемистиков времен Екатерины» — всю эту «мистическую шайку», чьим рупором был «Сионский вестник», — в том, что они подрывают основы православия [Стурдза 1876: 272]. Российское библейское общество слепо копировало английский оригинал, не заботясь о нуждах православной церкви. Приветствуя распространение Библии, Стурдза в то же время боялся, что РБО распространяет вместе с этим и протестантизм. Он одобрял перевод Библии на русский язык, но ему не нравилось, как это делало РБО с участием Лабзина. «Двойное министерство» запятнало свою репутацию связью с Библейским обществом. И тут и там руководство было сомнительным: Голицына Стурдза, по его собственному признанию, любил, но тот был скорее «христианином по сердцу и воображению», нежели по уму; у Попова «дух сект жалким образом омрачил слабый рассудок», а Тургенев был «нетверд в вере» [Стурдза 1876: 270]. Стурдза относился к деятельности министерства в целом одобрительно, но считал большой ошибкой снижение статуса православия как официально признанной конфессии. Он изложил эту точку зрения Голицыну еще в июле 1817 года, когда ему впервые показали манифест о создании «двойного министерства»<sup>91</sup>.

Аналогичным образом, несмотря на прекрасное отношение к де Местру, Стурдза резко обличал усилия католиков по вербовке своих приверженцев — это, по его мнению, было не менее опасно, чем склонность к мистицизму у некоторых членов правительства и священников православной церкви. Он еще в 1816 году написал возражение против попыток Римской церкви обратить Россию в свою веру<sup>92</sup>. Эти попытки так тревожили русское правительство,

<sup>91</sup> См. [Стурдза 1876: 269–270, 272–273, 281–282, 286; Sturdza 1858–1861, 3: 155].

<sup>92</sup> «*Considérations sur la doctrine et l'esprit de l'Eglise orthodoxe*» [Sturdza 1816]. Стурдза писал книгу в свое свободное время, но император был в курсе этой работы и одобрял ее замысел. См. РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 2. Л. 35. «*Précis*»; РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 86. Л. 126–126 об., 134–134 об., 136–137, 138 об.–139. Письма Александра Стурдзы к сестре от 29 августа 1816 года, Устье, от 2/14 ноября, 1/13 и 16/28 декабря 1816 года, Санкт-Петербург. Патриархи Константинопольский и Иерусалимский выразили Стурдзе благодарность за эту книгу; она была переведена на немецкий, английский и греческий языки [Стурдза 1857: ix]. Де Местр сразу же написал опровержение — «О па-

что еще несколькими месяцами ранее всех иезуитов изгнали из Москвы и Петербурга (правда, они продолжали руководить иезуитской академией в Полоцке). Стурдза опубликовал в правительственной газете «*Le conservateur impartial*» объяснение высылки иезуитов, где писал, что католическая церковь уже давно вела подрывную работу против православия и иезуиты истощили безграничное терпение русских, проявлявшееся до этих пор по отношению к их попыткам завербовать себе сторонников. Он сочинил в 1820 году проект заявления о необходимости полной высылки иезуитов из России. Каподистрия советовал ему сосредоточиться на миссионерской деятельности иезуитов и, в противоположность Голицыну, не рассматривать этот вопрос в более широком антикатолическом контексте, но Стурдзу это ограничение сковывало. Как и в Аахене в 1818 году, он представил текст, который Александр I счел неприемлемым по дипломатическим соображениям. Опубликованная в конце концов заметка отличалась довольно резким тоном даже после того, как император, по словам Каподистрии, «счел уместным сократить и переписать некоторые фразы, чтобы заметка сохраняла строго исторический характер»<sup>93</sup>. Стурдза был трезвомыслящим человеком и видел

---

пе». См. письма де Местра к Североли от 11/23 февраля 1817 года, к Валлезу в апреле 1817 года и к Розавену от 4/16 мая 1817 года, Санкт-Петербург [Maistre 1884–1886, 14: 57–58, 82–83, 95–97]. Впоследствии Стурдза писал, что его работа «*Considérations*» была незрелой пробой пера, потому что содержащиеся в ней высказывания в экуменическом духе являлись сделанной против воли уступкой Священному союзу [Sturdza 1858–1861, 3: 182]. См. также письмо Стурдзы к архиепископу Иннокентию от 11 февраля 1836 года, Одесса [Письма Стурдзы 1894: 6].

<sup>93</sup> РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 186. Л. 151–151 об. Письмо Каподистрии к Стурдзе от 19 марта 1820 года, Санкт-Петербург. См. также [Sturdza 1858–1861, 3: 170–205] (о Ж. де Местре); [Стурдза 1876: 269]; РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 9. «*De l'expulsion des Jésuits de deux Capitales*»; [Schlafly 1989; Edwards 1977; Flynn 1970]. Саввацкий расходитс с Флинном во мнениях по поводу причин изгнания иезуитов [Sawatsky 1976: 321–323]. Каподистрия предупредил Стурдзу, что «очень важно <...> не трактовать вопрос об иезуитах так широко, как это делает министр духовных дел» (РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 186. Л. 141–144 об. Письмо Каподистрии к Стурдзе от 28 февраля 1820 года, Санкт-Петербург); *Supplément // Le Conservateur Impartial*. № 23. 19/31 mars 1820. P. 107–108.

недостатки своей церкви. Как он писал позже, многие на Руси, «услышав глас вопиющего в пустыне сердца человеческого, бросились искать внутреннего освящения, не обрели его, вдавались в странные и различные учения, единственно потому, что не нашли себе руководителей». Церковь не поддержала их, и в результате

...в верхних слоях господствовал мистицизм, действовали магнетизеры или вкрадывались модные богословы запада, в то время как <...> ядовитые расколы <...> увлекали за собою простой народ в бездну разврата или нечестия. Правда, нерукотворный корабль уцелел, но <...> кормчие спали у руля, не чуя бури и не заботясь о подводных камнях [Стурдза 1876: 287].

Именно стремление утвердить ведущую роль духовенства в обществе навело Стурдзу на мысль о религиозном образовании. Он с большим одобрением относился к реформам, проводившимся Сперанским и Голицыным в этой области, и полагал, что высокообразованные священнослужители — это ключ к решению проблем сектантства, нравственности крестьян и, в конечном итоге, к отмене крепостного права. Церковь должна была насаждать православие среди нехристианских народов, населявших Россию, и потому Стурдза предложил учредить семинарию по обучению русскому языку. Он настаивал, что это неотложная задача, ибо православие должно воздействовать на невежественные массы прежде, чем ими займутся западные «просветители» и миссионеры. Библейские общества полезны как распространители православного христианства, но они «напрасно бы покушались усвоить себе власть и подвиг Апостольства. Сии *достохвальные* учреждения легко совратиться могут с прямого пути, если Бог не пошлет им вскоре могущественного Союзника. Союзник путеводитель сей есть Церковь»<sup>94</sup>.

<sup>94</sup> РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 26. Л. 102 об. См. РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 26. Л. 92–94. «Projet...» 7 апреля 1820 года, Устье; РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 26. Л. 96–116. Проект учреждения семинарии. Спустя три года он заявил, что этому проекту «суждено быть рассмотренным и воплощенным Комиссией

Мысль о необходимости укрепления церкви никогда не оставляла Стурдзу. Через 30 с лишним лет, незадолго до смерти, он писал, что старообрядцы отошли от церкви вследствие «невежества и голода духовного», и призывал отнестись к ним снисходительно, тогда как сектантство представляет несомненную угрозу. Как он убедился, «на полицейские меры надежды мало» [Письма Стурдзы 1894: 49–51]<sup>95</sup>. С этим злом надо бороться всеобщим образованием юношей и девушек, сближением высшего духовенства с простыми людьми и миссионерской работой православных священников в крестьянской среде. Кроме того, Стурдза предлагал повышать образование всех священнослужителей и покончить с практикой регулярных переводов епископов из одной епархии в другую. Но главной задачей он считал дать надлежащее религиозное образование крестьянам — то есть обучить их грамоте; иначе все эти усилия будут бесполезны [Письма Стурдзы 1894: 49–51]. Подобно Голицыну, Лабзину и Руничу, Стурдза полагал, что Русская православная церковь нуждается в свежих идеях, почерпнутых извне. Но если «Пробуждение» искало эти идеи на протестантском Западе, то он считал, что они должны прийти с православного Востока, в первую очередь из Греции. В своих сочинениях Стурдза постоянно подчеркивал, что православие — религия не одних только русских; его семья поддерживала дружеские отношения как с русскими служителями церкви, так и с греками<sup>96</sup>.

Филэллинизм и православный космополитизм Стурдзы привели в конце концов к его разладу с правительством. В феврале 1821 года, когда Каподистрия и Стурдза обсуждали с Меттернихом в Лайбахе меры по воплощению в жизнь целей Священного союза, кузен Стурдзы Александр Ипсиланти, грек, служивший

---

священнослужителей» (РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 2. Л. 36 об. «Précis»), но в 1836 году писал, что только теперь за него взялись (письмо Стурдзы к архиепископу Иннокентию от 11 февраля 1836 года, Одесса [Письма Стурдзы 1894: 7]). См. также [Sturdza 1858–1861, 3: 152–153].

<sup>95</sup> Письмо к Иннокентию от 27 марта 1853 года, Одесса.

<sup>96</sup> См., например, [Sturdza 1858–1861, 3: 267–311].

в русской армии, собрал войско, занял Молдавию и Валахию и провозгласил свободу балканских христиан от оттоманского господства. Последовали массовые убийства христиан турками и турок христианами. Силы Ипсиланти были разбиты, но вскоре восстала вся Греция<sup>97</sup>. Для Стурдзы это было осуществлением давней мечты. И хотя он считал, что Ипсиланти, служивший в русской армии, формально не имеет права воевать на стороне другой страны, он всей душой сочувствовал бунтовщику. Но при этом он сознавал, что возникает политическая дилемма: как он писал Каподистрии, Россия была обязана защитить своих братьев, православных христиан, но при этом должна была объяснить европейским монархам, что

...мотивы восточных христиан нельзя уподоблять целям революционеров Франции, Италии и Испании. <...> Христиане были не подданными [Османской империи], а данниками, которых бесконечно подавляли и истребляли, и они взялись за оружие, чтобы защитить свою жизнь, свой дом, свою честь и, самое дорогое, — свою веру<sup>98</sup>.

В этой фразе была выражена суть его концепции Священного союза: «Уподобить греков радикалам других стран значило бы поставить христианские правительства на одну доску с Оттоманской портой»<sup>99</sup>. Судьба Греции и надежда на русское вмешательство целиком поглощали внимание Стурдзы. Вернувшись в Петербург в октябре 1821 года, он поневоле отложил свою статью о Бессарабии и погрузился в дела «двойного министерства», но занимался этим без энтузиазма. Пик его политической

<sup>97</sup> См. [Prousis 1994].

<sup>98</sup> РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 25. Л. 32 об., 30 об. «Projet...» от 2 апреля 1821 года.

<sup>99</sup> РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 25. Л. 31. Стурдза еще дважды повторял свои доводы: РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 25. Л. 33–34 об. «Projet...», апрель 1821 года, Устье; РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 25. Л. 37–44 об. «Projet... № 11» от 22 мая 1821 года, Устье. Каподистрия оценивал положение в Греции примерно так же, как Стурдза [Grimsted 1969: 256–265]. Российское общественное мнение в целом разделяло их сочувствие греческому народу [Шильдер 1897, 4: 224–225].



карьереры — как и у Каподистрии — миновал. Роксандра (к которой Александр I тоже начал терять интерес) пыталась побудить императора поддержать карьеру ее брата и помочь грекам; сам А. Стурдза писал царю:

Нашей Святой Церкви угрожает двойная опасность. С одной стороны, на нее нападают ее откровенные враги [турки], с другой под нее подкапываются и потихоньку разрушают ее [русские мистики]. <...> Нет разницы, действуют ли они мечом или жалят, как змея, — неизменная твердость Церкви раздражает как наших ложных друзей, так и открытых врагов<sup>100</sup>.

Бездействие России в отношении разворачивающейся на Балканах трагедии выглядело полным фиаско Священного союза, как его понимал Стурдза. Для него союз был средством распространения идеи христианского государства, а не орудием взаимовыручки властителей-реакционеров. Оставлять христиан на расправу неверным ради соблюдения легитимизма и баланса сил значило довести до абсурда его собственные теории, и понятно, что это его угнетало. Положение в России тоже не внушало оптимизма, так как здесь претворение принципов Священного союза в жизнь выражалось, похоже, в стремлении сорвать Россию с якоря православия и пустить ее в плавание без руля и без ветрил под командованием Библейского общества, Лабзина, Татариновой и прочих обломков иноземной псевдорелигии. Стурдза резко стал хуже видеть правым глазом, зрение не восстанавливалось даже после трех операций, и в связи с этим, а также с беспокойством о здоровье жены, весной 1822 года ему позволили уехать в Одессу. Он продолжал получать жалованье, но «не нашел утешения в виде хотя бы малейшего знака признательности со стороны императора» за годы работы над проблемами Бессарабии и образования. И наконец в 1823 году Стурдза подал

---

<sup>100</sup> РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 47. Л. 5 об.–6. Письмо к Александру I от 30 ноября 1821 года, Санкт-Петербург. См. также [Стурдза 1876: 280]. Об отношении Стурдзы к Греции см. [Prousis 1994].

заявление об увольнении<sup>101</sup>. Мистики в «двойном министерстве» и легитимисты в Министерстве иностранных дел торжествовали. Со Священным союзом было покончено.

Консерваторы, не затрагивавшие религиозную тему и доминировавшие ранее в общественных дебатах, в смятении воспринимали действия религиозных консерваторов и идеи, которые те развивали после 1812 года. Наиболее значительные из этих идей принадлежали Карамзину, опубликовавшему в 1818 году первые восемь томов «Истории государства Российского». Это было первое научное исследование русской истории, достигшее широких читательских кругов; оно представляло собой националистический манифест и отстаивало ценность самодержавия. Карамзин с презрением относился к «министерству просвещения, или, [точнее,] затмения» сознания<sup>102</sup>; соединение религии с образованием для него способно только «умножить число лицемеров» [Письма Карамзина 1866: 204]<sup>103</sup>. «Я тоже, — заметил он саркастически, — иногда смотрю на небо, но не в то время, когда на меня смотрят» [Письма Карамзина 1866: 218]<sup>104</sup>. Стурдза был другом Карамзина и молодых литераторов «Арзамаса», но Карамзин не разделял его религиозных взглядов и сожалел, что он «портит свой ум мистическою *вздорологию*» [Письма Карамзина 1866: 212]<sup>105</sup>.

<sup>101</sup> РО ИРЛИ 288. Оп. 1. Д. 2. Л. 37. «Précis». См. также РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 312. Л. 39. Письмо Стурдзы к Александру I (без даты).

<sup>102</sup> Цит. по: [Шильдер 1897, 4: 468].

<sup>103</sup> Письмо к И. Дмитриеву от 18 января 1817 г., Санкт-Петербург.

<sup>104</sup> Письмо к И. Дмитриеву от 23 апреля 1817 года, Санкт-Петербург. См. также письмо Карамзина к Дмитриеву от 17 июля 1817 года, Царское Село [Письма Карамзина 1866: 218]. О взглядах Карамзина на международные отношения России после 1815 года см. [Mitter 1955: 276–277; Black 1975: 90]; письмо Карамзина к Вяземскому от 8 декабря 1820 года [Письма Карамзина 1897: 107]; письмо Карамзина к Дмитриеву от 12 сентября 1816 года, Царское Село [Письма Карамзина 1866: 195–196].

<sup>105</sup> См. [Стурдза 1851: 13–14]. О литературных знакомствах Стурдзы см. также [Стурдза 1852; Переписка Жуковского 1855; Знакомство и переписка Гоголя 1899].

Адмирал Шишков отзывался о современной политике гораздо резче. В то время как Карамзин критиковал оппонентов сдержанно, с юмором и без чувства превосходства, Шишков с присущей ему непримиримостью рубил сплеча. После того как с окончанием наполеоновских войн отпала необходимость усиливать чувство патриотизма у населения, «Беседа» постепенно прекратила свое существование; Шишков оставался главой Академии Российской и продолжал общественно полезную деятельность, расширяя связи с учеными других славянских народов<sup>106</sup>. Его политическая позиция становилась все более реакционной. В 1814 году его назначили членом Государственного совета, занимавшегося законодательством. В этой роли Шишков вряд ли мог реально повлиять на действия правительства (он жаловался, что единственным результатом его участия в этой работе было возросшее число его врагов) [Шишков 1870, 2: 134]; тем не менее он выдвинул консервативную альтернативу политике, проводившейся в то время. В отличие от Голицына и Стурдзы, он не видел, в свете событий 1789–1815 годов, какой-либо необходимости менять старый режим. Напротив, эти события показали, по его мнению, что его надо укреплять. Любые изменения в положениях о крепостном праве, предлагавшиеся Александром I и одобрявшиеся Стурдзой, Шишков отвергал. Когда в 1820 году был принят законодательный акт о весьма скромной реформе крепостничества, Шишков продолжал настаивать на сохранении неограниченной власти помещика над крепостными, вплоть до права продавать крестьян поодиночке или без земли. Это казалось ему необходимым условием сохранения общественного порядка. «Народ есть река, — заявлял он Государственному совету, — текущая мирно в берегах своих; но умножь в ней воду, она выступит из пределов, и ничто не удержит ее свирепства. Благоденствие народа состоит в обузданности и повиновении»

---

<sup>106</sup> См. [Ходасевич 1988]; письма Карамзина к Вяземскому от 8 июня 1816 года, Царское Село; от 5 ноября 1817 года, Санкт-Петербург; от 11 сентября 1818 года, Царское Село; от 17 декабря 1819 года, Санкт-Петербург [Письма Карамзина 1897: 12, 39, 62, 92]. См. также [Булич 1902–1905, 1: 233; Альшуллер 1984: 357–359; Сухомлинов 1874–1888, 7: 228–235].

[Шишков 1870, 2: 128]. Россия благословенна, утверждал Шишков, — она одерживала военные победы; беспорядки, перевернувшие всю Европу, обошли ее стороной.

Не есть ли это признак добродушия и не зараженной еще ничем чистоты нравов? На что ж перемены в законах, перемены в обычаях, перемены в образе мыслей? И откуда сии перемены? — из тех стран, где сии волнения, <...> сии под видом свободы ума разливаемые учения, возбуждающие наглость страстей, наиболее господствуют! <...> Мы явно видим над собою благодать Божию. Десница Всевышнего хранит нас. Чего нам лучшего желать? [Шишков 1870, 2: 129].

В 1815 году он заявил, что нет лучшего оружия для защиты России, чем цензура. Печатный станок — опасное изобретение, способствующее распространению вредных идей, и именно нетребовательная цензура была одной из главных причин того хаоса, который воцарился в Европе после 1789 года. Ведь, в конце концов, «не число книг приносит пользу, но достоинство их. Лучше не иметь ни одной, нежели иметь их тысячи худых» [Шишков 1870, 2: 47]<sup>107</sup>.

Однако относительно разгрома, учиненного Руничем в Санкт-Петербургском университете, у Шишкова не было однозначного мнения. Консервативные убеждения тянули его в одну сторону, а чувство справедливости — в другую, так что он не встал ни на одну из них. Вспоминая проведенный в 1821 году допрос профессоров, он писал, что «предлагались им странные и притеснительные вопросы, какие может делать облеченное в силу и власть суеверие». Это вряд ли говорит в пользу Рунича, но в то же время

...подобные же тому делались ответы, какие иногда смелое, иногда уstraшенное вольнодумство может давать вопрошающему его судии, над которым оно прежде насмехалось <...>. [Профессора говорили, что] за то самое ныне осуждаются, что прежде *по системе либерализма* было одобряемо, и за что они получали чины, ордена и награды. Правда по несчастью неоспоримая! [Шишков 1870, 2: 142].

<sup>107</sup> См. также: [Шишков 1870, 2: 109–134, 43–52; Мироненко 1989: 140].

Нелепо было преследовать профессоров за преподавание того, что им велели преподавать, признал Шишков, но строгая цензура не должна допускать, чтобы подобные «свободомыслители» развращали в будущем юные умы [Шишков 1870, 2: 141–146].

Шишков относился к Библейскому обществу с такой же неприязнью, как и Стурдза. Он считал, что это британская уловка, придуманная, чтобы уничтожить все церкви, кроме англиканской. Но он не соглашался со Стурдзой, что образование ведет к совершенствованию людей. Мораль безграмотных крестьян, по его мнению, выше морали аристократов, и попытки дать им образование будут иметь чудовищные последствия. Кроме того, Шишков, в отличие от Стурдзы, не одобрял перевод Библии со старославянского на современный русский язык [Шишков 1870, 2: 293–298]<sup>108</sup>.

Шишков и Стурдза представляли два абсолютно разных типа русских консерваторов. Стареющий адмирал твердо верил, что Французская революция была отклонением от нормы, которое можно исправить разумными репрессивными мерами. Когда ему говорили, что меняющиеся времена требуют изменения общественного устройства, он возражал: «...где правительство твердо и законы святы, там они управляют духом времени, а не дух времени — ими» [Шишков 1870, 2: 121]. Он хотел, чтобы общество одумалось и восстановило гармонию, существовавшую до 1789 года. Шишков утверждал также, что крестьянские волнения — явление последнего времени, и они не имеют корней в российском прошлом [Шишков 1870, 2: 153], — странное заявление для человека, который должен был помнить Пугачевский бунт. Если Шишков воплощал неколебимую (пусть наивную и анахроничную) уверенность в своей правоте, свойственную XVIII веку, то Стурдза представлял более сложное и беспокойное мировосприятие XIX столетия. Будучи на 27 лет моложе Шишкова, он считал, что прежний режим устарел и наступило время объединить средневековое христианство с прогрессивными социальными идеями Просвещения. Поэтому он выступал против крепостного права,

---

<sup>108</sup> См. также речи Шишкова: РГИА. Ф. 1673. Оп. 1. Д. 30 (эта речь воспроизведена в [Александр Семенович Шишков 1824]); РГИА. Ф. 1673. Оп. 1. Д. 40. См. также [Goetze 1882: 288].

верил в необходимость образования народных масс и участвовал в филантропической деятельности, которой руководило Библейское общество. Но в одном отношении он был солидарен с россиянами предыдущего века. Как уже было показано, Рунич, подобно многим другим, не мог примирить привитые образованием знания с верой в Бога и пришел к выводу, что вера и разум несовместимы. Стурдза, по-видимому, не переживал подобного кризиса (в отличие от своей сестры) и усматривал корень всех теологических заблуждений в невежественности. Религия была для него предметом осмысления; он считал, что истинная вера восторжествует, если население будет образованным. Как и Рунич, он с недоверием относился к светской философии, но свято верил в то, что русский народ нуждается в образовании.

1820-е годы были переходным периодом в идеологическом развитии Российского государства. К началу десятилетия влияние религиозных консерваторов «двойного министерства» и Библейского общества достигло своего пика. Затем наступила традиционалистская реакция, представленная Аракчеевым, Шишковым и Фотием (Спасским). После смерти Александра I его брат разогнал его приближенных и провозгласил авторитарную государственную политику «официальной народности».

В 1820–1821 годах политику Священного союза и «двойного министерства» начали сворачивать. Революция в Южной Европе и волнения 1820 года в лейб-гвардии Семеновском полку заставили Александра I занять позицию Меттерниха, в соответствии с которой приходилось выбирать между репрессивными мерами и революцией. Каподистрия и Стурдза, стремившиеся придать Священному союзу конструктивное направление, в 1822 году вышли из правительства. Когда в «двойном министерстве» не осталось ни Стурдзы, ни Уварова, которого сменил Рунич, поставленный во главе Петербургского учебного округа, организация лишилась двух самых способных сотрудников. Идеологический сдвиг ощутимо проявлялся в растущей нетерпимости властей к любым независимым общественным инициативам, даже консервативного или мистического характера. Когда в столицу приехала Крюденер, чтобы добиться посылки русских войск

в Грецию, император велел ей возвратиться в Ливонию. В 1822 году были запрещены все масонские ложи, Лабзин был отправлен в ссылку за оскорбление Аракчеева, кружок Татариновой был изгнан из Михайловского замка. Как докладывал австрийский посол своему императору, даже Голицын потерял доверие Александра I, смертельно боявшегося революции<sup>109</sup>.

Помимо того, что «двойное министерство» впало в немилость у царя и потеряло талантливых руководителей, его религиозная политика стала подвергаться нападкам с самых разных сторон. Недоверие Шишкова и Стурдзы к министерству разделяли многие. Церковные иерархи соглашались с ними и в том, что необходимо восстановить главенствующую роль православной церкви. У Голицына становилось все больше врагов среди высшего духовенства, и первым из них был митрополит Санкт-Петербургский Серафим. Аракчеев, который соперничал с Голицыным, вел придворные интриги против него; в этих кознях против своего начальника участвовал и Магницкий, поспешивший покинуть тонущий корабль. Как пишет Окунь, связи Библейского общества с Англией стали обременительны для него в обстановке усиления антибританской политики России на Балканах [Окунь 1948: 340]. Эти нараставшие угрозы достигли критической точки в мае 1824 года, когда Голицын был уволен со своего поста, «двойное министерство» ликвидировано, Библейское общество находилось на пороге закрытия, а Шишков был назначен министром просвещения<sup>110</sup>.

---

<sup>109</sup> См. письмо Александра I к Аракчееву от 5/17 ноября 1820 года, Троппау [Шильдер 1897, 4: 185–186]. См. также: [Шильдер 1897, 4: 232–236; Лапин 1991; Чистович 1894: 223; Державин 1912: 162–164; Засек 1966: 424; Дубровин 1894–1895, 6: 38–45; Дубровин 1895–1896, 5: 225–233]; письмо Лебцельтерна к Меттерниху от 21 октября 1821 года, Санкт-Петербург [Николай Михайлович 1913: 83].

<sup>110</sup> Сам Голицын считал себя жертвой интриг церковников. В письме к Роксандре Стурдзе от 23 августа 1824 года он пишет из Царского Села: «Наступило время мученичества угодников Святого Духа. По всей Европе официальная церковь называет их еретиками и преследует» (РО ИРЛИ. Ф. 288. Оп. 1. Д. 265. Л. 24–24 об.). См. также [Goetze 1882: 201–209; Чистович 1894: 225–226; Sawatsky 1976: 405–418; Кизеветтер 1912: 392–395; Мельгунов 1923: 287–289; Christoff 1970: 73].

Увольнение Голицына, хотя и менее драматическое, чем изгнание Сперанского за двенадцать лет до этого (за ним оставался один из малозначительных постов, и он сохранил доверие императора), было результатом аналогичной совместной деятельности оппортунистов (тогда представленных Балашовым, теперь Аракчеевым и Магницким) и защитников консервативных интересов (выразителей взглядов дворянства, таких как Ростопчин, и церковных иерархов во главе с Серафимом). В 1812 году Александр узнал о недовольстве общества из полуофициальной литературы, обличавшей Сперанского; теперь вестником этого недовольства выступил монах-аскет Фотий (Спасский), затеявший крестовый поход против «ложной» религии. Его непримиримые высказывания в салонах (где он предавал анафеме Голицына) и перед самим императором существенно подорвали положение министра<sup>111</sup>. Поскольку ни «двойное министерство», ни Библейское общество не представляли материальных интересов или культурных традиций какой-либо части общества, их политическое выживание, как и судьба ранних реформаторов вроде Сперанского, зависели от покровительства императора. В конце концов, как и после смещения Сперанского в 1812 году, освободившееся место занял Шишков, бывший воплощением социального, культурного и политического традиционализма, и это знаменовало конец экспериментаторства.

Весь следующий год ушел на отмену начинаний «двойного министерства». Вслед за Магницким были уволены Попов и Тургенев, а после смерти Александра и Аракчеев; Библейское общество функционировало под контролем митрополита Серафима, который намеревался распустить его. Православная церковь восстановила свою ведущую роль в обществе, государство перестало покровительствовать мистикам. С преждевременной смертью Александра I в ноябре 1825 года исчезла движущая сила мистических исканий<sup>112</sup>. Николай I, не имевший склонности

<sup>111</sup> См. [Мирополюский 1878; Юрьевский архимандрит 1875; Wiczynski 1971; Goetze 1882: 179–181]. Гётце ненавидел Фотия.

<sup>112</sup> См. [Flynn 1988: 161–177].



к религиозным и политическим экспериментам, свойственной его брату, обладал более холодным и прагматичным умом и занялся укреплением самодержавия. Шишков разделял враждебность Николая к «духу времени», однако был не к месту в мире множившихся печатных изданий и университетов, где культурный национализм и без Шишкова был принят как нечто само собой разумеющееся, а развивающаяся критически настроенная интеллигенция создавала обстановку, в которой адмирал чувствовал себя чужаком.

Он старался воплотить в жизнь идеи, которые вынашивал еще до 1824 года, направленные против мистических учений и тайных обществ и имевшие целью восстановление ведущей роли православия и введение строгой цензуры (но не манипулирование общественным мнением — эта идея была слишком новой для него). С его участием был введен запрет печатать тексты молитв на современном русском языке и принят так называемый «чугунный» устав о цензуре 1826 года, настолько драконовский, что Глинка, также временно привлеченный к цензорской работе, выразил мнение, что «так можно и “Отче наш” перетолковать яacobинским наречием» [Глинка 1895: 349]. Вера в непреложные истины определяла упрощенный подход Шишкова к усложняющимся реалиям современной жизни, но и взывала к его чувству справедливости, побуждавшему его вступить (правда, без толку) за преследовавшихся вильненских профессоров и предлагать (тоже безрезультатно) при вынесении судебных приговоров декабристам такую оценку их действий, которая смягчила бы наказание<sup>113</sup>.

Из-за своего возраста и темперамента Шишков оказался робким и малоэффективным администратором и предпочитал решительным действиям полемику. Большую активность он проявил во внедрении преподавания славянских языков и литературы в школах и университетах. В 1828 году, когда Шишкову

---

<sup>113</sup> См. [Шишков 1870, 2: 163–290]; РО ИРЛИ. Ф. 265. Оп. 2. Д. 3112. Л. 9. Письмо Шишкова к Серафиму от 21 ноября 1824 года; РО ИРЛИ. Ф. 154. Д. 60. Л. 5–7. Воспоминания И. Н. Лобойко; [Федоров 1988: 245].

исполнилось 74 года и здоровье его ухудшилось, он подал заявление об отставке, заметив устало, но не без вызова:

Я принужден был принять на себя сие, по старости лет моих и еще более по затруднительности обстоятельств, высшее сил моих бремя. Верность и усердие к вере и престолу подкрепили меня: я, не смотря на дух времени, подвергавший меня ненависти многих, восстал смело и сильно противу зла, распространяемого либеральными учениями и книгами. <...> Может быть, старания мои, при всех поставляемых мне противуборствиях, были не без всякого успеха<sup>114</sup>.

Шишков попросил Николая I оставить его только на посту председателя Академии Российской<sup>115</sup>. Академия, и в первую очередь работа по систематизации языка и очищению посредством этого российских нравов, была для Шишкова главным делом на протяжении четверти века — с тех самых пор, как он опубликовал в 1803 году «Рассуждение о старом и новом слоге русского языка», — и он надеялся посвятить этой цели все оставшиеся годы жизни.

Большинство консерваторов, о которых говорилось этой книге, прожили после смерти Александра I еще 20–30 лет (за исключением Карамзина и Ростопчина, умерших в 1826 году), но никто из них не сделал успешной карьеры на государственной службе. Новый император явно не был увлечен идеями романтического национализма и религиозного или дворянского консерватизма. Из советников Александра I Николай оставил легитимиста Нессельроде на посту министра иностранных дел и Уварова со Сперанским как продолжателей традиций просвещенного абсолютизма во внутренней политике; Аракчеева он уволил, а с людьми типа Голицына не хотел иметь дела. Время

<sup>114</sup> РГИА. Ф. 1673. Оп. 1. Д. 44. Л. 2. Письмо к Николаю I, 1828 год. См. также [Стоюнин 1877, 4: 482–83; Кочубинский 1887–1888: 248–257, 263, 288; Flynn 1988: 161–172].

<sup>115</sup> РО ИРЛИ. Ф. 636. Оп. 2. Д. 3. Письмо к Николаю I, 1828 год, черновик.

великих перемен, от создания Библейского общества до военных поселений, миновало. Напрашивается вопрос: что же стало с консерваторами Александровской эпохи после смерти самого Александра?

В 1830 году Татариновой было запрещено проводить молитвенные собрания, однако Попов оставался ее верным последователем, пока в 1837 году один из слуг не сообщил в полицию о том, что он посещает несанкционированные религиозные сходки и преследует одну из трех своих дочерей за отказ участвовать в обрядах, устраиваемых Татариновой; он бьет ее тростью по нескольку раз в неделю, читая в это время длинные молитвы, морит ее голодом и заставляет спать в холодном сарае. Там бедная девушка и была обнаружена полицейскими. Петер фон Гётце пишет на основе свидетельских показаний, что она «казалась более остоном, чем живым существом. На ней видны были следы жестоких побоев» [Дубровин 1895–1896, 5: 243]<sup>116</sup>. Кружок Татариновой был по распоряжению властей распущен, саму Татаринову поместили в женский монастырь, а Попова сослали в монастырь под Казанью, где он и жил до самой смерти в 1842 году [Goetze 1882: 229–231]<sup>117</sup>.

Рунич был снят с должности попечителя Санкт-Петербургского учебного округа в июне 1826 года. Насколько известно, он провел оставшиеся годы жизни в уединении и писал воспоминания, в которых отошел от своих прежних взглядов, бранил Библейское общество и «двойное министерство» и защищал Сперанского. Умер он в бедности и одиночестве в Петербурге в 1860 году [Рунич 1901, 2: 353–357; 5: 373–379; Половцов 1896–1918, 17: 592–601].

Некоторые из консерваторов переселились на побережье Черного моря. Магницкий был уволен с государственной службы в 1826 году за растрату государственных средств и выслан из сто-

<sup>116</sup> См. также: [Дубровин 1895–1896: 233–261].

<sup>117</sup> Татаринову выпустили из монастыря в 1847 году, взяв с нее обязательство не заниматься более религиозной деятельностью; ей разрешили проживать в Москве, где в 1856 году она умерла. См. [Половцов 1896–1918, 20: 316–320; 14: 531–534].

лицы. Он переехал сначала в Ревель, а затем в Одессу, где умер в 1855 году<sup>118</sup>.

Князь Голицын при Николае I занимал несколько незначительных государственных постов. Потеря зрения заставила его уйти в отставку, в 1842 году он поселился на вилле в Крыму и умер там два года спустя<sup>119</sup>.

Роксандра Стурдза и ее муж граф Эдлинг жили в Германии до 1819 года, когда им пришлось уехать из-за последствий скандала, разразившегося в связи с публикацией книги ее брата «Записка о нынешнем положении Германии» [Sturdza 1818]. Они путешествовали по Италии и Австрии, пока не поселились в фамильном имении Стурдз в Белоруссии, откуда в 1824 году переехали в Бессарабию. Александр I пожаловал Роксандре большую территорию в Манзыре под Одессой, которая представляла собой в то время дикую местность, а при Роксандре стала комбинацией экспериментальной фермы (где работали только свободные крестьяне) и христианской общины со своей школой, церковью и больницей. Таким образом была удовлетворена тяга Роксандры к сельской жизни вдали от «мира» и воплотился ее идеал христианской жизни, наполненной заботами о ближнем; эти заботы о местном населении и общение с семьей брата, жившей неподалеку, компенсировали ей отсутствие собственных детей. Помимо всего прочего она собирала средства на поддержку жертв войны в Греции. Когда в 1825 году умер Александр I, Роксандра поспешила в Таганрог, чтобы утешить овдовевшую императрицу. Елизавета сначала не хотела видеть Роксандру, но в конце концов нашла-таки утешение в разговорах с ней. После смерти мужа Роксандра впервые посетила Париж и Константинополь — две столицы близких ей культур, французской и греческой. Умерла она в Одессе 16 января 1844 года, в возрасте пятидесяти восьми лет, после продолжительной болезни<sup>120</sup>.

<sup>118</sup> См. Flynn, J. T. Magnitskii, Mikhail Leont'evich [Wieczynski 1976–1990].

<sup>119</sup> См. Schlafly, D. L., Jr. Golitsyn, Alexander Nikolaevich [Wieczynski 1976–1990].

<sup>120</sup> См. [Графиня Эдлинг 1896; Sturdza 1858–1861, 3: 50–59]; письма Елизаветы Алексеевны к матери от 12/24 октября, 17/29 декабря 1825 года и 21 декабря 1825 года / 2 января 1826 года, Таганрог [Николай Михайлович 1908–1909, 3: 460, 481, 483–484]. Елизавета пережила мужа всего на несколько месяцев.

Александр Стурдза после ухода в отставку провел несколько лет в Западной Европе, но во время Русско-турецкой войны 1828–1829 годов вернулся к работе в Министерстве иностранных дел. В 1830 году он окончательно оставил государственную службу и уехал в Одессу, где жил с женой и дочерью и активно участвовал в общественной и филантропической деятельности. Он много писал, в том числе воспоминания и работы на религиозные и культурные темы, а также проявлял живой интерес к положению на Балканах; Крымская война представлялась ему столкновением христианства с исламом. 7 июня 1854 года в Манзыре с ним случился апоплексический удар, а вечером 13 июня он умер. Его дочь утешала себя мыслью, что он по крайней мере не успел испытать разочарования в связи с неблагоприятным ходом войны с ненавистными турками<sup>121</sup>.

Адмирал Шишков в 1825 году овдовел: его жена, с которой он прожил много лет, умерла от рака груди<sup>122</sup>. Он и сам плохо себя чувствовал и нуждался в медицинском уходе, но, как человек общительный, не мог жить в одиночестве и спустя год женился вторично. Это вызвало много пересудов в петербургском обществе и раздражало друзей адмирала — отчасти потому, что его новая жена была полячкой и католичкой (что уже вызывало подозрения властей) и Шишков оказался в окружении ее соотечественников (а он, как-никак, был министром просвещения). Гётце обращает внимание на то, что в первый раз адмирал женился на лютеранке, а во второй на католичке, и обе были нерус-

<sup>121</sup> Часть работ Стурдзы приведена в списке литературы в данной книге. О его связях с журналом «Москвитянин» и редактором журнала Погодиным см. [Барсуков 1888–1910, 8: 442; 9: 25–27, 443, 451; 10: 303–304, 359; 12: 191–193]. См. также [Prousis 1992: 328–331]; письмо М. А. Гагариной (урожденной Стурдза) к протоиерею Павловскому от 18 июня 1854 года, Манзырь [Письма Стурдзы 1895: 36–37]. В предисловии к работе Стурдзы «Памятник трудов православных...» дата его смерти указана как 15 июня [Стурдза 1857: xxiii].

<sup>122</sup> Разные источники указывают разные даты ее смерти, но, по-видимому, это произошло 1 сентября. См. РО ИРЛИ. Картотека Б. Л. Модзаалева. Карт. 1827. Елизавета Алексеевна в письме к матери от 18/30 июля 1825 года (Царское Село) упоминает о ее болезни [Николай Михайлович 1908–1909, 3: 436].

ского происхождения. Это, по мнению Гётце, отражало противоречие между воинствующим православным национализмом, характерным для его общественной позиции, и его доброжелательным и терпимым характером<sup>123</sup>. В 1830-е годы Шишков писал мемуары, встречался с друзьями, принимал гостей и активно трудился в Академии Российской, которая была так тесно связана с его именем, что после смерти Шишкова ее присоединили к Российской академии наук. Его зрение стало быстро ослабевать, и он полностью ослеп. Когда Аксаков посетил Шишкова в конце 1840 года, у него возникло ощущение, что перед ним «был уже труп человеческий, недвижимый и безгласный». Однако когда адмирал чувствовал себя хорошо, он проявлял такую же ясность рассудка, какая была свойственна ему в прежние времена [Аксаков 1955–1956, 2: 311].

Умер Шишков 9 апреля 1841 года в возрасте 87 лет. Похороны состоялись 15 апреля, во вторник утром, в половине десятого. Похоронили его рядом с могилой фельдмаршала Суворова в Александро-Невской лавре. Среди пришедших почтить его память был Николай I, четвертый монарх из династии Романовых, которой Шишков служил с тех самых пор, как стал офицером военно-морского флота за 73 года до этого<sup>124</sup>.

---

<sup>123</sup> См. [Пржецлавский 1875: 383]; письмо Вяземского к А. Тургеневу и Жуковскому от 20 ноября 1826 года, Москва [Тарасов 1911–1921, 6: 48]. Петеру Гётце нравилась Юлия Осиповна Шишкова, и он считал, что это счастливый брак [Goetze 1882: 284–285]. См. также [Кочубинский 1887–1888: 288–289]. Аксаков испытывал острую неприязнь к новым польским «друзьям» Шишкова и полагал, что они недостойны адмирала [Аксаков 1955–1956, 2: 308–309].

<sup>124</sup> Согласно устному сообщению М. Файнштейна, Шишков был одним из двух государственных служащих, на чьих похоронах Николай счел нужным присутствовать. Вторым был А. Х. Бенкендорф. См. РО ИРЛИ. Ф. 636. Оп. 2. Д. 15. Пригласительный билет на похороны Шишкова А. С.; [Goetze 1882: 319].

# Заключение

Русские консерваторы Александровской эпохи напоминали других инакомыслящих того времени — прусских реформаторов, французских революционеров. Все они хотели возродить свою нацию и одновременно защитить собственные законные интересы, способствовать укреплению государства — и одновременно созданию свободного общества; и всех их постигла схожая участь, ибо Николай I, Фридрих Вильгельм Прусский, Наполеон и вернувшиеся к власти Бурбоны сами вносили твердой рукой более или менее глубокие изменения в государственное устройство, гася разгоравшиеся идеологические споры холодной политической логикой. Прагматичные государственники предпринимали крутые меры, которых мечтатели как левого, так и правого толка старались избегать. Всплеск всеобщей бурной активности сменился десятилетиями гнетущего застоя.

Для русских консерваторов это было волнующее время, принесшее вместе с тем много разочарований. Желая реализовать свои идеи, они выступали против усиливавшейся бюрократизации правительства и стремились доверить заботу о литературе членам Академии Российской, а формирование общественного мнения — «Беседе любителей русского слова»; регулировать духовную жизнь нации они рассчитывали с помощью правительственных указов. Но все это было тщетно. Их эксперименты оказались недолговечны, так как зависели от изменчивого настроения публики, задевали интересы могущественных структур (как в случае с Библейским обществом) или не удавались из-за внутренних противоречий (как в «двойном министерстве»). Как правило — за исключением тех случаев, когда они поддерживали чьи-либо интересы, защищенные государством, — программы консерваторов, по преимуществу относившиеся к духовной

сфере, трудно было воплотить в конкретные действия правительства, и потому они полагались на человеческий разум, не доверяя безличному административному аппарату. «Хороший царь» должен был нести на плечах груз управления страной, пока общество занимается самонаблюдением и самосовершенствованием; такие понятия, как «старый слог», «Священный союз» и «Древняя Русь», служили метафорами, отражавшими процесс возрождения человеческой души. Эта аполитичность предвосхищала позицию славянофилов и отличала консерваторов Александровской эпохи от бюрократов времен Николая I.

Более того, концепции, лежавшие в основе александровского консерватизма, утратили смысл после 1825 года. Дворянский консерватизм был обречен в первую очередь. В бюрократизированном Российском государстве ничьи «права» публично не обсуждались, и дворяне обосновывали свои привилегии традицией и потребностью монарха в поддержке с их стороны. Между тем основная задача реформаторского чиновничества заключалась как раз в том, чтобы покончить с устаревшими обычаями и добиться независимости короны от кого бы то ни было. Более того, события последнего времени (отмена обязательной службы для дворян, Французская революция, восстание декабристов, появление критически настроенной общественности) поставили под сомнение пользу дворянства и его лояльность и побудили монархов всей Европы, как и России, укрепить власть государства даже ценой отмены сословных привилегий. В российской жизни все большую роль играли бюрократы и интеллектуалы, покусившиеся на прерогативы дворян [Lincoln 1982: 134–135; Malia 1965: 58; Полиевктов 1918: 71, 294; Raeff 1982: 118–120; Кизеветтер 1912: 193–194], всегда казавшиеся тем незыблемыми (владение крепостными, привилегии при получении образования<sup>1</sup>, гарантированное место в государственном аппарате).

<sup>1</sup> О враждебном отношении дворян к университетскому образованию как необходимому условию поступления на службу (особенно если к учебе в университете допускались простолюдины) см. [Flynn 1968] (в заглавии статьи говорится, что в ней рассматривается период 1815–1825 годов, на самом же деле автор пишет о первой половине царствования Александра I).



Консерваторы дворянского направления стали терять свои привилегии одну за другой под действием социальных изменений, одобрявших и даже поощрявших императором.

Романтический национализм Шишкова и Глинки оказался не в лучшем положении<sup>2</sup> — также отчасти из-за того, что он не мог удовлетворить потребности самодержавия и тех, кто поддерживал проводившуюся модернизацию. «Старый слог» проиграл в споре, однако внес свой вклад в образование современного литературного русского языка. Но еще важнее было то, что быстрыми темпами продолжалась европеизация: спустя полстолетия после прихода к власти Николая I крепостное право было отменено, власти, пытаясь хотя бы частично (но не слишком успешно) преодолеть отставание страны, совершенствовали народное образование, запустили полным ходом бюрократическую машину, реформировали судебную систему, ввели воинскую повинность, построили железные дороги и стали развивать промышленность. Государство стремилось установить справедливый строй, добиться социальной стабильности и культурного роста не за счет возврата к традициям предков, а сочетая европеизацию и репрессии.

Идеи Священного союза тоже не удалось воплотить в жизнь. Планы Голицына были сорваны традиционалистами, которые принимали в штыки любое отклонение от православных догм, а программа А. Стурдзы провалилась из-за того, что ее компоненты плохо согласовывались друг с другом. Традиционалистам был чужд его богословский интеллектуализм, а мистиков и католиков не устраивала его преданность православию. Легитимисты возражали против его выступлений в защиту греков, борющихся за независимость, сам же он расходился во взглядах с либералами, которые поддерживали его в этом отношении. Идеализация сельской жизни и солидарность Стурдзы с отсталыми и не имевшими определенного государственного статуса православными народностями Юго-Восточной Европы мешали

---

<sup>2</sup> Э. Таден пишет о двойственном отношении к наследию Шишкова таких романтических националистов, как Погодин и Шевырев [Thaden 1964: 25].

ему правильно оценить социально-политическую динамику эпохи и признать, что России необходимо было обеспечить свою безопасность<sup>3</sup>. Отсталость России и ее активная балканская политика стали причиной ее поражения в Крымской войне в конце жизни Стурдзы, а впоследствии и к краху Российской империи в период Первой мировой войны.

Наиболее удачными мерами по продлению жизни империи в начале XIX века были те, которые предпринимались Козодавлевым и Уваровым. В соответствии с петровской традицией модернизации «сверху» первый из них старался осуществлять ее путем индустриализации, второй же считал, что для усиления государства необходимо привить стране современную культуру<sup>4</sup>. Оба они стали зачинателями процесса по удержанию самодержавия и дворянства на плаву, занявшего целое столетие и заключавшегося в выбрасывании за борт остатков старого режима, которые они рассматривали как лишний балласт.

В итоге эта тактика создала предпосылки для более кардинальных изменений, а сама оказалась ненужной. В ходе экономического развития страны с появлением новых видов коммуникации и миграцией людей между городом и деревней происходило ослабление связей крестьян с помещиками и дворянства с государством, и в результате жизненно важные структурные элементы старого режима были отброшены. Отдаленные последствия таких постепенно нараставших изменений можно было наблюдать на примере Германии, которая в целом предложила оптимальный сценарий пожинания плодов модернизации без затрат на революцию. В 1914 году Вильгельм II был уже вынужден заискивать перед промышленниками и банкирами, мелкой буржуазией и рейхстагом, заполненным социал-демократами, в то время как власть юнкеров, давно лишившихся к этому времени своих рабов и большинства привилегий, была лишь жалкой тенью могущества их дедов. Абсолютизм ушел в прошлое, целый ряд гражданских свобод был узаконен, и монарх мог лишь на-

<sup>3</sup> См. [Prousis 1987: 331].

<sup>4</sup> См. [Whittaker 1978a: 94–119].

деяться, что крестьяне и средний класс не приведут к власти социалистов. Хотя отдельные элементы старого режима в Германии «упорствовали» (по выражению Арно Мейера) не только до 1914 года, но и позже, «упорство» жалких остатков прежней власти дворян было бы слабым утешением для Ростопчина или Шишкова. Ретроспективно выживание немецкого дворянства можно списать разве что на замечательную жизненную цепкость, но в 1825 году факт исчезновения старого привычного уклада представлялся, по-видимому, гораздо более значительным. Социально-экономические изменения обладали таким зарядом энергии, что попытки контролировать их были обречены. Консерваторы Александровской эпохи понимали это лучше реформаторов. Они рассчитывали, что Россия сможет предотвратить радикальные перемены, но не надеялись на то, что перемены пойдут на пользу старому режиму.

Перемены, страшившие консерваторов, ассоциировались с Европой, от которой они впредь хотели изолировать Россию. Но они и сами являлись продуктом европеизации России и не могли понять, почему она была некогда благом, а затем стала злом. Разве сомнительные реформаторские планы Александра I не были логическим продолжением реформ, проводившихся Романовыми до него? Да, Екатерина II — в отличие от ее сына и внука — не покушалась на привилегии дворян, но ведь до Французской революции вестернизация не казалась столь взрывоопасной, и лишь немногие консерваторы (включая А. Стурдзу) рассматривали просвещенный абсолютизм и революцию как части единого процесса. Хотя консерваторы видели корни современных проблем в вестернизации, происходившей при старом режиме, решения, предлагаемые ими, свидетельствовали о влиянии западной мысли — даже в тех случаях, когда эти решения были на первый взгляд антизападными. Фантазии романтических националистов о Древней Руси, как и мечта Стурдзы о нравственно очищенной православной России, стоящей в центре христианского европейского сообщества, были своего рода видоизменением таких продуктов идеологического импорта, как французский язык и античная классика, с заменой их церковнославянским

языком и допетровской Русью. Оживляя отдельные элементы недопонятого ими русского прошлого, романтические националисты хотели восстановить на их основе порядок, существовавший в XVIII столетии, который на самом деле был всего лишь этапом непрерывного процесса европеизации России. Таким образом, справедливо выступая против разлагающего воздействия социальных и культурных изменений, они не различали глубинных исторических сил, движущих Россией. В итоге, несмотря на провидческие предупреждения относительно будущих ошибок, они не могли противопоставить им конструктивных мер. Предлагаемые ими негативные средства — репрессии, цензура — были лишь паллиативами, а позитивные — «старый слог», «двойное министерство» и другие — ничего им не дали, так как они не понимали, в чем причина недугов, поразивших старый режим.

Несмотря на эти неудачи, консервативные мыслители внесли существенный вклад в русскую культуру. Во-первых, они способствовали развитию гражданского общества, привлекая внимание публики — через ростопчинские памфлеты, «Русский вестник» Глинки, «Беседу любителей русского слова» или Библейское общество — к общественным вопросам. Во-вторых, они проповедовали более гуманное отношение к крестьянству. Шишков считал крестьянскую культуру противоядием от вредного воздействия вестернизации<sup>5</sup>, Глинка воспевал в 1812 году единение классов, Стурдза выступал за отмену крепостного права и распространение всеобщей грамотности. И наконец, они пробуждали в русских людях чувство национальной идентичности: Глинка и Карамзин знакомили их с историей допетровской Руси, Шишков раскрывал перед ними ценность славянского наследия, а Стурдза протягивал нити ко всему православному миру.

---

<sup>5</sup> Интерес Шишкова к народной культуре был перенят после 1815 года многими молодыми литераторами, включая некоторых декабристов. Однако они зачастую придавали своим произведениям абсолютно чуждый Шишкову либеральный в социальном и политическом отношении уклон и формировали на его основе романтико-националистические идеи. См. [Christoff 1970: 31–33; Bonamour 1965: 79, 87–88].

Все эти усилия, вместе взятые, способствовали коренному изменению направления российской общественной мысли. Стимул к вестернизации, достигший пика в 1801–1815 годы, стал ослабевать. Подобно тому как искусственное насыщение русской речи старославянизмами, принятое в XVIII веке, было объявлено Шишковым стародавней традицией, также и европейское «регулярное» государство, представавшее как образец в конце XVIII века, стало рассматриваться как неотъемлемая русская особенность при Николае I, а затем и при Александре III и Николае II. В интеллектуальной сфере привилось консервативное понятие русской исключительности, которое коренилось в представлении Карамзина о ценности самодержавия, идеях Шишкова о славянской идентичности и православной вере Стурдзы<sup>6</sup>.

Все это предвосхищало лозунг «Православие, самодержавие, народность», сформулированный Уваровым в эпоху Николая I. Однако значение самих этих понятий к этому времени изменилось. Если для Карамзина самодержавие было краеугольным камнем традиционного общества, управляемого дворянством, то Уваров считал основной опорой государства реформаторскую бюрократию. Шишков хотел, чтобы Россия вернулась к своим культурным и духовным корням, а Уваров надеялся, что стабильность империи обеспечит *модернизированная русская культура*<sup>7</sup>. Православие было для Стурдзы словом Божиим, Уваров же видел в нем лишь средство сплочения общества. Консерватизм Александровской эпохи отличался от николаевской «официальной народности» тем, что он не уделял особого внимания интересам государства. Это обеспечивало цельность его теории, но не позволяло увязать теорию с практикой, потому что, ратуя за духовное обновление общества, консерваторы не заботились о том, кто и каким образом будет это обновление осуществлять. В противоположность им, Николай I с Уваровым соединили стремление к модернизации с упором на национализм и придали

<sup>6</sup> См. [Hartley 1992, passim].

<sup>7</sup> Рязановский пишет, то Николай I и его окружение относились к традиционному национализму с недоверием [Riasanovsky 1959: 227–231, 237–238].

этому начинанию государственно-авторитарный уклон. Это сделало «теорию официальной народности» более эффективной и политически жизнеспособной, чем предыдущие подобные попытки, но достигнуто это было ценой подавления гражданских прав и свобод и принесения интеллектуальной целостности и моральных принципов в жертву требованиям момента.

Консерваторы, которым посвящена данная книга, в целом представляют европейскую культуру своего времени. Дворянский консерватизм, романтический национализм и религиозный консерватизм были влиятельными силами в разных странах Европы. В некоторых случаях, особенно в религиозной среде, русские консерваторы вступали в прямой диалог с западными, но часто они приходили к аналогичным выводам в силу того, что были носителями одной и той же культуры. Они также участвовали в закладке фундамента сформировавшейся позднее идеологии «правых». На основе предполитической культуры русского Просвещения они разработали консервативные концепции, служившие отправной точкой для последующих мыслителей. Их деятельность демонстрирует исторически обусловленные трудности, с которыми сталкивались попытки создания консервативной идеологии в постпетровской России: обращение Глинки к русской истории противоречило выступлениям Ростопчина в поддержку дворянских привилегий, а голицынской политике христианизации противостояла православная церковь. Культурные и религиозные традиции (лежавшие в основе консервативного образа мыслей) настолько не совпадали с интересами правящей элиты (социальной базы консерватизма), что выработка единой консервативной идеологии становилась невозможной.

Ранние консерваторы стали основателями различных, порой противоречащих друг другу форм консерватизма, полностью развившихся к концу существования Российской империи. Реформаторы-государственники — такие как С. Ю. Вите и П. А. Столыпин — продолжали традицию просвещенного абсолютизма, сохраняя внешние атрибуты идеологии консервативного национализма. Реакционные государственные деятели — например Победоносцев — считали, что государство должно предотвращать

изменения общественного устройства, а не содействовать им<sup>8</sup>. И наконец, одна из ветвей консерватизма, представленная славянофилами и их последователями, брала начало в гражданском обществе и перенимала идеи Шишкова о славянской традиции, Глинки — о социальной гармонии в Древней Руси и Стурдзы — о моральном превосходстве православия<sup>9</sup>.

Таким образом, консерваторы Александровской эпохи, как мы видели, не до конца следовали основным принципам петровского наследия. Более того, фундаментальные противоречия внутри консервативного движения между защитниками своих законных послереволюционных интересов и сторонниками сохранения дореволюционных культурных традиций не были разрешены ни революцией Ленина — Сталина, ни перестройкой Горбачева — Ельцина. Разрушение имперских режимов с сопутствующими переворотами чудовищного масштаба, казалось, только углубляли расхождение между борцами за новый режим и поборниками старых добродетелей. С одной стороны, представителям советской и постсоветской элиты, победившим в сталинской и горбачевской революциях, было трудно обосновать законность своей власти и привилегий их происхождением от старых традиций (хотя советская власть прославляла царей и военные победы императорской России, а постсоветская пыталась возродить символику имперского прошлого, переименовывая города и улицы, меняя государственный герб и флаг, восстанавливая церкви и т. д.). Стремление элиты утвердить свой статус, увязывая его как с далеким прошлым, так и с современным прогрессом (будь то социалистическим или капиталистическим), напоминает попытки консерваторов дореволюционного режима выступать одновременно в качестве реформаторов и наследников допетровской традиции. С другой стороны, А. И. Солженицын, представитель культурного традиционализма в романтическом на-

---

<sup>8</sup> См. [Pobedonostsev 1965].

<sup>9</sup> Как подчеркивает Л. Мюллер, Стурдза служил интеллектуальным соединительным звеном между православными консерваторами 1820-х годов и славянофилами [Müller 1951: 27].

ционалистически-славянофильском духе и, возможно, самый выдающийся современный консервативный мыслитель и моралист, безжалостно преследовался советским режимом; будучи врагом коммунистического строя, он не нашел общего языка и с руководством посткоммунистической Российской Федерации во главе с Ельциным<sup>10</sup>. До тех пор, пока крутые исторические перевороты вроде осуществленных Петром I и Лениным — Сталиным будут доминировать в сознании русских людей, вызванные ими противоречия и напряжение будут, по всей вероятности, оставаться в центре русской консервативной мысли и политики.

---

<sup>10</sup> См. [Солженицын 1990: 26, 29, *passim*] и его статью «What Kind of Democracy Is This?» («Что это за демократия?»), опубликованную в «Нью-Йорк таймс» от 4 января 1997 года. Я благодарю Джейкоба и Нору Калтенбах, которые привлекли мое внимание (как и внимание других историков) к этой заметке Солженицына.



# Источники

## А) Архивы

АВПРИ — Архив внешней политики Российской империи, Москва:  
Фонд 133. Канцелярия министра иностранных дел России

ОАД РНБ — Отдел архивных документов Российской Национальной библиотеки, Санкт-Петербург:

Фонд 143. Г. И. Вилламов

Фонд 656. Д. П. Рунич

Фонд 862. А. С. Шишков

РГАВМФ — Российский государственный архив Военно-морского флота, Санкт-Петербург:

Фонд 166. Департамент морского министра, по части Адмиралтейского департамента

Фонд 406.

РГАДА — Российский государственный архив древних актов, Москва:

Фонд 3. Дела, относящиеся до внутренней и внешней политики России

РГВИА — Российский государственный военно-исторический архив, Москва:

Фонд 474. Собрание Военно-исторического архива

РГИА — Российский государственный исторический архив, Санкт-Петербург:

Фонд 732. Главное правление училищ

Фонд 733. Департамент народного просвещения

Фонд 734. Ученый комитет

Фонд 777. Петроградский комитет по делам печати (Петербургский цензурный комитет)

Фонд 1163. Комитет охранения общей безопасности

Фонд 1673. А. С. Шишков

РО ИРЛИ — Рукописный отдел Института русской литературы Российской академии наук, Санкт-Петербург:

- Фонд 154. Архив И. Н. Лобойко  
 Фонд 263. Архив Д. П. Рунича  
 Фонд 265. Архив журнала «Русская старина»  
 Фонд 288. Архив А. С. Стурдзы  
 Фонд 322. Архив Д. И. Хвостова  
 Фонд 358. Архив кн. М. И. Кутузова-Смоленского  
 Фонд 636. Архив А. С. Шишкова  
 Картотека Б. Л. Модзалевского  
 СПбФ АРАН — Санкт-Петербургский филиал Архива Российской академии наук, Санкт-Петербург:  
 Фонд 100. Дубровин Николай Федорович (документы в этом собрании являются, как правило, не оригиналами, а копиями)  
 Частная коллекция д-ра Франсиса Лея — Частная коллекция д-ра Франсиса Лея. Archives de la Ville de Genève, Switzerland.  
 UBB — Universitätsbibliothek Basel:  
 Handschriftlicher Nachlaß Schwarz, Abt. X, letters from Roksandra Sturdza to Johann-Heinrich Jung-Stilling.

## **Б) Прочее**

- Аксаков 1955–1956 — Аксаков С. Т. Собрание сочинений: в 4 т. / Под ред. С. Машинского. М.: Художественная литература, 1955–1956.  
 Александр Семенович Шишков 1889 — Александр Семенович Шишков, 1824 г. // Русская старина. Т. 62. 1889. Май. С. 466–467.  
 Александр Семенович Шишков 1896 — Александр Семенович Шишков и две всеподданнейшие его записки // Русская старина. Т. 87. 1896. Сентябрь. С. 573–589.  
 Альтшуллер, Тартаковский 1962 — Альтшуллер Р. Е., Тартаковский А. Г. Листовки Отечественной войны 1812 года. Сб. документов. М.: АН СССР, 1962.  
 Архив Воронцова 1870–1895 — Архив князя Воронцова: в 40 т. М., 1870–1895.  
 Батюшков 1989 — Батюшков К. Н. Сочинения: в 2 т. М.: Художественная литература, 1989.  
 Брокер 1893 — Брокер А. Ф. Биография графа Федора Васильевича Ростопчина, составленная А. Ф. Брокером в 1826 году // Русская старина. Т. 77. 1893. Январь. С. 161–172.  
 Булгаков 1843 — Булгаков А. Я. Разговор неаполитанского короля Мюрата с генералом графом М. А. Милорадовичем на аванпостах армии

14 октября 1812 года (Отрывок из «Воспоминаний 1812 года») // Москвитянин. Кн. 2. 1843. С. 499–520.

Вигель 1928 — Вигель Ф. Ф. Записки: в 2 т. / Под ред. С. Я. Штрайха. М.: Крут, 1928.

Возражение неизвестного 1860 — Возражение неизвестного на книгу, сочиненную графом Стройновским, «О условиях с крестьянами» // Чтения в Императорском Обществе истории и древностей российских. Кн. 2. 1860. Апрель-июнь. С. 195–202. Другой вариант этого текста был опубликован под названием «Возражение князя Володимира Михайловича Волконского на книгу “О условиях помещиков с их крестьянами”, сочинения графа Стройновского 1811 года» // Там же. Кн. 4. «Разное». 1872. С. 180–185.

Вяземский 1878–1896 — Вяземский П. А. Полное собр. соч. князя П. А. Вяземского: в 12 т. / Под ред. С. Д. Шереметева. СПб., 1878–1896.

Герцен 1954–1966 — Герцен А. И. Собр. сочинений: в 30 т. М.: АН СССР, 1954–1966.

Глинка 1809 — Глинка С. Н. Зеркало нового Парижа, от 1789 до 1809 года: в 2 т. М.: Московский университет, 1809.

Глинка 1836 — Глинка С. Н. Записки о 1812 годе Сергея Глинки, первого ратника московского ополчения. СПб.: Имп. Российская Академия, 1836.

Глинка 1837 — Глинка С. Н. Записки о Москве и о заграничных происшествиях от исхода 1812 до половины 1815 года, с присовокуплением статей: I) Александр Первый и Наполеон. II) Наполеон и Москва. СПб.: Российская академия, 1837.

Глинка 1895 — Глинка С. Н. Записки Сергея Николаевича Глинки. СПб.: Русская старина, 1895.

Глинка 1987 — Глинка Ф. Н. Письма русского офицера. М.: Воениздат, 1987.

Графиня Эдлинг 1896 — Графиня Р. С. Эдлинг в письмах к В. Г. Теплякову // Русская старина. Т. 87. / Под ред. А. Ф. Шидловского. 1896. Август. С. 405–422.

Греч 1990 — Греч Н. И. Записки о моей жизни / Под ред. Е. Г. Капустина. М.: Книга, 1990.

Державин 1871 — Державин Г. Р. Записки Державина (1743–1812) // Сочинения Державина с объяснительными примечаниями Я. Грота. Т. 6: Переписка и «Записки». СПб.: Имп. Академия наук, 1871.

Дмитриев 1869 — Дмитриев М. А. Мелочи из запаса моей памяти. М.: Русский архив, 1869.

Дмитриев 1895 — Дмитриев И. И. Взгляд на мою жизнь. 1823. Переиздание «Сочинений Ивана Ивановича Дмитриева» / Под ред. А. А. Флоридова. СПб., 1895.

Дмитрий Павлович Рунич 1898 — Дмитрий Павлович Рунич (Материалы для его биографии) // Русская старина. Т. 95. 1898. Август. С. 389–394.

Долгоруков 1854–1857 — Долгоруков П. В. Российская родословная книга: в 4 т. СПб.: Тип. К. Вингебера, 1854–1857.

Дубровин 1882 — Отечественная война в письмах современников (1812–1815). Приложение к «Запискам Императорской Академии наук» / Под ред. Н. Ф. Дубровина. Т. 43. № 1. СПб.: Имп. Академия наук, 1882.

Жихарев 1989 — Жихарев С. П. Записки современника: в 2 т. Л.: Искусство, 1989.

Жуковский 1960 — Жуковский В. А. Собрание сочинений: в 4 т. М.–Л.: Художественная литература, 1960.

Знакомство и переписка Гоголя 1899 — Знакомство и переписка Н. В. Гоголя с А. С. Стурдзой / Под ред. А. Ф. Шидловского. Первоначальная публикация: Вестник всемирной истории. № 1. 1899.

Иванов 1833 — Иванов В. М. Записки, веденные во время путешествия императрицы Елизаветы Алексеевны по Германии в 1813, 1814 и 1815 годах: в 2 т. СПб.: Тип. И. Глазунова, 1833.

Карамзин 1862 — Карамзин Н. М. Неизданные сочинения и переписка Николая Михайловича Карамзина. Т. 1. СПб.: Тип. Н. Тиблена и комп., 1862.

Карамзин 1982 — Карамзин Н. М. Избранные статьи и письма. М.: Современник, 1982.

Карамзин 1991 — Карамзин Н. М. Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях. М.: Наука, 1991.

Картавов 1904 — Летучие листки 1812 года. Ростопчинские афиши / Под ред. П. А. Картавова. СПб.: Тип. М. Виленчика, 1904.

Коленкур 1991 — Коленкур А. де. Поход Наполеона в Россию. Мемуары. Смоленск: Смядынь, 1991.

Лабзина 1914 — Воспоминания Анны Евдокимовны Лабзиной, 1758–1828 / Под ред. Б. Л. Модзалевского. СПб.: Тип. Б. М. Вольфа, 1914.

Лимонов 1991 — Россия первой половины XIX в. глазами иностранцев / Под ред. Ю. А. Лимонова. Л.: Лениздат, 1991.

Лопухин 1990 — Лопухин И. В. Записки сенатора И. В. Лопухина. М.: Наука, 1990. С издания 1859 г.

Любяновский 1872 — Любяновский Ф. П. Воспоминания Федора Петровича Любяновского // Русский архив. 1872. С. 449–533.

Магницкий 1844 — Магницкий М. Л. Дума на гробе графини Роксандры Эдлинг, урожденной Стурдзы // Москвитянин. Т. 2. 1844. № 3. С. 87–91.

Магницкий 1861 — Магницкий М. Л. Мнение действительного статского советника Магницкого о науке естественного права; Речь к Императорскому Казанскому университету, произнесенная попечителем оного Магницким 15 сентября 1825 года; Отношение попечителя Казанского учебного округа к митрополиту Новгородскому, С.-Петербургскому, Эстляндскому и Финляндскому от 24 мая 1824 года // Чтения в Императорском Обществе истории древностей российских. Кн. 4. «Разное». 1861. Октябрь–декабрь. С. 157–163.

Маркович 1939 — Маркович А. Жозеф де Местр и Сент-Бёв в письмах к Р. Стурдзе-Эдлинг // Литературное наследство. Т. 33–34. М.: Жур.-газ. объединение, 1939. С. 379–456.

Модзалевский 1913 — К биографии Новикова. Письма его к Лабзину, Чеботареву и др. 1797–1815 // Русский библиофил. / Под ред. Б. Л. Модзалевского. 1913. № 3. С. 5–39 (ч. 1). 1913. № 4. С. 14–42 (ч. 2).

Николай Михайлович 1908–1909 — Николай Михайлович, вел. кн. Императрица Елисавета Алексеевна, супруга императора Александра I: в 3 т. СПб.: Экспедиция заготовления гос. бумаг, 1908–1909.

Николай Михайлович 1913 — Николай Михайлович, вел. кн. Донесения австрийского посланника при русском дворе Лебзельтерна за 1816–1826 годы. СПб.: Экспедиция заготовления гос. бумаг, 1913.

Оболенский 1876 — Хроника недавней старины. Из архива князя Оболенского-Нелединского-Мелецкого / Под ред. Д. Оболенского. СПб., Тип. Второго отд. Собственной Е. И. В. канцелярии, 1876.

ОВИРО 1911–1912 — Отечественная война и русское общество: 1812–1912: Юбил. изд.: В 7-ми т. / под ред. А. К. Дживелегова, С. П. Мельгунова, В. И. Пичета. М.: Т-во И. Д. Сытина, 1911–1912.

О графе Ростопчине 1861 — О графе Ф. П. Ростопчине и о событиях 1812 года в Москве // Чтения в Императорском Обществе истории и древностей российских. Кн. 4. «Разное». 1861. Октябрь–декабрь. С. 167–182.

Переписка Жуковского 1855 — Переписка В. А. Жуковского с А. С. Стурдзою / Под ред. Диктиадиса. Одесса: Гор. тип., 1855.

Переписка императора 1893 — Переписка императора Александра Павловича с графом Ф. В. Ростопчиным, 1812–1814 гг. // Русская старина. Т. 77. 1893. Январь. С. 173–208.

Письма великой княгини 1870 — Письма великой княгини Екатерины Павловны к инженер-генералу Ф. П. Деволану // Русский архив. 1870. С. 1967–2014.

Письма императора 1888 — Письма императора Александра Павловича к Р. С. Стурдзе (графине Эдлинг) // Русский архив. 1888. Вып. 11. С. 373–377.

Письма императрицы 1888 — Письма императрицы Елизаветы Алексеевны к Р. С. Стурдзе (графине Эдлинг) // Русский архив. 1888. Вып. 11. С. 378–384.

Письма Карамзина 1866 — Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву / Под ред. Я. Грота и П. Пекарского. СПб., 1866.

Письма Карамзина 1897 — Письма Н. М. Карамзина к князю П. А. Вяземскому, 1810–1826 (Из Остафьевского архива) / Под ред. Н. Барсукова. СПб.: Тип. М. Стасюлевича, 1897.

Письма Лопухина 1870 — Письма И. В. Лопухина к Д. П. Руничу // Русский архив. 1870. С. 1215–1236.

Письма Новикова 1871 — Письма Николая Ивановича Новикова к Д. П. Руничу // Русский архив. 1871. С. 1013–1094.

Письма Ростопчина 1892 — Письма графа Ф. В. Ростопчина к императору Александру Павловичу // Русский архив. 1892. Вып. 8. С. 419–446, 519–565.

Письма Ростопчина 1913 — Письма графа Ф. В. Ростопчина к А. Ф. Лабзину // Русская старина. Т. 153. / Под ред. Б. Л. Модзалевского. 1913. Февраль. С. 419–430.

Письма Стурдзы 1894 — Письма А. С. Стурдзы к Иннокентию, архиепископу Херсонскому и Таврическому. Одесса: «Слав.» тип. Н. Хрисогелос, 1894.

Письма Стурдзы 1895 — Письма А. С. Стурдзы к его духовнику, протоиерею М. К. Павловскому. Одесса: «Слав.» тип. Н. Хрисогелос, 1895.

Письма Шишкова 1896 — Письма А. С. Шишкова к графу Дмитрию Ивановичу Хвостову // Русская старина. Т. 86. 1896. Апрель. С. 33–38.

Письмо Ростопчина 1876 — Письмо графа Ф. В. Ростопчина к великой княгине Екатерине Павловне // Русский архив. 1876. С. 374–375.

Письмо Ростопчина 1905 — Письмо графа Ростопчина к императору Александру I-му с доносом на Сперанского // Русская старина. Т. 122. 1905. Май. С. 412–416.

Письма Тургенева 1939 — Письма Александра Тургенева к Булгаковым / Под ред. А. А. Сабурова и И. К. Луппол. М.: Гос. соц.-экономическое изд-во, 1939.

Письмо Эдлинг 1891 — Письмо графини Эдлинг к графу Каподистрию // Русский архив. 1891. Вып. 11. С. 419–423.

Политическая переписка 1892 — Политическая переписка генерала Савари во время пребывания его в С.-Петербурге в 1807 г. // Сборник Императорского русского Исторического общества. Т. 83. СПб.: Тип. А. Траншеля, 1892.

Пржецлавский 1875 — Пржецлавский О. А. Александр Семенович Шишков, 1754–1841. Воспоминания О. А. Пржецлавского // Русская старина. Т. 13. 1875. Июль. С. 383–402.

Пушкин 1888 — Письма великой княгини Екатерины Павловны / Под ред. Е. А. Пушкина. Тверь: Тип. Губ. правления, 1888.

Пушкин 1950–1951 — Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: в 10 т. М.: АН СССР, 1950–1951. Рескрипт 1902 — Рескрипт Александра I графу Ростопчину по поводу письма его о слухах и беспорядках в провинции // Русская старина. Т. 111. 1902. Сентябрь. С. 634.

Ростопчин 1853 — Сочинения Ростопчина (графа Федора Васильевича) / Под ред. А. Смирдина. СПб., 1853.

Ростопчин 1860 — Замечание графа Ф. В. Ростопчина на книгу г-на Стройновского // Чтения в Императорском Обществе истории и древностей российских. Кн. 2. 1860. Апрель–июнь. С. 203–217.

Ростопчин 1875 — Записка о мартинистах, предоставленная в 1811 году графом Ростопчиным великой княгине Екатерине Павловне // Русский архив. Кн. 3. 1875. С. 75–81.

Ростопчин 1883 — Москва в 1812 году. Граф Ростопчин — князю Багратиону // Русская старина. Т. 40. 1883. Декабрь. С. 649–651.

Ростопчин 1889 — Ростопчин Ф. В. Тысяча восемьсот двенадцатый год в «Записках графа Ф. В. Ростопчина» / Пер. И. И. Ореуса // Русская старина. Т. 64. 1889. Декабрь. С. 643–725.

Ростопчин 1992 — Ростопчин Ф. В. Ох, французы! / Под ред. Г. Д. Овчинникова. М.: Русская книга, 1992.

Рунич 1901 — Рунич Д. П. Из записок Рунича / Пер. В. В. Тимошук // Русская старина. Т. 105. 1901. Январь. С. 47–77 (ч. 1); 1901. Февраль. С. 325–357 (ч. 2); 1901. Март. С. 596–633 (ч. 3); Т. 106. 1901. Апрель. С. 153–168 (ч. 4); 1901. Май. С. 373–394 (ч. 5).

Русский вестник.

Русский путешественник 1897 — Русский путешественник прошлого века за границей (Собственноручные письма А. С. Шишкова 1776 и 1777 гг.) // Русская старина. Т. 90. 1897. Май. С. 409–423 (ч. 1); 1897. Июнь. С. 619–632 (ч. 2); Т. 91. 1897. Июль. С. 197–224 (ч. 3).

Саитов 1899–1913 — Остафьевский архив князей Вяземских: в 5 т. / Под ред. В. И. Саитова. СПб.: Шереметев, 1899–1913.

Сборник 1867–1916 — Сборник Императорского русского исторического общества: в 148 т. СПб., 1867–1916.

Солженицын 1990 — Солженицын А. И. Как нам обустроить Россию: Посильные соображения. Л.: Советский писатель, 1990.

Степанов, Вермаль 1937 — Жозеф де Местр в России // Литературное наследство. Т. 29–30. / Под ред. М. Степанова и Ф. Вермаля. М.: Жур.-газ. объединение, 1937. С. 577–726.

Стурдза 1817а — Стурдза А. С. О частной благотворительности // Журнал Императорского Человеколюбивого общества, издаваемый Комитетом оною по ученой части. Ч. 2. 1817. Ноябрь. С. 217–228.

Стурдза 1817б — Стурдза А. С. О благотворительности общественной // Журнал Императорского Человеколюбивого общества, издаваемый Комитетом оною по ученой части. Ч. 2. 1817. Декабрь. С. 364–384.

Стурдза 1817в — Стурдза А. С. Опыт учебного предначертания для преподавания российскому юношеству греческого языка, сочинение Александра Стурдзы, читанное в «Беседе любителей русского слова» в 1812 году. СПб.: Толмачев, 1817.

Стурдза 1818а — Стурдза А. С. Мысли о любви к отечеству. СПб., 1818.

Стурдза 1818б — Стурдза А. С. Наставление для руководства Ученого комитета, учрежденного при Главном Правлении училищ. СПб., 1818.

Стурдза 1830 — Стурдза А. С. Ручная книга православного христианина / Пер. с греч. С. Дестуниса. СПб.: Тип. К. Крайя, 1830.

Стурдза 1833 — Стурдза А. С. Вера и ведение, или Рассуждение о необходимом согласии в преподавании религии и наук питомцам учебных заведений. Одесса: Гор. тип., 1833.

Стурдза 1834 — Стурдза А. С. О влиянии земледельческих занятий на умственное и нравственное состояние народов. Одесса: Гор. тип., 1834.

Стурдза 1842а — Стурдза А. С. Идеал и подражание в изящных искусствах. М., 1842.

Стурдза 1842б — Стурдза А. С. Нечто о этимологии и эстетике по отношению к истории и к науке древностей. М.: Универс. тип., 1842.

Стурдза 1843 — Стурдза А. С. Письма о должностях священного сана. 3-е изд. Одесса: Гор. тип., 1843.

Стурдза 1844 — Стурдза А. С. Нечто о философии христианской. М.: Универс. тип., 1844.



Стурдза 1847 — Стурдза А. С. Об Иване Никитиче Инзове // Москвитянин. Кн. 1. 1847. С. 217–228.

Стурдза 1847 — Стурдза А. С. Записная книжка путешественника против воли. М.: Универс. тип., 1847.

Стурдза 1848 — Стурдза А. С. Христианские беседы исторические и нравственные. Одесса: Тип. Т. Неймана и комп., 1848.

Стурдза 1848 — Стурдза А. С. О всенародном распространении грамотности. Донесение Императорскому Московскому Обществу сельского хозяйства. М.: Универс. тип., 1848.

Стурдза 1851 — Стурдза А. С. «Беседа любителей русского слова» и «Арзамас» в царствование Александра I-го и мои воспоминания // Москвитянин. Кн. 1. 1851. Ноябрь. № 21. С. 3–22.

Стурдза 1852 — Стурдза А. С. Дань памяти В. А. Жуковского и Н. В. Гоголя // Москвитянин. Кн. 2. 1852. № 20. С. 213–228.

Стурдза 1857 — Стурдза А. С. Памятник трудов православных благовестников русских с 1793 до 1853 года. М., 1857.

Стурдза 1868 — Стурдза А. С. Воспоминания о Михаиле Леонтьевиче Магницком // Русский архив. 1868. С. 926–938.

Стурдза 1846 — Стурдза А. С. Воспоминания о Николае Михайловиче Карамзине // Москвитянин. Кн. 9. 1846. С. 145–154.

Стурдза 1859 — Стурдза А. С. Надгробное слово князю Александру Николаевичу Голицыну. СПб.: Воен. тип., 1859.

Стурдза 1864 — Стурдза А. С. Воспоминания о жизни и деяниях графа И. А. Каподистрии, правителя Греции // Чтения в Императорском Обществе истории и древностей российских. Кн. 2. Материалы отечественные. 1864. Апрель-июнь. С. 1–192.

Стурдза 1876 — Стурдза А. С. О судьбе православной церкви русской в царствование императора Александра I-го. (Из записок А. С. Стурдзы) // Русская старина. Т. 15. 1876. Февраль. С. 266–288.

Суворин 1889 — Ростопчинские афиши 1812 года / Под ред. А. С. Суворина. СПб., 1889.

Тарасов 1911–1921 — Архив братьев Тургеневых: в 6 т. / Под ред. Е. И. Тарасова. СПб.; Пг.: Императорская академия наук — Российская академия наук, 1911–1921.

Три письма Ростопчина 1869 — Три письма графа Ф. В. Ростопчина к великой княгине Екатерине Павловне // Русский архив. 1869. С. 759–762.

Тургенев 1964 — Тургенев А. И. Хроника русского. Дневники (1825–1826 гг.) / Под ред. М. И. Гиллельсона. М.–Л.: Наука, 1964.

Хвостов 1938 — Хвостов Д. И. Из архива Хвостова // Литературный архив. Материалы по истории литературы и общественного движения. Т. 1. (Академия Наук СССР. Институт литературы. Пушкинский Дом). / Под ред. А. В. Западова. М.–Л.: Изд-во Академии Наук СССР, 1938. Чаадаев 1991 — Чаадаев П. Я. Полное собрание сочинений и избранные письма: в 2 т. М.: Наука, 1991.

Шишков 1818–1834 — Шишков А. С. Собрание сочинений и переводов адмирала Шишкова: в 16 т. СПб.: Тип. Имп. Росс. Академии, 1818–1834.

Шишков 1834 — Шишков А. С. Записки адмирала А. С. Шишкова, веденные им вовремя путешествия его из Кронштадта в Константинополь. СПб.: Тип. Имп. Росс. Академии, 1834.

Шишков 1837 — Шишков А. С. Путь чести, или Советы молодому офицеру. М.: Универс. тип., 1837.

Шишков 1870 — Шишков А. С. Записки, мнения и переписка адмирала А. С. Шишкова: в 2 т. / Под ред. Н. Киселева и Ю. Самарина. Берлин, 1870.

Шлёцер 1875 — Шлёцер А. Л. фон. Общественная и частная жизнь Августа Людвига Шлёцера, им самим описанная. Пребывание и служба в России от 1761 до 1765 г. Известия о тогдашней русской литературе / Пер. и ред. В. Кеневича // Сборник Отделения русского языка и словесности Имп. Академии наук. Т. 13. СПб., 1875.

Щукин 1897–1908 — Бумаги, относящиеся до Отечественной войны 1812 года: в 10 т. / Под ред. П. И. Щукина. М., 1897–1908.

Adams 1970 — John Quincy Adams in Russia, comprising portions of The Diary of John Quincy Adams from 1809 to 1814 / Ed. by C. F. Adams. New York, Washington D. C., and London, 1970.

Chichagov 1909 — Chichagov P. V. Mémoires de l'amiral Paul Tchitchagof, commandant en chef de l'armée du Danube, gouverneur des principautés de Moldavie et de Valachie en 1812 / Ed. par C. G. Lahovary. Paris, Bucharest, 1909.

Choiseul-Gouffier 1900 — Choiseul-Gouffier S. de. Historical Memoires of the Emperor Alexander I and the Court of Russia / transl. by M. B. Paterson. Chicago: A. C. McClurg & Co., 1900.

Le Conservateur Impartial.

Edling 1888 — Edling R. S. Mémoires de la comtesse Edling (née Stourdza) demoiselle d'honneur de Sa Majesté l'Imperatrice Elisabeth Alexéevna. M.: St.é Synode, 1888.

Falloux 1901 — *Letters de Madame de Swetchine* / Ed. par A. P. F. de Falloux. 6e ed. T. 1. Paris: Perrin et Cie, 1901.

Ferdinand Christin 1882 — *Ferdinand Christin et la Princesse Tourkestanow, lettres écrites de Pétersbourg et de Moscou, 1813–1819* // *Archives Russes*. M., 1882.

Goetze 1882 — *Goetze P. von. Fürst Alexander Nikolajewitsch Galitzin und seine Zeit. Aus den Erlebnissen des Geheimraths Peter von Goetze*. Leipzig: Duncker, 1882.

Golovina 1910 — *Golovina V. N. Souvenirs de la Comtesse Golovine née Princesse Galitsine 1766–1821* / Ed., préface par K. Waliszewski. Paris: Plon, 1910.

Kapodistrias 1868 — *Каподистриас I. A. Aperçu de ma carrière publique, depuis 1798 jusqu'à 1822* // *Сборник русского исторического общества*. Т. 3. 1868. С. 163–296.

Kapodistrias 1976–1983 — *Archeion Iōannou Kapodistria: In 10 vols.* / Ed. by K. Daphnēs; transl. by G. Ploumidēs, A. Stergellēs. Kerkyra, 1976–1983.

Maistre 1884–1886 — *Maistre J. de. Œuvres complètes de J. de Maistre*. Nouv. ed.: en 14 ts. Lyon: Librairie Générale Catholique et Classique, 1884–1886. Repr. Geneva, 1979.

Nikolai Mikhailovich 1910 — *Nikolai Mikhailovich, Grand Duke. Correspondance de l'Empereur Alexandre Ier avec sa soeur la Grande-Duchesse Catherine, Princesse d'Oldenburg, puis Reine de Wurtemberg, 1805–1818*. СПб.: Экспедиция заготовления гос. бумаг, 1910.

Petri 1969 — *Petri H. R. de Stourdza und der Reichsfreiherr vom Stein* // *Südost-Forschungen*. Bd. 28. 1969. S. 280–283.

Pobedonostsev 1965 — *Pobedonostsev K. P. Reflections of a Russian Statesman*. Ann Arbor, Mich.: University of Michigan Press, 1965.

Rostopchine A. 1864 — *Matériaux en grande partie inédits pour la biographie future du Comte Théodore Rastapchine, rassembles par son fils* / Ed. par A. F. Rostopchine. Brussels, 1864.

Rostopchine L. 1894 — *Oeuvres inédites du Comte Rostoptchine publiées par la Comtesse Lydie Rostoptchine, avec une "Étude sur le gouverneur de Moscou"* par Jean de Bonnefon. Paris: Dentu, 1894.

Rostopchine L. 1984 — *Rostopchine L. Les Rostopchine: chroniques de famille*. Paris, 1984.

Savary 1828 — *Savary R. Memoirs of the Duke of Rovigo (M. Savary) Written by Himself: Illustrative of the History of the Emperor Napoleon: in 4 vols*. London: Henry Colburn, 1828.

Savary 1890 — Savary R. La cour de Russie en 1807–1808. Notes sur la cour de Russie et Saint-Petersbourg, écrites en décembre 1807 par le général Savary / Ed. par A. Vandal // Revue d'histoire diplomatique. 1890. P. 399–419.

Schubert 1962 — Schubert F. von. Unter dem Doppeladler: Erinnerungen eines Deutschen in russischem Offiziersdienst, 1789–1814 / Hg. von E. Am-burger. Stuttgart, 1962.

Séгур 1972 — Ségur P. P. Comte de. La campagne de Russie. Geneva, 1972.

Stedingk 1844–1847 — Stedingk C. von. Mémoires posthumes du feld-maréchal Comte de Stedingk, rédigés sur des lettres, dépêches et autres pieces authentiques laissées à sa famille / Ed. par Général Comte de Björn-stjerna: en 3 ts. Paris: A. Bertrand, 1844–1847.

Sturdza 1816 — Sturdza A. S. Considérations sur la doctrine et l'esprit de l'Eglise orthodoxe. Weimar, 1816.

Sturdza 1818 — Sturdza A. S. Mémoire sur l'état actuel de l'Allemagne, par M. de S....., Conseiller d'Etat de S. M. I. de toutes les Russies. Paris, Novem-ber 1818.

Sturdza 1858–1861 — Sturdza A. S. Œuvres posthumes religieuses, histor-iques, philosophiques et littéraires: en 5 ts. Paris, 1858–1861.

Susini 1942–1967 — Letters inédites de Franz von Baader: en 4 ts. / Ed. par E. Susini. Paris, 1942; Vienna, 1951; Paris: Presses univ. de France, 1967.

Varnhagen 1987–1990 — Varnhagen von Ense K. A. Werke in fünf Bänden / Hg. von K. Feilchenfeldt. Frankfurt am Main, 1987–1990.

Wilmot 1934 — Wilmot M., Wilmot C. The Russian Journals of Martha and Catherine Wilmot: Being an Account by two Irish Ladies of their Advent-ures in Russia as Guests of the celebrated Princess Dashkaw, containing vivid Descriptions of contemporary Court Life and Society, and lively Anec-dotes of many interesting historical Characters, 1803–1808 / Ed. by Marchion-ess of Londonderry and H. M. Hyde. London: Macmillan and Co., Ltd., 1934.

## СЛОВАРИ, СПРАВОЧНИКИ

Бантыш-Каменский 1836–1847 — Словарь достопамятных людей русской земли, содержащий в себе жизнь и деяния знаменитых полко-водцев, министров и мужей государственных, великих иерархов пра-вославной церкви, отличных литераторов и ученых, известных по участию в событиях отечественной истории: в 5 т. / Под ред. Д. Н. Бан-тыш-Каменского. М.: Август Семен, 1836. Дополнение: в 3 т. СПб.: Тип. Отд. корпуса внутр. стражи, 1847.

Брокгауз, Ефрон 1890–1907 — Энциклопедический словарь: в 86 т. / Под ред. Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. СПб., 1890–1907.

Г. И. С. 1890 — Г. И. С. Население С.-Петербурга в 1808 г. // Русская старина. Т. 45. 1890. Март. С. 870–872.

Месяцеслов 1807 — Месяцеслов с росписью чиновных особ, или общий штат Российской империи, на лето от Рождества Христова 1807. СПб.: Имп. Академия наук, 1807.

Мироненко, Нечкина 1988 — Декабристы. Биографический справочник / Под ред. С. В. Мироненко и М. В. Нечкиной. М.: Наука, 1988.

Панченко 1988 — Словарь русских писателей XVIII века / отв. ред. А. М. Панченко. Т. 1. Л.: АН СССР, Институт русской литературы (Пушкинский Дом), 1988.

Половцов 1896–1918 — Русский биографический словарь: в 25 т. / Под ред. А. А. Половцова. СПб.: Имп. Русское историч. о-во, 1896–1918.

Allgemeine Deutsche Biographie 1875–1912 — Allgemeine Deutsche Biographie: in 16 Bd. 1875–1912. Repr. ed. Berlin, 1967–1971.

Bakounine 1967 — Bakounine [Bakunina] T. A. Répertoire biographique des franc-maçons russes (XVIIIe et XIXe siècles). Paris: Inst. d'études slaves de l'Université de Paris, 1967.

Wieczynski 1976–1990 — The Modern Encyclopedia of Russian and Soviet History: in 54 vols. / Ed. by J. L. Wieczynski. Gulf Breeze, Fla.: Acad. Intern. Press, 1976–1990.

# Библиография

А. Н. Радищев 1936 — А. Н. Радищев: Материалы и исследования. Литературный архив. М.–Л.: АН СССР, 1936.

Альтшуллер 1983 — Альтшуллер М. «Рассуждение о старом и новом слоге российского языка» как политический документ (А. С. Шишков и Н. М. Карамзин) // *Russia and the West in the Eighteenth Century: Proceedings of the Second International Conference organized by the study group on Eighteenth-Century Russia and held at the University of East Anglia, Norwich, England, 17–22 July, 1981* / Ed. by A. G. Cross. Newtonville, Mass., 1983.

Альтшуллер 1984 — Альтшуллер М. Предтечи славянофильства в русской литературе (Общество «Беседа любителей русского слова»). Ann Arbor, Mich.: Ardis Publishers, 1984.

Альтшуллер 1991 — Альтшуллер М. А. С. Шишков о французской революции // *Русская литература*. 1991. № 1. С. 144–149.

Анисимов 1989 — Анисимов Е. В. *Время петровских реформ*. Л.: Лениздат, 1989.

Арш 1976 — Арш Г. Л. Иоанн Каподистрия в России // *Вопросы истории*. 1976. №. 5. С. 49–65.

Аурова 1996 — Аурова Н. Н. Идеи Просвещения в 1-м кадетском корпусе (конец XVIII — первая четверть XIX в.) // *Вестник Московского университета*. 1996. Серия 8, история. № 1. С. 34–42.

Барсуков 1888–1910 — Барсуков Н. П. *Жизнь и труды М. П. Погодина*: в 22 т. СПб.: Погодин и Стасюлевич, 1888–1910.

Бескровный 1965 — *Освободительная война 1812 года против наполеоновского господства* / Под ред. Л. Г. Бескровного. М.: Наука, 1965.

Богоявленский 1912–1913 — Богоявленский С. К. *Император Александр и великая княгиня Екатерина Павловна*: в 6 т. // *Три века. Россия от смуты до нашего времени* / Под ред. В. В. Каллаш. М.: Т-во И. Д. Сытина, 1912–1913.

Божеянов 1888 — Божеянов И. Н. *Великая княгиня Екатерина Павловна, четвертая дочь императора Павла I, герцогиня Ольденбург-*

ская, королева Вюртембергская, 1788–1818. Биографический очерк с приложением портрета и автографа. СПб.: Типо-лит. В. Фреймана, 1888.

Боленко 1996 — Боленко К. Г. «Kleine Kinderbibliothek» И. Г. Кампе в переводе А. С. Шишкова // Вестник Московского университета. Серия 8, история. 1996. № 3. С. 57–68.

Бочкарев 1911 — Бочкарев Б. Н. Консерваторы и националисты в России в начале XIX в. // Отечественная война и русское общество, 1812–1912: в 7 т. / Под ред. А. К. Джигелегова, С. П. Мельгунова и В. И. Пичета. Т. 2. М.: т-во И. Д. Сытина, 1911. С. 194–220.

Булич 1902–1905 — Булич Н. Н. Очерки по истории русской литературы и просвещения с начала XIX века: в 2 т. СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1902–1905.

В. 1912 — В. Приезд императора Александра I в Москву (11–18 июля 1812 года) // Русская старина. Т. 151. 1912. Июль. С. 71–85.

Васильев 1916 — Васильев А. В. Прогрессивный подоходный налог 1812 г. и падение Сперанского // Голос минувшего. 1916. Июль-август. № 7–8. С. 332–340.

Гаршин 1890 — Гаршин Е. М. Один из русских Гракхов прошлого столетия // Исторический вестник. Т. 41. 1890. Сентябрь. С. 621–628.

Гордин 1991 — Гордин А. М. Пушкинский Петербург. 2-е изд. Л.: Художник РСФСР, 1991.

Державин 1912 — Державин Н. А. Ученик мудрости (А. Ф. Лабзин и его литературная деятельность) // Исторический вестник. 1912. Июль. № 129. С. 137–175.

Десницкий 1958 — Десницкий В. А. Избранные статьи по русской литературе XVIII–XIX вв. М.–Л.: АН СССР, 1958.

Диктиадис 1864 — Диктиадис. Краткое сведение об А. С. Стурдзе // Чтения в Императорском Обществе истории и древностей российских. Кн. 2. Материалы отечественные. 1864. Апрель-июнь. С. 193–205.

Доделев 1972 — Доделев М. А. Россия и война испанского народа за независимость (1808–1814) // Вопросы истории. 1972. № 11. С. 33–44.

Дружинин 1988 — Дружинин Н. М. Избранные труды: Внешняя политика России; История Москвы; Музейное дело. М.: Наука, 1988.

Дубровин 1894–1895 — Дубровин Н. Ф. Наши мистики-сектанты. Александр Федорович Лабзин и его журнал «Сионский вестник» // Русская старина. Т. 81. 1894. Сентябрь. С. 145–203 (ч. 1); Т. 82. 1894. Октябрь. С. 101–126 (ч. 2); 1894. Ноябрь. С. 58–91 (ч. 3). 1894. Декабрь. С. 98–132 (ч. 4); Т. 83. 1895. Январь. С. 56–91 (ч. 5); 1895. Февраль. С. 5–52 (ч. 6).

Дубровин 1895–1896 — Дубровин Н. Ф. Наши мистики-сектанты. Екатерина Филиповна Татаринова и Александр Петрович Дубовицкий // Русская старина. Т. 84. 1895. Октябрь. С. 33–64 (ч. 1); 1895. Ноябрь. С. 3–43 (ч. 2); 1895. Декабрь. С. 51–53 (ч. 3); Т. 85. 1896. Январь. С. 5–51 (ч. 4); 1896. Февраль. С. 225–263 (ч. 5).

Дубровин 1898–1903 — Дубровин Н. Ф. Русская жизнь в начале XIX века // Русская старина. Т. 96. 1898. Декабрь. С. 481–516 (ч. 1); Т. 97. 1899. Январь. С. 3–38 (ч. 2); 1899. Февраль. С. 241–264 (ч. 3); 1899. Март. С. 539–569 (ч. 4); Т. 98. 1899. Апрель. С. 53–75 (ч. 5); 1899. Июнь. С. 481–508 (ч. 6); Т. 99. 1899. Август. С. 241–270 (ч. 7); Т. 103. 1900. Сентябрь. С. 457–483 (ч. 8); Т. 104. 1900. Октябрь. С. 53–81 (ч. 9); 1900. Ноябрь. С. 257–275 (ч. 10); Т. 107. 1901. Сентябрь. С. 449–463 (ч. 11); Т. 108. 1901. Октябрь. С. 5–41 (ч. 12); 1901. Ноябрь. С. 241–264 (ч. 13); 1901. Декабрь. С. 465–494 (ч. 14); Т. 109. 1902. Январь. С. 5–33 (ч. 15); 1902. Февраль. С. 228–255 (ч. 16); Т. 111. 1902. Июль. С. 5–30 (ч. 17); 1902. Август. С. 225–247 (ч. 18); 1902. Сентябрь. С. 449–471 (ч. 19); Т. 112. 1902. Октябрь. С. 5–33 (ч. 20); 1902. Ноябрь. С. 209–241 (ч. 21); 1902. Декабрь. С. 417–450 (ч. 22); Т. 113. 1903. Январь. С. 37–65 (ч. 23).

Дубровин 1903–1904 — Дубровин Н. Ф. После Отечественной войны (Из русской жизни в начале XIX века) // Русская старина. Т. 116. 1903. Ноябрь. С. 241–271 (ч. 1); 1903. Декабрь. С. 481–514 (ч. 2); Т. 117. 1904. Январь. С. 5–28 (ч. 3); 1904. Февраль. С. 241–274 (ч. 4); 1904. Март. С. 481–515 (ч. 5); Т. 118. 1904. Апрель. С. 5–34 (ч. 6); 1904. Май. С. 241–264 (ч. 7).

Еленев 1936 — Еленев Н. А. Путешествие вел. кн. Екатерины Павловны в Богемию в 1813 году. Прага: Гос. тип., 1936.

Ерошкина 1993 — Ерошкина А. Н. «Деятель» эпохи просвещенного абсолютизма И. И. Бецкой // Вопросы истории. 1993. № 9. С. 165–170.

Жаринов 1911а — Жаринов Д. А. Первые войны с Наполеоном и русское общество // Отечественная война и русское общество, 1812–1912: в 7 т. / Под ред. А. К. Дживелегова, С. П. Мельгунова и В. И. Пичета. Т. 1. М.: т-во И. Д. Сытина, 1911. С. 198–212.

Жаринов 1911б — Жаринов Д. А. Первые впечатления войны. Манифесты // Отечественная война и русское общество, 1812–1912: в 7 т. / Под ред. А. К. Дживелегова, С. П. Мельгунова и В. И. Пичета. Т. 3. М.: т-во И. Д. Сытина, 1911. С. 170–179.

Замотин 1911 — Замотин И. И. «Русский вестник» Глинки // Отечественная война и русское общество, 1812–1912: в 7 т. / под ред. А. К. Дживелегова, С. П. Мельгунова и В. И. Пичета. Т. 5. М.: т-во И. Д. Сытина, 1911. С. 130–138.



Западов 1973 — История русской журналистики XVIII–XIX веков / Под ред. А. В. Западова. М.: Высш. школа, 1973.

Игнатович 1950 — Игнатович И. И. Крестьянские волнения первой четверти XIX века // Вопросы истории. 1950. № 9. С. 48–70.

Изабаева 1990 — Изабаева Л. М. Общественно-политические взгляды С. С. Уварова в 1810-е годы // Вестник Московского университета. 1990. Ноябрь-декабрь. Серия 8, история. № 6. С. 24–35.

Император Александр I-й 1915 — Император Александр I-й и Родион Александрович Кошелев // Русская старина. Т. 162. 1915. Май. С. 326–337.

Казakov 1970 — Казakov Н. И. Наполеон глазами его русских современников // Новая и новейшая история. 1970. Май-июнь. № 3. С. 31–47 (ч. 1); 1970. Июль-август. № 4. С. 42–55 (ч. 2).

Карнович 1884 — Карнович Е. П. Замечательные и загадочные личности XVIII и XIX столетий. СПб.: Изд. А. С. Суворина, 1884.

Карпец 1987 — Карпец В. И. Муж отечестволюбивый: Историко-литературный очерк. М.: Молодая гвардия, 1987.

Кизиветтер 1912 — Кизиветтер А. А. Исторические очерки. М.: ОКТО, 1912. Переизд. в: The Hague, 1967.

Кизиветтер 1915 — Кизиветтер А. А. Исторические отклики. М.: К. Ф. Некрасов, 1915.

Кизиветтер 1917 — Кизиветтер А. А. Н. М. Карамзин // Русский исторический журнал. 1917. № 1–2. С. 9–26.

Ключевский 1987–1990 — Ключевский В. О. Сочинения: в 9 т. М.: Мысль, 1987–1990.

Коломинов, Файнштейн 1986 — Коломинов В. В., Файнштейн М. Ш. Храм муз словесных (Из истории Российской академии). Л.: Наука, 1986.

Кочубинский 1887–1888 — Кочубинский А. А. Начальные годы русского славяноведения. Адмирал Шишков и канцлер гр. Румянцев. Одесса: Одесский вестник, 1887–1888.

Крючкова 1994 — Крючкова М. А. Русская мемуаристика второй половины XVIII в. как социокультурное явление // Вестник Московского университета. 1994. Серия 8, история. № 1. С. 17–28.

Купреянова 1978 — Купреянова Е. Н. Французская революция 1789–1794 годов и борьба направлений в русской литературе первой четверти XIX века // Русская литература. 1978. № 2. С. 87–107.

Лалин 1991 — Лалин В. В. Семеновская история: 16–18 октября 1820 года. Л.: Лениздат, 1991.

Лотман 1990 — Лотман Ю. М. Политическое мышление Радищева и Карамзина и опыт французской революции // Великая Французская

революция и русская литература / Под ред. Г. М. Фридлендера. Л.: Наука, 1990. С. 55–68.

Лотман 1994 — Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (XVIII — начало XIX века). СПб.: Искусство, 1994.

Лотман, Успенский 1975 — Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Споры о языке в начале XIX в. как факт русской культуры («Происшествие в царстве теней, или судьбина русского языка» — неизвестное сочинение Семена Боброва) // Труды по русской и славянской филологии, XXII, Тарту, 1975 (=Ученые записки Тартуского Гос. университета, вып. 358. С. 168–322).

Марасинова 1991 — Марасинова Е. Н. Русский дворянин второй половины XVIII в. (социопсихология личности) // Вестник Московского университета. 1991. Серия 8, история. № 1. С. 17–28.

Мартин 1994 — Мартин А. М. А. С. Стурдза и «Священный союз» (1815–1823 гг.) // Вопросы истории. 1994. № 11. С. 145–151.

Мельгунов 1913 — Мельгунов С. П. Еще о Ростопчине // Голос минувшего. 1913. Июль. № 7. С. 239–240.

Мельгунов, Сидоров 1914–1915 — Масонство в его прошлом и настоящем: в 2 т. / Под ред. С. П. Мельгунова и П. И. Сидорова. М.: Книга по требованию, 1914–1915. Переизд. М., 1991.

Мельгунов 1916 — Мельгунов С. П. Критика и библиография. «А. Кизеветтер. Исторические очерки» // Голос минувшего. 1916. Май-июнь. № 5–6. С. 409–412.

Мельгунов 1923 — Мельгунов С. П. Дела и люди Александровского времени. Т. 1. Берлин: Вагага, 1923.

Мендельсон 1911 — Мендельсон Н. М. Ростопчинские афиши // Отечественная война и русское общество, 1812–1912: в 7 т. / Под ред. А. К. Дживелегова, С. П. Мельгунова и В. И. Пичета. Т. 4. М.: т-во И. Д. Сытина, 1911. С. 83–91.

Милюков 1899 — Милюков П. Н. Очерки по истории русской культуры. Часть 2. Церковь и школа (вера, творчество, образование). 2-е изд. Издание журнала «Мир Божий». СПб: Тип. И. Н. Скороходова, 1899.

Мироненко 1989 — Мироненко С. В. Самодержавие и реформы. Политическая борьба в России в начале XIX в. М.: Наука, 1989.

Миропольский 1878 — Миропольский С. И. Фотий Спасский, Юрьевский архимандрит. Историко-биографический очерк // Вестник Европы. Кн. 6. 1878. Ноябрь. С. 8–59 (ч. 1); 1878. Декабрь. С. 587–636 (ч. 2).

Николай Михайлович 1912 — Николай Михайлович. Император Александр I. Опыт исторического исследования: в 2 т. СПб.: Экспедиция заготовления государственных бумаг, 1912.

О графе Ф. В. Ростопчине 1861 — О графе Ф. В. Ростопчине и о событиях 1812 года в Москве // Чтения в Императорском Обществе истории и древностей российских. Кн. 4. «Разное». 1861. Октябрь-декабрь. С. 167–182.

Овчинников 1991 — Овчинников Г. Д. «И дышит умом и юмором того времени...» (О литературной репутации Ф. В. Ростопчина) // Русская литература. 1991. № 1. С. 149–155.

Окунь 1948 — Окунь С. Б. История СССР 1796–1825. Курс лекций. Л.: Изд. ЛГУ, 1948. Переизд. как «История СССР: Лекции»: в 2 т. Л., 1974–1978.

Окунь 1962 — Окунь С. Б. Русский народ и Отечественная война 1812 года // История СССР. 1962. Июль-август. № 4. С. 52–65.

Окунь 1983 — Окунь С. Б. Борьба за власть после дворцового переворота 1801 г. // Вопросы истории России XIX — начала XX века. Межвузовский сборник. Л.: Изд-во ЛГУ, 1983. С. 3–15.

Орлик 1987 — Орлик О. В. «Гроза двенадцатого года...». М.: Наука, 1987.

Отечественная война 1911–1912 — Отечественная война и русское общество, 1812–1912: в 7 т. / под ред. А. К. Дживелегова, С. П. Мельгунова и В. И. Пичета. М.: т-во И. Д. Сытина, 1911–1912.

Очерки по истории — Очерки по истории русской журналистики и критики. Т. 1. XVIII век и первая половина XIX века. Л.: Изд. ЛГУ, 1950.

Павлова 1990 — Павлова Г. Е. Организация науки в России в первой половине XIX в. М.: Наука, 1990.

Палицын 1912 — Палицын Н. А. Манифесты, писанные Шишковым в отечественную войну, и патриотическое их значение // Русская старина. Т. 150. 1912. Июнь. С. 477–491.

Писатель и критика 1987 — Писатель и критика. XIX век: Межвузовский сборник научных трудов. Под ред. И. В. Попова. Куйбышев: Гос. пед. ин-т, 1987.

Покровский 1912 — Покровский К. Граф Ф. В. Ростопчин и его комедия «Вести, или Убитый живой» // Чтения в Императорском Обществе истории и древностей российских. Кн. 1. Раздел 2. 1912. С. 1–26.

Покровский 1914 — Покровский К. В. Из полемической литературы 1813 года. (Московские обыватели и граф Ф. В. Ростопчин) // Голос минувшего. 1914. Август. № 8. С. 196–202.

Полиевктов 1918 — Полиевктов М. А. Николай I: Биография и обзор царствования. М.: Изд. М. и С. Сабашниковых, 1918.

Попов 1987 — Попов И. В. Преддекабристская публицистическая критика о патриотизме // Писатель и критика. XIX век: Межвузовский сборник научных трудов / Под ред. И. В. Попова. Куйбышев: Гос. пед. ин-т, 1987. С. 3–27.

Предтеченский 1950 — Предтеченский А. В. Отражение войн 1812–1814 гг. в сознании современников // Исторические записки. Т. 31. 1950. С. 222–244.

Предтеченский 1957 — Предтеченский А. В. Очерки общественно-политической истории России в первой четверти XIX века. М.–Л.: АН СССР, 1957.

Пыпин 1918 — Пыпин А. Н. Исследования и статьи по эпохе Александра I: в 3 т. Т. 3. Общественное движение в России при Александре I. Петроград, 1918.

Рябинин 1889 — Рябинин Д. Д. Александр Ардальонович Шишков 2-й, 1799–1833 // Исторический вестник. Т. 38. 1889. Октябрь. С. 42–69.

Сафонов 1988 — Сафонов М. М. Проблема реформ в правительственной политике России на рубеже XVIII и XIX вв. Л.: Наука, 1988.

Сафонов, Филиппова 1983 — Сафонов М. М., Филиппова Э. Н. Крестьянский вопрос в записках М. М. Филоsofoва // Вопросы истории России XIX — начала XX века. Межвузовский сборник. Л.: Изд-во ЛГУ, 1983. С. 15–24.

Сафонов, Филиппова 1985 — Сафонов М. М. и Филиппова Э. Н. Неизвестный документ по истории общественно-политической мысли России начала XIX в. // Вспомогательные исторические дисциплины. Т. 16. 1985. С. 179–189.

Семевский 1911 — Семевский В. И. Падение Сперанского // Отечественная война и русское общество, 1812–1912: в 7 т. / Под ред. А. К. Дживелегова, С. П. Мельгунова и В. И. Пичета. Т. 2. М.: т-во И. Д. Сытина, 1911. С. 221–245.

Семенников 1936 — Семенников В. П. Литературно-общественный круг Радищева // А. Н. Радищев: Материалы и исследования. Литературный архив. М.–Л.: АН СССР, 1936. С. 215–247.

Сидорова 1956 — Сидорова Л. П. Рукописные замечания современника на первом издании трагедии В. А. Озерова «Дмитрий Донской» // Записки отдела рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина. 1956. № 18. С. 142–179.

Сироткин 1976 — Сироткин В. Г. Русская пресса первой четверти XIX века на иностранных языках как исторический источник // История СССР. 1976. № 4. С. 77–97.

Сироткин 1981a — Сироткин В. Г. Наполеоновская война перьев против России // Новая и новейшая история. 1981. № 1. С. 137–152.

Сироткин 1981b — Сироткин В. Г. Великая французская буржуазная революция, Наполеон и самодержавная Россия // История СССР. 1981. № 5. С. 39–56.

Сорокин 1995 — Сорокин Ю. А. Павел I // Вопросы истории. 1995. № 1. С. 25–44.

Стоюнин 1877 — Стоюнин В. Я. Александр Семенович Шишков: Биография // Вестник Европы. Т. 67. Ч. 5. 1877. Сентябрь. № 9. С. 236–271 (ч. 1); 1877. Октябрь. № 10. С. 502–547 (ч. 2); Т. 68. Ч. 6. 1877. Ноябрь. № 11. С. 47–118 (ч. 3); 1877. Декабрь. № 12. С. 465–522 (ч. 4).

Сухомлинов 1874–1888 — Сухомлинов М. И. История Российской академии: в 8 т. (Записки Императорской Академии наук) СПб.: Тип. Имп. Акад. наук, 1874–1888.

Сухомлинов 1889 — Сухомлинов М. И. Исследования и статьи по русской литературе и просвещению: в 2 т. СПб.: Изд. А. С. Суворина, 1889.

Тартаковский 1967 — Тартаковский А. Г. Военная публицистика 1812 года. М.: Мысль, 1967.

Тартаковский 1968 — Тартаковский А. Г. Из истории одной забытой полемики (Об антикрепостнических «диверсиях» Наполеона в 1812 году) // История СССР. 1968. № 2. С. 25–43.

Тартаковский 1991 — Тартаковский А. Г. Русская мемуаристика XVIII — первой половины XIX в. От рукописи к книге. М.: Наука, 1991.

Тихонравов 1898 — Тихонравов Н. С. Сочинения Н. С. Тихонравова: в 3 т. М.: Изд. М. и С. Сабашниковых, 1898.

Троицкий 1988 — Троицкий Н. А. 1812: Великий год России. М.: Мысль, 1988.

Файнштейн, Кутина 1984 — Файнштейн М. Ш. и Кутина Л. Л. Александр Семенович Шишков (1754–1841) // Русская речь. 1984. Июль–август. С. 117–122.

Федоров 1988 — Федоров В. А. «Своей судьбой гордимся мы...»: Следствие и суд над декабристами. М.: Мысль, 1988.

Феоктистов 1865 — Феоктистов Е. М. Материалы для истории просвещения в России. Вып. 1: Магницкий. СПб.: Типогр. Кесневия, 1865.

Флоровский 1937 — Протоиерей Георгий Флоровский. Пути русско-го богословия. Изд. 4-е. Paris: YMCA-Press, 1937.

Фридлиндер 1990 — Фридлиндер Г. М. Русская культура и Великая французская революция XVIII века (вместо введения) // Великая Французская революция и русская литература / Под ред. Г. М. Фридлиндера. Л.: Наука, 1990. С.

Ходасевич 1988 — Ходасевич В. Ф. Державин. М.: Книга, 1988.

Храпков 1943 — Храпков С. Русская интеллигенция в Отечественной войне 1812 года // Исторический журнал. Кн. 2/114. 1943. С. 72–76.

Чердаков 1996 — Чердаков Д. Н. Семантика слова и развитие русского языка в концепции А. С. Шишкова // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета. 1996. Серия 2. Вып. 1. № 2, С. 37–44.

Чижевский 1953 — Чижевский Д. И. Баадер и Россия // Новый журнал. Кн. 35. 1953. С. 301–310.

Чистович 1894 — Чистович И. А. Руководящие деятели духовного просвещения в России в первой половине текущего столетия. СПб.: Синодальная типография, 1894.

Шильдер 1897 — Шильдер Н. К. Император Александр Первый: Его жизнь и царствование: в 4 т. СПб.: Изд. А. С. Суворина, 1897.

Шмидт 1993 — Шмидт С. О. Общественное самосознание *noblesse russe* в XVI — первой трети XIX в. // Cahiers du Monde russe et soviétique. Т. 34. 1993. Janvier-juin. № 1–2. P. 11–32.

Щебальский 1870 — Щебальский П. К. А. С. Шишков, его союзники и противники // Русский вестник. Т. 90. 1870. Ноябрь. С. 192–254.

Эйдельман 1982 — Эйдельман Н. Я. Грань веков: Политическая борьба в России. Конец XVIII — начало XIX столетия. М.: Мысль, 1982.

Эйдельман 1989 — Эйдельман Н. Я. «Мгновенье славы настает...»: Год 1789-й. Л.: Лениздат, 1989.

Юрьевский архимандрит 1875 — Юрьевский архимандрит Фотий и его церковно-общественная деятельность // Труды Киевской духовной академии. Т. 1. 1875. Февраль. С. 372–384; Т. 2. 1875. Июнь. С. 696–717.

Якимович 1985 — Якимович Ю. К. Деятели русской культуры и словарное дело. М.: Наука, 1985.

Al'tshuller 1982 — Al'tshuller M. An Unknown Poem by A. S. Shishkov // Oxford Slavonic Papers. 1982. N. s. 15. P. 15–102.

Amburger 1966 — Amburger E. Geschichte der Behördenorganisation Rußlands von Peter dem Großen bis 1917. Leiden: E. J. Brill, 1966.

Anderson 1991 — Anderson B. *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. Rev. ed. London and New York: Verso, 1991.

Artz 1950 — Artz F. B. *Reaction and Revolution 1814–1832*. New York and London: Harper & br., 1950.

Augustine 1970 — Augustine W. R. *Notes Toward a Portrait of the Eighteenth-Century Russian Nobility // Canadian Slavic Studies*. 1970. Fall. Vol. 4, № 3. P. 373–425.

Baehr 1984 — Baehr S. L. *Regaining Paradise: The «Political icon» in Seventeenth-and-Eighteenth-Century Russia // Russian History*. 1984. Summer-Fall. Vol. 11, № 2–3. P. 148–167.

Becker 1986 — Becker S. *Contributions to a Nationalist Ideology: Histories of Russia in the First Half of the Nineteenth Century // Russian History*. 1986. Winter. Vol. 13, № 4. P. 331–353.

Benz 1949 — Benz E. *Die russische Kirche und das abendländische Christentum // Die Ostkirche und die russische Christenheit / Hg. von E. Benz*. Tübingen: Furche-Verlag, 1949.

Bittner 1959 — Bittner K. *Herdersche Gedanken in Karamzins Geschichtsschau // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas*. 1959. N. s. 7. № 3. S. 237–269.

Black 1968 — Black J. L. *History in Politics: Karamzin's «Istoria» as an Ideological Catalyst in Russian Society // Laurentian University Review*. 1968. Vol. 1, № 2. P. 106–113.

Black 1970 — Black J. L. N. M. *Karamzin, Napoleon, and the Notion of Defensive War in Russian History // Canadian Slavonic Papers*. 1970. Spring. Vol. 12, № 1. P. 30–46.

Black 1975 — Black J. L. *Nicholas Karamzin and Russian Society in the Nineteenth Century: A Study in Russian Political and Historical Thought*. Toronto and Buffalo: University of Toronto Press, 1975.

Black 1979 — Black J. L. *Citizens for the Fatherland: Education, Educators, and Pedagogical Ideals in Eighteenth-Century Russia*. Boulder, Colo., and New York: East European Quarterly distr. by Columbia University, 1979.

Bliard 1912 — Bliard P. *L'Empereur Alexandre, les Jésuites et Joseph de Maistre. D'après des documents inédits // Etudes*. T. 130. 1912. P. 234–244.

Blum 1961 — Blum J. *Lord and Peasant in Russia from the Ninth to the Nineteenth Century*. Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1961.

Boffa 1989 — Boffa M. *La Révolution française et la contre-Révolution // L'Héritage de la Révolution française / Ed. par F. Furet*. Paris: Hachette, 1989.

Bonamour 1965 — Bonamour J. A. S. *Griboedov et la vie littéraire de son temps*. Paris: Presses univ. de France, 1965.

Brinkmann 1919 — Brinkmann C. Die Entstehung von Sturdzas «Etat actuel de l'Allemagne». Ein Beitrag zur Geschichte der deutsch-russischen Beziehungen // *Historische Zeitschrift*. Bd. 120. 1919. S. 80–102.

Christian 1976 — Christian D. The Political Ideals of Michael Speransky // *Slavonic and East European Review*. 1976. April. Vol. 54, № 2. P. 192–213.

Christian 1978 — Christian D. The Political Views of the Unofficial Committee in 1801: Some New Evidence // *Canadian-American Slavic Studies*. 1978. Summer. Vol. 12, № 2. P. 247–265.

Christian 1979 — Christian D. The «Senatorial Party» and the Theory of Collegial Government, 1801–1803 // *Russian Review*. 1979. July. Vol. 38, № 3. P. 298–322.

Christoff 1970 — Christoff P. K. The Third Heart: Some Intellectual-Ideological Currents and Cross Currents in Russia 1800–1830. The Hague and Paris: Mouton, 1970.

Confino 1961 — Confino M. Le paysan russe jugé par la noblesse au XVIIIe siècle // *Revue des Etudes slaves*. T. 38. 1961. P. 51–63.

Confino 1993 — Confino M. A propos de la notion de service dans la noblesse russe aux XVIIIe et XIXe siècles // *Cahiers du Monde russe et soviétique*. 1993. Janvier-juin. T. 34, № 1–2. P. 47–58.

Cross 1964 — Cross A. G. Karamzin and England // *Slavonic and East European Review*. 1964. December. Vol. 43, № 100. P. 91–114.

Cross 1967 — Cross A. G. Karamzin Studies: For the Bicentenary of the Birth of N. M. Karamzin (1766–1966) // *Slavonic and East European Review*. 1967. January. Vol. 45, № 104. P. 1–11.

Cross 1969 — Cross A. G. N. M. Karamzin's «Messenger of Europe» («Вестник Европы»), 1802–1803 // *Forum for Modern Language Studies*. 1969. January. Vol. 5, № 1. P. 1–25.

Cross 1971 — Cross A. G. N. M. Karamzin: A Study of His Literary Career (1783–1803). Carbondale: University of Southern Illinois, 1971.

Cross 1983 — Cross A. G. Russian Receptions of England, and Russian National Awareness at the End of the Eighteenth and the Beginning of the Nineteenth Centuries // *Slavonic and East European Review*. 1983. January. Vol. 61, № 1. P. 89–106.

Cross 1987 — Cross A. G. Karamzin's «Moskovskii Zhurnal»: Voice of a Writer. Broadsheet of a Movement // *Cahiers du Monde russe et soviétique*. 1987. Avril-juin. T. 28, № 2. P. 121–126.

David 1962 — David Z. V. The Influence of Jacob Boehme on Russian Religious Thought // *Slavonic Review*. 1962. March. Vol. 21, № 1. P. 43–64.



Dickinson 1990 — Britain and the French Revolution, 1789–1815 / Ed. by H. T. Dickinson. New York: St. Martin's Press, 1990.

Doyle 1989 — Doyle W. The Oxford History of the French Revolution. Oxford and New York: Clarendon Press, 1989.

Dudek 1989 — Dudek G. Die Französische Revolution im Urteil N. M. Karamzins // Zeitschrift für Slawistik. 1989. Bd. 34, № 3. S. 345–351.

Edwards 1977 — Edwards D. W. Count Joseph Marie de Maistre and Russian Educational Policy, 1803–1828 // Slavic Review. 1977. March. Vol. 36, № 1. P. 54–75.

Elorza 1966 — Elorza A. Hacia una tipología del pensamiento reaccionario en los orígenes de la España contemporánea // Caudernos hispanoamericanos. 1966. Noviembre. Vol. 203. P. 370–385.

Epstein 1966 — Epstein K. The Genesis of German Conservatism. Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1966.

Eynard 1849 — Eynard, Charles. Vie de Madame de Krüdener: en 2 ts. Paris, Lausanne, and Geneva: Cherbuliez, 1849.

Flynn 1968 — Flynn J. T. The Universities, the Gentry, and the Russian Imperial Services, 1815–1825 // Canadian Slavic Studies. 1968. Winter. Vol. 2, № 4. P. 486–503.

Flynn 1970 — Flynn J. T. The Role of the Jesuits in the Politics of Russian Education, 1801–1820 // Catholic Historical Review. 1970. July. Vol. 56, № 2. P. 249–265.

Flynn 1971 — Flynn J. T. Magnitskii's Purge of Kazan University: A Case Study in the Uses of reaction in Nineteenth-Century Russia // Journal of Modern History. 1971. Vol. 43. P. 598–614.

Flynn 1972 — Flynn J. T. S. S. Uvarov's «Liberal Years» // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 1972. Dezember. Bd. 20, № 4. S. 481–491.

Flynn 1988 — Flynn J. T. The University Reform of Tsar Alexander I, 1802–1835. Washington, D. C.: Catholic University of America Press, 1988.

Freeze 1983 — Freeze G. L. A Case of Stunted Anticlericalism: Clergy and Society in Imperial Russia // European Studies Review. 1983. Vol. 13. P. 177–200.

Freeze 1985 — Freeze G. L. Handmaiden of the State? The Church in Imperial Russia Reconsidered // Journal of Ecclesiastical History. 1985. January. Vol. 36, № 1. P. 82–100.

Furet, Richet 1965 — Furet F., Richet D. La Révolution française. Paris: Fayard, 1965, 1973.

Furet 1988 — Furet F. La Révolution française de Turgot à Napoléon. T. 1. Paris: Hachette, 1988.

Fuye 1936 — Fuye M. de la. Rostopchine, Chancelier du Tsar Paul Ier // *Revue d'histoire diplomatique*. 1936. Janvier-mars. № 1. P. 1–26.

Fuye 1937 — Fuye M. de la. Rostopchine: Européen ou slave? Paris: Plon. Parution, 1937.

Garde 1986 — Garde P. Šiškov et Karamzin: deux ennemis? // *Studia Slavica Mediaevalia et Humanistica*. Istituto Universitario Orientale, Napoli. Dipartimento di Studi dell'Europa Orientale. Roma, 1986. Vol. 1. P. 279–285.

Geiger 1956 — Geiger M. Roxandra Scarlatovna von Stourdza (1786–1844). Zur Erweckungsbewegung der Befreiungskriege // *Theologische Zeitschrift* Basel. 1956. Bd. 2, № 3. S. 393–408.

Geiger 1963 — Geiger M. Aufklärung und Erweckung: Beiträge zur Erforschung Johann Heinrich Jung-Stillings und der Erweckungstheologie // *Basler Studien zur historischen und systematischen Theologie* / Hg. von M. Geiger. Bd. 1. Zürich, 1963.

Gleason 1980 — Gleason A. Young Russia: The Genesis of Russian Radicalism in the 1860s. New York: Viking Press, 1980.

Gooding 1986 — Gooding J. The Liberalism of Michael Speransky // *Slavonic and East European Review*. 1986. July. Vol. 64, № 3. P. 401–424.

Gooding 1988 — Gooding J. Speransky and Baten'kov // *Slavonic and East European Review*. 1988. July. Vol. 66, № 3. P. 400–425.

Grasshoff 1986 — Literaturbeziehungen im 18. Jahrhundert: Studien und Quellen zur deutsch-russischen und russisch-westeuropäischen Kommunikation / Hg. von H. Grasshoff. East Berlin: Akademie-Verlag, 1986.

Grimsted 1968 — Grimsted P. K. Capodistrias and a «New Order» for Restoration Europe: The «Liberal Ideas» of a Russian Foreign Minister, 1814–1822 // *Journal of Modern History*. 1968. June. Vol. 40, № 2. P. 166–192.

Grimsted 1969 — Grimsted P. K. The Foreign Ministers of Alexander I: Political Attitudes and the Conduct of Russian Diplomacy, 1801–1825. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1969.

Hartley 1992 — Hartley J. M. Is Russia Part of Europe? Russian Perceptions of Europe in the Reign of Alexander I // *Cahiers du Monde russe et soviétique*. 1992. T. 33, № 4. P. 369–386.

Harvey 1978 — Harvey A. D. European Attitudes to Britain During the French Revolution and Napoleonic Era // *History*. 1978. Vol. 63. P. 356–365. Reprint as: *The Continental Images of Britain // Napoleon and His Times: Selected Interpretations* / Ed. by F. A. Kafker, J. M. Laux. Malabar, Fla.: R. E. Krieger Publ. Company, 1991.

Haumant 1910 — Haumant E. La culture française en Russie (1700–1900). Paris: Hachette, 1910.

Hein 1972 — Hein L. Franz von Baader und seine Liebe zur Russischen Orthodoxen Kirche // *Kyrios*. 1972. Bd. 12, № 1–2. S. 31–59.

Herrero 1988 — Herrero J. Los origenes del pensamiento reaccionario español. Madrid: Alianza, Cop., 1988.

Hobsbawm 1962 — Hobsbawm E. J. The Age of Revolution 1789–1848. Cleveland and New York: Vintage Books, 1962.

Hobsbawm, Ranger 1983 — The Invention of Tradition / Ed. by E. J. Hobsbawm, T. Ranger. Cambridge, England: Cambridge University Press, 1983.

Hole 1983 — Hole R. British Counter-revolutionary Popular Propaganda in the 1790's // *Britain and Revolutionary France: Conflict, Subversion and Propaganda* / Ed. by C. Jones. Exeter, England: University of Exeter Press, 1983.

Hollingsworth 1964 — Hollingsworth B. A. P. Kunitsyn and the Social Movement in Russia under Alexander I // *Slavonic Review*. 1964. (Decembre). Vol. 43, № 100. P. 115–129.

Hollingsworth 1966a — Hollingsworth B. Arzamas: Portrait of a Literary Society // *Slavonic and East European Review*. 1966. Vol. 44, № 103. P. 306–326.

Hollingsworth 1966b — Hollingsworth B. Lancastrian Schools in Russia // *Durham Research Review*. 1966. September. Vol. 5, № 17. P. 59–74.

Hollingsworth 1970 — Hollingsworth B. John Venning and Prison Reform in Russia, 1819–1830 // *Slavonic and East European Review*. 1970. October. Vol. 48, № 113. P. 537–556.

Holtman 1967 — Holtman R. B. The Napoleonic Revolution. Philadelphia, New York, and Toronto: Lippincott, 1967.

Hunt 1992 — Hunt L. The Family Romance of the French Revolution. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1992.

Ignatieff 1966 — Ignatieff L. French Emigrés in Russia after the French Revolution. French Tutors // *Canadian Slavonic Papers*. 1966. Vol. 8. P. 125–131.

James 1988 — James E. The Franks. Oxford, England, and Cambridge, Mass.: Basil Blackwell, 1988.

Jenkins 1969 — Jenkins M. Arakcheev, Grand Vizier of the Russian Empire. London: Dial Press, 1969.

Johansen, Mühlen 1973 — Johansen P., Mühlen von zur H. Deutsch und Un-deutsch im mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Reval. Köln, 1973.

Jones 1983 — *Britain and Revolutionary France: Conflict, Subversion and Propaganda* / Ed. by C. Jones. Exeter, England: University of Exeter Press, 1983.

Kayser 1932 — Kayser R. Zar Alexander I und die deutsche Erweckung // *Theologische Studien und Kritiken*. 1932. № 2. S. 160–185.

Kisliagina 1975 — Kisliagina L. G. The Question of the Development of N. M. Karamzin's Social Political Views in the Nineties of the Eighteenth Century // *Essays on Karamzin: Russian Man-of-Letters, Political Thinker, Historian, 1766–1826* / Ed. by J. L. Black. The Hague and Paris: Mouton, 1975. P. 91–104.

Kolchin 1987 — Kolchin P. *Unfree Labor: American Slavery and Russian Serfdom*. Cambridge, Mass., and London: Belknap Press of Harvard University Press, 1987.

Kornilov 1966 — Kornilov A. *Nineteenth Century Russia: From the Age of Napoleon to the Eve of revolution* / transl. by A. S. Kaun; ed. by R. Bass. New York: Capricorn Books, 1966.

Koyré 1926 — Koyré A. Un chapitre de l'histoire intellectuelle de la Russie: La persecution des philosophes sous Alexandre Ier // *Le Monde Slave*. 1926. P. 90–117.

Koyré 1929 — Koyré A. *La philosophie et le problème national en Russie au début du XIXe siècle*. Paris: Gallimard, 1929. Repr. 1976.

Kukiel 1955 — Kukiel M. *Czartoryski and European Unity 1770–1861*. Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1955.

Lascaris 1918 — Lascaris S. T. *Capodistrias avant la revolution grecque. Sa carrier politique jusqu'en 1822. Etude d'histoire diplomatique et de droit international*. Lausanne, 1918.

Latreille 1918 — Latreille C. Joseph de Maistre et le Tzar Alexandre Ier // *La Revue hebdomadaire*. 1918. August 17. P. 302–347.

La Vopa 1992 — La Vopa A. J. *Conceiving a Public: Ideas and Society in Eighteenth-Century Europe* // *Journal of Modern History*. 1992. March. Vol. 64. P. 79–116.

LeDonne 1991 — LeDonne J. P. *Absolutism and Ruling Class: The Formation of the Russian Political Order 1700–1825*. New York and Oxford: Oxford University Press, 1991.

LeDonne 1993 — *The Eighteenth-Century Russian Nobility: Bureaucracy or Ruling Class?* // *Cahiers du Monde russe et soviétique*. 1993. Janvier-juin. T. 34, № 1–2. P. 139–148.

Ley 1961 — Ley F. *Madame de Krüdener et son temps, 1764–1824*. Paris: Pion, 1961.

Ley 1975 — Ley F. *Alexandre Ier et sa Sainte-Alliance (1811–1825) avec des documents inédits*. Paris: Fischbacher, 1975.

Lincoln 1982 — Lincoln W. B. *In the Vanguard of Reform: Russia's Enlightened Bureaucrats 1825–1861*. DeKalb, Ill.: Northern Illinois University Press, 1982.

Lipski 1967 — Lipski A. A Russian Mystic Faces the Age of Rationalism and Revolution: Thought and Activity of Ivan Vladimirovich Lopukhin // *Church History*. 1967. June. Vol. 36, № 2. P. 170–188.

Madariaga 1981 — Madariaga I. de. *Russia in the Age of Catherine the Great*. New Haven, Conn., and London: Yale University Press, 1981.

Malia 1965 — Malia M. *Alexander Herzen and the Birth of Russian Socialism*. New York: Grosset & Dunlap, 1965.

Marker 1985 — Marker G. *Publishing, Printing, and the Origins of Intellectual Life in Russia, 1700–1800*. Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1985.

Martin 1998 — Martin A. M. *Die Suche nach dem juste milieu: Der Gedanke der Heiligen Allianz bei den Geschwistern Sturcza in Rußland und Deutschland im Napoleonischen Zeitalter // Forschungen zur osteuropäischen Geschichte*. Bd. 54. 1998. S. 81–126.

Mayer 1978 — Mayer K. *Die Entstehung der «Universitätsfrage» in Rußland. Zum Verhältnis von Universität, Staat und Gesellschaft zu Beginn des neunzehnten Jahrhunderts // Forschungen zur osteuropäischen Geschichte*. 1978. Bd. 25. S. 229–238.

Mayer 1981 — Mayer A. *The persistence of the Old Regime: Europe to the Great War*. New York: Pantheon, 1981.

Mazour 1937 — Mazour A. G. *The First Russian revolution, 1825: The Decembrist Movement, Its Origins, Development, and Significance*. Stanford: Stanford University Press, 1937. Reissued 1961.

McConnell 1970 — McConnell A. *Tsar Alexander I: Paternalistic Reformer*. New York: Thomas Y. Crowell, 1970.

McGrew 1992 — McGrew R. E. *Paul I of Russia, 1754–1801*. Oxford: Clarendon Press, 1992.

Miliukov 1972 — Miliukov P. *Outlines of Russian Culture: in 3 vols. Vol. 1: Religion and the Church / Ed. by M. Karpovich; transl. by V. Ughet, E. Davis*. South Brunswick, N. J., and New York: University of Pennsylvania Press, 1972.

Mitter 1955 — Mitter W. *Die Entstehung der politischen Anschauungeffern Karamzins // Forschungen zur osteuropäischen Geschichte*. 1955. Bd. 2. S. 165–285.

Monas 1957 — Monas S. Šiškov, Bulgarin, and the Russian Censorship // *Russian Thought and Politics / Ed. by H. Mclean, M. Malia, G. Fischer*. Harvard Slavic Studies. Vol. 4. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1957.

Monnier 1979 — Monnier A. La naissance d'une idéologie nationaliste en Russie au siècle des lumières // *Revue des Etudes slaves*. 1979. T. 52, № 3. P. 265–272.

Müller 1949 — Müller L. Die Kritik des Protestantismus in der russischen Theologie und Philosophie // *Die Ostkirche und die russische Christenheit* / Hg. von E. Benz. Tübingen: Furcht-Verlag, 1949. S.

Müller 1951 — Müller L. Russischer Geist und evangelisches Christentum: Die Kritik des Protestantismus in der russischen religiösen Philosophie and Dichtung im 19. Und 20. Jahrhundert. Written an der Ruhr, 1951.

Narkiewicz 1969 — Narkiewicz O. A. Alexander I and the Senate Reform // *Slavonic and East European Review*. 1969. January. Vol. 47, № 108. P. 115–136.

Neuschäffer 1975 — Neuschäffer H. Katharina II. und die baltischen Provinzen. Beiträge zur baltischen geschichte. Bd. 2. Hannover-Dören, 1975.

Nipperdey 1983 — Nipperdey T. Deutsche Geschichte 1800–1866: Bürgerwelt und starker Staat. München: C. H. Beck, 1983.

Nipperdey 1986 — Nipperdey T. Nachdenken über die deutsche Geschichte. München: C. H. Beck, 1986.

O'Connor 1987 — O'Connor M. Czartoryski, Józef Twardowski, and the Reform of Vilna University, 1822–1824 // *Slavonic and East European Review*. 1987. April. Vol. 65, № 2. P. 183–200.

Pares 1965 — Pares B. A History of Russia. New York: Vintage, 1965.

Paunel 1944 — Paunel E. von. Das Geschwisterpaar Alexander und Roxandra Sturdza, verehelichte Gräfin Edling, in Deutschland und Rußland zur Zeit der Restauration // *Südost-Forschungen*. 1944. Bd. 9. S. 81–125.

Petri 1963 — Petri H. Alexander und Ruxandra [*sic*] Stourdza: Zwei Randfiguren europäischer Geschichte // *Südost-Forschungen*. 1963. Bd. 22. S. 401–436.

Pingaud 1910 — Pignaud L. L'Impératrice Elisabeth Alexiéivna, d'après des documents nouveaux // *Revue d'histoire diplomatique*. 1910. P. 533–563.

Pingaud 1911 — Pingaud L. L'Empereur Alexandre Ier et la Grande-Duchesse Catherine Paulovna d'après leur correspondance // *Revue d'histoire diplomatique*. 1911. P. 379–395.

Pipes 1957 — Pipes R. Karamzin's Conception of the Monarchy // *Russian Thought and Politics* / Ed. by H. McLean, M. Malia, G. Fischer. Harvard Slavic Studies. Vol. 4. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1957.

Pipes 1966 — Pipes R. Karamzin's Memoir on Ancient and Modern Russia: A Translation and Analysis. New York: Atheneum, 1966.

Pohrt 1986 — Pohrt H. August Ludwig Schlözner und die russische Sprache // *Literaturbeziehungen im 18. Jahrhundert: Studien und Quellen zur deutsch-russischen und russisch-westeuropäischen Kommunikation* / Hg. von H. Grasshoff. East Berlin: Akademie-Verlag, 1986.

Popkin 1989 — Popkin J. D. *Journals: The New Face of News // Revolution in Print: The Press in France 1775–1800* / Ed. by R. Darnton, D. Roche. Berkeley and London: University of California Press, 1989. P. 141–164.

Prousis 1987 — Prousis T. C. The Greeks of Russia and the Greek Awakening, 1774–1821 // *Balkan Studies*. 1987. Vol. 28, № 2. P. 259–280.

Prousis 1992 — Prousis T. C. Aleksandr Sturdza: A Russian Conservative Response to the Greek Revolution // *East European Quarterly*. 1992. September. Vol. 26, № 3. P. 309–344.

Prousis 1994 — Prousis T. C. *Russian Society and the Greek Revolution*. DeKalb, Ill.: Northern Illinois University Press, 1994.

Raeff 1966 — Raeff M. *Origins of the Russian Intelligentsia: The Eighteenth-Century Nobility*. New York: Harcourt, Brace and World, 1966.

Raeff 1967 — Raeff M. Les Slaves, les Allemands et les «Lumières» // *Canadian Slavic Studies*. 1967. Winter. Vol. 1. No. 4. P. 521–551.

Raeff 1969 — Raeff M. *Michael Speransky: Statesman of Imperial Russia, 1772–1839*. 2nd ed. The Hague: Martinus Nijhoff, 1969.

Raeff 1982a — Raeff M. *Comprendre l'ancien régime russe: Etat et société en Russie impériale. Essai d'interprétation*. Paris: Seuil, 1982.

Raeff 1982b — Raeff M. Seventeenth-Century Europe in Eighteenth-Century Russia? (Pour prendre congé du dix-huitième siècle russe) // *Slavic review*. 1982. Winter. Vol. 41, № 4. P. 611–619.

Raeff 1983 — Raeff M. *The Well-Ordered Police State: Social and Institutional Change through Law in the Germanies and Russia, 1600–1800*. New Haven, Conn., and London: Yale University Press, 1983.

Ragsdale 1980 — Ragsdale H. *Détente in the Napoleonic Era: Bonaparte and the Russians*. Lawrence, Kans.: University Press of Kansas, 1980.

Ransel 1975 — Ransel D. L. *The Politics of Catherinian Russia: The Panin Party*. New Haven, Conn., and London: Yale University Press, 1975.

Regemorter 1968 — Regemorter J.-L. van. Deux images idéales de la paysannerie russe à la fin du XVIIIe siècle // *Cahiers du Monde russe et soviétique*. 1968. Janvier-mars. T. 9. № 1. P. 5–19.

Riall 1994 — Riall L. *The Italian Risorgimento: State, Society and National Unification*. London and New York: Routledge, 1994.

Riasanovsky 1959 — Riasanovsky N. V. *Nicholas I and Official Nationality in Russia, 1825–1855*. Berkeley, Los Angeles, and London, 1959.

Riasanovsky 1976 — Riasanovsky N. V. *A Parting of Ways: Government and the Educated Public in Russia 1801–1855*. Oxford: Oxford University Press, 1976.

Riasanovsky 1977 — Riasanovsky N. V. *A History of Russia*. 3rd ed. New York: Oxford University Press, 1977.

Rogger 1957 — Rogger H. *The Russian National Character: Some Eighteenth-Century Views // Russian Thought and Politics / Ed. by H. McLean, M. E. Malia, G. Fischer*. Harvard Slavic Studies. Vol. 4. Cambridge, Mass., 1957.

Saunders 1982 — Saunders D. B. *Historians and Concepts of nationality in Early Nineteenth-Century Russia // Slavonic and East European Review*. 1982. January. Vol. 60, № 1. P. 44–62.

Sawatsky 1976 — Sawatsky W. W. *Prince Alexander N. Golitsyn (1773–1844): Tsarist Minister of Piety*. Ph. D. diss., University of Minnesota, 1976.

Sawatsky 1992 — Sawatsky W. W. *Prince Alexander N. Golitsyn: Formidable or Forgettable? // American Association for the Advancement of Slavic Studies paper*. Phoenix, Ariz., November 1992.

Schaeder 1934 — Schaeder H. *Die Dritte Koalition und die Heilige Allianz. Nach neuen Quellen*. Königsberg and Berlin: Ost-Europa-Verlag, 1934.

Schama 1989 — Schama S. *Citizens: A Chronicle of the French Revolution*. New York: Vintage Books, 1989.

Schlaflly 1970 — Schlaflly D. L. *De Joseph de Maistre à la «Bibliothèque rose»: le Catholicisme chez les Rostopčïn // Cahiers du Monde russe et soviétique*. 1970. Janvier-mars. T. 11. P. 93–109.

Schlaflly 1972 — Schlaflly D. L. *The Rostopchins and Roman Catholicism in Early Nineteenth Century Russia*. Ph. D. diss., Columbia: Columbia University Press, 1972.

Schlaflly 1989 — Schlaflly D. L. *Echoes of the French Revolution: Conservatism and the Catholic Church in Russia under Tsar Alexander I. The Jesuits // American Historical Association Paper*. San Francisco. December 1989.

Schmidt 1996 — Schmidt C. *Aufstieg und fall der Fortschrittsidee in Rußland // Historische Zeitschrift*. 1996. August. Bd. 263, № 1. S. 1–30.

Schnabel 1948 — Schnabel F. *Deutsche Geschichte im neunzehnten Jahrhundert*. № 1: Die Grundlagen. 4te Aufl. Freiburg, 1948.

Sheehan 1976 — *Imperial Germany / Ed. by J. J. Sheehan*. New York and London: New Viewpoints, 1976.

Smith 1995 — Smith D. *Freemasonry and the Public in Eighteenth-Century Russia // Eighteenth-Century Studies*. 1995. Vol. 29, № 1. P. 25–44.



Springer 1976 — Springer A. Gavriil Derzhavin's Jewish Reform Project of 1800 // *Canadian-American Slavic Studies*. 1976. Spring. Vol. 10, № 1. P. 1–23.

Stählin 1929–1939 — Stählin K. Geschichte Rußlands von den Anfängen bis zur Gegenwart: in 4 Bd. in 5. Königsberg und Berlin: Ost-Europa-Verlag, 1929–1939. Repr. Graz, 1961.

Starobinski 1979 — Starobinski J. 1789, Les Emblèmes de la raison. Paris: Editions Flammarion, 1979.

Strakhovsky 1947 — Strakhovsky L. I. Alexander I of Russia: The Man Who Defeated Napoleon. New York: W. W. Norton, 1947.

Sturdza 1907 — Sturdza A. A. C. De l'histoire diplomatique des Roumains 1821–1859: Règne de Michel Sturdza, prince regnant de Moldavie 1834–1849. Paris: Plon-Nourrit et Cis, 1907.

Tarasulo 1983 — Tarasulo Y. Y. The Napoleonic Invasion of 1812 and the Political and Social Crisis in Russia. Ph. D. diss., Yale, 1983.

Thaden 1964 — Thaden E. C. Conservative Nationalism in Nineteenth-Century Russia. Seattle: University of Washington Press, 1964.

Tompkins 1948 — Tompkins S. R. The Russian Bible Society — A Case of Religious Xenophobia // *American Slavic and East European Review*. 1948. Vol. 7. P. 251–268.

Torke 1971 — Torke H. J. Continuity and Change in the Relations between Bureaucracy and Society in Russia, 1613–1861 // *Canadian Slavic Studies*. 1971. Winter. Vol. 5, № 4. P. 457–476.

Treadgold 1973 — Treadgold D. W. The West in Russia and China: Religious and Secular Thought in Modern Times: in 2 vols. Vol. 1: Russia 1472–1917. Cambridge, England: Cambridge University Press, 1973.

Treadgold 1978 — Treadgold D. W. Russian Orthodoxy and Society // *Russian Orthodoxy under the Old Regime* / Ed. by R. L. Nichols, T. G. Stavrou. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1978.

Vernadsky 1923 — Vernadsky G. Le césarévitch Paul et les franc-maçons de Moscou // *Revue des Etudes slaves*. 1923. T. 3, № 3–4. P. 268–285.

Vernadsky 1947 — Vernadsky G. Reforms under Czar Alexander I: French and American Influences. *Review of Politics*. 1947. January. Vol. 9, № 1. P. 47–64.

Vries de Gunzburg 1941 — Vries de Gunzburg I. de. Catherine Pavlovna, Grande-Duchesse de Russie, 1788–1819. Amsterdam, 1941.

Walicki 1975 — Walicki A. The Slavonic Controversy: History of a Conservative Utopia in Nineteenth-Century Russian Thought. Oxford: University of Notre Dame Press, 1975.

Walicki 1979 — Walicki A. A History of Russian Thought: From the Enlightenment to Marxism / transl. by H. Andrews-Rusiecka. Stanford: Stanford University Press, 1979.

Walker 1979 — Walker F. A. Reaction and Radicalism in the Russia of Tsar Alexander I: The Case of the Brothers Glinka // Canadian Slavonic Papers. 1979. December. Vol. 21, № 4. P. 489–502.

Walker 1992 — Walker F. A. Enlightenment and religion in Russian Education in the reign of Tsar Alexander I // History of Education Quarterly. 1992. Fall. Vol. 32, № 3. P. 343–360.

Walther 1992 — Walther K. K. Johann Baptist Schad in Rußland // Jahrbücher für geschichte Osteuropeas. 1992. Bd. 40, № 3. S. 340–365.

Wehler 1983 — Wehler H.-U. Das Deutsche Kaiserreich, 1871–1918. Göttingen Vanderhoeck & Ruprecht, 1983.

Whelan 1982 — Whelan H. W. Alexander III and the State Council: Bureaucracy and Counter-reform in Late Imperial Russia. New Brunswick, N. J.: Rutgers University Press, 1982.

Whiting 1951 — Whiting K. R. Aleksei Andreevich Arakcheev. Ph. D. diss. Harvard, 1951.

Whittaker 1978a — Whittaker C. H. The Ideology of Sergei Uvarov: An Interpretive Essay // Russian Review. 1978. April. Vol. 37, № 2. P. 158–176.

Whittaker 1978b — Whittaker C. H. The Impact of the Oriental Renaissance in Russia: The Case of Sergej Uvarov // Jahrbücher für Geschichte Osteuropeas. 1978. Bd. 26, № 4. S. 503–524.

Whittaker 1984 — Whittaker C. H. The Origins of Modern Russian Education: An Intellectual Biography of Count Sergei Uvarov, 1786–1855. DeKalb, Il.: Northern Illinois University Press, 1984.

Whittaker 1992 — Whittaker C. H. The Reforming Tsar: The Redefinition of Autocratic Duty in Eighteenth-Century Russia // Slavic Review. 1992. Spring. Vol. 51, № 1. P. 77–98.

Whittaker 1996 — Whittaker C. H. The Idea of Autocracy among Eighteenth-Century Russian Historians // Russian Review. 1996. April. Vol. 55. P. 149–171.

Wieczynski 1970 — Wieczynski J. L. The Mutiny of the Semenovskiy Regiment in 1820 // Russian review. 1970. Vol. 29, № 1. P. 167–180.

Wieczynski 1971 — Wieczynski J. L. Apostle of Obscurantism: The Archimandrite Photius of Russia (1792–1838) // Journal of Ecclesiastical History. 1971. October. Vol. 22, № 4. P. 319–331.

Wortman 1976 — Wortman R. The Development of a Russian Legal Consciousness. Chicago and London: University of Chicago Press, 1976.

Zacek 1966 — Zacek J. C. The Russian Bible Society and the Russian Orthodox Church // Church History. 1966. December. Vol. 35, № 4. P. 411–437.

Zacek 1967a — Zacek J. C. A Case Study in Russian Philanthropy: The Prison Reform Movement in the Reign of Alexander I // Canadian Slavic Studies. 1967. Summer. Vol. 1, № 2. P. 196–211.

Zacek 1967b — Zacek J. C. The Lancastrian School Movement in Russia // Slavonic and East European Review. 1967. July. Vol. 45, № 105. P. 343–367.

Zacek 1971 — Zacek J. C. The Russian Bible Society and the Catholic Church // Church History. 1966. December. Vol. 35, № 4. P. 411–437.

Zacek 1975 — Zacek J. C. The Imperial Philanthropic Society in the Reign of Alexander I // Canadian-American Slavic Studies. 1975. Winter. Vol. 9, № 4. P. 427–436.

# Предметно-именной указатель

- Адамс Джон Куинси, посол США  
в России  
о настроениях в российском  
обществе в 1807–1812 гг.  
о слухах о заговоре  
Академия Российская  
Аксаков Сергей Тимофеевич  
и Шишков  
и Юнг-Штилинг  
Александр I, российский импера-  
тор:  
и Аустерлицкое сражение  
и «Беседа любителей русского  
слова»  
внутренняя политика в 1805–  
1812 гг.  
и война 1812 года  
и Екатерина Павловна  
и Крюденер  
как наследник трона  
отношения с членами семьи  
поездка в Москву в 1812 г.  
политика после 1815 г.  
и религиозный консерватизм  
и Ростопчин  
и секта скопцов  
союз с Францией 1807–1812 гг.  
стиль ведения государственных  
дел  
и А. С. Стурдза  
и Р. С. Стурдза  
сходство и различия с Павлом I  
сходство с С. Н. Глинкой  
и Шишков  
и Юнг-Штилинг  
Александр III, российский  
император  
Ангальт Фридрих Август фон  
(Федор Евстафьевич Анхальт),  
директор Сухопутного  
кадетского корпуса  
Анна Павловна  
Аракчеев Алексей Андреевич  
личность и карьера до 1812 г.  
и Павел I  
роль в политике после 1815 г.  
и *Русский вестник* С. Н. Глинки  
«Арзамас» («Арзамасское  
общество безвестных людей»)  
Армфельт Густав  
Баадер Франц фон  
Багратион Петр Иванович  
Бакунин Михаил Михайлович  
Балашов Александр Дмитриевич,  
министр полиции

- Барклай де Толли, Михаил  
Богданович
- Баррюэль Огюстен, французский  
иезуит
- Батюшков Константин Николае-  
вич
- и «Беседа любителей русского  
слова»
- и Великобритании
- и С. Н. Глинка
- и Екатерина Павловна
- и Шишков
- Баэр Стивен Л.
- Беннигсен Леонтий Леонтьевич
- Бенц Эрнст
- «Беседа любителей русского  
слова»
- Бецкой Иван Иванович
- Бёме Якоб
- Бёрк Эдмунд
- Блудов Дмитрий Николаевич
- Блэк Дж. Лоренс
- Блюхер Гебхард Леберехт фон
- Бобров Семен Сергеевич
- Бомарше Пьер Огюстен Карон де
- Бонамур Жан
- Боффа Массимо
- Бринкман Карл
- Британское и иностранное  
Библийское общество
- Брокер Адам Фомич
- Будберг Андрей Яковлевич
- Булгаков Александр Яковлевич
- Булич Николай Никитич
- Бунина Анна Петровна
- Валицкий Анджей
- Варнахаген фон Энзе Карл Август
- Верещагин Михаил Николаевич
- вестернизация, сторонники ее
- Вестник Европы*, журнал
- Вёльнер Иоганн Кристоф фон
- Вигель Филипп Филиппович
- об Александре I и «негласном  
комитете»
- об Аракчееве
- и «Арзамас»
- о «Беседе любителей русского  
слова»
- о Великобритании
- о С. Н. Глинке
- об общественном мнении  
в России в 1805–1812 гг.
- о патриотизме аристократов  
о Сперанском
- Вильгельм II, император Герма-  
нии
- Висковатов Степан Иванович
- Витте Сергей Юльевич
- войны революционной Франции  
и наполеоновские
- битва при Аустерлице (1805)
- битва при Йене и Ауэрштедте  
(1806)
- битва при Прейсиш-Эйлау (1807)
- битва при Фридланде (1807)
- Бородинская битва (1812)
- Война Первой коалиции (1792)
- Война Третьей коалиции (1805–  
1807)
- Египетский поход (1799)
- Итальянская кампания (1796–  
1799)
- партизанская война в Испании  
против Наполеона (1808–

- 1813)
- Русско-французская война (1812)
- Тильзитский мир (1807) и последующий русско-французский союз (1807–1812)
- Франко-австрийская война (1809)
- Волконский Петр Михайлович  
вольтерьянство
- Воронцов Александр Романович,  
министр иностранных дел
- Воронцов Семен Романович,  
посол в Великобритании
- Вяземский Петр Андреевич  
и «Арзамас»  
и Карамзин  
о Москве  
об отношении русского общества  
к текущим событиям
- о Ростопчине
- об А. С. Стурдзе
- о Шишкове
- Вязьмитинов Сергей Кузьмич
- Гамалея Семен Иванович
- Гейгер Макс
- Гердер Иоганн Готфрид
- Герцен Александр Иванович  
о западниках и славянофилах  
о русском национализме  
о Шишкове и Ростопчине
- Гётце Петер фон  
о Голицыне
- о Попове
- об А. И. Тургеневе
- о Шишкове
- Главное правление училищ
- Глинка Сергей Николаевич
- взгляды на крепостничество
- взгляды на русскую внешнюю политику
- и война 1812 года
- воспоминания
- детство и воспитание
- «Зеркало нового Парижа»
- идеализация русской народной культуры
- литературные труды
- отказ от традиционной дворянской деятельности
- отрицание Просвещения
- оценка Наполеона
- поддержка самодержавия
- романтические националистические взгляды
- Русский вестник*, журнал
- и Ростопчин
- служба в ополчении в 1806–1807 гг.
- сравнение с религиозными консерваторами
- сходство с Александром I
- сходство с декабристами и французскими революционерами
- сходство и различия с Карамзиным, Ростопчиным и Шишковым
- и Франция
- Глинка Федор Николаевич
- Гнедич Николай Иванович
- и «Беседа любителей русского

- слова»  
и Екатерина Павловна  
и литературные вечера Шишкова  
и А. С. Стурдза  
Гнейзенау Август Нейдхардт фон  
Гоголь Николай Васильевич  
Голенищев-Кутузов Иван  
    Логинович, директор Мор-  
    ского кадетского корпуса  
Голенищев-Кутузов Павел  
    Иванович  
Голицын Александр Николаевич  
и Баадер  
и «Беседа любителей русского  
    слова»  
биография и личность  
и объединение Российского  
    библейского общества  
    и «двойного министерства»  
политические взгляды  
и Стурдзы  
и Филарет  
Головин Евгений Александрович  
Горчаков Дмитрий Петрович  
Греч Николай Иванович  
и «Беседа любителей русского  
    слова»  
как издатель *Сына отечества*  
о Шишкове  
Грибоедов Александр Сергеевич  
Гудович Иван Васильевич,  
    генерал-губернатор Москвы
- Дашков Дмитрий Васильевич  
Дашкова Екатерина Романовна  
    (урожд. Воронцова)  
«двойное министерство»  
    (Министерство духовных дел  
    и народного просвещения)  
дворянские консерваторы  
общая характеристика  
противодействие политическим  
    реформам  
развитие движения после 1825 г.  
дворянство российское  
оценка Наполеона  
противодействие реформист-  
    ским планам Александр-  
    ра I и Сперанского  
страх перед крестьянскими  
    бунтами  
декабристы  
Демулен Камилль  
Державин Гавриил Романович  
и «Беседа любителей русского  
    слова»  
враждебное отношение к Спе-  
    ранскому  
и С. Н. Глинка  
консервативные взгляды  
литературные вечера с Шиш-  
    ковым  
литературные труды  
противодействие реформам  
    1801–1803 гг.  
связи с масонством  
сходство и различия с Шиш-  
    ковым  
Дмитриев Иван Иванович,  
    министр юстиции  
и «Беседа любителей русского  
    слова»  
литературные труды  
связи с масонством  
Дмитриев Михаил Александро-  
    вич

- Долгоруков Юрий Владимирович, генерал-губернатор Москвы
- Дубровин Николай Федорович
- Екатерина II (Великая), российская императрица
- ее взгляды на масонство
- любовь к ней дворянства
- репрессии после 1789 г.
- Екатерина Павловна
- и Александр I
- и Карамзин
- и масонство
- переговоры о браке
- политические взгляды
- и Ростопчин
- ее салон
- слухи о заговоре с целью посадить ее на трон
- и Сперанский
- Елизавета Алексеевна, русская императрица (см. также Р. С. Стурдза)
- о битве при Аустерлице
- и императорская семья
- политические взгляды
- и Ростопчин
- ее салон
- и Юнг-Штиллинг
- Ермолаев Александр Иванович
- Жихарев Степан Петрович
- об Академии Российской
- о «Беседе любителей русского слова»
- о литературных вечерах Шишкова
- о московском обществе
- о настроениях в обществе в 1805–1812 гг.
- Жуковский Василий Андреевич
- Завадовский Петр Васильевич, министр народного просвещения
- Захаров Иван Семенович
- Зачек Джудит Коэн
- иезуиты
- Ипсиланти Александр
- Капнист Василий Васильевич
- Каподистрия Иоанн Антонио (см. также Стурдза А. С., Стурдза Р. С.)
- Карабанов Петр Матвеевич
- Карамзин Николай Михайлович
- и Александр I
- и «Беседа любителей русского слова»
- взгляды на внешнюю политику
- детство и воспитание
- и Екатерина II
- и Екатерина Павловна
- Записка о древней и новой России»
- и Иван IV
- «История государства Российского»
- литературное творчество
- и Павел I
- и Петр I
- и Ростопчин
- связи с масонством
- социально-политические



взгляды  
 и Сперанский  
 и А. С. Стурдза  
 сходство и различия с С.  
 Н. Глинкой, Ростопчиным  
 и Шишковым  
 Карпец Владимир Игоревич  
 Кизеветтер Александр Александрович  
 Кипренский Орест Адамович  
 Ключарев Федор Петрович  
 Ключевский Василий Осипович  
 Княжнин Яков Борисович  
 Козодавлев Осип Петрович,  
 министр внутренних дел  
 Койре Александр  
 Коленкур Арман Огюстен Луи де  
 бойкот со стороны общества  
 и С. Н. Глинка  
 консерваторы русские (см.  
 также дворянские консерва-  
 торы, религиозные консерва-  
 торы, романтические нацио-  
 налисты)  
 вклад в дальнейшее развитие  
 русской культуры  
 направления  
 неудачный итог деятельности  
 основные идеи  
 их оценка Александра I  
 их оценка войны 1812 года  
 в оценке историков  
 социальная база  
 сходство с революционерами  
 Константин Павлович  
 и Александр I  
 в войне 1812 года  
 и Екатерина Павловна

континентальная блокада  
 Конфино Михаэль  
 Коцебу Иоганн Август фон  
 Кочубей Виктор Павлович  
 Кочубинский Александр Алек-  
 сандрович  
 Кошелев Родион Александрович  
 крестьянство  
 волнения  
 надежды на освобождение  
 слухи о Наполеоне  
 Кросс Энтони Гленн  
 Крылов Иван Андреевич  
 и «Беседа любителей русского  
 слова»  
 литературное творчество  
 и литературные вечера Шишкова  
 связи с масонством  
 Крымская война  
 Крюденер Юлиана фон  
 Куницын Александр Петрович  
 Кутайсов Иван Павлович  
 Кутузов Михаил Илларионович  
 в войне 1812 года  
 и масонство  
 и Шишков  
 Лабзин Александр Федорович  
 запрет его ложи  
 и Голицын  
 и объединение Российского  
 библейского общества  
 и «двойного министерства»  
 и литературные вечера Шишкова  
 и Ростопчин  
 и Рунич  
 и *Русский вестник* С. Н. Глинка  
 и Филарет

- и Юнг-Штилинг  
Лагарп Фредерик Сезар  
Левшин Василий Алексеевич  
ЛеДонн Джон  
Лопухин Иван Владимирович  
о настроениях в обществе  
в 1806–1807 гг.  
социально-политические  
взгляды  
Лотман Юрий Михайлович  
Луиза, королева Пруссии  
Львов Сергей Лаврентьевич  
Людовик XIV, король Франции  
Людовик XVI, король Франции  
казнь  
в оценке С. Н. Глинки
- Магницкий Михаил Леонтьевич  
и «Беседа любителей русского  
слова»  
и «двойное министерство»  
и Сперанский  
Майер Арно  
Макаров Петр Иванович  
Марат Жан-Поль  
Мария-Антуанетта, королева  
Франции  
Мария-Луиза, французская  
императрица  
Мария Федоровна, мать Алек-  
сандра I  
и «Беседа любителей русского  
слова»  
политические взгляды  
религиозные взгляды  
и Сперанский  
и Шишков  
Маркович А.
- масонство, связь с революцион-  
ным движением  
иллюминаты  
история масонства  
мартинисты  
обвинения в заговорах  
преследования со стороны  
Ростопчина в 1812–1814 гг.  
розенкрейцеры  
роль масонства в формировании  
общественного мнения  
связи с Великобританией  
и Пруссией  
философия масонства  
Мельгунов Сергей Петрович  
Местр Жозеф де, посол Сарди-  
нии  
и Александр I  
об Аракчееве  
и «Беседа любителей русского  
слова»  
и Екатерина Павловна  
и Карамзин  
о настроениях в России в 1805–  
1812 гг.  
религиозные взгляды и деятель-  
ность  
о Ростопчине  
и Сперанский  
и А. С. Стурдза  
и Р. С. Стурдза  
и Шишков  
Меттерних, Клеменс Лотар фон  
Мещерский Петр Сергеевич,  
князь  
милитаризм («парадомания»)  
Аракчеева  
Павла I и его сыновей

- отрицательное отношение  
Ростопчина
- отрицательное отношение  
Шишкова
- Милорадович Михаил Ан-  
дреевич
- Миттер Вольфганг
- Михаил Павлович
- Мордвинов Николай Семенович
- Москва
- при губернаторстве Ростопчина  
в 1812 г.
- демографические данные
- консерватизм
- культура и общественная жизнь
- непопулярность Александра I
- сезонный приток провинциаль-  
ного дворянства
- Моцци Луиджи
- Муравьев Михаил Никитич
- Наполеон I, французский  
император
- восхищение им в России
- враждебность к нему в России
- его оценка С. Н. Глинкой
- его оценка Карамзиным
- сравнение с Петром I
- переговоры о браке
- о Ростопчине
- и Французская революция
- Наркевич Ольга
- народное ополчение
- во время войны 1806–1807 гг.
- во время войны 1812 г.
- Небольсина Авдотья Селивер-  
стовна
- Негласный комитет (*см. также*
- Чарторыйский, Кочубей,  
Новосильцев, Строганов)
- и Вигель
- и Державин
- и Ростопчин
- и Шишков
- Нессельроде Карл Роберт фон  
(Карл Васильевич Нессельро-  
де), государственный секре-  
тарь по иностранным делам  
после 1814 г.
- Николай I, российский импера-  
тор
- и консерваторы Алексан-  
дровской эпохи
- и *Русский вестник* С. Н. Глинки
- и Шишков
- Николай II, российский импера-  
тор
- Николев Николай Петрович
- Новиков Николай Иванович
- и Карамзин
- и Ростопчин
- социально-политические  
взгляды
- Новосильцев Николай Николае-  
вич
- Нонотт Клод-Франсуа
- Оболенский Александр Петро-  
вич
- общественное мнение
- и внешняя политика Алексан-  
дра I
- общая характеристика
- и реформистские планы Алек-  
сандра I
- роль салонов

- роль театра  
сравнение с другими европейскими странами  
Общество друзей словесных наук  
Овчинников Георгий Дмитриевич  
Одоевский, князь  
Озеров Владислав Александрович  
Окунь Семен Бенцианович  
Оленин Алексей Николаевич  
Олин Валериан Николаевич  
Ольденбургский Георг фон  
Орлов Михаил Федорович
- Павел I, российский император  
внешняя политика  
любовь к Пруссии  
и масонство  
в оценке Карамзина  
страх перед революцией  
убийство  
Пайпс Ричард  
Первая мировая война  
Петр I (Великий), российский император  
лингвистическое наследие  
реформы  
Петр III, российский император  
Писарев Александр Александрович  
Плещеев Сергей Иванович  
Победоносцев Константин Петрович  
Погодин Михаил Петрович  
Полев Александр, гвардейский офицер  
Попов Василий Михайлович
- Потоцкий Северин  
Предтеченский Анатолий Васильевич  
«Пробуждение»  
Просвещение  
его влияние на консерваторов  
протестантизм британский  
протестантизм немецкий (см. также «Пробуждение»),  
Пугачевское восстание  
Пушкин Александр Сергеевич  
Пушкин Василий Львович  
Пыпин Александр Николаевич
- Радищев Александр Николаевич  
Раев Марк  
Разумовский Алексей Кириллович, министр образования  
Распутин Григорий  
Резанов Дмитрий Иванович  
религиозные консерваторы (см. также «Пробуждение», Голицын, Попов, Рунич, Стурдза А. С., Стурдза Р. С.)  
Робеспьер Максимилиан Франсуа  
романтизм  
романтические националисты  
Российское библейское общество  
Ростопчин Федор Васильевич и Александр I  
и Аракчеев  
и «Беседа любителей русского слова»  
«Вести, или убитый живой»  
взгляды на русское общество в целом  
и внешняя политика России

как генерал-губернатор Москвы  
германофобия  
и Глинка С. Н.  
и Екатерина II  
и Екатерина Павловна  
«Записка о “мартинистах”»  
и католицизм  
и Коленкур  
и Лабзин  
литературное творчество  
личность, воспитание и начало  
карьеры  
и мартинисты  
«Мысли вслух на Красном  
крыльце»  
отношение к Франции и фран-  
цузской культуре  
отношение к Французской  
революции и Наполеону  
«Ох, французы!»  
и Павел I  
полемика со Стройновским  
и религиозные консерваторы  
и Сперанский  
сходство и различия с С.  
Н. Глинкой, Карамзиным  
и Шишковым  
и Шишков  
Румянцев Николай Петрович,  
министр иностранных дел  
Рунич Дмитрий Павлович  
и «двойное министерство»  
и Козодавлев  
и Лабзин  
и масонство  
политические и религиозные  
взгляды  
и Попов

и Ростопчин  
и французская культура  
Русская православная церковь  
Русско-шведская война (1788–  
1790),  
Русско-шведская война (1809),  
Руссо Жан-Жак  
Рязановский Николай Валенти-  
нович  
Савари Анн Жан Мари Рене,  
посол Франции  
Савацкий Уолтер  
Салагов Семен Иванович  
Санкт-Петербург  
Саровский Серафим  
Сведенборг Эммануил  
Свечина София Петровна  
Святейший Синод  
Священный союз (*см. также*  
«Пробуждение», Стурдза  
А. С., Стурдза Р. С.)  
Сегюр Филипп Поль де  
Селиванов Кондратий (*см.*  
*также: скопцов секта*)  
Сен-Жюст Луи де  
Сен-Мартен Луи Клод де  
Сенат  
«сенатская партия» (поддержи-  
ваемая А. Р. и С. Р. Воронцо-  
выми, Державиным, Шиш-  
ковым, Карамзиным, Вигелем  
и другими)  
сентиментализм  
Серафим (Стефан Глаголевский)  
Сербинович Константин Степа-  
нович

- скопцов секта  
 славянофилы  
 Сперанский Михаил Михайлович  
 и «Беседа любителей русского слова»  
 враждебное отношение дворянства  
 личность и карьера (до 1812 г.)  
 и масонство  
 отставка  
 религиозные взгляды  
 сопоставление его с Наполеоном  
 спор о «старом и новом слоге»  
 Старобинский Жан  
 Стедингк Курт фон  
 Столыпин Петр Аркадьевич  
 Стоюнин Владимир Яковлевич  
 Строганов Павел Александрович  
 Строганова, графиня  
 Стройновский, граф  
 Стурдза Александр Скарлатович  
 и Александр I  
 и «Арзамас»  
 и Баадер  
 и «Беседа любителей русского слова»  
 и Бёрк  
 и Бональд  
 и Гнедич  
 и Гоголь  
 и Голицын  
 и Греческая революция  
 и «двойное министерство»  
 «Записка о нынешнем положении Германии»  
 и Ипсиланти  
 и Каподистрия  
 и Карамзин  
 и Карлсбадские указы  
 и конгресс в Аахене  
 и конгресс в Лайбахе  
 и конгресс в Троппау  
 и Любомудры  
 и де Местр  
 и Меттерних  
 и Адам Мюллер  
 «Обзор событий 1819 года»  
 и Погодин  
 политические и религиозные взгляды  
 происхождение и воспитание  
 работа в области внешней политики после 1815 г.  
 и славянофилы  
 сочинения  
 и Филарет  
 и французская культура  
 и Чаадаев  
 и Шатобриан  
 и Шишков  
 и Штейн  
 Стурдза Роксандра Скарлатовна (графиня Эдлинг)  
 и Александр I  
 и Баадер  
 воспоминания  
 и Голицын  
 и Елизавета Алексеевна  
 и Каподистрия  
 и Кошелев  
 и Крюденер  
 и де Местр  
 политические и религиозные взгляды  
 происхождение и воспитание

и французская культура  
и П. В. Чичагов  
и Юнг-Штиллинг  
Суворов Александр Васильевич  
Сухомлинов Михаил Иванович

тайная полиция  
Комитет общей безопасности  
при Павле I  
работа с информаторами  
Талейран-Перигор Шарль Морис  
де  
Тартаковский Андрей Григорье-  
вич  
Татаринова Екатерина Филип-  
повна  
Толстой Лев Николаевич  
Тредголд Дональд  
Тургенев Александр Иванович  
и «Арзамас»  
о «Беседе любителей русского  
слова»  
и «двойное министерство»  
о Магницком  
поддержка самодержавия  
и Российское библейское  
общество  
о Ростопчине  
об А. С. Стурдзе  
и Филарет  
Тургенев Николай Иванович  
и «Арзамас»  
и декабристы  
о Ростопчине  
об А. С. Стурдзе  
о Шишкове  
и Юнг-Штиллинг  
Туркестанова Варвара Ильинич-

на  
Тутолмин Тимофей Иванович,  
генерал-губернатор Москвы

Уваров Сергей Семенович  
Уилмот Кэтрин  
Уилмот Марта  
Уиттейкер Синтия Хайла  
Указ о вольных хлебопашцах  
Уокер Франклин

Файнштейн Михаил Шмильевич  
Фердинанд VII, король Испании  
Фессслер Игнатий, немецкий  
теолог  
Филарет (Дроздов Василий  
Михайлович), иерарх право-  
славной церкви  
Философов Михаил Михайлович  
Флоровский Георгий  
Флинн Джеймс Т.  
Фотий (Спасский)  
Франклин Бенджамин  
Франциск I, австрийский  
император  
Французская революция  
военные действия  
враждебность консерваторов  
сравнение со Священным  
союзом  
Фридрих Вильгельм II, король  
Пруссии  
Фридрих Вильгельм III, король  
Пруссии  
Фюре Франсуа

Хант Линн  
Хвостов Александр Семенович

- Хвостов Дмитрий Иванович  
хилиазм  
Хобсбаум Эрик Дж.
- Цицианов Павел Дмитриевич
- Чарторыйский Адам, министр иностранных дел России  
Чистович Илларион Алексеевич  
Чичагов Василий Яковлевич  
Чичагов Павел Васильевич
- Шад Иоганн Баптист  
Шаликов Петр Иванович  
Шатров Николай Михайлович  
Шаховской Александр Александрович  
Шварц Иоганн Георг (Иван Георгиевич или Егорович Шварц)  
Шихматов (Ширинский-Шихматов) Сергей Александрович  
Шишков Александр Семенович  
и Академия Российская  
и Александр I  
и «Беседа любителей русского слова»  
враждебное отношение к Французской революции  
германофилия  
как государственный секретарь  
и Государственный совет  
детство и воспитание  
и Екатерина II  
и Екатерина Павловна  
карьера во флоте  
критика вестернизированной аристократии
- лингвистические теории  
литературные вечера  
личность и домашняя жизнь  
и масонство  
и «Мысли вслух на Красном крыльце» Ростопчина  
и народная культура  
и Павел I  
и Петр I  
поддержка крепостничества  
и православная церковь  
«Рассуждение о любви к отечеству»  
«Рассуждение о старом и новом слоге российского языка»  
и религиозные консерваторы  
романтические националистические взгляды  
и *Русский вестник* С. Н. Глинки  
и славянские культуры  
и А. С. Стурдза  
сходство и различия с С. Н. Глинкой, Карамзиным и Ростопчиным  
и Филарет  
франкофобия  
эллинизм  
Шишкова Дарья Алексеевна  
Шлёцер Август Людвиг фон  
Штейн Карл фом
- Щербатов Михаил Михайлович:  
«О повреждении нравов в России»
- Эбер Жак-Рене  
как автор *Папаша Дюшена*  
Эдлинг Альберт Каэтан фон,



муж Р. С. Стурдзы  
Эккартсгаузен Карл  
Энгиенский Луи де Бурбон-Кон-  
де, герцог д'

казнь  
Эпштейн Клаус  
Юнг-Штиллинг Иоганн Генрих

# Содержание

Слова благодарности .....	5
Введение .....	7
Глава 1. Адмирал Шишков и романтический национализм .....	26
Глава 2. Политика правительства и общественное мнение. 1801–1811 .....	72
Глава 3. Московские консерваторы .....	107
Глава 4. «Тверская полубогиня» и «Любители русского слова» .....	170
Глава 5. Отечественная война: народная война? .....	227
Глава 6. Духовные основания Священного союза .....	266
Глава 7. Реальность Священного союза .....	317
Заключение .....	384
Источники .....	394
Библиография .....	407
Предметно-именной указатель .....	429